

**МАРК
АЛДАНОВ**

ЗАГОВОР
(СБОРНИК)

Марк Александрович Алданов

Заговор (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137343

Марк Алданов. Заговор: Пресса; Москва; 2013

ISBN 978-5-4444-1453-8

Аннотация

Роман «Заговор», созданный выдающимся русским писателем и философом Марком Алдановым, повествует о последних днях правления императора Павла I. Неограниченная власть самодержца, человека от природы одаренного и благородного, превратила его личную драму в национальную трагедию.

Данный роман вместе с повестью «Святая Елена, маленький остров» завершает тетралогия «Мыслитель», охватывающую огромную панораму мировой истории от Французской революции и параллельных событий в России до заката Наполеоновской империи.

Содержание

Заговор	7
Предисловие	7
Часть первая	9
I	9
II	21
III	35
IV	48
V	56
VI	63
VII	76
VIII	86
IX	94
X	106
XI	118
XII	125
XIII	132
XIV	141
XV	148
XVI	157
XVII	164
XVIII	173
XIX	181
XX	194

Часть вторая	205
I	205
II	218
III	230
Часть третья	235
I	235
II	244
III	261
IV	268
VI	282
VII	287
VIII	304
IX	320
X	324
XI	338
XII	347
XIII	360
XIV	369
XV	380
XVI	389
XVII	390
XVIII	396
XIX	401
XX	406
XXI	411
XXII	413

XXIII	417
XXIV	424
XXV	427
XXVI	434
XXVII	438
XXVIII	445
XXIX	449
XXX	452
XXXI	453
XXXII	457
XXXIII	457
XXXIV	471
XXXV	482
XXXVI	485
XXXVII	495
Святая Елена, маленький остров	507
Предисловие ко второму изданию	507
I	509
II	523
III	530
IV	539
V	548
VI	560
VII	569
VIII	572
IX	577

X	584
XI	591
XII	600
XIII	610
XIV	612
XV	615
XVI	623
XVII	626
XVIII	632

Марк Алданов

Заговор (сборник)

Заговор

Предисловие

В основу настоящей книги легла мрачная историческая драма. В деле, закончившемся 11 марта 1801 года, сказалась с необыкновенной силой черта **безвыходности**. В совершенно безвыходном положении были и царь и цареубийцы.

Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные. От природы человек одаренный и благородный, он стал жертвой душевной болезни, по-видимому, очень быстро развившейся в последние месяцы его царствования. Неограниченная власть самодержца превратила его личную драму в национальную трагедию.

Среди участников заговора были, разумеется, люди разные.

Первые пятнадцать лет XIX века представляются мне самым блестящим периодом во всей истории России. Подход к этому времени был, по многим причинам, нелегкий. Нуж-

но было прежде всего преодолеть в себе и казенного Иловайского, и Иловайского революционного, – для людей моего поколения второй был опаснее первого. Как романиста, меня в первую очередь занимали не исторические события, не политические явления, а живые люди. Долголетнее изучение документов, относящихся к **людям**, убедило меня в том, что не только наиболее выдающиеся из русских деятелей конца XVIII и начала XIX века (Суворов, Пален, Безбородко, Панин, Воронцовы), но и многие другие (Талызин, Вал. Зубов, Яшвиль, Завадовский, Строгановы, С. Уваров) в умственном и в моральном отношении стояли не ниже, а выше большинства их знаменитых западных современников, участников Французской революции. Убийцы Павла I составляли небольшую часть блестящей исторической группы. Но и часть эта отнюдь не была однородной: заговорщики говорили на разных языках – даже почти в буквальном смысле этого выражения.¹ Если б граф Пален остался у власти в царствование Александра I, вероятно, история России (а с ней и европейская история) приняла бы иное направление. Гадать на эту тему не приходится, но всемирное историческое значение дела 11 марта достаточно очевидно.

Автор

Август 1927 года, Париж

¹ Слог людей поколения Палена, получивших воспитание в царствование Елизаветы Петровны, очень заметно отличается от языка деятелей александровской эпохи, уже довольно близкого к нынешнему.

Часть первая

I

Солнце четко очерченным малиновым шаром просвечивало сквозь молочный туман. Казалось, будто странная чужая планета подошла к освещенной не ею земле и неподвижно повисла в тусклой белизне неба.

К Кушелевскому театру непрерывно подъезжали экипажи, каждый раз неожиданно вырастая в тумане перед глазами будочников. Поспешно соскакивали лакеи, откидывали подножки карет и высаживали господ, которые, беспокойно оглядываясь на темневший вдали тенью Зимний дворец, осторожно по мерзлым ступеням лестницы поднимались в сени театра, бледно светившиеся дрожью масляных фонарей. Будочники, переводя глаза от седоков к кучерам, мгновенно меняли почтительное выражение лиц на злобное и строгое. Кареты быстро отъезжали, исчезая за серой стеной тумана.

Морщась от света ламп и от запаха горелого масла, Иванчук в сенях отряхнул снег с сапог, снял перчатки и заботливо положил в карманы шубы, так, чтобы их не оттопырить. Затем скинул с себя шубу и, сложив ее вдвое, мехом

вверх, отдал у боковой вешалки лакею, которого несколько раз твердо и отчетливо назвал по имени, напоминая этим, что он здесь свой человек. Не торопясь, он осмотрелся перед тускло освещенным зеркалом под насмешливым взглядом дамы, желавшей поправить прическу. Иванчук, не поворачиваясь, через зеркало послал даме приятную, слегка игривую улыбку. За дамой в зеркале отразилась высокая фигура в мундире. Улыбка Иванчука стала чуть задумчивой, – будто он улыбался своим мыслям. Он отошел от зеркала и направился к дверям зрительного зала, испытывая, как всегда в большом обществе, легкое нервное возбуждение. Его место было во втором ряду паркета: для первого ряда он еще считал недостаточным свое служебное положение, а третий стоил столько же, сколько второй. За свои деньги Иванчук желал и умел получать самое лучшее. Знакомый кассир оставлял ему даже на парадные спектакли всегда одно и то же, запиравшееся ключом, кресло. Таким образом, внимательные к мелочам люди могли думать, что кресло это взято Иванчуком по абонементу на целый сезон и что он, как человек очень занятой, посещает только парадные спектакли. Грациозно наклонив голову, слегка улыбаясь и повторяя «пардон», «миль пардон», Иванчук прошел боком к своему креслу, отпер ключом замок, но не сел. Он быстро одним взглядом окинул зрительный зал, сразу заметил почти всех, кто этого стоил, затем поднес к глазам лорнет (лорнетки опять вошли в моду) и, беспрестанно отводя его в сторону, – без лорне-

та он видел лучше, — принялся рассматривать залу, любезно раскланиваясь, с легкой улыбкой и с грациозным движением левой руки. Иванчука, состоявшего теперь на немаловажной должности при графе Палене, в лицо начинали знать почти все. Люди, неуверенно вспоминаявшие его имя, смутно знали, что это очень способный и основательный молодой человек, делающий прекрасную карьеру. И даже неблагозвучная фамилия его, по мере того, как к ней привыкали, принимала какой-то новый, несколько уже не смешной характер.

С легкой досадой Иванчук подумал, что приехал все-таки минут на пять раньше, чем следовало бы. Лучшие ложи первого яруса и места в паркете еще не все были заняты. Зато партер и второй ярус были набиты битком. В ложах верхнего яруса расположилось купечество, по преимуществу немецкое. Дамы там были одеты попроще и носили на шее не бриллианты, а жемчуга. Некоторые раскладывали на барьере бутерброды и филейное вязанье. Иванчук имел знакомых и в верхнем ярусе, но с ними не раскланялся. Он подошел к одной из лож и, часто оглядываясь, поговорил со старой дамой, которая ласково кивала ему головой.

Театр быстро наполнялся. На спектакле, сборном и благотворительном, было лучшее общество. Императорская ложа, однако, была пуста. Входившие в залу люди первым делом оглядывались на эту ложу и облегченно вздыхали, увидев, что в ней не зажжены свечи.

В проходе между сценой и первым рядом кресел показал-

ся граф Ростопчин. Учтиво отвечая на поклоны, он быстро прошел к своему месту и остановился спиной к сцене, опершись на барьер. Иванчук мгновенно простился с дамой, скользнул в первый ряд и там, на виду у всего театра, пожал руку Ростопчину, который в последнее время очень благосклонно к нему относился. Ростопчин теперь занимал в обществе и в правительстве такое высокое положение, что мог без всякого ущерба для себя быть хорошо знакомым с кем угодно. Прежде особенно подозрительный, всегда находившийся настороже, он понемногу переходил на роль природного грансенъора, со всеми ровного в обращении: он уже одинаково учтиво раскланивался с Иванчуком и с графом Паленом. Сияя приятной улыбкой, Иванчук поговорил с Ростопчиным: по-настоящему это могли оцепить в театре только пять или шесть человек его сверстников, но именно впечатление, произведенное на них, было особенно приятно Иванчуку.

На сцене гулко стукнули три раза молотком. Иванчук успел изобразить сожаление по поводу того, что начало спектакля не дает ему возможности продлить интересную беседу, и, наклонив вперед голову, прошел обратно во второй ряд, повторяя с сияющим выражением «пардон», «миль пардон». Как он ни любил общество высокопоставленных людей, он всегда, расставаясь с ними, чувствовал некоторое облегчение. Занавес поднялся с приятным, чуть волнуящим шелестом. Одновременно в первую от сцены ложу вошел, вызы-

вая общее внимание, граф фон дер Пален, военный губернатор Петербурга.

Под стук дверей и отодвигаемых стульев что-то сыграла на английской гармонике заезжая девица. Кроткое выражение ее лица свидетельствовало о том, что она знает свое место: девица всегда играла под стук дверей и шорох шагов. Ей похлопали в ложах второго яруса; в отсутствии императора аплодировать можно было кому угодно и когда угодно. Артистка встала, шагнула вперед и низко присела, наклонив длинную голову (она очень долго, по лучшим образцам, училась этому поклону). Хлопали девице мало, однако достаточно для того, чтобы она сочла себя вправе снова сыграть ту же пьесу, – к большому удовольствию немок и немцев второго яруса: чем дольше продолжался спектакль, тем им было приятнее.

Иванчука в театре интересовали исключительно антракты. Он отвернулся от сцены и снова принялся рассматривать зал. «Патрон какой именинник, – подумал Иванчук, глядя на графа Палена. – Он, впрочем, на людях всегда именинник... Тонкая штучка Петр Алексеевич, сущий Машиавель!.. А поглядеть глупому человеку со стороны – совсем душа нараспашку», – думал Иванчук с удовольствием. Он с чрезвычайным почтением относился к своему начальнику, и ему особенно было забавно, что глупым людям со стороны Пален может показаться добродушным и простым человеком. В соседней с военным губернатором ложе сидела красавица Оль-

га Жеребцова. С ней Иванчук не был знаком и очень об этом сожалел. Он внимательно взгляделся в ее бриллиантовую диадему и оценил ее не меньше как в восемь тысяч – даже по ценам, сильно сбитым французскими эмигрантами, которые распродавали свои последние вещи.

«А ведь она этак долго будет играть – сыграет и повторит, сыграет и повторит... До Шевалихи еще далеко. Не пойти ли в ресторацию?»

В ресторацию во время спектакля выходили только важные люди или щеголи. Иванчук дождался конца пьесы и под шум новых, немного более жидких рукоплесканий направился к выходу, со снисходительной усмешкой, относившейся к игре артистки. У полуоткрытых дверей зрительного зала стоял только что вошедший красивый молодой генерал, командир Преображенского полка Талызин. Иванчук был с ним знаком, но не совсем; его раза два представляли генералу, однако уверенности, что Талызин его знает, у Иванчука не было. Он с достоинством поклонился и скользнул мимо генерала, говоря вполголоса:

– Мочи нет, как фальшивит...

Это замечание передавало Талызину инициативу дальнейшего: он мог, если хотел, начать разговор. Генерал приветливо протянул руку Иванчуку и, может быть, поддержал бы разговор об артистке. Но его внимание отвлек молодой невысокий офицер, тоже выходивший из зала.

– Вы, сударь мой, что ж, или знать меня не хотите? – ска-

зал Талызин, ласково улыбаясь и хватая молодого человека за рукав. – Третьего дни опять не были, а?

Иванчук оглянулся на офицера, помешавшего ему поговорить с командиром Преображенского полка, и с удивлением узнал двадцатилетнего графа де Бальмена. «Не умеет Талызин соблюдать дистанцию, – подумал Иванчук. – С таким клопом как разговаривает. А где же это он третьего дни опять не был?.. Говорят, Талызин зачем-то собирает у себя молодых офицеров».

– Странный нынче день! На солнце не больно смотреть, точно и не светит, – сказал Талызин.

Солнце не интересовало Иванчука. Он приятно улыбнулся и вышел из зала. В пустом коридоре было холодно. Иванчук, морщась, потрогал перед зеркалом суставом указательного пальца образовавшуюся у него в последнее время складку между шеей и подбородком («нет, это так, – успокоил он себя, поднимая голову, – вот и нет никакой складки»). Он снял с досады только что замеченную им на левом плече пушинку от шубы («ох, стала лезть») и прошел в ресторацию. Она тоже была еще пуста. Буфетчик симметрично раскладывал на тарелках бутерброды, наводя на них пальцем последний лоск. Лакей, сонно сидевший в углу, вскочил и подбежал к барину, предлагая занять столик. Иванчуку не хотелось есть (в театр приезжали в четвертом часу прямо с обеда), да и денег было жалко. Столика он не занял, чтобы не давать на чай лакею, но у буфета выпил рюмку гданской

водки и поговорил с буфетчиком, внимательно расспрашивая его об артистках и об их покровителях. Буфетчик отвечал неохотно. Иванчук расплатился. В эту минуту в ресторацию вошел Штааль. В руке у него был букет, обернутый в тонкую бумагу.

«Его только не хватало, куды кстати», – со злобой подумал Иванчук. Штааль подходил к буфету, и ограничиться поклоном было невозможно.

– Ты что здесь делаешь? – небрежно протягивая руку, сказал Иванчук первое, что пришло в голову.

– Глупый вопрос, – кратко ответил Штааль, подавая левую руку.

Иванчук вскинул голову от неожиданности.

«Как этот болван озлобился после их похода, аж лицо стало другое. А ведь вернулся с поручением ранее всех и не ранен, слава Тебе, Господи! – подумал он. – Злится, что видел меня с Ростопчиным...»

– Мне коньяку дайте с зельцвасером, – неприятно щурясь, произнес Штааль и взял в левую руку букет с проступавшей на бумаге влагой.

– Белого или желтого прикажете?

– Желтого.

– Да ведь ты, кажется, не охотник до представлений, – сказал Иванчук, подчеркивая равнодушным тоном, что грубый ответ его задеть не может. – И то, скучно. Я, брат, признаться, зеваю от гипокондрии, когда не Шевалиха... Все одни

персонажи. И на сцене, и в зале.

– Ты мне уже говорил это в Каменном театре.

– Да, да, всегда зеваю, – повторил, несколько смутившись, Иванчук. «Однако, правда, какая у него стала неприятная физиономия. Совсем не тот, что был прежде», – подумал он.

– А когда Шевалье, то не зеваешь? – насмешливо спросил Штааль.

«Да, вот оно что, ведь он за ней волочится, дурак эдакой, – подумал Иванчук. – И букет для нее... Очень он ей нужен, твой трехрублевый букет...»

– Что ж, она без экзажерации² хороша, – сказал он. – И притом мила необыкновенно... Особливо не на сцене, а дома, – добавил Иванчук, и по лицу его вдруг скользнуло наглое выражение. – Я в четверг к ней собираюсь вечером. Ты, верно, тоже у ней будешь?

Штааль вспыхнул:

– Так ты у нее бываешь? Как же ты...

Он оборвал вопрос. «Ведь все равно этот лизоблюд не скажет, как он туда пролез. Какой он стал, однако, противный с тех пор, как в люди выходит!.. И голос жирный эдакой...»

– Бываю, бываю, – с невинным видом ответил Иванчук (он в первый раз получил приглашение). – В четверг уговорился быть у ней с патроном. Ну да, с графом Петром Алексеевичем... А ты разве не бываешь у Шевалихи? Твое начальство, кстати, тоже ее не забывает. Осенька де Рибас-то... Ведь ты

² Преувеличение (*франц.* exagération).

при нем состоишь? Да, кстати, ведь он получил абшит!³ Так ты теперь при ком же?

– Ни при ком, – кратко ответил Штааль.

– Ежели я могу быть тебе полезен, с превеличайшей радостью замолвлю словечко, – покровительственно сказал Иванчук. Он охотно давал такие обещания, так как считал, что они решительно ни к чему не обязывают: никогда без надобности не замолвлял словечка.

– И много народу у ней бывает? – перебил Штааль.

– У Шевалихи? Нет, немного, – неопределенно ответил Иванчук.

– Правда ли, будто она в связи с государем? – быстрым злым шепотом спросил Штааль.

Иванчук быстро оглянулся (буфетчик стоял далеко) и пожал плечами:

– Ну, разумеется, это всякий ребенок знает...

– А как же княгиня Гагарина?

– Что же Гагарина? Гагарина Гагариной... Ты бы еще спросил: «А как же императрица Мария Федоровна?» Глупый вопрос, брат, – сказал Иванчук, улыбнувшись от удовольствия.

– Тебя кто ввел к Шевалье? – как бы рассеянно произнес Штааль и зевнул.

– Кто ввел? – так же рассеянно переспросил Иванчук. – Ты знаешь, здесь дует. Еще получу кашель, и без того физика

³ Отставка (нем. Abschied).

расстроена... Пойду в зал... Кто ввел? Право, не помню. Мы давным-давно с ней хороши.

– А я думал, ты по вечерам в ложах, – сказал, с ненавистью на него глядя, Штааль. – Ведь ты стал фреймасоном?

Иванчук опять беспокойно забегал глазами по сторонам.

– Да ты не волнуйся, никто не слышит. Говорят, в «Умирающем сфинксе» много всяких богачей и знатных персон... Или ты не в «Умирающем сфинксе»?.. Ведь, кажется, и государь – масон? Так чего ж бояться? Совершенствуйся, брат, не мешает... Ну, вот теперь молчу, люди идут.

В дверях ресторации показалось несколько человек. Среди них был весело чему-то смеявшийся граф де Бальмен. Он подошел к буфету и поздоровался с Иванчуком и с Штаалем.

– Mais je la trouve très gentille, la petite, au contraire,⁴ – громко сказал он, оглядываясь на свою компанию.

– Кто эта жантель? – покровительственно спросил Иванчук.

Де Бальмен уставился на него круглыми глазами, затем снова покатился со смеху.

– Что ж, как потеплеет, поедем на юг? – спросил он, видимо тщетно придумывая объяснение своему веселью. – Ведь решено?

– Поедем, ежели отпуск получу. А то работы у графа пропасть, истинный аркан. Может, и вовсе не поеду...

– Ты у графа по какой части? По Тайной канцелярии? –

⁴ А по-моему, она, наоборот, очень мила (*франц.*).

вызывающе спросил Штааль.

Де Бальмен удивленно на него взглянул. Иванчук вспыхнул. В это время издали донеслись шумные рукоплесканья. Из ресторации все устремились в залу. На сцене, сияя умиленной актерской улыбкой, стояла, вся в бриллиантах, госпожа Шевалье. Публика бешено аплодировала. У барьера, отделявшего залу от сцены, толпилась молодежь, восторгу которой кисло снисходительно улыбались, подбирая под себя ноги, важные люди, сидевшие в первом ряду паркета. Штааль пробился к барьеру, бросил свой букет к ногам артистки и отчаянно захлопал. Аккомпаниатор поднял букет, скромным жестом протянул его госпоже Шевалье и отступил на шаг назад. Красавица улыбнулась Штаалю особо и, опустив голову, поднесла букет к лицу. Еще несколько букетов упало на сцену. Аккомпаниатор подошел к клавесину, но не сел. Часть публики продолжала хлопать, часть взволнованно шипела, призывая к тишине. Артистка как бы с трудом оторвала лицо от букета и повернула голову к аккомпаниатору, который тотчас, стоя, опустил руки на клавиши. Молодежь бросилась по местам. В ту же секунду публика стала подниматься: клавесин играл мелодию «God save the King».⁵ Госпожа Шевалье запела по-русски:

Крани, Гаспод, крани
Монарка Россов дни,

⁵ «Боже, храни короля» (англ.).

Гаспод, крани...

Она пела, не разбирая заученных слов, произносила их по-французски и сама мило улыбалась своему произношению. Подавленный стон восторга пронесся по залу. То, что артистка выговаривала «гаспод-крани», еще усиливало общее восхищение.

...Рассискик он сипов
И слава, и льубов;
Драгие Павля дни,
Гаспод продли!

Госпожа Шевалье закрыла глаза и взволнованно шагнула назад. В первой ложе, слегка перегнувшись над барьером, восторженно захлопал граф Пален.

II

Не дожидаясь последней пьесы длинного спектакля, Иванчук вышел в сени, потребовал шубу и дал на чай лакею, сказав: «Прощай, Петр». Другой лакей, сняв шапку, широко раскрыл перед ним выходную дверь. Иванчук поднял воротник и, постаравшись не заметить второго лакея, вышел на крыльцо, сжимая губы и ноздри. Туман рассеялся. Было очень холодно. Резкий ветер задувал горевшие у лестницы фонари. Будочников не было видно, и Иванчук об этом по-

жалел: он очень любил полицию. Небольшая кучка людей толпилась у цепи экипажей. Огромный бородатый сбитенщик с полотенцем, переброшенным через плечо, вдруг вытянулся перед Иванчуком у фонаря и закричал диким голосом: «Кто начнет, того Бог почтет...» Иванчук испуганно отшатнулся, затем крепко ругнул сбитенщика. Тот смеялся пьяным смехом, – видно, он уж не раз проделывал эту шутку с выходящими из театра людьми и старался ею рассмешить народ. Иванчук неторопливо пошел вдоль вереницы извозчиков, как будто хотел для прогулки вернуться домой пешком: он никогда не брал первого в ряду, зная, что первый возьмет дороже. Дойдя до середины цепи, он, точно передумав, остановился и нанял, поторговавшись, извозчика, который, под недоброжелательный ропот, выехал из цепи, тотчас за ним замкнувшейся. Высокий сбитенщик следовал за Иванчуком и бормотал пьяным голосом: «А у вашего Никитки вот-то хороши напитки...» Иванчук презрительно отвернулся, плотно застегнул шубу и вложил руки в муфту. «Как бы его не встретить, – подумал он, имея в виду государя, при встрече с которым приказывалось выходить из экипажей. – Жуть какая, однако...»

По темному небу, догоняя сани, неровно бежала, вспыхивая голубыми краями, тусклая луна, окаймленная мутным сияньем. Извозчик свернул на Миллионную и поехал скорее. Иванчук, немного освоившись с пустынной, слабо освещенной улицей, тишиной и холодом, стал соображать расхо-

ды: билет, водка, на чай лакею, извозчик в оба конца... По мере того как росло благосостояние Иванчука, он становился все скупее: не потеряв времени на службе, он имел уже и клочок земли, и закладную на каменный дом, который, по состоянию дел и по характеру должника, непременно должен был скоро достаться Иванчуку в собственность. Были у него и деньги в Гамбургской конторе. Земли он не скрывал – говорил, что имение, хоть недурное, совсем не приносит дохода, а продать опять же нельзя: родовое. Но закладную, и особенно капитал за границей держал в большом секрете. Иванчук не боялся, что у него попросят займы: ему не стоило бы никакого усилия отказать – даже и неприятно не было бы несколько. Но молчать было все-таки лучше. Он приторговывал еще другое имение под Житомиром, собирался туда съездить и уже подготавливал общественное мнение к своей покупке: знакомым он говорил неопределенно, что, быть может, ненадолго съездит по делу на юг; близким же приятелям доверительно сообщал, что, если б у него были деньги, он, пожалуй, купил бы еще клочок земли, где-либо под Полтавой или в Новороссии. Иванчук был скрытен не по замкнутости характера и даже не из расчета (никто не мог помешать ему купить имение), а так: не то по ограниченности, не то по наследственному инстинкту. В действительности он твердо решил купить имение на Волыни и стать настоящим помещиком (первый клочок земли был действительно невелик и без порядочного дома). Но Иванчуку не хотелось сра-

зу вынимать немалую сумму денег из Гамбургской конторы. «Теперь всего можно ждать», – мысленно повторил он фразу, которую говорили все.

Хоть ему, собственно, ничего не приходилось бояться – он не имел никакого соприкосновения с императором, – мысли эти вызвали в Иванчуке смутное беспокойство, и одновременно он почувствовал, что еще было что-то неприятное – совсем недавно – в театре. «Да, Штааль. Ну и черт с ним! И не любит она его больше... Только как же с ней быть, с Настенькой? Надо попросить Шевалиху. Ей одно слово сказать, и Настеньку примут куда угодно...»

Он поспешно высвободил руку из муфты, нагнул голову и схватился за шапку. Слева рванул пронзительный ветер. У Иванчука захватило дыхание, слезы выступили на глазах и защемило в висках. Открылась темная огромная Нева, с медленно двигавшимися белыми пятнами последних, крытых снегом, льдин. В черной воде быстро дрожали вертикально в нее погруженные узкие огненные столбы. Извозчик повернул направо, выехал на площадь и торопливо сорвал с себя шапку.

Вдали чернела громада Михайловского замка. Лунный свет поблескивал на золотом шпиле. Два окна в верхнем этаже горели красноватым огнем.

«Зачем он шапку снял? Ведь государь еще не живет здесь... Или он сейчас во дворце?» – подумал Иванчук – и тоже немедленно обнажил голову, как предписывалось в по-

следнее время делать перед дворцом, в котором находился император. Извозчик съезжился и подтянул вожжи, зажимая под мышкой худую желтую шапку. Морщась от дувшего в затылок ледяного ветра, придерживая рукой волосы, Иванчук не отводил глаз от дворца. Михайловский замок был неприступен и страшен. «Совсем почти готов. Капитальная, однако, штука... И то сказать, обошелся, говорят, в восемнадцать миллионов, – ну, правда, и крали немало», – думал Иванчук. По ту сторону канала произошло движение. Ворота дворца медленно открылись. За ними у пушек показались окаменевшие фигуры часовых. «Это какие же ворота, Воскресенские?.. Нет, Рождественские», – подумал Иванчук и вдруг вздрогнул. Вблизи загредел барабан. Что-то огромное пошатнулось над каналом. Быстро опустился подъемный мост. Из ворот, стоя в коляске лицом к Михайловскому замку, быстро выехал офицер. Барабан замолк, раздалась команда, мост снова взвился над каналом. Извозчик растерянно оглянулся на седока с козел. Лицо у него было бледное.

– Поезжай живее, ты! – приказал Иванчук, соображая, можно ли уже надеть шапку. Извозчик ударил вожжой по лошади и пробормотал что-то невнятное. «Зачем, в самом деле, этот мост, зачем пушки? Или вправду, как болтают, затеян кем-то заговор?» – спросил себя, замирая, Иванчук, нервно откидываясь на неудобную невысокую спинку саней. Он с облегчением подумал, что не имеет и не будет иметь никакого отношения к заговору (если заговор и существует).

«Разве только играя наверняка? И то нет». Мысли его перескочили к Тайной канцелярии, затем к масонам. Иванчук лишь недавно стал масоном, узнав, что в ордене состоит государь. «Да, полно, еще состоит ли?» – думал он беспокойно, вспоминая, что в ложе разговор всегда странно обрывался, когда речь заходила об императоре. «Не спросить ли об этом нынче Баратаева? Нет, еще неловко. А проще бы, пожалуй, орудовать через Шевалиху или Ростопчина, чем через них». Он очень боялся масонов, особенно потому, что не знал пределов их власти и компетенции. «Ну, если они губернатора пожелают другого назначить – могут аль не могут?» Он все же склонялся к тому, что не могут.

Мысли его стали совсем мрачными.

Из предосторожности Иванчук велел извозчику остановиться, не доезжая до баратаевского дома, в котором должно было состояться заседание масонской ложи. Вытащив из кармана кусок бумаги, он старательно вытер им сапоги, бросил грязный комок на мостовую, вылез из саней, расплатился с извозчиком и, осмотревшись, направился дальше пешком. В доме Баратаева были освещены только три окна. Лакей запуганного вида, дремавший в передней под фонарем, с удивлением посмотрел на Иванчука. Шуб на вешалке не было.

– Что, разве никого нет у барина? – спросил Иванчук.

Узнав, что никого нет, он посмотрел на часы, затем нерешительно велел о себе доложить. Лакей, однако, не пошел

докладывать, а пригласил гостя следовать за собой. Они пошли по лестнице, затем по коридорам. Запахло аптекой. У высокой двери лакей испуганно остановился, постучал, затем, открыв дверь, пригласил гостя войти. В освещенной свечами комнате никого не было. Иванчук осмотрелся и с неприятным чувством увидел стоявший в углу на небольшом пьедестале человеческий скелет. Постарался устроиться от него подальше: сел было за большой стол, посередине комнаты, но и тут ему не понравилось. На столе под укрепленной на песчаной бане ретортой с какой-то красноватой жидкостью горел слабый огонь. Иванчук перешел к маленькому, обтянутому черным бархатом столу, на котором лежали разные книги. Он сел на неудобный низкий стул, подогнув под себя ноги, сложив руки, которые решительно некуда было деть. Против него висели на стене в черных рамах две картины. Одна изображала фигуру человека. На светло-коричневой груди его с левой стороны, чуть повыше сердца, свилась зеленая змейка с надписью «Самолюбие». Под фигурой было написано: «Земной естественной темной человек». На другой картине пожилой бритый мужчина в тоге и сандалиях, вытянув в сторону левую руку, сидел в задумчивой позе где-то очень высоко, над памятниками, куполами, крышами города. Надпись поясняла:

Ужели это все?.. так Цесарь возвещал,
Когда вселенною он всей возобладал.

Неприятное чувство все усиливалось в Иванчуке. Он потрогал черный кожаный переплет одной из книг, затем нерешительно стал пересматривать книги. «Господина Макара начальные основания умозрительной и деятельной химии»... Immanuel Kant. «Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik...»⁶ «Это тот кенигсбергский старичок, о котором всегда врет Штааль... А это что, экое длинное заглавие!» Он прочел полушепотом заглавие книги в дорогом золоченом переплете (по-немецки он знал лучше, чем по-французски): «Die wahrhafte und vollkommene Bereitung des philosophischen Steins, der Bruderschaft aus dem Orden des Gulden- und Rosen-Creutztes. Darinne die Materie zu diesem Geheimniss mit seinem Namen genennet, auch die Bereitung vom Anfang bis zum Ende mit allen Handgriffen gezeiget ist...».⁷

«Так и есть, он розенкрейцер», – подумал Иванчук. Слово «розенкрейцер» было интересное и страшное, гораздо интереснее и страшнее, чем фреймасон.

Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел Баратаев. Иванчук поспешно встал, сделал несколько шагов вперед и мягко улыбнулся. Но хозяин, не глядя на

⁶ Иммануил Кант. «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» (нем.).

⁷ «Истинное и полное [описание] изготовления философского камня, данное братством Ордена гульденкрейцеров и розенкрейцеров. В коем сущность этой тайны поименована и само изготовление со всеми его приемами от начала до конца изложено...» (нем.)

него, быстро подошел к большому столу и наклонился над ретортой. Неловкая улыбка повисла на лице Иванчука. Он испуганно смотрел на Баратаева.

Красная жидкость в реторте слегка дрожала. Со дна по краям побежали пузырьки. Вдруг пузырьки появились и посередине, вся поверхность жидкости задрожала, и на конце длинного оттянутого горла реторты показалась бесцветная капля, выросла и сорвалась в подставленную под горло черную бутылочку. Баратаев с восклицанием быстро отвел из-под бани черную лампу. На лампе была надпись: Ardarel.

«Что ж, этот сумасшедший и не думает со мной поздороваться», – подумал Иванчук, нехотя готовя себя к тому, чтобы обидеться (он очень не любил обижаться). Но обидеться он не успел. Баратаев повернулся к нему и протянул свою огромную, длинную руку.

– Прошу простить, сударь, – сказал он. – Не считите невниманием.

– Ах, ради Бога...

– Прошу садиться, – отрывисто произнес хозяин и снова наклонился над ретортой. Красная жидкость медленно успокаивалась. Баратаев взял из-под горла черную бутылочку (на ней было написано: Nekaman) и закупорил пробкой.

– Рад посещению, – вопросительным тоном сказал он, садясь в кресло. Изможденное лицо его было мрачно и неприветливо. Во впадинах щек темнели тени.

– Я, кажется, приехал слишком рано, – начал Иванчук. –

Помнилось мне, будто собрание нашей ложи должно быть в осьмом часу?..

Баратаев смотрел на него, очевидно стараясь что-то сообщить.

– Собрание ложи? – переспросил он холодно. – Отложено. Жалею... Будет не у меня, но на Васильевском острове.

– Как отложено? – воскликнул Иванчук. – Мне ничего не дали знать.

– Из чужих земель прибыло одно лицо, – сказал нехотя Баратаев. – Имеет важную новость об их делах и о французском Востоке. Собрание по сией причине отложено. Не чаю, чтобы было ранее той недели... Верно, не знали, где изволите стоять. Не взыщите.

– Да что ж, беды никакой, – сказал Иванчук с достоинством и поднялся с места. – Тогда не смею более беспокоить.

Хоть он нисколько не желал оставаться в обществе старика, в этой странной комнате, – его неприятно задело, что хозяин ничего не сказал и даже не пытался его удержать. Баратаев проводил Иванчука до двери и простился, недоброжелательно глядя на гостя. Стараясь не сбиться в неровных, очень плохо освещенных коридорах дома, Иванчук вышел к лестнице. В передней сгорбленный старик, при помощи лакея, с трудом освобождал руки из рукавов шубы. Отдав шубу лакею, старик устало опустился на скамейку, скользнув по Иванчуку острым взглядом из-под густых желто-седых бровей. «Дряхлый, однако, черт!.. Лоб что старая кость», – подумал.

мал Иванчук. Ему очень хотелось узнать, кто это. Но узнать было не у кого. Он с полупоклоном приподнял шапку и вышел.

Иванчук вернулся домой в десятом часу, еще побывав в двух местах, – в одном по делу, в другом больше так, чтобы напомнить о себе людям. В гостях он не засиживался – не любил поздно возвращаться домой (хоть имел особое разрешение для выхода на улицу в ночные часы). Жил он вблизи Невского, в небольшой квартире из четырех комнат, которая была бы совсем хороша, если б парадная лестница была побогаче. К Иванчуку, впрочем, редко ходили приятели – он не всем сообщал и свой адрес. Но зато когда принимал гостей, то бывал очень хорошо расположен и всячески о них заботился.

Усталый и возбужденный, он возвращался домой пешком, внимательно всматриваясь в редких прохожих, шедших ему навстречу, и оглядываясь на тех, кто шел позади. Мысли его были заняты Настенькой. Не было надежды, чтобы она ждала его так поздно, но Иванчуку очень хотелось ее увидеть. Ему вдруг пришло в голову, что все его занятия и успехи, в сущности, ничего не стоят по сравнению с наслаждением и счастьем, которые давала ему Настенька. Эта мысль его удивила и растрогала. «Не бросить ли все, в самом деле, и не увезти ли ее в деревню? Право, надо бы подумать...»

Подходя к своему дому, Иванчук ускорил шаги, отпер дверь, затем поспешно повернул за собой два раза ключ в

замке и еще для верности потянул дверь за ручку – точно кто-то за ним бежал и собирался ломиться в дом. Его сразу охватило чувство спокойствия и уюта, как после счастливо избегнутой опасности. Лестница была слабо освещена желтоватым огоньком сальной свечи, горевшей на первой площадке. Ковер на ступенях был лишь до второго этажа, да и то потертый и грязный. По нижней лестнице Иванчук шел на цыпочках (жилец бельэтажа, сердитый немец, не любил шума); на второй площадке он остановился и подумал, что сейчас за дверью сонно заворчит собачонка, та, что спит у капитанши Никитиной, на сером тюфяке, на пороге боковой комнатки, в которой помещается Володя, кадет первого корпуса, когда ночует у матери. «Сегодня, верно, дома; суббота...» Иванчук знал в подробностях все, что делалось в квартирах жильцов его дома и даже в соседних домах. Собачонка заворчала, и он удовлетворенно пошел дальше. На третьей площадке было уж совсем темно, но Иванчук и в темноте мгновенно, безошибочным движеньем, отыскал ключом скважину замка, отпер дверь и по отсутствию полосы света на полу коридора с грустью убедился, что Настеньки не было. Он вздохнул, засветил свечу и вошел в столовую. На столе стояли блюда, покрытые перевернутыми тарелками, и бутылка пива. Под ней Иванчук тотчас увидел бумажку, сложенную лодочкой, как всегда складывала письма Настенька. Он развернул листок и прочел. Записка была заботливая и нежная. Настенька извещала, что ждала его до половины де-

вятого, потом ушла и что на малом блюде рубленая селедка с луком, «как вы любите», а на большом – телячья котлета и ее можно разогреть, и это лучше, чем есть холодной. «Прелесть какая милая», – подумал Иванчук с нежностью и даже хотел поцеловать записочку, да стало совестно. Он надел мягкие туфли, снял кафтан, галстук, повесил их, как им полагалось висеть, и с жадностью поужинал, думая, по давно заведенной привычке, во время еды только об еде, – так было много приятнее. Затем он перебрался в гостиную, которую особенно любил. В ней мебель была совсем новенькая, модная и блестящая: выкрашенная под красное дерево, с медузиными головками накладной латуни, обитая красным кашмиром, с красной бахромой и кистями. В гостиной немного пахло перцем, которым хозяин выводил моль. Иванчук сел в мягкое кресло, протянул ноги к печке и опять вернулся мыслями к Настеньке. Ему очень хотелось бы посидеть с ней похорошему. «Эх, надо было прийти раньше... Да, в самом деле, не бросить ли все это?» Его трогало, что он так сильно любит Настеньку; он попробовал представить себе жизнь без нее, – конечно, представить было можно, но жизнь выходила не та. «Не жениться же мне на ней, однако», – нерешительно подумал Иванчук и сам испугался, что подумал об этом так нерешительно. От усталости, от тепла, от еды и пива его сильно клонило ко сну. Он рассеянно снял нагар со свечи и вспомнил, что кто-то сегодня при нем смешно называл это по-

французски: *moucher la bougie*⁸... «Страшный еще тоже был скелет в кабинете того сумасшедшего... И что это он все кипятит?» Глаза у Иванчука стали маленькие. Он с усилием оторвал ноги от печи, поднялся и торопливо, пошатываясь, перешел в спальную. Кровать была постлана, концы розового стеганого одеяла вынуты из-под подушки и положены поверх наволочки. Это тоже было Настенькино дело, еще более трогательное, чем забота о селедке и о телятине. «Милая девочка», – сказал опять Иванчук и радостно подумал, как он завтра по привычке проснется ровно в шесть часов, вспомнит, что рано вставать не надо: воскресенье, – и тотчас снова заснет уже до десяти. Он быстро разделся, лег, вздрагивая от прикосновения холодной простыни, вытянул ноги под одеялом и с наслаждением уперся ими в тепловатую деревянную спинку кровати, так что в коленках захрустело. «С Настенькой было бы приятнее, но и так хорошо», – подумал он, согреваясь. На столике, рядом со свечой, графином и коробочкой карамели, лежала книга «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Иванчук, зевая, вытащил конфету и с усилием развернул бумажку. Кусок бумажки пристал к конфете, но отскребывать не хотелось. Иванчук положил карамель в рот, постаравшись возможно скорее выплюнуть шероховатую бумажку, взял книгу и, скосив глаза набок, стал читать «утехи отца и матери и вообще удовольствия блаженного супружества». Книга была забавная,

⁸ *Moucher* – вытирать нос; второе значение – снимать нагар со свечи (*франц.*).

но и спать было очень хорошо. Карамель во рту растаяла. Иванчук почитал еще об уловках, проказах и шутках любовниц, все представляя себе при этом Настеньку, улыбнулся и вдруг, не поднимая головы от подушки, дунул. Пламя свечи метнулось в сторону, но не погасло. Он сделал отчаянное усилие, поднялся на локте и задул свечу. Хотел еще положить книгу на столик, но уже не мог. «Еще, пожалуй, стакан опрокину», – подумал Иванчук, засыпая.

III

Ламор уселся в кресло и внимательно осмотрел комнату.

– Вы у Демута остановились? – спросил Баратаев по-французски.

– Да, у Демута.

– Отчего же не у меня? Я вам предлагал свой дом.

– Благодарю. Зачем вас стеснять? Да и мне, пожалуй, здесь было бы невесело. Я хочу сказать, не так весело, как всегда... Это ваша лаборатория?

– Да.

– Я очень люблю химию... И алхимию... Ведь это, впрочем, одно и то же. Вдруг химия переродит мир, а? Я когда-то много спорил о перерождении мира с графом Мирабо. Умный был человек, чрезвычайно умный, хоть занимался всю жизнь пустяками. Так он и умер, от попыток возродить мир и от последствий сифилиса... Скучная, в общем, вещь исто-

рия, а отдельные эффекты все-таки попадают блестящие и неожиданные. Вот я и думаю: что, если миру суждено переродиться самым неожиданным образом? Революция человечество, наверное, не накормит, а алхимия, может быть, и накормит. Сытое человечество, как сытый зверь, станет спокойнее, смиреннее и, вероятно, бездарнее. Но тогда вы, пожалуй, создадите в этой лаборатории гомункулуса? Только, пожалуйста, не «по образу и подобию Божию».

– Что ж, вы были у Панина? – спросил Баратаев. «Заладил с места», – подумал он угрюмо.

– Был. Умный и интересный человек, – очень, правда, беспокойный, как, впрочем, кажется, теперь вы все? У меня были к нему рекомендательные письма. Ведь дело между Россией и Францией идет к миру.

– А вы, собственно, зачем к нам пожаловали?

– По просьбе первого консула. Он предложил мне съездить в Петербург, посмотреть, что делается, послушать, что говорится, и обо всем ему доложить. Не скрываю, у генерала Бонапарта сейчас здесь немало агентов, секретных, полусекретных и даже совсем почти не секретных. У первого консула, как у многих государственных людей, есть маленькая слабость к тайным агентам.

– Поговаривают у нас о здешней артистке, госпоже Шевалье.

– Я собираюсь к ней заехать. Сам я себя особенной тайной не окружаю да никаких таинственных поручений и в самом

деле не имею. Только что паспорт не совсем настоящий, но у меня настоящего давно, давно нет, и зачем же непременно иметь настоящий паспорт? Первый консул вдобавок, я слышал, в большой милости у вашего монарха? Правда ли это?

– Не знаю... Меня мой монарх интересуется мало. Да и первый консул немногим больше. Зато у вас он в большой милости? По-прежнему?

– Нет, пожалуй, несколько меньше прежнего... Вы, помнится, меня когда-то упрекали, что уж слишком грубо я подхожу к людям и к жизни: главного будто бы не вижу и не понимаю. Может быть: я и сам иногда так думаю. А все-таки скажу: кого только я, древний старик, не встречал, кого не знал близко!.. Что ж, ошибался ли я в оценке людей, с которыми сталкивала меня судьба? Да, разумеется, бывало. Но как? Недооценивал? Нет, – истинно вам говорю – я переоценивал гораздо чаще. Теперь (уже довольно давно) я к каждому новому человеку подхожу с самыми худшими предположениями на его счет. Поэтому я остаюсь вполне равнодушным, когда мои предположения сбываются, а в случае ошибки испытываю приятное удивление. Так много спокойнее жить. Советую и вам попробовать... Руссо, король трагикомических писателей, утверждал, что человек рождается совершенным – и становится мерзавцем. Что, однако, если он и рождается, – скажем, не вполне совершенным? А то, в самом деле, откуда взялись бы и инквизиция, и драгоннады, и террор, и санфедисты, а?

– Так что же?

– И хоть бы счастье это ему давало, – нет, он вдобавок еще и несчастен. Я на своем веку видал с десятков счастливых людей – из них человек пять были круглые дураки, остальные пьяницы или, реже, фанатики. И хоть бы несчастье облагораживало, как это часто утверждают. Вздор! Никого оно не облагораживает. От вполне несчастных людей веет скукой – и только. Мы инстинктивно их избегаем... Я почему об этом заговорил?.. Да, вы спрашивали меня о Бонапарте. Спора нет, генерал Бонапарт – огромный человек. Однако и его историческую роль я несколько переоценил. Первому консулу достался в наследство от Директории большой публичный дом. Бонапарт медленно и верно перестраивает его в казарму. Разумеется, казарма во всех отношениях лучше публичного дома. Но это все-таки лишь казарма, а никак не Эдемский сад и не Платонова академия.

– Так вы рассчитывали на Эдемский сад? – с неприятным смехом сказал Баратаев. – Жаль, что разочаровались... Но зачем же вы продолжаете служить первому консулу?

Ламор помолчал.

– Вопрос правильный, и ответить мне нелегко. До 19-го брюмера было бы легче. Долго я ждал конца – и дождался. Сделано это дело было мастерски – вы, верно, уже слышали? Я был в день переворота в оранжерее Сен-Клу. Мне дано было стать свидетелем исторической расплаты за десять лет словоблудия. Не говорю, за десять лет преступлений: пре-

ступлений и теперь будет достаточно... Я слышал, как вдали раздался зловещий грохот барабанов. Я видел, как гренадеры Мюрата ворвались в залу заседаний. Это было незабываемое зрелище. Господа депутаты прыгали из окон дворца, путаясь ногами в своих величественных римских тогах. Все эти люди сто раз клялись лечь костями за дело свободы. Их здоровье сейчас, слава Богу, не оставляет желать ничего лучшего. Впрочем, я здесь, кажется, пристрастен. Знаю за собой некоторое недоброжелательство в отношении этих людей. Ведь цели-то у них были в конце концов недурные... Не люблю, не люблю самодовольства, – с внезапным раздражением сказал Ламор. – А у этих передовых людей личики всегда так и сияют. За ними, видите ли, история! Радость какая, а? Один черт знает точно, за кем история. Может, и за ними... Большая дорога, кажется, в самом деле идет именно в этом направлении. Правда, и сворачивает иногда история с большой дороги. Вот теперь ее немного повернул Бонапарт. Будет трагическое интермеццо между скучноватыми действиями.

Ламор помолчал. Баратаев глядел на него угрюмо.

– Таким образом, с эстетической стороны я был вполне удовлетворен событием брюмера – грех жаловаться и чего же еще желать? Но этого, конечно, недостаточно для «исторического оправдания дела»... Прекрасное слово «историческое оправдание», – я всегда его любил. Прежде я думал, что мы с генералом Бонапартом спасаем остатки француз-

ской культуры. Но теперь начинаю подозревать, что она прекрасно могла спастись и без нас. Очень выносливая вещь – культура: вынесла халифа Омара, вынесла Аттилу, вынесла Тамерлана, – может быть, ее не погубили бы и еще лет десять – пятнадцать революции. Как вы думаете? Я говорю себе в утешение, что первый консул выполняет роль исторического сита: через него процеживается наследье умершего восемнадцатого столетия. Мне суждено было провести жизнь в этом столетии – грешный человек, я его люблю. Не скучал – и на том спасибо... Можно, можно кое-что оставить. Разумеется, немало дряни пройдет сквозь сито, немало ценного останется на сите – ничего не поделаешь. В общем, все-таки сито – вещь нужная. Только теперь, видите ли, во Франции началась «созидательная работа». А это совершенно не мое дело – снабжать деревни повивальными бабками. Трудно вообще от меня требовать политических восторгов, но у нас мне было особенно тяжело. Для старика, как я, нет ничего мучительней, чем новая жизнь на старом пепелище. Тяжело было смотреть, как разрушали, но право, легче было, чем теперь, когда строят. Они все теперь что-то строят, все во главе с первым консулом. Новое строят, и все точно повторяют: новое, новое, новое... Очень может быть, что это новое будет и лучше старого. Ненамного, конечно, лучше. Но смотреть мне на это было гадко. Я не прочь был съездить к вам в гости...

– Милости просим.

– Надо же что-нибудь делать. Только уж очень у меня разъехались мысли, и все труднее мне их связать, склеить, прилизать... Ведь чего живой человек за один день не передумает, а тем более за семьдесят лет!.. Есть люди, у которых не один, а несколько характеров. И добрый десяток умов на придачу. Я у нас во время террора мечтал о режиме Людовика XIV. Пышный двор, блеск, красота, а? Взять Лувр или Версальский дворец – ведь демократия таких не выстроит, правда? Или Notre Dame? Ни для университета, ни для парламента, ни даже для биржи этакого храма не создадут... Что и говорить, не Бог знает какие орлы нынешние европейские монархи. Но все-таки сколько красоты унесут они с собой из мира, когда исчезнут навеки! Так я думал, сидя в Консьержери. А вот поживу у вас, вероятно, помяну добром покойного Робеспьера. Упокой Верховное Существо его бессмертную душу! Скачут, скачут мои мысли...

– А вы лечитесь.

– Не стоит: скоро умирать.

Он взял со стола книгу.

– Канта читаете! Я проездом был у него в Кенигсберге. Лучше было бы, если б не заходил: тяжело! Он впал в детство, не меняет больше белья, подвязывает чулки к пуговицам жилета. Уверял меня, что погода составила против него заговор... Очень тяжело смотреть. Я на своем веку, как, впрочем, все люди, видел достаточно разных memento

mori!⁹ Чем *memento mori* банальнее, тем оно действительно. Заметьте, что и мысли, связанные с *memento mori*, всегда очень банальны. Ну, труп, могила, черви – умного ничего не скажешь. Однако впавший в полуидиотизм Кант – это такое зрелище, которое не может изгладиться из памяти. Другой об этом забудет, а вспомнит «Критику чистого разума». Я «Критику» помню, но и этого при всем желании никак не могу забыть... А за всем тем что ж?.. Вы говорите, я все ненавижу. Это неверно. Я многое люблю. Природу очень люблю. Не то что какую-нибудь долину Колорадо (красивей я ничего не видал) – нет, самую обыкновенную природу: где есть вода, и солнце, и зелень, там и чудесно. Даже в вашем петербургском холодном ветре есть своя прелесть. Музыка тоже очень люблю. Умные книги еще больше люблю. Только ум и талант ведь и живут вечно. Ну, не вечно, так долго. Теперь я, впрочем, мало читаю, больше о делах инквизиции, о делах революции, – чтобы приятнее было, знаете, покидать эту милую землю... Да, кстати о книгах, я вам привез подарок, зная, что вы занимаетесь химией.

Он вынул из кармана небольшую тоненькую книжку в белом кожаном переплете.

– Что это такое?

– Это автобиография алхимика XV столетия, графа Бернарда Тревизского, довольно редкое издание. Прелестная вещь... Граф был очень славный, доверчивый человек, от

⁹ Помни о смерти (*лат.*).

всего сердца любивший науку. На нее, на опыты, на путешествия в поисках философского камня, он потратил все свое состояние. Очень он трогательно рассказывает, как его надували разные нехорошие люди. Так и дожил, бедный, до седых волос. Впрочем, я вам прочту.

Ламор перелистал книжку и, отыскав нужную страницу, стал читать:

– «Et par ainsi le despendy en ces choses, que cherchant que allant, que pour esprouer, que pour aultre chose bien dix mil trois cens escuz & fuz en moult grade pouurete et si n'auoye plus guerres d'argent. Aussi l'estois ia vieulx de soixante deux ans & plus, & encoires quelque martire que j'eusse, peine, & souffreté, & vergoigne, qu'il me falloit laisser mon pays...»¹⁰

Он засмеялся:

– Наконец старик обозлился. Ругает этих шарлатанов последними словами, кричит: «trompeurs! larrons pendables! И советует бежать от них как от чумы: «Laissez sophistications, & tous ceulx qui y croient, fuyez leurs sublimations, coniunctions, separations, congelations, preparations, disiunctions, conexions & aultres deceptions». Я обрадовался, прелестный ведь старичок... Но выводом своим он меня порадовал еще гораздо больше.

¹⁰ «И таким образом я потратил на те вещи, которые искал и изучал, которые исследовал, а также на иные вещи десять тысяч триста экую и дошел до последней степени бедности и не имею более средств. И теперь я старик, мне более шестидесяти двух лет, я подвергался разным мучениям, испытывал горе, страдания и позор, и мне пришлось покинуть мою страну» (*франц.*).

– Каким выводом? – с раздражением спросил Баратаев.

– Оказывается, другие алхимики действительно идиоты и обманщики, но сам-то граф все-таки открыл великую тайну: «Car il n'y a aultre vinaigre que le nostre, ne aultre regime que le nostre, ne aultres coulleurs que les nostres, ne aultre sublimation que la nostre, aultre solution que la nostre, aultre congelation que la nostre, aultre putrefaction que la nostre...»¹¹

Старик засмеялся снова:

– Дарю вам это полезное сочинение.

– Благодарю за подарок. Я все же удивляюсь вашей смелости. Издеваться над тем, о чем не имеешь представления... Впрочем, бросим это.

– Да, бросим.

Ламор положил на стол книгу.

– Как вы знаете, я имею к вам и масонское дело, – сказал он, помолчав.

– Знаю.

– Мы в прошлом году воссоздали Великий Восток Франции. Во главе его Ретье де Монтало. Уже действует несколько десятков лож, мы решили возобновить и международные связи. Сношения с Россией у нас прежде были довольно тесные – кому же и знать, как не вам? Мне поручено побеседовать в Петербурге с вами, еще кое с кем. Я уже говорил с ге-

¹¹ «Обманщики, мошенники, достойные виселицы!.. Бросьте эти подделки и всех, кто в них верит, бегите от их сублимаций, соединений, отделений, замораживаний, приготовлений, разделений, связей и прочих обманов» (франц.).

нералом Талызиным. Он просит меня подробно их со всем ознакомить.

– Ну что ж, вы и ознакомьте.

– Талызин пригласил меня к себе на ужин для разговора.

– Я знаю, он звал и меня. Вы о чем будете говорить?

– Хотел бы о многом, да не знаю, стоит ли? Ведь мне состав слушателей неизвестен.

– Будут люди умные и порядочные.

– И по-французски все понимают?

– Разумеется.

– Тогда я, быть может, поделюсь некоторыми своими мыслями. Говорил я во Франции, послушаю, что вы скажете...

– Так вы вернулись к масонству?

– Формально я всегда к Нему принадлежал... Но теперь увлечен его идеями больше, чем полвека тому назад. В мире дьяволу принадлежит все, а в масонстве только как-никак пятьдесят процентов. Ведь я, быть может, самый старый масон из всех ныне живущих на свете. Надеюсь, вас не очень удивят мои последние мысли. Я во многом гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Вот только обхожусь без скелета и без этих картинок для малолетних. Да и вы их, должно быть, повесили на стену лет тридцать тому назад, правда? Не снимать же на старости, я понимаю. Есть масонство общедоступное. Оно ни меня, ни вас не интересует, оно мало отличается от других религиозных учений. Разве что совместило с моральным совершенствованием производство в высшие степени,

что-то вроде служебного повышения... И есть символы большой глубины, есть величественная поэзия мысли. Я верю, что наш орден был основан Соломоном. Но к этому масонству можно прийти, только подарив окончательно мир дьяволу. Говорю аллегорически – вам, конечно, моя мысль понятна?

– Больше, чем понятна. Однако сомневаюсь в том, чтобы мы могли с вами сойтись... Может быть, в отдельных взглядах, но не в главном. Главное от вас всегда ускользало. Я давно вас знаю – и слышал от вас много самых разных речей... Слова и мысли были разные, а тон всегда один и тот же... Вы уж во всяком случае не из тех людей, у кого несколько характеров. Души у вас и одной не найдется. И упрекал я вас никак не в грубости мысли, а именно в этом: тяжел, очень тяжел и однообразен тон вашей души...

– Ведь и у вас он, кажется, нелегкий? Вы все-таки послушайте то, что я скажу у Талызина... Что за человек, кстати, Талызин?

– Прекрасный человек. Умный и благородный.

– Влиятельный?

– Не думаю, – сказал Баратаев с удивлением. – У нас кто же влиятелен? Ростопчин, Кутайсов...

– Вы их знаете?

– Желал бы не знать...

– Могли бы меня с ними свести?

– Нет, увольте. Всего влиятельнее сейчас, кажется, люди

из Тайной экспедиции. Но им нельзя руку подать.

Ламор усмехнулся.

– Руку можно подать кому угодно, – сказал он, глядя на часы, – я здоровался бы с Картушем... А о Палене вы что думаете?

– Очень умный человек.

– Да, по-видимому, Я не знаю, чего он хочет. Но он зато прекрасно это знает, – что бывает не так часто, особенно у вас в России... Так вы ко мне приезжайте, давайте пообедаете вместе? Хорошо кормят внизу у Демута. Неаполь вспомним... Очень милая была тогда у вас дама...

Он быстро взглянул на Баратаева.

– Эх, тяжело нам, старикам, – сказал как бы рассеянно Ламор. – Вот теперь немцы выдумали теорию трагедий. Знаете, в чем сущность трагедии? В воле, лишенной возможности осуществления. В воле, в желании, все равно. Если это есть, значит, налицо основное условие трагического конфликта. Уж эти немцы: глубокомысленный народ, только совершенно лишены чувства смешного. Говорят, и Эсхил на этом построен, и Софокл, и Корнель. Теперь еще Шекспир очень в моду входит... А в мое время он считался образцом дурного вкуса: темная вещь искусство – никто никогда не узнает, что это такое. Так, видите ли, и Шекспир построен на этом. Казалось бы, мы, старики, готовые трагические герои. А вот нет, занимаются нами одни комические писатели – да еще как: одного Мольера вспомнить! И действительно смешно:

не нам с вами, разумеется, а им, молодым. Но есть старички брюзжащие, вот как мы с вами. Это куда ни шло – по крайней мере, естественно. Зато я ужасно боюсь старичков, «сохранивших молодую душу»: они всегда за все новое, свежее, за молодежь и этак благодушно, видите ли, радуются на юношей и особенно на девушек: мы, мол, пожили, теперь ваше время, веселитесь, детки, веселитесь. Детки, дурачки, верят. Таких-то старичков они особенно и любят... Одно только устроено умно, то, что мы черствеем с годами и не так все это чувствуем. Да и смерть – чужую – переносим легче... Ну, я заболтался. Прощайте, до скорой встречи, – сказал Ламор, поднимаясь.

IV

...«La tyrannie et la démente sont à leur comble...»¹²

Панин имел привычку обдумывать важные депеши, расхаживая по своему огромному кабинету. В комнате было полутемно. Только на письменном столе горели свечи и в камине слабо светились последние тлеющие уголья. Никита Петрович еще прошелся раза два большими неровными шагами из угла в угол, повторяя вслух вполголоса свои мысли, по привычке замкнутого человека: депеша к Семену Романовичу Воронцову была готова.

Панин подошел к двери, запер ее на ключ, затем сел за

¹² «Тирания и безумие дошли до предела...» (франц.)

письменный стол, вытащил из ящика лимон и разрезал его пополам, морщась от скрипа тупого ножа, с трудом входившего в корку, и от брызнувшего на стол сока. Он выжал в стеклянную рюмку сок из половины лимона. В мутную, чуть желтоватую жидкость упало несколько зернышек и волокон. Наклонив левой рукой рюмку над корзиной, Панин вытащил зерна концом ножа. Мокрая косточка, минуя корзину, упала на ковер. Никита Петрович раздраженно поставил рюмку рядом с чернильницей.

«Совсем расшаталась душа, эдак нельзя», – подумал он и успокоился. Он просидел минуты две, старательно разглаживая средним пальцем золотой шероховатый позумент, окаймлявший темно-зеленую кожу стола. Затем взял одно из свежечиненных перьев, опустил его в рюмку и стал писать. Лимонный сок только секунду блестел на плотной бумаге, затем высохшие буквы исчезали, и писать было поэтому утомительно. Не отрывая от бумаги пера, чтоб не попасть им на то же место, Панин набросал несколько строк. Затем с недоверием взглянул на белый по-прежнему лист, на котором быстро высыхали последние слова.

«Si j'essayais? C'est pourtant bien ainsi qu'on le fait»,¹³ – подумал Никита Петрович. Ему еще не приходилось писать симпатическими чернилами. Он пододвинул к себе свечу и помахал исписанным листом высоко над пламенем. Бумага осталась белой. Панин опустил ее значительно ниже. Вдруг

¹³ «А если попробовать? Они делают это хорошо» (франц.).

выступили желто-оранжевые строчки, и в ту же секунду приятно запахло горелой бумагой. Никита Петрович отдернул лист с восклицанием досады.

«Да, все совершенно ясно, – подумал он, читая. – *C'est très commode en effet*». ¹⁴

Панин представил себе, как Воронцов будет тоже тайком, в запертой комнате, над свечой, проявлять депешу. Он хмуро усмехнулся. Ему странным показалось, что он, граф Панин, вице-канцлер Российской империи, должен из боязни полицейского надзора, из страха перед какими-то подьячими Тайной канцелярии, прибегать к воровским приемам для сношения с русским посланником в Англии, с Семеном Романовичем Воронцовым, одним из самых уважаемых и самых знатных людей России. «*C'est du propre!* – произнес он вполголоса. – *D'ailleurs, cette fois-ci il n'y a rien à craindre: La Тайная ne l'aura pas...*» ¹⁵

Он повернулся в кресле и выплеснул жидкость рюмки в камин. Уголья слабо зашипели. Панин взял другой лист бумаги и стал писать обыкновенными чернилами. Во второй редакции французские фразы выливались стройнее и глаже.

«*Je connais parfaitement, mon respectable ami, tout ce que vous devez souffrir en apprenant chaque jour quelque sottise nouvelle de chez nous, et je ne vous déguiserai pas que le*

¹⁴ «В самом деле, это очень удобно» (*франц.*).

¹⁵ «Вот мерзость!.. Впрочем, на этот раз бояться нечего: Тайная не узнает...» (*франц.*)

mal va en empirant, que la tyrannie et la démence sont à leur comble...»¹⁶

Фраза эта опять взволновала Панина. Он вскочил и зашагал по кабинету. Те мысли, которые Никита Петрович тысячу раз повторял в последнее время, представились ему с новой силой.

«Ежели мы, высшая аристократия страны, не положим конца царствованию, то народ возьмется за вилы, – сказал он себе. – Опять будет в прямом означении та же жакери, о которой по вечерам в Дугине, содрогаясь, рассказывал покойный батюшка. *Il s'agit, cette fois, du salut de la Russie.*¹⁷ Нельзя государству быть управляемому безумцем».

На мгновение ему представился последний прием у императора, хриплый бешеный крик, глаза с остановившимися зрачками. Панин вздрогнул и зашагал быстрее, укоротив неровные шаги.

«*Du moment qu'il en est ainsi, il n'y a pas de serment qui tienne,*¹⁸ – сказал он себе решительно. – Да, впервые в истории нашей фамилии Панин берет такую дорогу. *Mais entre le monarque et le pays, je choisis mon pays.*¹⁹ И батюшка, и дядя Никита Иванович поступили бы точно так же. Когда своево-

¹⁶ «Я вполне себе представляю, мой почтенный друг, как вы должны страдать, каждый день узнавая о какой-нибудь нашей новой глупости, и я не скрою от вас, что зло усиливается, что тирания и безумие дошли до предела...» (*франц.*)

¹⁷ «На сей раз речь идет о спасении России» (*франц.*).

¹⁸ «В такое время, как сейчас, никакая присяга не удержит» (*франц.*).

¹⁹ «Но между монархом и страной я выбираю мою страну» (*франц.*).

лие царей приходит в коллизию с интересом России, Панины выбирают Россию... Я не Ростопчин...»

Граф Панин, человек богато одаренный, безукоризненно порядочный и во многих отношениях весьма замечательный, не обладал тем особым сочетанием цинизма с энтузиазмом, которое нужно и свойственно настоящим политическим деятелям. Его природная нелюбовь к людям не выливалась в форму совершенного равнодушия, для политических деятелей весьма полезную, позволяющую им хладнокровно мерить друг друга и все на свете одной политической меркой. В Панине эта особенность характера переходила в тоскливое, безотрадное и несовместное с политикой состояние вечной мнительной раздраженности. Он думал схемами, но обнаженными нервами воспринимал людей. Ненависть к Федору Васильевичу Ростопчину, прошедшая через всю жизнь графа Панина, имела причиной не одно политическое разномыслие. Все было ему противно в Ростопчине: и его взгляды, и, еще гораздо больше, его круглое пухлое личико, волосы змейками и брови, высоко поднятые над круглыми выпученными глазами, его самоуверенный, трещащий голос, его французские шуточки, его каламбуры, его фамильярно покровительственный тон. Воспитанный в строгих традициях семьи Паниных, вице-канцлер любил холодок в отношениях с людьми. В детстве отец даже по-русски обращался к нему на «вы» и называл мальчика «любезнейший и дра-

гоценнейший друг, граф Никита Петрович». А сам он свои письма невесте, в которую был нежно влюблен, подписывал словами: «с неограниченной преданностью, на справедливейшем почтении основанною, вашему сиятельству вернейший граф Панин». Вице-канцлер по должности был подчинен Ростопчину как первоприсутствующему в Коллегии иностранных дел, и всякий раз, отправляясь в коллегию, Панин нервно себя спрашивал, как кончится заседание: отставкой, скандалом, дуэлью? Обычно Никита Петрович успокаивал себя тем, что он – граф Панин, сын знаменитого полководца, спасшего Россию от пугачевщины, племянник еще более знаменитого государственного деятеля, продолжающий их большое жизненное дело: для себя ему ничего не было нужно.

Он вернулся к столу, сел в кресло и опустил голову на руки. Панин чувствовал себя все хуже и не раз с тревогой задумывался, выдержит ли до конца то страшное дело, которое составляло теперь цель его жизни. Никита Петрович знал, что о заговоре уже ходят зловещие слухи, и все себя спрашивал, откуда они пошли. Предателей быть не могло. Он снова перебрал в уме еще немногочисленных участников заговора и, настраиваясь недоброжелательно к каждому из них, не мог, однако, найти никого, кто был бы способен на предательство. «Пален уверяет, что сама жизнь творит слухи о заговоре и что все равно мы теперь каждый день разыгрыва-

ем жизнь в кости. Il a raison, au fond.²⁰ Он всегда прав, Пален, – думал вице-канцлер, вспоминая холодное лицо с вечной усмешкой в углу плотно сжатых губ. – Но надо иметь его железную душу, его сердце старого игрока. Для него заговор – та же партия бостона, только с более высокой ставкой. Et il la joue en indépendance...²¹ – Панин усмехнулся своей шутке. – Он не привязывает цены к жизни, а до России ему нет дела. Он и не русской крови... Среди них я один русский. Еще Талызин...»

Он посмотрел на часы и позвонил, вспомнив, что в этот день у Талызина назначен прием, на котором должен сделать важное сообщение заезжавший к нему старый француз. Через полминуты ручка двери повернулась. Панин вздрогнул, кровь отхлынула у него от лица. «Забыл, что сам запер дверь на ключ... Да вздор какой! Je deviens fou!»²² – прикрикнул он на себя мысленно.

– Вели заложить карету, – сказал Панин лакею, открыв дверь.

«Первым делом надо бы поехать в Дугино отдохнуть, – подумал он, с наслаждением себе представляя свое любимое имение, засыпанные снегом аллеи в великолепном парке, застывшее пустынное озеро. – И главное, кругом ни живой ду-

²⁰ В сущности, он прав (*франц.*).

²¹ Термин игры в бостон. Так называется партия, которую один из игроков разыгрывает самостоятельно, без помощи партнера. – Автор.

²² «Я схожу с ума!» (*франц.*)

ши, это то единое, что мне нужно...»

Общество людей, даже тех, кого он любил и уважал, было в последнее время мучительно тяжело Панину. Все его раздражали. Значительная доля его душевных сил уходила на то, чтобы скрывать нервное раздражение, в котором он находился почти постоянно. «Да, пожить там, отдохнуть и, вернувшись, довести дело до доброго конца. *A bonne fin, c'est bien le mot...*»²³ Лицо его дрогнуло.

Целью заговора считалось отречение Павла. Участники дела, иногда, не глядя друг на друга, упоминали о загородном дворце, куда можно было бы поместить на остаток его дней открекшегося императора. При этом усмешка на лице графа Палена становилась еще более странной.

«Да, конечно, девяносто шансов на сто, что дело кончится убийством, или застенком, или тем и другим вместе... Ну а в самом лучшем случае, *admettons, soit!*²⁴ Дальше что? Лишить самодержавной власти безумца и передать ее мальчику, у которого ничего на уме, кроме юбок и танцев. Всю полноту власти над миллионами людей! *Mais c'est de la folie!*»²⁵ – вскрикнул Панин. Вечные мысли о конституции, об усилении роли аристократии, об увеличении прав Государственного совета беспорядочно теснились в его голове.

²³ «До доброго конца – хорошо сказано» (франц.).

²⁴ «Допустим, пусть так!» (франц.)

²⁵ «Но это безумие!» (франц.)

«Oui, c'est tout réfléchi,²⁶ но с кем делать все это? Кто последует за мной в этом пути? Лорд Уитворт? Или балтиец Пален, un joueur²⁷ производящий опыт со своей душою? Или разные мелкие авантюристы, дичь виселицы? Кто у нас думает об этом? Даже Семен Романович против конституций. Он убежден, что в России нечего делать людям добра и что au fond им всем следовало бы переехать в Англию. И никогда он из Европы не вернется... Не с кем идти, и не для кого, и незачем! Человеку, как я, здесь одна дорога: на виселицу или в сумасшедший дом...»

– Карета подана, ваше сиятельство, – доложил лакей.

V

О генерале Талызине почти никто в Петербурге не говорил дурно – признак, обычно свидетельствующий не в пользу человека. Во всяком обществе, где идет ожесточенная политическая борьба, есть люди, в этой борьбе определенно участвующие и не вызывающие, однако, ни раздражения, ни ненависти в противоположном лагере. Такие люди встречаются во всех партиях, и каждой партии они нужны: история редко сохраняет их имена, но при жизни роль их бывает значительна. Чаще всего это люди ленивые, добродушные и слабовольные, которых и по фамилии редко называют за глаза,

²⁶ «Да, это все обдуманно» (франц.).

²⁷ Игрок (франц.).

а больше уменьшительным именем или пренебрежительно ласковой кличкой. Иногда это, напротив, очень расчетливые ловкие люди, честолюбивые не в историческом, а в карьерном масштабе. И только в виде самого редкого исключения попадают политические деятели, обезоруживающие противников своими моральными качествами.

Талызина любило все петербургское общество. Он был молод, богат, вел широкую жизнь, имел превосходный стол. Но хлебосольством в Петербурге никого нельзя было удивить. У Талызина в доме бывали люди враждебных групп и воззрений, вследствие чего ему приходилось устраивать тройное количество приемов: среди его приятелей или добрых знакомых много было людей, которых никак не полагалось звать вместе в один вечер. Талызин обладал таким опытом, так хорошо знал сложные взаимоотношения своих бесчисленных гостей, что в доме его не могли встретиться люди, не желающие видеть друг друга, – разве только в намерение хозяина именно и входило свести для примирения этих людей.

Престижу Талызина в петербургском обществе способствовало еще и то, что он был деятельным масоном и не скрывал этого. В последние годы восемнадцатого века от масонов в России немного отвыкли. О Новикове вспоминали почти так, как о графе Калиостросе. Немало видных, почтенных людей в молодости принадлежало к масонству. Некоторые из них, однако, теперь плохо помнили и почему вошли в

орден, и в чем это у них, собственно, выражалось. Талызин представлял в масонстве новое направление. Носились слухи, будто оно ведет важную политическую работу (по словам одних, в согласии с государем, по словам других, вопреки, и даже очень вопреки, его воле). Ложи иногда собирались у Талызина. Посещавшие генерала молодые люди с любопытством у него осматривались и спрашивали друг друга втихомолку, где же, собственно, заседают фреймасоны: комнаты как комнаты, – уж нет ли потайных дверей? Талызин, командовавший Преображенским полком, жил в Лейб-Компанском корпусе в большой, полагавшейся ему по должности, квартире.

Когда граф Панин вошел в кабинет Талызина, там уже собрались гости. Их было человек пятнадцать. В этот день не было заседания масонской ложи. Талызин пригласил на ужин одну из групп своих друзей, ту, с которой он был связан всего теснее. Гостям было, однако, известно, что зовут их не только на ужин и что, по всей вероятности, доклад о событиях во Франции прочтет прибывший в Петербург иностранец, занимающий очень высокое положение во французском масонстве.

Дипломатические сношения с Францией еще не были восстановлены. Ходили слухи о предстоящих мирных переговорах и о людях, уже будто бы ведущих эти переговоры втайне. Тем не менее с республиканским паспортом проникнуть в Россию было невозможно. Гости догадывались, что

человек, прибывший из Парижа, вероятно, приехал на правах нейтрального подданного или французского эмигранта: эмигранты в последнее время попадались самые различные. Впрочем, это никого не интересовало: в петербургском обществе и в пору войны не было ненависти к французам. В масонских же кругах национальность приехавшего гостя не имела никакого значения. И только один граф Панин, как вице-канцлер и как сторонник противofранцузской коалиции, почувствовал некоторую неловкость, здороваясь с дряхлым стариком, сидевшим в кресле между хозяином и Баратаевым. Это неловкое чувство, однако, очень скоро рассеялось. Гость обнаружил чрезвычайное внимание к Панину. Он тотчас подсел к нему и завел с ним вполголоса отдельный разговор, который, по-видимому, оживил обоих.

Другие гости тихо между собой переговаривались. Общий разговор еще не налаживался. Это никого не тяготило. У Талызина все чувствовали себя свободно. Несколько неясно было только, что именно ожидалось, кому и как начинать беседу. Но все хорошо знали, что Талызин всегда все устроит вовремя и как надо. Один Баратаев молча неподвижно сидел в кресле у окна, глядя на висевшую против него на стене богатую коллекцию ружей, турецких сабель и кинжалов.

Хозяин вышел в столовую отдать последние распоряжения. Круглый стол посредине ярко освещенной комнаты снял белоснежной скатертью, серебром и фарфором. Старый лакей расставлял корзины цветов и вазы с фруктами.

Талызин заботливо все оглядел, затем перешел к столу с закусками.

– Не растаял бы лед, Никифор, – сказал он старику. – Раньше как через час-полтора к столу не пойдём. Ты ещё принес бы...

Он бегло взглянул на сгорбленную фигуру лакея, на его утомленное лицо со стариковским недоверчиво-робким выражением и, как всегда, испытал мучительное чувство неловкости. Неприятно было заставлять служить такого старика; ещё неприятнее было говорить ему «ты», особенно в масонском кругу. Талызин не раз собирался перейти на «вы», но чувствовал, что это невозможно. «Хуже всего фальшь, – подумал он. – Легче у нас опровергнуть трон, чем это переделывать...»

По долгому опыту он знал, что такие мысли не имеют решительно никакой связи с жизнью и ничего в ней изменить не могут.

– Подай в кабинет сахарной воды, – сказал он лакею. – Сам подай, а потом никому не веди входить. У нас дела.

Талызин вспомнил, что ему недавно опять говорили, будто дом его находится на замечании у Тайной канцелярии. «Молву поветрием носит... Надо бы принять меры».

Он давно поставил себе правилом верить каждому человеку, пока не будет обнаружено, что верить ему не следует. Хотя обнаруживалось это часто, Талызин не отступал от своего правила. Но теперь дело шло о жизни, и притом не толь-

ко об его собственной. За себя он почти не беспокоился. Талызин сел верхом на стул, опустил подбородок на спинку и постарался представить себе ясно Тайную канцелярию, одно название которой вызывало у всех ужас. Контраст казематов и застенков с роскошной столовой позабавил его. «Ну что ж, каземат так каземат, надо пройти и через это... Может, и вправду настал последний квартал моей жизни, – сказал он себе почти весело и тут же подумал, что только масонство дает ему такую внутреннюю свободу. – Да, это большое счастье! Каземат так каземат... А вот застенок так застенок – этого я не скажу. Да и в каземате было бы жаль вспоминать... Там, конечно, все это получит в мыслях особенную прелесть», – думал он, представляя себе ясно койку полутемного сырого каземата, черствый хлеб и кружку ржавой воды. Он окинул меланхолическим взглядом ананасы, розы, зажженные свечи, вина, разлитые по графинам, темно-серые зерна икры на льду в серебряной вазе. «Да, все это очень красиво: забывают ведь, как красив хорошо накрытый стол... Так что же? Надо вправду принять меры. Но какие меры? Хороша наша конспирация! Только Пален и знает это дело... Впрочем, Бог даст, и не пропадем за ним да за Александром Павловичем. А пропадем, так за доброе дело... К тому ж нынче об этом разговора не будет».

Он улыбнулся, встал, взял у лакея поднос с графином и сахарницей и вернулся в кабинет. На ходу он встретил неподвижный взор Баратаева, с беспокойством взглянул на свою

коллекцию оружия и тотчас снова перевел взгляд на мрачное, измученное лицо гостя. «Краше в гроб кладут», – подумал он и поставил поднос на столик перед Ламором. Старик удивленно взглянул на Талызина. Другие гости, напротив, оживились. Графин придал определенность собранию, указав ясно на то, что французский гость сделает доклад. Хозяин сел и постучал по столу. Разговоры замолкли.

– Дорогие друзья, – начал Талызин по-французски (собрание было не формальное, и потому он не говорил «братья», да и вообще избегал этого слова, хотя был убежденным и деятельным масоном). – Только два слова... Я сердечно рад приветствовать сегодня здесь нашего гостя. Вы о нем знаете, не мне его вам представлять, и не в нашем тесном кругу говорить друг другу комплименты. Я к тому же, как вы знаете, и не оратор. Однако я считаю себя обязанным сказать со всей искренностью следующее (он помолчал). Еще недавно кровь лилась ручьями на полях Италии, в швейцарских горах. Мы все, французы и русские, исполнили свой долг, как могли, но ненависти не было и нет в наших сердцах. Есть нечто высшее, чем наш долг национальный: это наш масонский, наш человеческий долг! Теперь война, по-видимому, кончена, я надеюсь, надолго, навсегда. Позвольте же от вас всех приветствовать нашего дорогого французского гостя.

Он встал и крепко пожал руку Ламору. Все сделали то же самое. Талызин еще поговорил несколько минут, с приемами неопытного оратора. «Еще два слова», «я, конечно, не

оратор», «если я ясно выражаюсь», «это только мое личное мнение», «я могу, конечно, ошибаться», – часто повторял он. Панин слушал его, слегка улыбаясь и закрыв глаза.

– К большому нашему огорчению, – заметил Талызин, – нам очень мало известны и плохо понятны важные события, недавно произошедшие во Франции. Мы были бы чрезвычайно признательны нашему гостю, если б он поделился с нами и сведениями, и своими ценными мыслями.

Он замолчал и вопросительно взглянул на Ламора. Старик сказал кратко:

– Сердечно вас благодарю. Я охотно исполню ваше желание.

VI

Он долго молчал, видимо собираясь с мыслями, и это начинало тяготить собравшихся.

– Да вы что же, собственно, хотите знать, господа? – неожиданно спросил Ламор. Все почувствовали легкое разочарование.

– Мы желали бы прежде всего услышать ваш рассказ о перевороте 18 брюмера, – вежливо сказал Талызин, испытывая некоторую неловкость при слове «брюмер». Ему трудно было произносить это слово без той усмешки, с какой говорили о революционном календаре французские эмигранты; трудно было и представить себе, что оно кем-то произносит-

ся всерьез. – Это чрезвычайно важно и интересно.

– Восемнадцатое брюмера? – протянул Ламор. – Да что же тут рассказывать? Переворот, обычный военный переворот, устроенный очень умным генералом, необыкновенно умным и удачливым генералом. Да и так ли это вам интересно? Вы говорите: чрезвычайно важно... Я знаю, что вижу здесь цвет петербургского общества, – поспешно сказал он. – Почитать о французских делах в газетах, поговорить за обедом, отчего бы и нет? Но может ли это быть чрезвычайно важно для вас? Ох, из разных трудных, бесстыдных слов мне всего труднее выговорить слова о братстве народов... Если бы вы жили у нас немного перед Девятым термидора, вам восемнадцатое брюмера было бы понятно без объяснений. Знаете ли вы, что такое право покупать каждый день хлеб у булочника? Право есть в обед три блюда по единоличному вашему усмотрению? Право воспитывать детей так, как вы находите нужным? Право переселяться из Лиона в Париж, с уверенностью, что вас, без крайней необходимости, не зарежут ни в Париже, ни в Лионе, ни по дороге? Вот эти великие священные права нам дал генерал Бонапарт. И вместо них он отобрал у нас некоторые другие права, из тех, что перечислены во всевозможных декларациях прав человека и в другой плагиатной литературе того же рода. Свобода слова, свобода печати, свобода мысли, всеобщее голосование! Эти права также назывались священными, великими и (что всего лучше) неотъемлемыми. Собственно говоря, даже они одни так

назывались прежде. Было бы очень хорошо, конечно, если б можно было иметь и булочника, и всеобщее голосование. Но у нас точно назло пришлось выбирать: либо булочник, либо всеобщее голосование. Никакого теоретического противоречия между ними нет, я знаю. Но так, к несчастью, вышло. И вот тридцать миллионов людей выбрало булочника. Без декларации прав как-нибудь обойдемся, а есть и пить хотим каждый день. Без свободы слова проживем (хоть и очень приятно чесать язык), а на эшафот идти ни под каким видом не желаем. Довольно! Помолились на Робеспьера, и будет. Генерал Бонапарт застраховал от гильотины, от Консьержери, от разбоя, от разорения тридцать миллионов французов – и они за это смотрят на него теперь как на земное воплощение божества. А для тщеславья нашего он, поверьте, найдет, вместо народных трибун, какие-либо другие утешения – ордена, чины, красивые мундиры, не знаю... Вот и весь смысл восемнадцатого брюмера, другого не ищите. Вам, может быть, скажут, что французский народ опьянен военной славой, – не верьте, вздор! Это генералу Бонапарту пирамиды нужны, а французский народ – помилуйте, зачем они ему, пирамиды. Ведь это тоже из шутки «общенациональной собственности». А нам и слава нужна в частную собственность, в частную. Пирамиды – та же, в сущности, декларация прав: есть – прекрасно, нет – ну и не нужно. На самом же деле необходимо только одно: чтобы на каждой улице были булочник, мясник, кофейня и полицейский.

Один из гостей, почтенный старый генерал, одобрительно кивнул головою. Генерал этот, связанный тесной личной дружбой с Талызиным, видимо, еще не был своим человеком в собравшемся обществе и чувствовал себя в нем не вполне свободно. И лица гостей, большей частью неестественно торжественные, и некоторые предметы, украшавшие стол: голубая бархатная скатерть с золотым галуном и бахромою, меч с золотой рукояткой в голубых бархатных ножнах, тяжелые серебряные шандалы с аллегорическими фигурами, видимо, не внушали доверия генералу. Особенно подозрительно он с самого начала поглядывал на мрачную фигуру Баратаева и на неизвестно зачем прибывшего таинственного французского гостя. Но речь Ламора оказалась для генерала приятной неожиданностью. Остальные гости молчали – никто не хотел высказываться первым.

– Позвольте вам сказать, – заметил Талызин с улыбкой недоумения, показывавшей, что он склонен понять слова гостя как шутку, однако считает ее не слишком удачной. – Я не совсем, вероятно, вас понял: ведь булочки у вас были и при старом строе. Самые закоснелые эмигранты согласятся с этими мыслями.

– Разве? Может быть, может быть... Не со всеми, конечно, моими мыслями они согласятся... Да и очень уж они красноречие любят. У них ведь свои «декларации», и даже похуже тех. Я не эмигрант, но против эмигрантов ничего не имею. И закоснелых людей вообще люблю: живые ведь лю-

ди, а не рассуждающие автоматы. Впрочем, я ничего не имел бы и против рассуждающих автоматов, если б было из чего исходить рассуждениям. Вот у Евклида все вытекает из аксиом, и как это приятно! Слава Богу, есть, есть аксиомы. Где же наш политический Евклид? Где политические аксиомы? Я не знаю в настоящее время ни одной общепризнанной ценности. Благо лица? Благо государства? Его процветание? Его могущество? Все это противоречиво. Ведь во Франции, в Англии, в России, с их войнами, завоеваниями, переворотами, люди живут, наверное, много хуже, чем в какой-нибудь «свободной Швейцарии», у которой и истории-то ровно на медный грош? А между тем вы, конечно, отказались бы сделать из России Швейцарию. Да и сами швейцарцы, когда были свободны (если когда-либо были), наверное, стыдились своего тихого благополучия. Маленькие народы всегда выдумывают себе бурную историю. Нет хуже вралей, чем провинциальные Плутархи.

– Однако, если даже не существует политических аксиом, в чем я сомневаюсь, – заметил Талызин, – то есть учреждения, относительно которых сошлись все честные люди. Ну, назову рабство...

– Это особенно приятно слышать из уст рабовладельца, – сказал Ламор. Генерал засмеялся.

– Позвольте вам доложить, – ответил, вспыхнув, Талызин, – позвольте вам доложить: уничтожение того, что вы зовете рабством, составляет цель многих из нас...

– Поверьте, мне совершенно все равно: участь русских рабов меня интересует очень мало.

– Это печально...

– Было бы еще печальнее, если б я стал вам лгать. У меня никогда рабов не было... Мне случалось об этом и сожалеть. Может быть, в моей душе есть и такая частица, которая жаждет полной, собственнической власти над человеком. Если я выродок, тем хуже. Но я этого не думаю. Ах, господа, кто знает, кто знает, из каких инстинктов слагаются лучшие человеческие чувства, из каких побуждений свершаются так называемые доблестные подвиги... Шаткая, шаткая вещь человеческая душа, вот уж из нее никак нельзя сделать исходное положение: ничего хорошего не построишь.

«Parlez pour vous»,²⁸ – хотел было сказать Талызин, которого все больше раздражал этот самоуверенный старик, в неприятно саркастическом тоне перескакивавший с одного серьезного предмета на другой. Но Талызин не сказал: «Parlez pour vous» из учтивости и в особенности потому, что счел этот ответ слишком общедоступным: вероятно, так подумала половина гостей.

– Я, конечно, говорил о себе, – сказал Ламор, отвечая общей мысли. – В нашей среде полагается быть откровенным, хотя это и трудно. Вот я на себя и оглядываюсь: опыт жизни у меня есть, большой опыт, господа. Много я видел и ко многому был причастен. Что же мной руководило? В моло-

²⁸ «Говорите о себе» (франц.).

дости на девять десятых похоть, но это в счет не идет. Потом себялюбие – тоже не идет в счет... Жажда знания? Да, это было и осталось: у всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее, самое подлинное, – у меня, пожалуй, это. А вот жаждой общественного блага, каюсь, прежде я не страдал вовсе. Я об этом и не жалел, видя, что делалось вокруг меня, особенно в последние годы. Ведь тысяча самых свирепых разбойников, тысяча Картушей, господа, не пролила десятой доли той крови, которую, из жажды общественного блага, пролил добродетельный Робеспьер. Я и думал прежде: слава Господу Богу, что не все люди и не целый день мучаются жаждой общественного блага, а то они давным-давно перерезали бы друг друга. Так я думал. А потом пожалел. Почему, сказать затрудняюсь...

Он замолчал.

– Я, господа, – начал Ламор снова, – скажу прямо: я не могу себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического. Я как те грешники, которых, помнится, Данте посадил в ад за то, что они не любили жизнь: «*Tristi fummo nel aer dolce dal sol s'allegra...*»²⁹ Так, видно, я до самой смерти не пойму, в чем тут было преступление. Боюсь, боюсь жизни! – вскрикнул он неожиданно и снова замолчал, закрыв глаза. Гости смотрели на него с все большим

²⁹ Имеются в виду строки из «Ада» Данте: «...В воздухе родимом, Который блещет, солнцу веселясь, Мы были скучны, полны вялым дымом». Песнь VII, ст. 121–123. Перевод М. Лозинского

недоумением. На лице генерала выразилось сожаление: он опять, видимо, ждал другого. – Вот мне восьмой десяток, позади бесконечное кладбище, впереди как будто ничего нет, кроме смерти. А я боюсь, как бы она, жизнь, еще чем-либо меня не удивила, чем-либо постыдным, смешным, отвратительным, – она на это мастерица, на безвыходные положения... А ведь немногие так знали, так любили радости мира, как я. Мне и теперь до глупости тяжело сознавать, что всего этого я безвозвратно лишусь очень скоро. Я, человек, мучительно страдающий по ночам бессонницей, боюсь вечного сна, – как глупо! Да, да, я знаю, это старо, это очевидно до плоскости. Но в плоскость и упирается жизнь в своем конечном итоге. Говорят, без веры жить нельзя, – я хочу сказать, без веры в загробное существование. Можно, конечно, но очень, очень худо. А веру взять неоткуда, что же себя обманывать? Вот и вывертывайся как знаешь. Видите ли, господа, полторы тысячи лет – со времени Константина Великого – Европа жила более или менее спокойно, потому что была твердая, непоколебимая, почти всеобщая вера в загробный мир...

– Ну, не очень спокойно жила, – вставил Талызин.

– Все же спокойнее нашего, правда? Чума в счет не идет...

Инквизиция поддерживала веру кострами – и по-своему была права. Не так глупы были эти люди, и фразами они не оболщались. Но теперь на наших глазах гаснут и земные, и адские костры. После французской революции адом никого не

запугаешь – этакая расплылась на устах человечества скептическая улыбка, не дьявольская, нет, просто улыбка, скептическая улыбочка. Прежний смысл жизни потерян, новый не найден. Мир стоит на краю пропасти. Я не верю в возврат к карам, да и не хочу его. Отныне, по-видимому, приходится действовать больше при помощи наград, но это далеко не так верно.

– Мысли ваши вызывают в нас смущение, – сказал Талызин. – Мы, верно, плохо вас понимаем... Мне казалось, вы хотели нас познакомить с работой братства свободных каменщиков?

– Братства свободных каменщиков? – протянул как бы с удивлением Ламор. – Да я именно об этом и говорю. Боюсь только, что вы приписываете слишком большое значение братству свободных каменщиков. Что такое масонство? Масонство – это организация по борьбе с людоедством, действующая посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто людоедством занимается меньше.

Баратаев встал и простился с хозяином дома. Наступило неловкое молчание.

– Вы торопитесь? – по-русски сказал, поспешно вставая, Талызин.

– Тороплюсь и не люблю шуточек. Не так мне весело, да и стар я.

Панин тоже поднялся.

– И мне пора. Я только на четверть часа заехал, – сухо сказал он, слегка поклонился и вышел. Талызин проводил их и вернулся со смущенным видом. Гости переговаривались вполголоса.

– Должен вам сказать, – заметил Талызин, обращаясь к Ламору, – я никак не могу, да и все мы не можем согласиться с тем определением масонства, которое вы дали. Мы...

– Вы совершенно правы. Масонство не поддается общему определению, каждый толкует его по-своему. Я говорил к тому же не о России, а о Западе. Да я и сам не рад, что наше масонство стало на такой путь. У него была великая задача: воспитание молодого поколения. Вот что поважнее власти и теплых мест. Великая, великая вещь воспитание... Масонство привыкло исходить из того, что человек хорош по природе. Я думаю, по природе он достаточно дурен. Но его можно усовершенствовать, если взяться за это достаточно рано. Возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело! Только начать надо лет с пятнадцати, не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений.

– Надо работать не над детьми, а над собою, – горячо сказал Талызин.

– Надо, конечно. Но для этого незачем создавать всемирную организацию, надевать ленты и говорить в глубокой тай-

не страшные слова. Вот мы поужинаем и уйдем, а вы наедине будете работать над собою, – сказал Ламор с улыбкой. Генерал опять засмеялся.

– Обряд и тайна необходимы. Надо поэтизировать мир тайной, – продолжал Талызин с еще большим жаром (он дорожил этой мыслью). – Без поэзии ритуала наше братство невозможно. Пусть масонство – компромисс религии с жизнью, пусть слово «брат» есть лишь символ грядущих человеческих отношений, ваше толкование для меня неприемлемо. Цель наша тройная: самоусовершенствование, создание лучших учреждений, создание лучших людей.

– Это не одна цель, а целых три. Отсюда и три направления в масонстве, – заметил кто-то из гостей.

– Нет, нет, разрешите мне пояснить свою мысль. Я готов и раба, как вы изволили выразиться, принять в масонское братство...

– Ну, это запрещено уставом, – вставил генерал.

– Ах, все равно, – сказал Талызин, с досадой махнув рукой. – Все равно! Я готов принять своего слугу в масонский орден и буду называть его братом. Пусть это фальшь, я знаю, я чувствую сам, – торопливо говорил он, отмахиваясь, хоть никто его не перебивал (да никто и не говорил об этом). – Но слово «брат» – символ будущих человеческих отношений, – повторил он. – Вся наша жизнь создана из символов. А сейчас перед нами задача – создать лучшие справедливые учреждения, без которых никакое братство невозможно, ни в на-

стоящем, ни в будущем...

Ламор слушал его, улыбаясь.

– Из этого взгляда вышло братство французской революции, – сказал он. – Впрочем, я не спорю. Большой разницы в наших выводах нет... Спорили мы о разном, и довольно бестолково, уж вы меня извините... Я желаю полного успеха русскому масонству. Мне поручено нашим новым главою, Ретье де Монтало, передать вам привет. Делаю это с искренней радостью. Но, не скрою, некоторые сомнения у меня все же есть, сомнения основного свойства... Я, готовясь к смерти, вспоминаю книги мудрых людей... Очень мне хочется поверить в загробную жизнь. К несчастью, мудрые люди меня не убедили. Да еще точно ли известно, что они-то в загробную жизнь верили? Платон где-то проговорился, что сами боги не совсем бессмертны, не совсем и не всегда... Были у него, помню, разные «если». Не помню точно, какие именно, но были, были «если»... Так ведь то, видите ли, боги... Или стоики – они что-то лепетали странное: индивидуальная душа, конечно, бессмертна, но, так сказать, на некоторое время: поживет, поживет и сольется с мировой душой. Я думал, они шутят, право... А если я не желаю сливаться с душой Торквемады или Робеспьера? Я своей собственной не слишком доволен, но за семьдесят лет все же свыкся. Черт с ним, с Робеспьером. Уж лучше приму я восточную веру: на Востоке осведомленные люди предполагают, что души в лучшем мире распределяются по чинам, – душа мошенника

перейдет, например, в ящерицу или в змею. Это мне как-то приятнее...

Он помолчал. Талызин хотел что-то сказать, но Ламор перебил его:

– Кант прямо говорит: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным; а так как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Я принимаю начало рассуждения и изменяю конец: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным, – верно; а так как бессмертия нет, то нравственный закон... Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей... Да, да, необходимо...

Он подавил зевок.

– Простите меня, господа. Я сегодня не в ударе и, конечно, вам наскучил. Очень бестолковая вышла беседа, по моей, разумеется, вине... Собственно, я не об этом хотел говорить. Да и вы ждали от меня другого... Вы желали, чтобы я рассказал вам о перевороте 18 брюмера? Извольте...

– Ах, ради Бога, – торопливо сказал Талызин (он с неприятным чувством думал, что был недостаточно любезен с гостем). – Вы нам сделаете большое одолжение.

– Просим, – сказал один из гостей. Другой тоже пробурчал что-то в этом роде, хотя серьезный разговор уже утомил многих. Талызин встал, открыл дверь и заглянул в столовую; оттуда сверкнул богато накрытый стол. Это, видимо, всех ожи-

вило.

– Просим, просим, – сказало сразу несколько человек.

– Да вот вы за ужином и расскажете, – сказал Талызин. –
Пожалуйста, господа.

– Отлично, я проголодался, – произнес Ламор, вставая.

– Очень было интересно все, что вы изволили сказать, – начал один из гостей, выходя с Ламором в столовую. – Хотя, конечно...

– Пожалуйста, господа, пожалуйста... – говорил Талызин, стоя сбоку от дверей. Он задержал на секунду генерала и сказал ему тихо: – Что, очень скучал? За терпенье будет тебе награда. Получил я из Бремена «Иоганнисбергер!» Один ты во всем Петербурге оценишь.

– Давай его сюда... Никому и попробовать не дам, – ответил весело генерал.

VII

В большой роскошной квартире госпожи Шевалье только парадные комнаты были отделаны по-настоящему. Французская артистка как-то не могла привыкнуть к своей жизни в Петербурге и к своему богатству. Хотя уезжать из России она нисколько не собиралась, но чувствовала себя в русской столице почти как на сцене. Театр занимал очень большое место в заботах госпожи Шевалье. Она часто говорила с застенчивой улыбкой, что для нее сцена и есть настоящая жизнь. Но

и сама этому не верила, и догадывалась, что не верит никто другой, несмотря на мастерскую застенчивую улыбку. Госпожа Шевалье так же не могла считать настоящей и жизнь, выпавшую на ее долю в России, как не могла всерьез чувствовать себя Ифигенией или Эвридикой.

Знаменитая певица принимала у себя самое лучшее петербургское общество. Только очень немногие видные люди не посещали ее дома. Не бывал у госпожи Шевалье кое-кто из старых французских эмигрантов. Сама она считалась как будто эмигранткой, однако же считалась не совсем твердо. Втихомолку о ней говорили французы, что она во время террора была где-то богиней разума,³⁰ а затем, в пору Директории, стала любовницей Барраса. Но когда у передававших слух спрашивали недоверчиво, действительно ли это так, они разводили с усмешкой руками и говорили, как полагается в таких случаях: «Que voulez-vous! Je n'y ai pas tenu la chandelle».³¹ Были слухи, будто красавица состоит секретной агенткой первого консула. О муже ее говорили и не то: поздно выехавшие из Франции эмигранты утверждали, что мосье Шевалье был еще недавно свирепейшим террористом, сподвижником в зверствах Колло д'Эрбуа. Русское общество этим не очень интересовалось (в последнее время обличение

³⁰ В представлении «Празднество Разума», состоявшемся в Париже 10 ноября 1793 года, роль Богини Разума исполняла артистка Тереза-Анжелика Обри (1772–1829).

³¹ «Чего вы хотите! Я там свечу не держал» (франц.).

ужасов революции так же всем надоело, как и самые ужасы), да и плохо разбиралось, – кто Баррас (его называли французы виконтом), кто Колло д'Эрбуа (эта фамилия тоже звучала как будто по-дворянски). Посещать дом Шевалье стали, однако, не сразу. Первое время к знаменитой артистке ездили только холостые люди и разговоры велись у нее тоже холостые: хозяйка первоначально охотно подчинялась этому тону и сама его поощряла. Но с тех пор как госпожу Шевалье взял под свое покровительство Кутайсов, один из самых влиятельных людей Петербурга, и особенно после того, как на нее обратил внимание император Павел, ездить к ней стали и дамы, и степенные сановники. Характер разговоров в гостиной артистки изменился довольно быстро, перейдя от тона веселого заведения к тону политического салона (хоть некоторые срывы еще случались с завсегдатаями). При этом одни из гостей без стеснения хвалили за твердость революционное правительство, особенно первого консула; большинство не шло столь далеко и говорило с госпожой Шевалье так, как принято было в то время говорить со знатными эмигрантами, – грустно, с выражением соболезнования, но и с легкой укоризной, имевшей разные оттенки: от «как хотите, господа, но и вы сами тоже виноваты: вот ведь у нас никакой революции нет» до «а пора бы вам, господа, бросить ерунду, и незачем вам, собственно, у нас засиживаться, хоть мы из вежливости и по нашему гостеприимству не говорим этого прямо». Многие эмигранты в ту пору уже сами полусозна-

тельно принимали такой тон, как принимали езду на санях, рюмку водки перед обедом и другие обычаи страны, в которой им приходилось жить. Другие пожимали плечами, усвоив, после долгих лет протестов и негодования, тон иронически равнодушный, означавший приблизительно: «Чего же другого было ждать – то ли еще будет!» И лишь немногие, самые оголтелые, эмигранты упорно не поддавались ни тому, ни другому тону. Эти не ездили к госпоже Шевалье и знать ее не желали. Сама знаменитая артистка иногда охотно входила в роль знатной эмигрантки и говорила о революции так, как говорили о ней эмигранты оголтелые. Но иногда говорила совершенно иначе. Госпожа Шевалье, быть может, действительно уже сама не вполне ясно себе представляла, кто она, собственно: знатная ли эмигрантка или сторонница первого консула. Так странно и непонятно было все, случившееся с ней в России, куда она приехала без денег и без имени.

В этот день у певицы был назначен небольшой прием, человек на двадцать. Хозяйка даже собиралась сделать вид, будто и приема, собственно, никакого нет, а так, пришли посидеть друзья. Из гостей только человека два или три знали, что в этот вечер в доме госпожи Шевалье должен был появиться впервые наследник престола, живший очень уединенно. Его предполагалось выдать гостям за своего человека, и для правдоподобия гости были приглашены самые разные: очень важные и совсем незначительные люди.

Гости, не интересовавшиеся серьезными разговорами, иг-

рали у госпожи Шевалье в карты. Для них каждый вечер были готовы бостонные столы. Угощала гостей хозяйка по-французски: кроме сладкого печенья к чаю и конфет, ничего не подавалось. В Петербурге многие находили этот обычай прекрасным и говорили, что его нужно было бы ввести везде: нельзя каждую ночь пить шампанское и есть ужин из десяти блюд. Но в русских домах французский обычай не приживался.

У госпожи Шевалье время было распределено строго. После обеда, за которым она вовсе не ела хлеба и ничего не пила, чтоб не пополнеть, знаменитая артистка полтора часа ходила взад и вперед по своей спальней при опущенных шторах: таким образом достигалась двойная выгода – для талии и для цвета лица. Затем, уже при свете, перед зеркалом, тоже полтора часа пела гаммы. Закончив упражнения, госпожа Шевалье проглотила рюмку какого-то питья и не торопясь занялась туалетом. Это длилось долго. Хозяйство в доме, по раз навсегда выработанной программе, вел мосье Шевалье, больше от скуки: ему совершенно нечего было делать. Когда певица, в модном, очень узком темном платье с поясом почти под мышками, вышла в парадные комнаты, в гостиных и в передней все оказалось в полном порядке: с вешалок у входа было снято все хозяйское, в канделябры вставлены новые свечи (зажжены были только два канделябра, остальные зажигались в последнюю минуту). Конфеты, печенье уже стояли на главном столе в большой гостиной. В передней нахо-

дилась молодая, некрасивая, но нарядная горничная. Лаке-ев вовсе не было. Госпожа Шевалье очень заботилась о том, чтобы у нее в доме все было не так, как у русских бар: она инстинктивно чувствовала, что, принимая богатейших людей России, у которых были огромные дворцы и несчетное количество прислуги, она могла выезжать только на оригиналь-ности приема. Мосье Шевалье встречал гостей и переправ-лял их из передней в большую гостиную. Здесь его роль кон-чалась. Когда все гости были в сборе, он держался больше в непарадных комнатах и только изредка для приличия по-казывался в салоне, предлагал то одному, то другому гостю еще чашку чаю и снова исчезал. Госпожа Шевалье любила своего мужа (он был свой, близкий человек в этом огромном чужом городе), но немного стыдилась его; вдобавок побаи-валась, как бы он по привычке не назвал кого-либо из гостей «citoyen» или не сказал императору «salut et fraternité». ³²

Убедившись, что все в полном порядке, госпожа Шевалье лениво подошла к окну и отодвинула шторы. За окном рва-лась выюга.

«Quel affreux climat!», ³³ – подумала артистка. Мосье Ше-валье беспокойно вошел в салон. Ей вдруг почему-то стало жалко мужа.

– Elle est bien, ma robe, qu'en dis-tu? ³⁴ – спросила она, при-

³² «Гражданин»... «Привет и братство» (франц.).

³³ «Какой ужасный климат!» (франц.)

³⁴ Как ты находишь мое платье? (франц.)

слушиваясь к музыке своего голоса.

– Exquise, ma chérie,³⁵ – радостно ответил мосье Шевалье. Ее раздражило, что он произносил esquise, – и стало скучно с ним разговаривать: ей всегда было известно, что и как он скажет. Она села в кресло у большого стола гостиной и открыла наудачу томик Кребильона («mon vieux Crebillon»³⁶ – так обычно называла она с милой улыбкой своего любимого писателя). Но не успела госпожа Шевалье дочитать первую страницу, как у входных дверей задрожал колокольчик. Хозяин поспешно зажег все свечи и бросился в переднюю. Госпожа Шевалье в последний раз взглянула в зеркало и вполоборота повернула голову от книги.

Иванчук приехал на вечер в числе последних гостей вместе с графом Паленом, которому был обязан приглашением. Он вошел в переднюю каким-то особенно бодрым шагом, перебирая в уме, как бы чего не упустить. В нем природное нахальство всегда перевешивало застенчивость молодого человека. Но все же перед важными вечерами он чувствовал себя, как обстрелянный воин перед сражением: дело было знакомое и нестрашное (кроме первой минуты), а все-таки требовалось смотреть в оба, работать мозгами и хорошо собой владеть, чтобы извлечь из вечера всю выгоду, а заодно и все удовольствия, которые он мог дать. Смущало его немного, что говорить придется по-французски. «Ну, да я очень

³⁵ Превосходно, дорогая (*франц.*).

³⁶ «Моего старика Кребильона» (*франц.*).

насобачился», – бодро подумал Иванчук.

В передней Екатерина Николаевна Лопухина вкалывала булавку в курчавые черные волосы. Она вскрикнула от радости, увидев графа Палена, который остановился, развел руками и очень непохоже изобразил на лице крайнюю степень восхищения. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, Пален пользовался большим успехом у женщин: они неопределенно говорили, что в нем есть что-то такое. Сам Пален был к дамам благодушно снисходителен. Говорил он со всеми женщинами как с маленькими детьми, с идиотами или как с учеными пуделями, – точно его забавляло и восхищало, что они все-таки понимают не очень сложные вещи. Иванчук, для которого Пален был воплощением совершенства (не мог он простить графу только выбор военной карьеры), старался перенять его манеру разговора с дамами. Но ему она никак не давалась.

– Ах, как я рада видеть вас, Петр Алексеевич, – сказала Лопухина, нерешительно оглядываясь на Иванчука. Она совершенно его не помнила. Но веселая улыбка молодого человека ясно показывала, что здесь очевидное недоразумение и что они сто лет знакомы. Лопухина поверила улыбке и смущенно поздоровалась, стараясь сообразить, кто это. Иванчук галантно поцеловал руку Екатерины Николаевны и отступил из скромности на несколько шагов в сторону. Лопухина оживленно заговорила вполголоса с Паленом. Он совершенно ее не слушал и отвечал ласково-бессмысленно первое, что

приходило ему в голову.

– Так у вас, в вашей политике, все хорошо? Non, dites,³⁷ – негромко говорила Екатерина Николаевна каким-то особенным, грудным и теплым голосом.

– Напротив, княгиня, напротив, – отвечал замогильным тоном Пален. – В политике готовятся страшные, неслыханные катастрофы. Le monde s'engouffre de plus en plus. Mais qu'est ce que cela peut bien me faire, puisque vous existez!³⁸

Иванчук с восторгом смотрел на своего начальника. Лопухина махнула рукой.

– Правда, у меня сегодня ужасный вид? – быстро сказала она, расширив глаза со стыдливой улыбкой. – Я сегодня безобразна, правда? Нет, скажите раз в жизни правду...

– Вы сегодня очаровательны, княгиня. Я никогда не видел вас столь сказочно прекрасной. Боже, как вы хороши! – говорил восхищенно Пален, глядя через голову Лопухиной на дверь соседней комнаты, откуда слышались голоса.

– Ах нет, я бледна, я знаю, что я нынче бледна... Я не спала всю ночь.

Через малую гостиную они прошли в большую, где собралось общество. Госпожа Шевалье с улыбкой поднялась навстречу Лопухиной. Обе дамы впились друг в друга взглядами, и каждая на всю жизнь запомнила до мельчайших по-

³⁷ Нет, скажите (*франц.*).

³⁸ Мир все больше и больше скатывается в пропасть. Но есть нечто, что может меня обрадовать: это то, что есть вы! (*франц.*)

дробностей платье другой – искусство, свойственное одним женщинам и неизменно повергающее в изумление мужчин. Затем они нежно расцеловались. Вид Лопухиной ясно показывал гостям: «Да, я у нее бываю, да, я с ней целуюсь, ибо талант выше всего этого» (Екатерина Николаевна ездила к новой фаворитке императора главным образом назло своей падчерице).

У госпожи Шевалье обычно никого не знакомили, и вновь входящие здоровались только с хозяйкой. Но на этот раз гостей было немного, и Пален, поцеловав руку госпожи Шевалье, обошел всех. Иванчук следовал за ним. Ему очень нравилось то, как входил в гостиную Пален, неизменно сосредоточивавший на себе общее внимание. Иванчук огорченно думал, что так входить трудно и что для этого нужно иметь очень многое: и высокий рост Палена, и его звучное имя, и его репутацию, и его безграничное равнодушие к тому, что о нем подумают и скажут. Некоторые гости, подавая руку Иванчуку, скороговоркой называли свои фамилии, и опять его веселая улыбка показывала, что здесь совершенное недоразумение. Не поверил недоразумению только вице-канцлер Панин: он ответил холодным взглядом на улыбку молодого человека и тотчас отвернулся. Иванчук немедленно выразил лицом, что вполне понимает и прощает рассеянность государственного деятеля. Обойдя всех гостей, он выбрал себе самое подходящее место: не слишком близко к хозяйке (это не соответствовало бы его служебному положению), но и не

очень далеко от нее.

Только осмотревшись, Иванчук вполне оценил, каким важным успехом было для него появление в доме госпожи Шевалье. Пять-шесть человек из находившихся в гостиной были важнейшими сановниками России. Остальные гости тоже ничего не портили, и лишь очень немногие были приглашены напрасно. Иванчук особенно пожалел, увидев молодого де Бальмена. Его присутствие здесь несколько уменьшало цену приглашения в дом знаменитой артистки.

VIII

У Панина значилось правило в памятной книжке: ни под какими светскими предлогами не ездить в гости к людям, которых не любишь и не уважаешь. У Никиты Петровича была привычка заносить в записную книжку разные правила для собственного руководства. В последние месяцы он почти не имел времени для записей, но изредка с грустной усмешкой перечитывал старые тетрадки в бархатных переплетах.

На вечер к госпоже Шевалье он поехал главным образом потому, что ему было неловко и неудобно во второй раз отклонить ее приглашение. Кроме того, как ни тяжело переносил Панин общество большинства людей, в одиночестве ему было порою еще тяжелее. Он говорил себе, что для дела полезно изредка посещать дом французской артистка: у нее собирались Уитворт, Рибас, Пален, Талызин, и там они могли

говорить за карточным столом, не возбуждая никаких подозрений. Но законный предлог визита не рассеял дурного настроения Панина. Ему все-таки было досадно, что он поехал в этот подозрительный дом дурного тона.

Старательно избегая Ростопчина, сидевшего с хозяйкой и занимавшего ее последними парижскими анекдотами, Панин поместился за небольшим столиком, в углу гостиной. Его соседом оказался де Бальмен. Он отсюда, завидуя Ростопчину, любовался госпожой Шевалье. Немного смущенный обществом вице-канцлера, де Бальмен пробовал с ним заговорить. Панин отвечал односложно. Молодок человек раздражал его, однако раздражал меньше, чем другие гости: он был никто.

– Не будете ли вы добры сказать мне, – вежливо спросил де Бальмен, вместе робко и чуть насмешливо поглядывая на угрюмого вице-канцлера, – какая это звезда у графа Петра Алексеевича, вон та пятая, что поверх ленты? Верно, иностранной державы?

Панин рассеянно посмотрел по направлению взгляда молодого человека.

– Не могу вам сказать, не знаю, – кратко ответил он.

– Благодарю вас. Верно, иностранной державы...

«Он в самом деле весь в орденах, – подумал Панин. – Шесть, семь... восемь звезд... Говорят, он очень храбрый воин, с большой боевой заслугой. Однако не гнушается теперь иметь верховный надзор за Тайной канцелярией. Мо-

жет быть, он читает и мои письма... Глава заговора и лучший друг государя! Да, верно, так надо. Гнусная вещь – политика...»

Пален все менял места. Вначале он долго разговаривал с хозяйкой, затем пересел к Кутайсову, дружески беседовал и с другими гостями. Оказался ненадолго и за столиком в углу, причем тотчас вступил в оживленный разговор с чрезвычайно польщенным де Бальменом. Панин прислушался было к их беседе. Военный губернатор внимательно расспрашивал молодого человека о делах его полка, о том, какие офицеры пользуются особенным влиянием и славные ли они люди. «Так он, верно, и ту даму выпрашивал о государе, и Кутайсова о дворцовых делах», – подумал Панин.

– Как жаль, что офицерам вашего полка трудно сделать карьер, – сказал конфиденциальным тоном Пален, нагибаясь дружески к де Бальмену. – Скажу вам по секрету, государь очень недолюбливает ваш полк.

«Все лжет, – подумал раздраженно вице-канцлер. – И как обдуманно лжет!»

Раздался звонок, и в соседней комнате послышался громкий, веселый, чуть по-детски пискливый смех.

– *Le voilà, notre cher amiral,*³⁹ – сказала хозяйка, улыбаясь.

В комнату не вошел, а бочком вбежал странный, уже очень немолодой человек. В дверях он вдруг круто повернулся, так что носом к носу столкнулся с мосье Шевалье,

³⁹ Вот и наш дорогой адмирал (*франц.*).

ударил его по животу, покатился со смеху и мелкой рысцой побежал к хозяйке дома.

«А, Штаалево начальство», – подумал де Бальмен.

Это был адмирал де Рибас. Де Бальмен, никогда не выдавший его вблизи, всматривался с особенным любопытством в нового гостя. «Неужели вот этот человек в Италия заманил самозванку к Орлову? – подумал он. – Вот бы узнать, что у него в душе...» Адмирал, схватив обе руки госпожи Шевалье, покрывал их поцелуями и, бегая глазами по комнате, радостно улыбаясь то одному, то другому гостю, что-то быстро говорил по-французски со странным твердым, но не русским акцентом. Де Бальмен смотрел на него с завистью. «Вот захотел и взял сразу обе ее ручки. Он на кота похож. А у Ростопчина глаза, как у жабы... А вот Пален внушительный – и любезный какой, прелесть! Уж если кому подражать, то ему... Досадно, однако, это, что он сказал о карьере. Надо будет у нас рассказать...»

Пален встал, слегка потянулся и сказал, скрывая зевок:

– Что ж золотое времечко терять, Никита Петрович? Стол давно готов.

Де Бальмен, тоже вставая, подумал, что у них в полку за игру садились обыкновенно с этим самым восклицанием о золотом времечке. Как ни приятно было де Бальмену присутствовать на приеме у госпожи Шевалье, он в течение вечера испытывал и некоторое разочарование: в гостиной находились известнейшие люди России, но разговоры их не бы-

ли значительнее, чем те, которые де Бальмен ежедневно слышал в полку и еще раньше в корпусе.

Иванчук в этот вечер совершенно познакомился с госпожой Шевалье: теперь он был уверен, что она всегда узнает его при встрече. Хотел даже попросить ее о Настеньке, но отложил до другого раза: случаи уж наверное будут. Он был чрезвычайно доволен вечером. Вначале Иванчук устроился при Лопухиной и занимал ее с большим успехом: Екатерина Николаевна слушала его шутки благосклонно. Через четверть часа он получил приглашение бывать у них в доме запросто. Это был громадный успех, о котором Иванчук только смутно мог мечтать. Но, как только он добился успеха, его уважение к дому Лопухиных сильно уменьшилось: по-настоящему он уважал (хоть ругал и недолюбливал) лишь тех людей, которые его не пускали к себе на порог. Иванчук даже вытащил записную книжку и спросил у Екатерины Николаевны адрес, хотя, как все, прекрасно знал, где живут Лопухины. Затем он присоединился к Ростопчину и долго говорил ему комплименты. Лесть у него выходила плоская и потому особенно действительная. Ростопчин, от природы человек наивно пристрастный, не замечавший своей несправедливости (цинизма в нем, как и в Иванчуке, было очень мало), – под влиянием служебных успехов, совершенно потерял чувство меры и чувство смешного. Никакая лесть не казалась ему преувеличенной, и всякий человек, восторженно о нем говоривший, ему нравился, каков бы он ни был в

остальном. Так и на этот раз, слушая Иванчука, Ростопчин благожелательно отметил в памяти почтительного молодого человека. Но как только разговор от дел и заслуг Федора Васильевича перешел на другую тему, он перестал слушать. Иванчук перебрался к Кутайсову, и тоже вышло хорошо. В этот вечер все удавалось Иванчуку. Он чувствовал себя настолько свободно, что сам попросил у хозяйки еще чашку чаю. Удовольствие его от общества, в котором он находился, все увеличивалось – и вместе с тем ему становилось скучно. Этот вечер среди высокопоставленных людей уже был для него навсегда приобретенным капиталом; Иванчук испытывал такое чувство, как при накоплении новой тысячи рублей, – когда хотелось возможно скорее запечатать и отослать пачку ассигнаций в Гамбургскую контору. Соображая, что такое еще можно было бы сделать, Иванчук вспомнил о Талызине: хорошо было бы и с ним подогреть знакомство, – какие это у него собираются молодые люди? Талызин играл в карты в маленькой боковой комнате, которая отделялась аркой и колоннами от большой гостиной. Его партнерами были Пален и Рибас. Четвертый игрок сидел к салону спиной. «Это кто же? – спросил себя Иванчук, всматриваясь в высокую прическу густых пудренных волос, выделявшихся над черным бархатом воротника. – Да, тот нахал, Панин... Разве пойти посмотреть, как они играют?» Он взял за спинку стул, слегка качнул его ножками вперед и бойко, с чашкой чаю в другой руке, направился в боковую комнату.

– Бонн шанс, месье, – сказал он весело, садясь между Паленом и Талызиным. Ему показалось, будто игроки не очень ему обрадовались. Никто не ответил, и разговор оборвался.

«Да нет, вздор какой», – подумал уверенно Иванчук. Он поставил чашку на стол и, отодвинув немного подсвечник, сказал «pardon». «Эх, глупость сморозил! – пожалел тут же Иванчук. – Не надо было говорить pardon – подсвечнику, что ли? Ну, да не беда, подумают, я кого-нибудь задел ногой под столом... А интересно, почему у них игра?» На столе лежали кучки круглых, продолговатых и квадратных жетонов из разноцветной слоновой кости. «У патрона уйма какая, – обрадовался Иванчук. – Ну и мужчина! Сдает, сдает-то как!» Пален чрезвычайно быстрым и точным движением сдавал карты по три, справа налево, как полагается при игре в бостон. Каждая карта падала на свое место, не уклоняясь ни на вершок; вдруг последняя упала открытой. «Неужели задался?» – спросил себя огорченно Иванчук и вспомнил, что пятьдесят вторая карта открывает в бостоне козырь.

– Carreau, carissimo!⁴⁰ – воскликнул де Рибас, торопливо разбирая свои карты.

– Бубны козыри, значит, бостоном становится червонный валет, – сказал Иванчук, ни к кому в отдельности не обращаясь. Пален на сукне, не открывая, собрал свои карты в четырехугольник, выправил по столу и в одно мгновение развернул веером, по мастям. Затем, почти не взглянув на них,

⁴⁰ Бубны, дражайший мой! (*франц., итал.*)

снова свел карты в четырехугольник и положил на стол.

– Demande en petite, – сказал де Рибас. – En toute petite, en toute-toute-petite!⁴¹ (он произнес немое «е» в конце слов).

Талызин задумался. Пален смотрел на него с усмешкой.

– Тут она ему и сказала, – произнес он.

– Je passe...⁴²

– Misère...⁴³

– А вы как, с экаром играете? – спросил Иванчук погромче. Поймав вдруг на себе злобный взгляд вице-канцлера, он смутился и замолчал. Игра досталась Палену. «Эк он рискует, ведь ничего у него нет», – сказал мысленно Иванчук, смотря в карты своего патрона, опять мгновенно раскрывшиеся веером. Пален, не задумываясь ни на секунду над ходами, мастерски разыграл игру и еще придвинул к себе большую кучу жетонов. В передней прозвучал звонок. «Я, может, в год столько жалованья не получаю, сколько Петр Алексеевич сейчас загреб», – с восхищением подумал Иванчук. Он смотрел вкось мимо колонны, – какой гость приехал так поздно? Гость этот еще не появился, но по неуловимому движению в первом, сообщавшемся с передней, салоне (открытая широкая дверь его была видна из боковой комнаты) Иванчук сразу догадался, что прибыл очень важный человек. В дверях мелькнуло испуганное лицо мосье Шевалье, и

⁴¹ Прошу по малой... Совсем по малой, совсем-совсем по малой! (*франц.*)

⁴² Я пасую... (*франц.*)

⁴³ Мизер (*франц.*).

в ту же минуту в большой гостиной все поднялись с мест. На пороге показался наследник престола. Иванчук смотрел на него во все глаза, еще не приходя в себя от восторга и ужаса. Александр Павлович торопливо шел к хозяйке, неловким движением головы и руки приглашая гостей сесть. Вдрусбоку от себя он увидел поспешно поднявшихся из-за стола игроков. В глазах великого князя что-то мелькнуло – и исчезло. На поразительно красивом, еще совершенно юном лице его засветилась шутливая улыбка.

– Je suis sans excuse, Madame, je le sais,⁴⁴ – сказал он, целуя руку госпожи Шевалье.

IX

– Не так ты бьешь, – наставительно говорил Насков, поправляя инструментом кончик кия. – Не так бьешь, сын мой. Надо было играть легонько от красного – вот так. Тогда бы они у тебя и остались в уголочке. А ты жаришь изо всей силы, только разбросал шары. Сила, сын мой, и хорохоренье при игре в карамболь не требуются... Вот, сам видишь, конечно, а могла бы быть серия. Dixi.⁴⁵

Он говорил быстро и оживленно, но изредка как-то странно спотыкался в слогах.

– Ну, уж это мое дело, – сердито ответил промахнувшийся

⁴⁴ Мне нет прощения, сударыня, я это знаю (*франц.*).

⁴⁵ Я кончил (буквально: сказал) (*лат.*).

Штааль, отходя от биллиарда и садясь к столику.

– Твое, разумеется, – согласился Насков. – Но зачем же, сын мой, ты сердисься, аки тигра лютая?

«Совсем это не остроумно, “аки тигра лютая”, – подумал Штааль, почти с ненавистью рассматривая лысую голову, помятое лицо без ресниц и бровей, неряшливый костюм своего партнера. – И ведет себя скоморохом, и говорит, как скоморох. Вечно острит, вечно лжет».

Насков вынул мелок из кармана, намелил кий и нескладно опрокинулся туловищем на биллиард. Руки у него всегда немного дрожали. Но по покачиванию прицела, по особой легкости удара, по тому, как Насков, в неудобной позе, держал между указательным и большим пальцами передний конец кия, сразу виден был мастер. Все три шара сошлись в углу. Насков спустил правую ногу с борта, опять намелил кий кубиком и легонько повел шары по борту. «Четыре, пять, шесть, – считал мысленно Штааль. – Теперь до десяти дойдет! Опять я проиграл...»

Он как бы равнодушно отвернулся и взялся обеими руками за кий, поставленный толстым концом на некрашенный дощатый пол. В длинной узкой комнате дневной свет слабо сопротивлялся свету ламп в стеклянных шарах, спускавшихся с потолка к биллиардам. У окна на узеньком кожаном диване, прижавшись тесно друг к другу, скромно сидели два зрителя, стараясь не касаться плечами висевших около них на стене чужих кафтанов и шинелей. В грязноватых зерка-

лах отражались лампы, стойки с киями по стенам, озабоченные раскрасневшиеся лица и белые рукава игроков. Все три биллиарда были заняты. Отовсюду, вперемежку с неровными голосами и смехом, слышался сухой стук шаров, более громкий при первом ударе и слабый, иного тона, при втором. В биллиардной в одни и те же часы неизменно собирались одни и те же люди. Эта длинная, темноватая по углам зала, на чужой взгляд неприветливая и неуютная, для них была родным домом, и всякое явление мира они расценивали главным образом по тому, как к нему здесь отнесутся. По истечении двух-трех лет, по вечным законам биллиардных, одна группа завсегдатаев внезапно куда-то исчезала, уступая место другой такой же. Только редкие люди были связаны с биллиардной раз навсегда: до ее закрытия или до своей смерти. К таким одиночкам относился Насков, давно уволенный со службы дипломат и опустившийся человек. Штааль принадлежал к предшествовавшему поколению завсегдатаев. Теперь, в этой зале, кроме Наскова, он не знал, даже в лицо, почти никого. Ему было грустно.

«Неужели не дойдет больше до меня очередь?.. За десять перевалило. Этот может, однако, не выйти, – думал Штааль, невольно поводя плечом, как бы помогая своим движением шару Наскова уклониться от цели. – Нет, сделал и этот...»

Насков столкнулся задом с игроком соседнего стола и остановился, рассеянным мутным взором глядя на игру соседа. Затем опять наклонился над биллиардом.

– Два всего осталось. Плакали, сын мой, твои денежки, – сказал Насков, опять нагибаясь над бильярдом. – Так... И этак... Напоследок три борта... Пребезмерно мне сие любезно.

Он положил в карман протянутый Штаалем золотой.

«Теперь заговорит о своем фамильном происхождении или глупые анекдоты начнет рассказывать... И конец каждого анекдота повторит два раза», – подумал Штааль.

– Больше не желаешь играть? На дискрецию? – спросил Насков.

– Не желаю.

– Не сердись, светик. Мне всего дороже соблюдение твоего здоровья... Позволь, ради Бога, мне пойти вымыть руки.

Он надел кафтан и энергичной, подрагивающей походкой направился в уборную, нескладно размахивая руками и странно сгибая колени, точно он все время шагал через препятствия. Штааль смотрел ему вслед и не без удовольствия думал, что Насков болел дурной болезнью: он сам всем об этом рассказывал со смехом, как о случившейся с ним когда-то забавной истории, которой, по-видимому, он не придавал никакого значения. «А нос у тебя и очень может провалиться», – думал Штааль, сожалея, что неудобно напомнить об этом Наскову.

– Время мое, Кирилл, – сказал он лакею, убиравшему шары. – Принеси-ка мне бутылку портеру, – добавил он неожиданно для самого себя: ему не хотелось ни пить, ни оставать-

ся в накуренной бильярдной.

– Слушаю-с.

На третьем бильярде играли в пять шаров игроки-завсегдаи, звезды нового поколения. На их партию смотрело человек десять. Спиной к Штаалу, с любопытством следя за игрою, стоял сгорбленный старик. Штааль бегло скользнул взглядом по его спине и желто-седому затылку.

«В Париже бильярды больше наших, – подумал он почему-то. – И кии там кривые, шары толкают толстым концом...»

– А, ты портеру потребовал, тигра лютая, – весело сказал вернувшийся Насков. – Увлекательная мысль.

Он вытер руки о панталоны, налил полный бокал и выпил залпом.

– Будь здоров!..

«Из этого стакана не пить», – отметил в уме Штааль.

– Послушай, как влачатся твои дела с божественной Шевалье? – спросил развязно Насков, очевидно желавший развеселить проигравшего приятеля. – Мне говорил Бальмен...

– Никак.

– Рифма: чудак! Есть еще рифма, но об оной умолчу (он приложил палец к губе и сделал испуганное лицо, затем быстро засмеялся).

– Ты думаешь, так легко сойтись с госпожой Шевалье?

– А ты думаешь, так трудно? У тебя есть сто рублей?

«Нет», – хотел было ответить Штааль и утвердительно

кивнул головой.

– Тогда завтра, часов в пять, поезжай к ней с посещением.

– Да я не знаком!

– Сие не требуется, сын мой. Ты приказываешь доложить. Божественная тебя принимает. «Madame, je suis très malheureux...»⁴⁶ – (Насков хорошо владел французским языком и считал необходимым грассировать; однако грассированье у него, как у всех нарочно картавящих людей, совершенно не походило на французское). «Сударыня, мне до смерти хочется попасть на ваш бенефис, но, увы, все билеты расписаны за два месяца. Вы одни можете ввергнуть меня в блаженство...» Тут ты бросаешь на стол сто рублей.

– Не видала она моих ста рублей.

– Видала, натурально. Но она бережлива, как всякая француженка, и жадна, как всякая актерка. Ста рублей за билет, стоящий три, рядовой дурак не даст. Кроме того, ты красивый мальчик. Я вижу отсель ее благосклонную улыбку.

– А дальше что? – спросил заинтересованный Штааль.

– Дальше ты можешь, например, сказать, что ты видел в Париже в ее роли знаменитую Нунчиати. Разумеется, ты ее и во сне не видал, но это не имеет никакого значения. «Ах, вы бывали в Париже?.. Простите, мосье, я не разобрала вашу фамилию». Ты называешь. Она ничего не понимает в русских фамилиях: ей все одно – что Шереметев (у него неожиданно вышло: Шемеретев), что Штааль...

⁴⁶ «Сударыня, я очень несчастен...» (франц.)

– Или что Насков.

– Pardon, я Бархатной книги...

– А я шелковой, – сказал Штааль и сам покраснел от того, что так глупо сострил. – К тому же у нас нет под рукою Бархатной книги.

– Позволь. Я тебе докажу. Мой пращур...

– Не трудись.

– Впрочем, не в этом дело. Повторяю, божественная ничего не понимает. Ты горячо восклицаешь, что Нунчиати и Давиа не достойны быть у ней служанками. Она мило и конфузливо улыбается: «Мосье, вы преувеличиваете...» – «Сударыня, я клянусь...» Клянись всем, что придет в голову, это тоже не имеет значения. Если хочешь, моей жизнью, не препятствую. Цени любезность, потому что по правде Давиа много лучше твоей Шевалье. Кому и знать, как не мне: не скрою, дело прошлое, прелестная Давиа дарила меня своей милостью...

– Об этом я что-то не слышал.

– Cher ami,⁴⁷ ты тогда бегал под столом. Я потратил на нее более ста тысяч.

– И того не слышал. Я думал, ты и десяти тысяч не имел сроду.

– Ты думал? Так ты не думай. Ежели ты будешь думать, то что будут делать Аристотель, Платон, Фукидид? Кстати, ты знаешь, как звали жену Фукидида? Фукибаба... Понимаешь:

⁴⁷ Дорогой мой (*франц.*).

жена Фуки-дида Фуки-баба.

Он залился мелким смехом.

– Старо! Еще в училище слышал.

– Старый друг лучше новых двух. И даже лучше новых трех... Passons...⁴⁸ Я продолжаю. Божественная улыбается еще милее и безмолвственно взирает на тебя с вожделением. На твоей очаровательной фигуре, к счастью, ничего не написано: может быть, у тебя, oprичь наличного капиталу, сто тысяч душ. Ты просишь дозволения бывать в доме. «Ах, я буду очень рада...» Dixi.

– Скорее всего, меня просто не примут: «Барыня велели узнать, что вам угодно?»

– Tiens,⁴⁹ об этом я не сделал рефлексии... Впрочем, это не беда. Ты становишься нахален: «Скажи, что имею важнейшее персональное дело». Девять шансов из ста... я хочу сказать, девять шансов из десяти: тебя примут.

– Ну а ежели у меня нет сейчас свободных ста рублей? – краснея, сказал Штааль.

– Ах вот что, – разочарованно протянул Насков. – Тогда другое дело. К сожалению моему, я беру назад все ценное и мудрое, что было мною сказано. Тогда проклинай свою столь плачевную судьбу. Человек, не имеющий ста рублей, не достоин звания человека. Dixi.

– Предположим, я мог бы взять взаймы.

⁴⁸ Но оставим это... (франц.)

⁴⁹ Смотри-ка (франц.).

– Не будем предполагать, сын мой. Достать займы сто рублей в этой развратной себялюбивой столице! Не льстись несбыточным сном... Разве что жалованья подождешь? Поголодай, правда: нет беды в том, чтоб поголодать для любимой женщины. *C'est une noble attitude*⁵⁰ (слово «attitude» тоже у него не вышло). Кстати, прости, я выпил весь твой портер. Не заказываю для тебя другой бутылки: ты, натурально, обиделся бы, и ты был бы прав... Теперь видишь, как это просто? Вперед всегда слушай дяденьку... Ты еще остаешься? Тогда прощай, я бегу. Еще надо быть во дворце. Я обещал одному человеку (он назвал громкую фамилию). Скоро придешь сюда опять?

– Едва ли... Впрочем, может, завтра приду.

– Приходи, отыграешься. Ты сделал успехи, сын мой, я тебе говорю. Прощай, расцеловываю тебя, однако лишь мысленно.

Он застегнул плащ на одну пуговицу и своей бодрой лошадиной походкой вышел из биллиардной.

«Куда же мне пойти? Скука какая! – подумал тоскливо Штааль. Наклонившись к столику – так, чтобы никто не видел, – он заглянул в кошелек. – Три, шесть, семь рублей... Потом опять буду в ресторации обедать в долг... Господи, когда же придет конец этой нищете!»

Дела его не улучшались от того, что он постоянно размышлял и говорил о преимуществах богатых людей перед

⁵⁰ Это благородная позиция (*франц.*).

бедными. Зорич умер и ничего ему не оставил. Штааль, стыдясь, ловил себя на том, что вспоминал о своем воспитателе не иначе как со злобой.

Он встал, сердито протянул руку поверх головы скромного посетителя, который робко искоса на него смотрел с дивана, и снял с гвоздя шинель. Освободившийся бильярд уже снова был занят; лакей с обреченным видом нес назад только что убранные шары. Штааль повернулся, надевая шинель, и опять ему у третьего бильярда попался на глаза тот же желто-седой затылок.

«Что денег я тогда извел в Париже! – подумал он. – Ведь и Семен Гаврилович немало прислал, и Безбородко дал на ту дурацкую командировку. Обоих более нет в живых. Прошла и моя молодость, – верно, и я скоро околею... Питт тоже тогда предлагал денег, я сблагородничал, отказался. Теперь пригодились бы... Глупый я был мальчишка!»

Он вздохнул и направился к двери. Проход мимо третьего бильярда был занят игравшим с борта чиновником. Штааль остановился, пренебрежительно глядя на новую знаменитость. Удар вышел очень искусный.

– Ну и молодец! – воскликнул восторженно один из зрителей. – Такого шара сам Яков не сделает.

– *Vien joué*,⁵¹ – пробормотал кто-то у стены.

Штааль оглянулся – и вздрогнул.

«Да нет, быть не может!.. Ужели Пьер Ламор?..»

⁵¹ Отлично сыграно (франц.).

Старик показывал лакею на стакан, стоявший перед ним на столике.

– Полтинничек с вас, барин. Полтинник, – особенно внятно и вразумительно говорил лакей.

– Vous ferez porter ça sur ma note. Je suis au numéro douze.⁵²
Лакей улыбался глупой улыбкой непонимающего человека.

«Разумеется, Ламор... Господи!..»

Штааль быстро подошел к старику.

– Вы меня не узнаете? – по-французски спросил он дрогнувшим голосом.

Старик смотрел на него удивленно. Вдруг улыбка пробежала в его глазах.

– Quel heureux hasard!⁵³ – сказал он, протягивая приветливо руку.

– Вы? В Петербурге? Какими судьбами?

– Да, я здесь живу, у Демута.

– В Петербурге?

Ламор рассмеялся:

– Как видите... В самом деле, какая странная встреча! Так вы военный? Как же вы поживаете?

– Да ничего...

Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать.

– Вы мало изменились...

⁵² Запишите портер на мой счет. Я из двенадцатого номера (франц.).

⁵³ Какой счастливый случай! (франц.)

– Будто? А вас я едва узнал... Ведь лет шесть прошло? Вы тогда были совсем мальчиком. Очень это много в вашем возрасте, шесть лет... Вот не думал встретить здесь старого приятеля. Я зашел из столовой сюда в бильярдную, не хотелось подниматься в свою комнату. Да вы что ж, спешите? Посидите со мною...

– С удовольствием.

– Ну и прекрасно, я рад! Хотите, сядем в том углу, там никого нет... И вина велите подать.

– Принеси бутылку бордо, Кирилл, вон туда, – приказал Штааль лакею, стоявшему около них с недоверчивым видом.

– В три рубли или в четыре прикажете?

– В три.

Они сели за стол в темном углу комнаты.

– Я когда-то очень любил бильярд, – сказал Ламор.

«Предложить ему сыграть партию? Нет, неловко такому старику», – подумал Штааль.

– А мосье Борегар?.. Ведь его казнили? – вдруг вскрикнул он.

Проходивший мимо гость на них оглянулся. Ламор пожал плечами.

– Comme tout le monde, mon jeune ami, comme tout le monde,⁵⁴ – сказал он.

⁵⁴ Как и всех, мой юный друг, как и всех (*франц.*).

Х

За кулисами Каменного театра было полутемно, холодно и неудобно. Кое-где уже горели лампы. В огромных пустых пространствах позади сцены бродило несколько посетителей репетиций. Штааль, впервые попавший за кулисы, осторожно ступал по доскам пола, боясь провалиться в люк или ущемить ногу в пересекавших пол узких щелях. Он растерянно смотрел на канаты, уходившие куда-то вверх, на огромные зубчатые колеса, на торчавшие повсюду деревянные рамы. Все здесь было непонятно и таинственно, но нисколько не поэтично: Штааль иначе себе представлял кулисы. Пахло пылью и крысами.

За стеной кто-то пел одну и ту же музыкальную фразу. Штааль прислушался: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня», – пел хриплый баритон и вдруг – без всякой злобы в выражении – разразился отчаянной бранью. Из боковых помещений постоянно пробегали по направлению к сцене необычайно торопившиеся, часто полуодетые, люди с крайне озабоченными лицами. Другие неслись вверх и вниз по узким боковым лестницам. Штааль понимал, что где-то по сторонам идет напряженная подготовительная работа. Вдруг около того места, где он стоял, огромная рама со скрипом пришла в движение и поплыла по щели прямо на него. Штааль растерянно отступил. Декорация прижала

его к лесенке. Он поднялся по ступенькам и попал на сцену. Там зажигали фонари. Кто-то вколачивал молотком гвозди. Темный пустой зрительный зал теперь казался маленьким по сравнению с огромными пространствами позади сцены. Это особенно удивило Штааля. Прежде ему представлялось, что зрительный зал и составляет почти весь театр.

«Да что же никого из них нет?» – с досадой подумал Штааль. Компания, к которой он принадлежал в последнее время, должна была собраться за кулисами в четыре часа. Ему там и назначили свидание, указав, как пройти. Но еще никого не было. Он все боялся, что его спросят, зачем он здесь. «Или они где-нибудь собрались в другом месте?» Морщась от резких ударов молотка, Штааль направился назад.

– Ваше благородие, к нам пожаловали? – окликнул его кто-то. Штааль быстро оглянулся и не без труда, больше по голосу, узнал знакомого старичка-актера.

– А, здравствуйте, – радостно сказал Штааль. – Вы что ж это так нарядились?

– Наша роль: Бахус, древний бог Бахус, – сказал робко актер.

– У вас что нынче играетя?

– «Радость душеньки», лирическая комедия, последуемая балетом, в одном действии, сочинение господина Богдановича, – скороговоркой ответил актер. – Извольте по поддуге видеть, – добавил он, показывая рукой на странное раскрашенное полотно, висевшее на раме. – Волшебные чертоги

Амуровы-с.

Штааль взглянул на декорацию: вблизи она совершенно не походила на чертоги.

– А это что? – спросил он, показывая на сложное сооружение у потолка.

– Это Нептунова машина, – пояснил актер.

Штааль сделал вид, будто понял.

– Наверху машинное отделение. Если угодно, покажу-с?..

– Нет, не стоит, – устало сказал Штааль. – Да, так что же... – Он запнулся, не зная, о чем спросить актера, и боясь, как бы тот его не покинул. – Говорят, прекрасная комедия?

– Весьма прекрасная, – тотчас согласился актер.

– Ну а так у вас все идет, как следует?

– Ничего-с... Все как следует-с... Говорят, Яков Емельянович опять у нас будут играть. Не изволили слышать?

– Кто это Яков Емельянович?

– Шушерин, как же, Яков Емельянович Шушерин, – удивленно пояснил актер. – Они из Москвы, слышно, к нам переводятся.

– Да?.. Скажите, французы тут же играют?

– Как же-с, здесь все: и они, и мы.

– А госпожа Шевалье?

– Как же-с, оне каждый день здесь бывают... Попозже только, часам к пяти. Их уборная по коридору первая...

– Ах, вот что... Да вообще где у вас тут комнаты артисток?.. И артистов.

– Везде-с. Общих теперича две-с. Одна мужская – нынче в ней хор зефиров. А женская наверху, там сейчас нимфы одеваются.

– Да... Вы хотели показать мне машинное отделение. Это должно быть интересно.

– Слушаю-с.

В эту минуту на сцене послышались голоса, и у лесенки показалось несколько театральных завсегдатаев. Среди них Штааль увидел Наскова, де Бальмена, Иванчука.

– А, Бахус, – воскликнул Насков. – Бахус Моцартус... Mes enfants,⁵⁵ представляю вам бога Бахуса.

Напились неосторожно.

Пьяным мыслить невозможно,

Что же делать? Как же быть? —

запел он хриплым голосом.

– Фальшь, фальшь, – воскликнул, затыкая уши, Иванчук и как-то особенно бойко перескочил через низко висевшую веревку, хотя через нее можно было просто перешагнуть.

– Никак нет, верно поют-с, – сказал, улыбаясь. Бахус.

Иванчук очень холодно поздоровался с Штаалем.

– Вчера не были, сударь, – сказал актер. – Новостей нет ли-с? Верно, все штафеты читать изволите, и те что по телеграфам?

⁵⁵ Дети мои (франц.).

– Новостей? – переспросил польщенный Иванчук. – Какие же новости? Скоро воевать будем.

– С турками-с?

– С турками-с, – передразнил Иванчук. – Уж не с гишпанцами ли? С Англией, а не с турками-с. Сдается мне, Бонапарт начинает нами вертеть!

– Дерзновенного духа человек, – вздохнул актер.

– Ну, насчет войны еще гадания розны, – пренебрежительно сказал Штааль, не глядя на Иванчука.

– В самом деле, вряд ли мы заключим альянс с Бонапартом, – вставил де Бальмен.

– А почему бы и нет?

– С республиканским правительством? Это при суждениях государя императора?

Я люблю вино не ложно,
Трезвым быть мне невозможно.
Что же делать? Как же быть? —

пел Насков, бывший сильно навеселе.

– Я, впрочем, не утверждаю положительно, – сказал, спохватившись, Иванчук и заговорил вполголоса с де Бальменом об артистках театра, сообщая о них самые интимные сведения.

– Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? – все больше краснея, беспрестанно спрашивал де Бальмен. Иванчук только пожимал плечами. Штааль усиленно зевал. Ему очень

хотелось послушать.

– Да быть не может!

– Верно тебе говорю.

Де Бальмен вдруг толкнул его в бок, показывая глазами в сторону. К ним неторопливо подходил седой как лунь красивый старик с очень умным и привлекательным лицом, в коричневом суконном кафтани, с шитым шелковым жилетом, манжетами и брыжами. Голова у него слегка тряслась. Это был знаменитый актер Дмитревский.

– Здравствуй, здравствуй, дуся моя, – ласково говорил он каждому. – Что, инспектора не видал? Где инспектор?

– Они у краскотеров, Иван Афанасьевич, – сказал почти-точно Бахус. – А Алексей Семеныч в своей уборной.

– Пьян? – деловито спросил Дмитревский.

– Не иначе как, Иван Афанасьевич.

Дмитревский вздохнул.

– Жаль, талант какой, – сказал он. – Так я к нему пройду. Скажи инспектору, чтоб засел, дуся моя, – добавил он, исчезая за декорациями.

– Экой маркиз! – сказал с жаром де Бальмен, очень довольный тем, что увидел вблизи Дмитревского.

– Помаркизистее настоящих маркизов, – подтвердил Штааль.

– Кто это пьян? Яковлев? – спросил Бахуса Иванчук.

– Они-с.

– Как ты умный человек, Бахус, – сказал с таинственным

видом Насков, – то разреши мне сию задачу: ежели б в реке разом тонули турок и иудей, то которого нужно спасать первым?

Он засмеялся, окинув всех веселым взглядом, и затыкнул:

У меня гортань устала.
Лучше, братцы, отдохнуть.
Отдохнуть, да пососнуть,
Так, так душенька сказала...

– Да вот он, ваш инспектор, – сказал Иванчук. Бахус подтянулся и быстро исчез. По лестнице из машинного отделения спускался, похлопывая себя хлыстиком, осанистый мужчина, с жирным, осевшим складками, лицом. Он поздоровался с главными гостями так, как здороваются на сцене актеры, встречаясь с давно пропавшими без вести друзьями: склонял голову набок, на расстоянии, не выпуская хлыстика, хватал руки знакомых повыше локтей и при этом говорил изумленно радостным тоном: «Ба, кого я вижу!» или: «Сколько лет, сколько зим!» Это он говорил даже тем гостям, которых видел накануне. Впрочем, с людьми малозначительными, как Штааль, инспектор трупы поздоровался гораздо сдержанней, а Наскова даже вовсе не узнал. Особенно любезно он встретил Иванчука.

«Экая противная фигура, – подумал Штааль. – Так и хочется в морду дать... И никто, кроме актеров, не говорит “ба”!»

Иванчук фамильярно охватил за талию инспектора и отвел его к сцене.

– Вы, батюшка, как, Настенькой довольны? – спросил он вполголоса.

– Степановой? – переспросил инспектор. – Старательная девица. Она нынче в хоре нимф.

– Да, я знаю. Правда, отличнейший талант?

– Ничего, ничего.

– Только ход ей давайте... А зефиры к ней не пристают?

– Попробовали бы приставать! С зефирами разговор короткий. Будьте совершенно спокойны.

– Ну спасибо, – сказал Иванчук, горячо пожимая ему руку. – Граф Петр Алексеевич очень доволен вашей труппой.

– Стараюсь, как могу. Просто жалость, что у нас на русские спектакли так смотрят... Ей-Богу, играем не хуже французов.

– Она где сейчас, Настенька? В большой фигурантской? Так я туда пройду?

– Другим не разрешил бы, а вам... Только к нимфам, пожалуйста, не заходите. Не от меня учинено запрещенье. Велите служительнице вызвать.

Иванчук кивнул головой, поднялся, немного волнуясь, по лестнице к фигурантской и приказал вызвать Анастасию Степанову. Через минуту в дверях общей уборной появилась с испуганным видом Настенька в костюме нимфы. За ней показались сквозь полуоткрытую дверь две женские головы

и скрылись. Послышался смех.

– Ах, это вы? – сказала Настенька, улыбаясь и прислушиваясь к тому, что говорилось в уборной.

– Ты, а не вы, – поправил Иванчук, восторженно на нее глядя. – Я привез тебе конфет.

– Ну, зачем вы это? Благодарствуйте...

Иванчук вынул из кармана маленькую плоскую коробочку.

– Нарочно взял маленькую, незачем, чтоб болтали. Самые лучшие конфеты, по полтора рубли фунт.

Иванчук знал, что так говорить не следует, но не мог удержаться: с Настенькой ему хотелось разговаривать иначе, чем со всеми.

– Благодарствуйте, зачем вы, право, тратитесь? Это лишнее.

– Без благодарения: для тебя нет лишнего, Настенька.

Она засмеялась.

– Ты и не знаешь, какой я тебе готовлю сюрприз. Нет, нет, не скажу. А вот только что я говорил с инспектором. Он так полагает, что у тебя немалый талант. Увидишь, я тебе устрою карьер. Только слушайся меня во всем.

– Да я и так слушаюсь.

Иванчук оглянулся и быстро поцеловал Настеньку в губы.

– Ты знаешь, Штааль здесь, в театре. Ведь ни-ни, правда? – спросил он, краснея (что с ним бывало редко). – А, ни-ни?

Она вспыхнула:

– Мне все одно... Только вы идите, очень инспектор строгий.

– Так я после репетовки за тобой зайду.

– И то заходите, спасибо.

– Заходи, а не заходите.

Иванчук радостно простился с Настенькой и вернулся к сцене. Там движение усилилось. Слуги поспешно тащили рамы и сдвигали декорации. Волшебные чертоги Амура уже были почти готовы. Поддуги очень плохо изображали звездное небо. Работа кипела. Напряжение передалось и зрителям, которые взошли на сцену и уселись на стульях по ее краям в ожидании начала репетиции. В конце темного зрительного зала блеснул слабый свет. Дверь открылась, из коридора вошла дама в сопровождении лакея и поспешно направилась к сцене. Когда она поравнялась с паркетом, Штааль и Иванчук одновременно узнали Лопухину. Штааль поклонился, Иванчук мимо суфлера бойко сбежал со сцены в зал и остановился с Екатериной Николаевной.

– Пренсесс, – сказал он, целуя ей руку. – Вы в храме Мельпомены?

– Да, да, правда, Мельпомены... Я не помешаю?

– Ради Бога! Вы, можете ли вы помешать? – воскликнул Иванчук, подражая Палену. – Садитесь где вам будет угодно, пренсесс, где вам только будет угодно! – говорил он, точно был в театре хозяином.

– Здесь что сейчас?

– Сейчас начнется репетовка. «Радость душеньки», вы как раз, пренсесс...

– Ах, это русская труппа, – протянула, щурясь на сцену, Лопухина. – А я к дивной Шевалье...

Она вдруг вскрикнула, узнав Штаалья, и радостно закивала головой.

– Это тот ваш товарищ, я его знаю. Он такой милый. Позовите его...

Де Бальмен, стоявший рядом с Штаалем, толкнул его локтем. Штааль встал словно нехотя и медленно спустился в зал, искоса взглянув на озадаченного Иванчука.

– Вы, конечно, меня не узнаете? – с томной улыбкой скалала Лопухина. В голосе ее послышались теплые грудные ноты. – Ну да, конечно, не узнаете...

– Помилуйте, – ответил Штааль, досадуя, что не придумал более блестящего ответа.

– Не помилую, – сказала Екатерина Николаевна с ударением на слове **не**. – Я вас *не* помилую, молодой человек.

Иванчук отошел очень недовольный. Лопухина быстро приблизила лицо к Штаалю.

– Я сегодня безобразна, правда? Правда, у меня ужасный вид?

– Что вы, помилуйте, – опять сказал Штааль и покраснел.

– Нет, я знаю. У меня голова болит, это оттого...

– Зачем же вы пришли в театр, если у вас голова болит? –

спросил Штааль грубоватым тоном.

Лопухина слабо засмеялась:

– Parfait, parfait...⁵⁶ Нет, он очарователен. Ему надо ушко надрать. «Зачем вы пришли в театр?..» Я должна видеть прелестную Шевалье, вот зачем, молодой человек. Ах, она такая прелестная. Проводите меня к ней, да, да?

– С удовольствием, – поспешно сказал Штааль. – С моим удовольствием. Ежели только она уже прибыла... Ее уборная там, мы можем пройти коридором.

– Да, да, коридором. Дайте мне руку... Остаься здесь, Степан... Ах, она такая прелестная, Шевалье. Ведь, правда, вы не видали женщины лучше? Сознайтесь...

Она терпеть не могла госпожу Шевалье и постоянно ее превозносила по каким-то сложным соображениям.

– Сознаюсь.

– Ах, она обольсти... Вот только фигура у ней нехороша... И плечи... Неужто вы никого не видали лучше? Боже, какой вы молодой! И как вас легко провести! Ведь, правда, вы в нее влюблены?

Она опять слабо засмеялась.

– А помните, вы когда-то говорили, что в меня влюблены до безумия? Да, да, до безумия... Так ведите же меня к ней, изменник. Да, да, изменник! Стыдитесь, молодой человек.

⁵⁶ Чудесно, чудесно... (франц.)

ХІ

– А, это, должно быть, та заезжая великанша, что недавно показывалась на театре, – пояснил Штааль Лопухиной.

В коридоре недалеко от них у стены на табурете сидела огромная женщина, с упорным, тупым и неподвижным выражением на лице. Ее рыжая голова была видна издали подходившим, хоть великаншу с трех сторон обступали зефиры, обменивавшиеся деловитыми замечаниями о разных частях ее тела (она по-русски не понимала). Без всякого подобия улыбки, сложив руки на коленях, она смотрела на двух мальчиков, пришедшихся по линии ее взгляда, как смотрела бы на стену, если б их не было. Зефиры замолчали и расступились, увидев подходивших. Когда Лопухина и Штааль попали под взгляд великанши, она вдруг тяжело вздохнула, подумала немного и встала. Зефиры радостно зафыркали. Лопухина оглянулась на них. Привычным движением великанша раскинула руки по стене и вдруг улыбнулась жалкой улыбкой. Это и было все ее выступление, для которого она ездил из одного края света в другой.

– Какая странная жизнь должна быть у этой женщины, – сказал Штааль негромко своей спутнице. Лопухина восторженно закивала головой, точно он сделал необычайно тонкое замечание. Штааль увидел, что она смотрит не на великаншу, а на зефиров.

– Что это за юноши? – отходя, спросила Лопухина равнодушным тоном.

– Это, кажется, воспитанники театрального училища.

– Parfait, parfait... Какое чудовище эта женщина! Ах, уже ли есть мужчины, которые могли бы ее полюбить? Как вы думаете?

– Своей красоты, не хуже многих других, – буркнул Штааль, тут же подумав, что ведет себя и неучтиво, и глупо: Лопухина с ее громадными связями могла быть чрезвычайно ему полезна. – Это, верно, здесь, – сказал он, остановившись перед закрытой дверью последней комнаты коридора.

Лопухина постучала и вошла, не дожидаясь ответа, в небольшой, хорошо убранной комнате перед зеркалом горели свечи. Госпожа Шевалье, в шелковом пеньюаре, сердито встала с места, но тотчас, увидев Лопухину, сменила недовольное выражение лица на радостную улыбку. В углу комнаты с дивана поднялся грузный Кутайсов. На равнодушном лице его не было никакого выражения. Однако Штааль почувствовал себя неловко. Расцеловавшись нежно с Лопухиной, госпожа Шевалье подала руку Штаалю, с которым уже была знакома; однако не предложила ему сесть.

– Княгиня приказала мне проводить ее к вам, – смущенно сказал Штааль.

Кутайсов равнодушно наклонил голову в знак согласия, точно это ему вошедший гость объяснял причину своего появления. Штааль вспыхнул. Он невнятно пробормотал, что

княгиня, верно, одна найдет дорогу назад, – и, неожиданно для самого себя, направился к двери. Никто его не удерживал. Штааль вышел с яростью, чувствуя, что визит не только не подвинул вперед его дела, но, скорее, мог повредить ему в глазах красавицы: «Глупо вошел, еще глупее вышел...» С порога он смерил взглядом Кутайсова с ног до головы, но это не могло его утешить, так как Кутайсов и не смотрел на него в эту минуту. Хлопнуть дверью было тоже неудобно. Штааль быстро шел, не замечая, куда идет, и говорил отрывисто разные злобные слова.

Справа за стеной тот же хриплый баритон пел: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня...» Навстречу Штаалю шел, переваливаясь, с хлыстиком в руке, осанистый инспектор труппы. Он недовольно посмотрел на Штаалья и холодно кивнул головой, как если б тот ему поклонился. «Еще бы стал я первый кланяться», – почти с бешенством подумал Штааль.

У окна стоял стул с продырявленным сиденьем. Со сцены, находившейся совсем близко, слышалось пение. Штааль сел и угрюмо уставился на улицу. Еще было светло. Начинались весенние дни. Грязное месиво, оставшееся после растаявшего снега, уже немного подсыхало. Стояла теплая погода без дождя и солнца, которую любил Штааль.

«Да, правду говорил Ламор: нечего мне лезть к этим людям, – угрюмо думал он. – Странно я повстречался с Ламором. В Неаполе тогда были одновременно и не знали.

А здесь, в Петербурге, вдруг встретились у Демута. Очень странно! Я думал, он давно умер. Живуч старик и стал еще болтливее. Но, пожалуй, он прав».

Они тогда довольно долго оставались в биллиардной. Когда все предметы разговора были исчерпаны, Штааль вдруг, сам не зная для чего, рассказал Ламору о своей любви к госпоже Шевалье. Старик выслушал его с интересом.

– Молодой друг мой, – сказал он, – глупый, благоразумный человек, вероятно, счел бы себя обязанным с ужасом вас предостеречь. Очень может быть, что за любовь к фаворитке императора вас бросят в каземат или сошлют в каторжные работы, – такие случаи бывали в истории. Но в русской Бастилии (ведь ее, слава Богу, еще не взяли) или по дороге в Сибирь, позвякивая кандалами, вы вдруг вспомните какую-нибудь улыбку, или взгляд, или сказанное вам нежное слово – и сердце ваше замрет от такого умиления, от такого мучительного восторга, по сравнению с которыми, конечно, ничего не стоит вся слава и роскошь мира. Эти минуты и составляют высшую радость в любви, а не то, что, помнится, Марк Аврелий или другой древний импотент называл презрительно «convulsicula».⁵⁷ Платоническая любовь, которую наивные люди именуют «чистой», – самое утонченное наслаждение, выдуманное великими сибаритами. Я отнюдь не враг «convulsicula», – но высший восторг дают все же те мгновенья. Правда, восторг пройдет, а Сибирь и Ба-

⁵⁷ Любовные корчи, любовные конвульсии (*лат.*).

стилия останутся. Поэтому, с чисто логической точки зрения, глупый человек, пожалуй, будет не совсем не прав. Однако особенность глупых людей именно в том и заключается, что они суют логику туда, где ей решительно нечего делать. Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала... Впрочем, по прежним моим наблюдениям, у вас не слишком бурный темперамент. Вы, кажется, человек мнимострастный: есть такие – уж вы меня извините. Благоразумнее было бы, конечно, не лезть в соперники сильным мира. Но отчего же и не попытаться счастья? Есть серьезные прецеденты. Возьмите нашего первого консула. Уж какое могущественное лицо, да вдобавок гений, да вдобавок красивый человек, – но с огорчением должен сообщить вам то, о чем давно говорит весь Париж: *Le grand homme est cocu.*⁵⁸ Счастливый соперник первого консула – конный егерь, мосье Шарль: просто конный егерь, просто мосье Шарль, ничего более. Это, кстати сказать, по-моему, проявление высшей справедливости. Судьба мудро поступила, наградив пяткой Ахиллеса. На месте наших республиканцев я нашел бы себе утешение: мосье Шарль отомстил человеку судьбы за 18-е брюмера: *le tyran est cocu.*⁵⁹

«Все он шутит да острит, – думал Штааль. – Нет утомительнее таких людей. Неужто в первом консуле ничего иного подметить было невозможно?..»

⁵⁸ Великому человеку наставили рога... (франц.)

⁵⁹ Тирану наставили рога (франц.).

Мысли Штаалья были в последнее время всё более печальны. Дела его, и денежные, и служебные, находились в совсем дурном состоянии. Товарищи-офицеры его не любили и считали чужим, случайным человеком в своей среде. Штааль это приписывал тому, что не имел знатного имени. В действительности были также другие причины. В его блестящем полку, одном из лучших в мире, традиции чести и достоинства стояли и в ту пору чрезвычайно высоко. Штааль не сделал ничего противного этим традициям, не сделал и вообще ничего дурного. В походе он прилично себя вел. Поэтому его терпели. Но в нем смутно чувствовали человека, в безукоризненном поведении которого нельзя быть вполне уверенным. «Надо уйти в отставку, пока не попросили, – думал Штааль. – Не создан я для военной службы».

Он взглянул в окно и тяжело вздохнул.

«Вот скоро поеду на юг, в Киев, в Одессу даст поручение Рибас... Бальмен предлагает ехать вместе. Дешевле будет и не так скучно: он приятный мальчик. Там отдохну... Какая, однако, мелочь может расстроить душу... Ведь ничего, собственно, этакого и не случилось. Ну, увижу ее в другой раз. Да и на ней свет не клином сошелся. На юге много красивых женщин... Вот бы только Лопухина не оскорбилась, что я ее бросил...»

На сцене Амур пел арию: «Ее устами говорила сама любовь, сама любовь». Певец произносил: «сам-ма любо-у, сам-ма любо-у». «Да, именно любоу... Почему, однако, ста-

рик думает, что я человек мнимострастный? Это обидно...» Голос певца оборвался на длинной пискливой заключительной ноте. «Какой скверный певец! Да, все мое расстройство оттого, что нет ни любви, ни денег. Одно утешало бы, ежели б не было другого. А вдруг на юге найду и деньги, и любовь?..» «Я говорю, что она загрустила от печали», – сказал на сцене голос. «А я говорю, что она печальна от грусти», – ответил другой. Послышался смех. «Экое дурачье! Что тут остроумного?» – подумал Штааль. Он встал и направился к сцене.

Сбоку от лестницы шел на сцену хор нимф. Нимфы шли в ногу походкой балерин, подняв голову, опустив плечи, странно держа руки и подрагивая бедрами. Все улыбались совершенно одинаковой, задорно-радостной улыбкой. Четвертой шла Настенька. Штааль знал, что она оставила Баратаева и сошлась недавно с Иванчуком, который определил ее в балет. Сначала это было чрезвычайно неприятно Штаалю, потом он решил, что ему совершенно все равно. Иногда ему хотелось даже спросить своего бывшего приятеля игриво-благодарным тоном, как поживает Настенька. «А она уж, пожалуй, и немного стара для нимфы, – подумал Штааль, хоть Настенька теперь была красивее, чем в пору их встречи в Таверне. – Отвернуться в сторону или смотреть прямо, будто не узнаю?» Он встретился с Настенькой взглядом. Хоть она тотчас отвернулась, залившись румянцем, Штааль поспешно сорвал шляпу с головы и прошел мимо, направляясь к выходу.

«Зачем мне идти на сцену? Чего я там не видал?..»

В коридорах театра никого не было. Но в небольшой галерее около лестницы стояли, горячо и негромко разговаривая, два человека. В одном из них Штааль еще издали узнал графа Палена. Лицо его, нахмуренное, без обычной усмешки, поразило Штаалья выражением сосредоточенной силы. Другой человек, по-видимому очень молодой, в семеновском мундире, стоял спиной к Штаалю. Штааль на цыпочках скользнул мимо разговаривавших. Они его не видали. Пройдя шагов пятнадцать, он оглянулся и с удивленьем узнал в собеседнике Палена великого князя Александра Павловича.

XII

Иванчук легко достал продолжительный отпуск для Настеньки: в балетной труппе она была совершенно не нужна; приняли и держали ее только благодаря его связям. Ему самому было труднее получить отпуск. В течение нескольких лет Иванчук ни разу не выезжал из Петербурга: он старательно внушал – и внушил – своему начальству убеждение в том, что без него все пропадет. С этим, конечно, связывались немалые выгоды по службе, но они были уже давно получены, и теперь Иванчук начинал тяготиться своей ролью незаменимого человека, смутно опасаясь, уж не свалит ли он в общем дурака, работая за те же деньги гораздо больше других (он всегда боялся, как бы в чем-либо не «свалить дурака»).

ка»). Просьба его о двухмесячном отпуске вызвала недоумение начальства, правда, лестное, но и раздражившее немного Иванчука. «Да ведь вас и заменить некем, просто лавочку закрывай», – сказал, разводя руками, ближайший его начальник. Иванчук с достоинством и твердостью дал понять, что, хоть это совершенно справедливо, он все же человек, а не вол. Отпуск Иванчук получил; получил даже и прогонные на шесть лошадей, несмотря на то, что ехал по собственной надобности: он отправлялся на юг для осмотра и покупки имения под Житомиром.

Настенька должна была сопровождать Иванчука. Об этом он никому не рассказывал, но принял меры к тому, чтобы все это знали. В путешествии с молоденькой балетной актрисой было, по представлению Иванчука, что-то удалое, легкомысленное, молодецкое, не очень шедшее к репутации солидного основательного человека, которую сам же он годами заботливо себе составлял. Однако именно противоречие это и было ему приятно. Деловую репутацию свою он справедливо считал вполне упроченной и заботливо намекал, что есть в его жизни еще многое помимо службы и что, будучи правой рукой графа Палена, он в то же время и по другой части утрет нос многим ветреным молодцам. Получая отпуск для Настеньки у директора театра и сообщая приятелям о своем путешествии на юг, Иванчук старательно отводил глаза в сторону, в меру конфузился (принимая в расчет свое служебное положение), в меру плутовски улыбался и в нуж-

ную минуту переводил разговор на другой предмет, причем интонация его и строгое выражение лица ясно говорили: «Я перевожу разговор на другой предмет».

От путешествия он ждал необыкновенных наслаждений. Немного его беспокоило то, что в Киеве трудно было не встретиться с Штаалем, который как раз был послан Рибасом в служебную командировку на юг. «Ну, положим, я живо его отошью, ежели что», – говорил себе Иванчук. Однако мысль эта, как все связанное с Штаалем, была ему неприятна. И еще огорчило Иванчука, что Настенька, по его мнению, не обнаружила достаточной радости, когда узнала о получении отпуска и о предстоящем путешествии (это был тот сюрприз, о котором он говорил ей за кулисами театра).

Настенька давала Иванчуку самые наглядные доказательства любви. Он знал вдобавок, что облагодетельствовал Настеньку (сознание это всегда его умиляло) и что она должна быть ему благодарна по гроб жизни. Таким образом, в ее любви Иванчук почти не сомневался и был в этом почти прав. Настенька действительно была ему благодарна по гроб жизни.

Она пережила тяжелое время после того, как покинула Баратаева. Покинула она его тотчас по возвращении из-за границы: ей с ним было мучительно скучно и страшно. Она даже толком не знала, по своей ли воле ушла от Баратаева или это он ее отпустил. От его имени ей при уходе была вручена денежная сумма, очень большая по сравнению с тем,

что в таких случаях получали женщины одного положения с Настенькой. По непривычке ей тогда показалось, что денег этих хватит на целый век. В действительности очень скоро она осталась без гроша. Настенька так и не могла сообразить, куда девались деньги. Правда, бриллиантовое ожерелье, купленное у проезжего торговца по редкостному случаю за треть цены, оказалось фальшивым. Настенька хотела было даже подать жалобу, как ей советовали, но все собиралась, плакала, плакала и не подала, а всем объясняла, что торговец, верно, давно ускакал из города. Да еще она помогла немного одной хорошей старушке и двум подругам дала займы. Остальные деньги разошлись незаметно. Она чувствовала, что если бы попросить еще у Баратаева, он, вероятно, не отказал бы. Но на этой мысли она и не остановилась. Настеньке пришлось очень плохо. Подруги даже рассказывали всем с искренним огорчением, что она пошла по рукам. Спас же ее, по их словам, Иванчук.

Таково было и собственное мнение Настеньки. Не то чтобы он с самого начала очень ей понравился. Но другой мог быть гораздо хуже – Настенька насмотрелась всего. Иванчук устроил ее в балет. Это было нелегко: ни по возрасту, ни по фигуре она уже для балета не подходила. Он снял для нее комнату и денег давал, – правда, немного, но, с балетным жалованьем на придачу, ей хватало на жизнь. Требовал Иванчук за все это меньше, чем многие другие, а обращался с ней совсем хорошо: ласково, внимательно, нежно. Настенька и

прежде, еще с «Красного кабачка», чувствовала, что нравиться Иванчуку и что он завидует Штаалу.

О Штаале Настенька, в огорчениях жизни, вспоминала все реже. Правда, когда вспоминала, то вздыхала очень грустно, а в первое время нередко и плакала. Известие об его возвращении из похода (он был послан курьером и вернулся раньше других) Настенька приняла с волнением. Затем она несколько раз встречала его, то в Летнем саду на гулянье, то на Невском проспекте, и всякий раз мучительно краснела, больше от того, что считала себя подурневшей. Да еще ее беспокоило, знает ли он обо всем, что с ней произошло. Но Штааль, по всей видимости, мало ею интересовался. Это очень оскорбило Настеньку: простая вежливость требовала большего. Иванчук говорил, что Штааль огрубел в походе до неузнаваемости. Она тоже так думала: ей было и больно, и почему-то немного приятно. Настенька не сравнивала Иванчука с Штаалем, но, по чувству справедливости, все более ценила заботливость и внимание своего нового покровителя. Оценила она и его практические дарования. Настенька ясно чувствовала, что за ним не пропадешь. Этой уверенности Штааль никогда ей не внушал. Он, напротив, был ей мил тем, что за ним пропасть было очень легко. Настенька не без удивления замечала, что оба чувства приятны. Она сама не знала, какое лучше.

Радости от сюрприза, преподнесенного Иванчуком, Настенька не выразила главным образом потому, что отвык-

ла выражать радость. Ей надоел Петербург с его дурными воспоминаниями, с людьми, которые часто и, как ей казалось, нарочно бередили эти воспоминания. Балет утомлял Настеньку. Она делала вид, будто очень любит сцену, – так было принято в ее кругу. В действительности она не только не любила балета, но и плохо верила, что другие могут его любить. Сама она с удовольствием навсегда бросила бы сцену. Поездка «в деревню» была ей очень приятна. Немного ее смущало лишь то, что в дороге им, очевидно, предстояло оставаться круглые сутки вместе: она с беспокойством думала, что надо будет все время поддерживать разговор. Настенька знала, что она не мастерица разговаривать, и всегда боялась, как бы ее за это не разлюбили. В Петербурге она с Иванчуком, занятым целый день, проводила не более часа, двух в сутки, и ей никогда с ним вдвоем не бывало тяжело, разве лишь немного скучно. С любопытством Настенька думала и о том, что сможет выйти из их совместной поездки. Иванчук не раз делал ей таинственные намеки, но тотчас торопливо переводил разговор, когда она пыталась выяснить их значение. «Уж не жениться ли хочешь?» – думала она с искренним недоумением: ей было непонятно, зачем бы Иванчук на ней женился, когда он и так имел от нее все, что мог иметь. А между тем смысл таинственных намеков сводился как будто именно к женитьбе. «Что ж, я бы пошла, – думала нерешительно Настенька, не без задорной радости представляя себе лица подруг, когда она им объявит, что выходит за-

муж за Иванчука. – Не то что пошла бы, а за счастье должна почитать, – тотчас же наставительно поправляла она себя, – да никогда он и не подумает». Настенька приучала себя к мысли, что Иванчук не подумает на ней жениться. У нее была такая привычка – оставлять возможную удачу про запас. выйдет, и слава Богу, а не выйдет, что ж, никто и не ждал.

В утро, назначенное Иванчуком для отъезда, Настенька с особенной ясностью почувствовала, что за ним никак не пропадешь. Иванчук заехал за ней к шести часам в превосходной, обитой сафьяном, заваленной подушками коляске четверкой. На нем был, под серым английским плащом, перловый фрак с перламутровыми пуговицами и мягкие сапоги с отворотами, а в руке он держал трость с серебряным набалдашником, изображавшим голову мопса. Настенька даже удивилась, зачем он в дорогу надел столь нарядный костюм. Иванчук снисходительно объяснил ей, что именно такого цвета фрак под плащом не слишком запылится; на станциях же надо быть хорошо одетым, чтоб уважали.

И действительно, уважали их в дороге чрезвычайно. У Иванчука была такая подорожная бумага, что на каждой станции все, во главе со смотрителем, неизменно выходили их провожать и низко кланялись, хоть Иванчук оставлял на чай именно столько, сколько полагалось, даже немного меньше. Путешествовали они с необыкновенными удобствами. В коляске, обитой сафьяном, было решительно все, что могло пригодиться в дороге, от сабли и охотничьего ружья до ящи-

ков с конфетами и банок с вареньем. Иванчук, очень редко путешествовавший, превосходно знал, как нужно путешествовать. И ездить с ним было очень приятно. Настенька совершенно не чувствовала той неловкости, которой боялась. Он предупреждал все ее желанья. Когда ей не хотелось разговаривать, они не разговаривали. Когда хотелось дремать, дремали очень уютно, без всякого стеснения, плечом к плечу. На станциях после обеда случалось им заниматься и чтением. У Иванчука в одном из вкладных ящичков коляски оказались книги: «Павел и Виргиния» и «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Эту книгу Иванчук на ночевках заставлял Настеньку читать вслух, что, видимо, доставляло ему необыкновенное удовольствие. Сначала Настеньке было стыдно, но потом и она полюбила эту забаву.

ХІІІ

Штааль был послан в Киев и Одессу со служебным поручением, но, в отличие от Иванчука, прогонные получил лишь в обрез: поручение, очень пустое, само по себе могло считаться наградой, как бы продолжительным отпуском. Для сокращения расходов Штааль уговорился ехать с де Бальменом, который отправлялся на юг к родным. Ехали они то на почтовых, то на обывательских, без больших удобств: у них не было ни подорожной Иванчука, ни его уменя устраивать-

ся. Тем не менее их поездка оказалась также чрезвычайно приятной.

У заставы, возле которой стояли конные и пешие люди, вооруженные с ног до головы, пристав Тайной экспедиции внимательно просмотрел бумаги отъезжающих, справился в какой-то книге, что-то записал и затем сказал угрюмо: «Можете ехать», не прибавив даже слова «господа». Они вздохнули с облегчением, когда шлагбаум (только что введенная вместо рогаток новинка) и выкрашенные в косую полосу будки скрылись за облаком пыли. Штааль высказал несколько вольных мыслей о Тайной экспедиции. Де Бальмен горячо его поддержал. Заговорили о книгах, преимущественно французских и вольнолюбивых. Читали они приблизительно одинаково, но Штааль естественнее бросал слова «да, когда-то читал», когда речь заходила о книгах, ему не известных, и слушал он суждения де Бальмена с легкой насмешливо-благодарной улыбкой, которая незаметно закрепила за ним превосходство. От книг они перешли к предметам более близким к жизни. Еще до первой остановки Штааль знал разные школьные истории де Бальмена, а де Бальмен – приключения Штааля в Италии, в Париже, в походе. О своих путешествиях Штааль научился рассказывать очень тонко: сказал, что в Италии всего лучше Равенна, не в пример Риму и Венеции; а из парижских памятников искусства восторженно похвалил церковь Святого Иулиана – «ее мало кто знает», – небрежно вставил Штааль. Де Бальмен, ничего не

слыхавший ни о Равенне, ни о церкви Святого Иулиана, проникся большим уважением к своему старшему товарищу.

Пригородные строения исчезли. Показались настоящие поля. Грязноватый, неподвижный, поросший тиной пруд умилил путешественников-горожан. Вскоре по их выезде из Петербурга пошел легкий весенний дождь, и после него повеяло таким ароматом, что оба совершенно ошалели.

«Будет, будет Шевалье моею», – решительно подумал Штааль.

– Как хорошо вояжировать! Право, осточертела служба, – сказал неожиданно де Бальмен. – Ничего нет лучше свободы.

– Ну, разумеется, – совершенно искренне согласился с ним Штааль.

На первой станции они решили отобедать, несмотря на ранний час. Оказалось, что получить к обеду можно все что угодно. Они заказали студень с солеными лимонами, похлебку с каштанами и пармезаном, белужий паровой схаб, паштет с трюфелями, утку с фиговыми ягодами. Потребовали они и бутылку шампанского и тут же выпили на «ты», почувствовав с удовлетворением, что очень нравятся друг другу. Де Бальмен принадлежал к людям, неизлечимо большим желанием нравиться каждому. Штааль же еще в Петербурге замечал, что этот юноша менее неприятен ему, нежели другие люди. Он совершенно не испытывал желания говорить неприятности де Бальмену – это с ним теперь случилось нечасто, особенно в обществе людей молодых. На стан-

ции за шампанским началось их настоящее прочное сближение. Они заговорили о женщинах, были употреблены не принятые в литературе слова, и сразу исчезли последние следы напряжения, немного чувствовавшегося вначале. Поились рассказы. Оба оказались Геркулесами и вдобавок совершенно извращенными людьми. Ни один не хотел отставать – Штааль потому, что был старше, де Бальмен потому, что был моложе. Верили они друг другу не слишком, но слушали с большим любопытством: каждый старался по собственному опыту сделать верную количественную поправку к рассказам другого. Штааль рассказал и о своем первом дебюте, причем сразу обеспечил себе победу, отнеся этот дебют к тринадцатилетнему возрасту.

– Нет, я начал позже, я на пятнадцатом году, – тотчас сказал де Бальмен с самым правдоподобным смущением. Штааль пространно развил мрачные мысли о любви. «Все это очень преувеличено в книжках, – пренебрежительно говорил он. – В двадцать лет, разумеется, это очень мило. А потом, право, надо и стыд иметь...» Де Бальмен улыбался и с полной искренностью мотал отрицательно головою: он никак не находил, что все это преувеличено. Напротив, каждую хорошенькую женщину, которая ему не принадлежала, он рассматривал как личную потерю. Штааль пожимал плечами, все более впадая в тон Ламора в разговоре со своим молодым другом.

– Что ж, ты еще клоп... А моя молодость давно кончена.

Он взглянул на де Бальмена, ожидая возражений, и испытал легкое неприятное чувство от того, что возражений не последовало.

– Ах, в мои годы Цезарь завоевал мир, – не совсем кстати сказал задумчиво де Бальмен.

– Не Цезарь вовсе, а Александр Македонский, – поправил Штааль.

– Ну, все равно, я и в тридцать не завоюю...

– И не надо, незачем тебе, Сашенька, завоевывать мир. А вот разбогатеть нам с тобою не мешает. Особливо мне. В двадцать пять лет, право, уж и смешно быть бедным, – никакой больше поэзии.

– И в двадцать с поэзией довольно, брат, глупо.

Штааль бессознательно скинул себе для круглого счета один год; де Бальмен так же бессознательно один год набавил.

– Впрочем, мы не об этом говорили, – сказал де Бальмен. – Ты знаешь, у меня самые интересные знакомства завязывались в пути...

Он рассказал о любовных приключениях, случавшихся с ним в дороге. Де Бальмен чувствовал, что Штааль ему верит плохо, и это его обижало, так как из рассказанных им историй одна действительно почти целиком соответствовала правде.

В эту поездку как назло никаких дорожных приключений и знакомств у них не выходило. Они ограничивались кри-

тическими замечаниями насчет попадавших на станциях женщин.

Ехали они не торопясь, хоть для приличия (так делали все) устраивали иногда скандалы зрителям, не дававшим лошадей. Ни родные де Бальмена, ни служебное поручение Штаала не требовали спешки. Стояла поздняя весна, переходившая в лето по мере их приближения к Киеву. Днем уже бывало жарко. Но езда в утренние и предвечерние часы доставляла им истинное наслаждение. Особенно приятно было ехать лесом. Иногда вечером, когда все стихало и сквозь густую чащу деревьев переставал просвечивать закат, в лесу бывало немного жутко. Вспоминались смутно рассказы о каких-то неизвестно где находившихся Брынских, Муромских лесах, о берлогах разбойников, о свирепых атаманах. Штааль и де Бальмен, точно для забавы, заставляли ямщика рассказывать о страшных дорожных приключениях и, слушая его, смеялись, однако несколько нервнее обычного. Было бы странно, если б разбойники напали на экипаж, в котором путешествовали два хорошо вооруженных человека (с ними в бричке был целый арсенал). Но все-таки выезжали они из лесу не без удовольствия. Штаалу казалось, что именно в эту поездку он по-настоящему узнал и полюбил Россию. Он гордился ее необъятными пространствами, бесконечно тянувшимися, нигде не виданными лесами, гордился своей принадлежностью к миру, который зовется Россией. Здесь в глуши (глушь начиналась в пятидесяти верстах от петербург-

ской заставы) ничего не знали о том, что делается в столице. Ею интересовались ненамного больше, чем Лондоном или Парижем. Де Бальмен, любивший смелые афоризмы, сказал, что между Петербургом и Россией лежит пропасть. И пропасть эта тоже как-то льстила их национальному самолюбию. Для развлечения они подолгу играли в карты. Играли и на станциях, и в коляске, положив на колени шкатулку и придерживая карты от ветра.оборот не превышал десяти рублей, но выигрыш записывался аккуратно, и на остановках производилась расплата. Пробовали они было играть без денег, но тотчас бросили, почувствовав, к своему удивлению, что это неинтересно (хоть несколько рублей ни для одного из них счета не составляли). «Значит, я по натуре игрок», – не без удовлетворения подумал каждый. Когда играть надоедало, они показывали друг другу карточные фокусы. Впрочем, фокусов они знали немного, а некоторые вдобавок не выходили с первого раза (что очень расхолаживало) или были известны обоим и тогда обрывались на смущенном смехе фокусника. Иногда они с подчеркнутой шутливостью передергивали вольты. Эту забаву полагалось знать каждому светскому человеку, но оба испытывали некоторую неловкость, если хорошо выходило.

В дороге они довольно много пили и всякий вечер, ложась, были не то что пьяны, но чрезвычайно бодры, благодущны и оживлены. Вино очень скрашивало жизнь. За вином завязывались и самые приятные, самые интимные разго-

воры. Де Бальмен предпочитал шампанское, Штааль – обыкновенную водку; в том и в другом был, как оба они чувствовали, свой стиль.

Штааль все больше забывал свою мизантропию и по-настоящему привязался к де Бальмену. «Право, очаровательный мальчик», – говорил он себе, точно оправдывая переменную своего мрачного нелюдимого настроения. Он находил в своем молодом спутнике много живости, юмора, неподдельного веселья; все это никогда его не раздражало, как раздражало прежде в Рибопьере, в других очень молодых людях, в сущности на де Бальмена довольно похожих. Де Бальмен хорошо рассказывал и, к особенному удовольствию Штааля, отлично передразнивал разных общих знакомых. Штааль приставал к своему другу, чтобы тот изобразил и его самого. Де Бальмен долго от этого уклонялся. «В тебе, видишь ли, ничего такого забавного нет, уцепиться не за что, право», – говорил он. Это льстило Штаалу, но он упорно повторял: «Ну, да уж как-нибудь, умоляю тебя, я уверен, пресмешно выйдет». Однажды в конце обеда де Бальмен наконец согласился, подумал немного, встал и прошелся по комнате. Штааль очень удивился, глядя на появившееся перед ним скучающее, кислое лицо с примесью самодовольства и без всякой самоуверенности в выражении, на распущенную, шаркающую по полу походку.

– Нет, совершенно непохоже, – сказал он. – Ты, надеюсь, понимаешь, я не потому говорю, что это обо мне: просто

непохоже. Разве я так хожу? Это, прямо скажу, тебе не удалось.

– Да, конечно, не удалось, – поспешил признать де Бальмен.

Штааль говорил своему другу и о Настеньке, и о госпоже Шевалье. О своей связи с Настенькой он рассказывал по-разному: то весело-цинично, в обычном тоне их разговоров о женщинах, то с некоторой меланхолией, показывая, что дело в свое время было не такое уж легкое и веселое. А о госпоже Шевалье, в самом конце их путешествия, он рассказал де Бальмену очень кратко и уж совсем неопределенно, так что оставалось неясным, было ли у них что-либо или нет. Почему-то это сообщение неприятно задело де Бальмена, хоть он сразу склонился к выводу, что ничего не было. Ему даже в первый раз за всю дорогу захотелось сказать Штаалу колкость. Он этого не сделал, но не поддержал разговора о госпоже Шевалье. Оба они вдруг почувствовали, что как будто маленькая трещинка образовалась в их дружбе. Впрочем, это продолжалось лишь мгновение и прошло совершенно бесследно.

Простились они в Броварах, с самым искренним огорчением, взяв слово друг с друга писать часто и «обо всем». Де Бальмен бывал прежде в Киеве и на этот раз там не останавливался. Он посоветовал Штаалу снять комнату в нижнем городе у купца, как обычно делали, или хоть на постоялом дворе. Ему было известно, что в гостинице на Печерске дол-

жен был, по его же указанию, остановиться Иванчук, выехавший незадолго до них (Штааль этого не знал). У де Бальмена промелькнула было мысль устроить Штааля в одном месте с Настенькой – этот сюрприз мог быть забавным. Но он тотчас отказался от соблазна неделикатной шутки.

XIV

Ямщик остановился на повороте дороги, снял шапку и перекрестился. Вдали блестели купола киевских церквей. Колеска долго стояла у колодца. Поили лошадей. Затем тронулись дальше шагом. Дорогу постоянно заграждали богомольцы, число которых все увеличивалось по мере приближения к городу. Жаркий, совсем почти летний, день кончался. Разгорался закат, заливая багровым пламенем изжелта-лиловое небо.

Когда они подъехали к Днепру, уже было почти темно. Повеяло сырой прохладой. Впереди показалась отсвечивавшаяся последними огнями неба стальная, быстро темневшая, местами уже черная лента, загибавшаяся где-то вдали. «Вот он, Борисфен», – сказал вслух Штааль, настраиваясь на торжественный лад. Ямщик подтянулся на козлах и осторожно спустился к реке. Через Днепр переезжали по плавучему мосту на барках. Почерневшая река казалась неровной и неудобной, несмотря на тихую погоду. Справа на Трухановом острове уже зажигались редкие, отражавшиеся далеко в во-

де фонари. Мост дрожал. Перил не было. Лошади пугливо озирались, у ямщика вид был озабоченный. Штааль вздохнул свободно, когда они съехали с моста и медленно пошли в гору. Беловатый полукруг месяца быстро желтел, наливаясь огнем. На потемневшем небе показалась дрожащая звезда и долго оставалась одинокой. Потом сразу вывездило все небо. Воздух был свеж необыкновенно. С обеих сторон шедшей по холмам зигзагами дороги тянулись мрачные леса. Кое-где горели костры богомольцев.

– Аскольдова могила, – сказал ямщик. Штааль высунулся из экипажа.

– Где? – спросил он. Ямщик неопределенно ткнул рукой в пространство. Штааль не видел никакой могилы. Везде грозно чернел неподвижный лес. Имя Аскольда было знакомо Штаалю и как-то связывалось в его памяти с Киевом, но Штааль решительно не помнил, кто это: не то он кого-то здесь убил, не то его здесь убили. «Верно, его убили, иначе и могилы бы не было», – основательно заключил Штааль. Помнил он еще, что кроме Аскольда был какой-то Дир. «Кажется, и Дира тоже убили, а вот могила называется Аскольдовой», – подумал он, с улыбкой чувствуя легкую обиду за Дира и раздражение против Аскольда за то, что выскочил. Так в училище говорили о совавшихся вперед товарищах. «Колька Петров любил выскакивать, мы его раз за это вздули. А то еще были Кий, Щек и Хорив. Эти, я помню, основали Киев... Больше, хоть убей, ничего не помню и не знаю,

что за люди, не то поляне, не то древляне, не то еще какие-то “ляне”. Эх, плохо нас учили, стыдно не знать отечественной истории», – печально думал Штааль.

В Киев коляска въехала поздним вечером. Поэтически настроенный лесом, кострами и звездами, Штааль осматривался по сторонам и никак не мог понять, начался ли уже город или нет. То шли длинные строения, то тянулись бесконечно пустыри. У ворот каждого дома, под фонарями, по-дачному уютно сидели люди. «Конечно, это и есть город», – решил Штааль. Но скоро коляска опять въехала в лес и стала спускаться по совершенно пустынной неосвещенной местности, которая называлась Липки (это название показалось Штаалю как-то не совсем русским). Затем снова появились фонари, дома, большей частью маленькие, одноэтажные, разделенные садами, люди на завалинках у ворот. Коляска затряслась по мостовой, ямщик прибавил ходу. «Ишь ты, и мостовая кое-где есть», – подумал насмешливо Штааль. Оказалось, что прежде они ехали по верхнему городу, Печерску, а здесь был нижний город. Подол.

Постоялый двор оказался не лучше, а скорее хуже тех, в которых Штааль и де Бальмен останавливались в самых глухих городах по дороге. В неосвещенном коридоре дурно пахло. Комната, отведенная Штаалю, была хоть и большая, но грязная и плохо обставленная, а к ужину, кроме чая, ничего нельзя было получить. Штааль, сильно проголодавшийся в пути, вынужден был поужинать остатками дорожных за-

пасов. Где-то в соседнем дворе играли на гармонике. Замиравшие вдали звуки навели тоску на Штаалья. Он с особенной грустью вспомнил о де Бальмене – ему было очень без него скучно. «Где он теперь, Саша? Тоже, верно, скучает на почтовом дворе...» Штааль лег спать в самом печальном настроении. Всю ночь его кусали насекомые. Из постели что-то торчало колом. Белье было шершавое. Несмотря на усталость, Штааль заснул только глубокой ночью.

Когда он проснулся, комната вся была залита косыми дрожащими золотыми лучами и показалась ему уже не такой гадкой. Штааль повеселел, быстро оделся и в седьмом часу утра вышел из гостиницы. Людей на улицах попадалось немного. Дома были очень убогие, скорее лачуги. «Так это Киев?» – разочарованно думал Штааль. Он поднялся на Крещатик, в рощу, погулял в ней зевая, съел на ходу купленный тут же крендель с моченым яблоком, затем по узенькому деревянному мостику перешел в Царский сад. Здесь насмешливое настроение с него соскочило. Сад был изумительный – такого он никогда и не видал. Штааль долго поднимался по крутым аллеям, вышел к обрыву и оттуда любовался рекою. «Верно, здесь в старину были терема над Борисфеном», – подумал он, зная, что древность – одно из главных достоинств Киева. Полюбовавшись Днепром, он вышел к крепости, взял извозчика и поехал осматривать город.

Штааль скоро составил себе мнение и впоследствии с чув-

ством говорил столичным приятелям, что Киев сохранил следы величия падшего. Город, раскинувшийся на горах, весь утопавший в зелени, был в самом деле удивительный. Великолепные монастыри, старинные здания, пышные сады чередовались с огородами, с грязными лачугами. Штааль думал, что в Киеве разлита какая-то особенная печаль, странно сочетающаяся с жарким южным солнцем. Впрочем, как всегда бывает, первое впечатление от нового места определилось больше настроением духа путешественника. Штаалю было очень скучно в этом городе, где он никого не знал. Он чувствовал себя одиноким, как когда-то в Париже. Удивляло и смешило Штааля, что извозчик называл его «паничем», что вместо «не знаю» прохожий на его вопрос об адресе присутственного места ответил: «не скажу», что на аптекарском магазине была вывеска «Аптечный склад». Удивила его и киевская полиция. Вместо будочников на перекрестках стояли конные милиционеры (Штааль и слова этого не знал), очень пышные и странные с виду. Лошади у них, точно у средневековых рыцарей, были в стальных панцирях, со страховыми перьями над гривой. А всадники, вооруженные копьями и палашами, носили атласные пунцовые жупаны, зеленые контуши с откидными рукавами и белые шапки. «Поляки какие-то, – с недоумением думал Штааль. – А еще мать городов русских...»

По незастроенной горе извозчик шагом поднялся в Ста-

рый Город. Открылась огромная белая площадь. На ней было еще светлее, чем внизу, как-то необыкновенно светло. Даже в Италии Штааль не видал такого обилия света. В Италии все было меньше. Эта раскрашенная киевским солнцем площадь по размеру не уступала Парижской Place de la Révolution. В памяти Штааля она осталась белым пятном несравненной красоты. Со всех сторон виднелись церкви. Высоко над белыми стенами горели золотые купола. Слева за белой оградой раскинулась церковь, не похожая на другие, не похожая вообще ни на что из всего виденного Штаалем. Он долго на нее смотрел.

– Это что же, Лавра? – спросил извозчика Штааль, неохотно нарушая молчание.

Извозчик покачал головою.

– Не, панич, яка Лавра! – сказал он недовольным тоном. – Лавра на Печерске... Це Софийский собор.

«Кажется, это очень древняя церковь, чуть ли ей не тысяча лет», – подумал Штааль, опять сердясь на себя за то, что так плохо знал историю своей страны. Он еще оглянулся. Огромный собор (кое-как оправившийся в ту пору от разрушений XVII века и от мазепинской реставрации) лучше можно было разглядеть с другого конца площади.

«А ведь это не русский штиль? – нерешительно подумал Штааль, сходя с дрожек. – Русский штиль – это Василий Блаженный. А может, то не русский, ведь это будет подревнее. Ну, уж я не знаю, какой это штиль, только лучше этой пло-

щади и этого храма я ничего в мире не видывал. Белое с золотом, как просто и как хорошо...»

Он обошел вокруг церкви. Извозчик недоверчиво ехал за ним шагом. Штааль снял шляпу и очутился за оградой, замешавшись в толпу богомольцев. «Какая громада – другой такой в мире нет, разве парижская Notre Dame, – сказал себе неожиданно Штааль, почему-то сравнивая обе церкви. – Вот уж сходства никакого: день и ночь. А все-таки...» Он не знал, какое тут все-таки. Солнечный свет вдруг погас. Горели восковые свечи. Штааль с наслаждением вдыхал прохладный, дышащий ладаном воздух.

Старый монах объяснял богомольцам, что церковь построена великим князем Ярославом. «Как будто не менее тысячи лет, – подумал Штааль еще нерешительнее. – Всякие у нас были Ярославы, Святославы, Мстиславы, Изяславы – разве это можно запомнить? – Он постоял перед Нерушимой Стеной. – Чудо, как красив! – подумал Штааль, отходя за толпою, следовавшей за монахом (в качестве Вольтерова ученика он только красоты и искал в храме). – Изумительно! Как странно, что тысячу лет назад люди умели создавать такое...» Его немного задевало, что старый монах, видимо, не делал никакой разницы между ним и богомольцами и не обращался к нему особо. В алтаре Владимирского придела они остановились перед гробницей князя Ярослава. На двускатной крыше мраморного иссиня-белого саркофага были изоб-

ражены странные фигуры: не то птицы, не то звери, не то рыбы. Штааль долго думал, что это могло бы значить. Неразгаданная мысль неизвестного художника, жившего тысячу лет тому назад, его волновала. Он отделился от богомольцев, вернулся к Нерушимой Стене, поднялся по лестнице. Где-то из-под облупившейся штукатурки виднелись потускневшие фрески, видимо очень старые. Штааль взгляделся в них. Фрески изображали охоту. Были здесь грифоны, крылатые львы, разные диковинные звери. Фрески показались знакомыми Штаалю. «Неужели и это создано в ту пору?.. Какую же Петр нам открыл Европу, ежели у нас было это за тысячу лет назад? – спросил себя Штааль, с все большим удивлением глядя на фрески. – Ведь это прямо Венеция...»

XV

«Разве делом теперь заняться?» – спросил себя Штааль и велел извозчику ехать в присутственное место. Главное его служебное поручение относилось к Одессе, с которой адмирала де Рибаса тесно связывала прежняя служба. В Киеве же требовалось только получить одну сводку.

Канцелярия, как все в этом городе, помещалась в саду. Штааль и не видал таких канцелярий. На крыльце баба чистила картофель. Она с любопытством оглядела посетителя, стыдливо засмеялась и указала, как пройти в «кабинет к сесару». Ассессор коллегии, ведавший делом Штааля, был по-

жилой человек настолько неправдоподобной толщины, что Штааль, увидев его, даже приостановился на пороге. По-видимому, ассессор и сам не мог вполне серьезно относиться к своему телосложению. Не без труда скосив голову, он сопя устался на Штааля с легкой благодушной насмешкой во взгляде, как бы свидетельствуя, что это серьезно: никакой подделки нет. Оглядев гостя, он медленно повернул голову и окунул кренделек в стакан с мутно-белой жидкостью. Перед ассессором, среди бумаг и на бумагах стояли чайник, тарелки со сметаной, с колбасой. Штааль подал свой документ. Ассессор неохотно взял его, кивнул головой и, жуя кренделек, предложил сказать так, в чем дело. Выслушав Штааля, он опять скосил голову, тяжело вздохнул и спросил:

– Чаю не хотите?

– Благодарю вас, я уже позавтракал, – ответил несколько озадаченный Штааль.

– С рогаликом?

Штааль отказался и от рогалика. Чиновник налил себе другой стакан чаю, отогнал муху, которая села на край тарелки, скороговоркой сказал: «Пошла к... проклятая!» – и накрыл сметану бумагой Штааля.

– Шо много ем, это ничего, – сказал он неожиданно. – Все одно, кондрашка. Чи годом раньше, чи годом позже, все одно.

Ассессор хорошо говорил по-русски и слова «шо», «чи», «хочете» употреблял больше для малороссийского стиля,

который шел к его наружности: он гримировался под медлительного картинного «дядька» и, отстаивая вольности края, из патриотизма портил свою русскую речь. Ассессор намазал кусок хлеба маслом и осведомился, правду ли говорят, будто князь Зубов не имеет больше никакой силы. Штааль высоко поднял брови. Ассессор упорно на него глядел с радостно-вопросительным выражением на лице.

– Так точно, – сказал Штааль, зевая.

Ассессор подмигнул, засмеялся и пригласил гостя к себе на обед. Штааль сухо отклонил неожиданное приглашение: его весьма мало интересовало общество человека, для которого свежей новостью была опала князя Зубова. Отказ, видимо, удивил и огорчил ассессора.

– Борщ будет, – сказал он, с недоумением глядя на гостя. – С бурачками.

– Когда же прикажете прийти за сводкой? – официальным тоном спросил Штааль.

Ассессор вздохнул и задумался.

– Недели через три не поздно? – спросил он с испуганным выражением на лице.

Штааль всплеснул руками: он рассчитывал получить бумагу на следующий день.

– Помилуйте! – воскликнул он. – Я завтра хотел выехать в Одессу.

– Шо Одэсса? Чи куда-с убежить? – спросил ассессор с чрезвычайно убедительной интонацией. Штааль неволь-

но подумал, что, собственно, и вправду торопиться некуда: Одесса в самом деле не убежит и ему же лучше, если не по его вине затянется командировка. Однако из приличия он стал торговаться. Ассессор вытер лоб грязноватым клетчатым платком.

– Бумага длиннющая, пане добродею, – сказал он. – Ну, да уж если вам такая спешка, так забежите недельки через две. Так и быть, изготовим.

Они сошлись на том, что сводка будет готова через неделю; но по тону ассессора чувствовалось – особенно полагаться на обещания не следует. Штааль намекнул, что считает неправильным и недопустимым такое отношение к государственным делам.

– Вы где остановились, пане добродею? – спросил, не дослушав, ассессор.

– На Подоле, на постоялом дворе.

– Ну вот, ведь блохи заедят, – сказал ассессор и оживился, услышав, что Штаалю в самом деле всю ночь не давали спать насекомые.

– Ну да, итальянской породы блохи, – пояснил он. – Хоть маленькие, а такие подлые, что беда...

Увлечшись, он заговорил чистым русским языком, выбранил русское правительство, а затем посоветовал Штаалю переехать в другую гостиницу на Печерск, к немке.

– И кормят так, что спасибо скажете, дай Бог всякому, и блох нет, разве самая малость. Правда, подороже, да ведь вы

на казенный счет, правда?.. И немка славная... Краля дивчина, – добавил он, спохватившись.

Штааль расспросил, как разыскать гостиницу, и несколько ласковее простился с ассессором. Он даже пожалел, что отказался от приглашения на обед: уж очень картинный был ассессор. С такого толстого человека, собственно, и требовать было нечего. Баба на крыльце опять стыдливо засмеялась и застенчиво закрыла лицо рукавом. «Вот так канцелярия», – подумал Штааль, выходя в сад. Он вернулся на постоянный двор и велел вынести свои вещи. Их вынес с очень недовольным видом сам хозяин. Штааль беспокойно пересчитал чемоданы и приказал извозчику ехать на Печерск в гостиницу к немке. Коляска поднялась по горе и въехала в уже знакомый ему лес. «Станный, странный город, и люди странные», – говорил себе Штааль.

Извозчик остановился у калитки сада, обведенного ровным, непохожим на другие, заново выкрашенным забором с острыми иглами наверху. Штааль слез и, поколебавшись с минуту, можно ли оставить извозчику вещи, решительно направился к калитке: извозчик, возивший его в течение нескольких часов, внушал ему доверие. В саду чудесно пахло сиренью. Дорожки были посыпаны желтым песком, который так и горел на солнце. Штаалу бросились в глаза круглый фонтан посредине садика, беседка с мраморной статуей и ярко сиявший зеркальный шар на столбе. В глубине сада

стоял чистенький одноэтажный белый дом с зеленой покато́й крышей. Все это совершенно не походило на подольский постоя́лый двор. Навстречу Штаалю поспешными шагами шла, приветливо улыбаясь, полная миловидная дама.

– Пан шелайт апартемант?.. – начала она и вдруг громко ахнула. – Du, lieber Gott!⁶⁰ – воскликнула дама.

Штааль тоже ахнул от радостного изумления: перед ним была фройлейн Гертруда, та самая, за которой он когда-то ухаживал в Кенигсберге.

Через четверть часа он знал все существенное, что с ней произошло за последние семь лет. Отец ее четыре года тому назад скоропостижно умер от удара (фройлейн Гертруда вынула беленький платочек и приложила его к глазам). С кончиной отца их дело пошло хуже, а тут у самой фройлейн Гертруды вышла очень неприятная, тяжелая история с одним господином, который, хотя и был чиновником, ein Staatsbeamte, однако оказался чрезвычайно дурным человеком. При этих словах фройлейн Гертруда опять было поднесла платочек к глазам, но тотчас отняла, взглянув на улыбающегося Штааля, и добавила с жаром: «Ein furchtbarer Mensch, Herr Leutnant, aber wirküch ein furchtbarer Mensch!..»⁶¹ После этой истории фройлейн Гер-

⁶⁰ Боже, это ты! (нем.)

⁶¹ «Это был ужаснейший человек, господин поручик, в самом деле ужаснейший человек!.. (нем.)

труде неудобно было оставаться в Кенигсберге (Denken Sie nur, Herr Leutnant!.. Hatte ich Recht oder nicht?⁶²). Она продала предприятие отца, переехала в Россию и открыла гостиницу в Киеве по совету двоюродной тетки ее покойной матери. «Это та самая тетка, которая маленькой девочкой видела в Цербсте покойную императрицу Екатерину», – пояснила фройлейн Гертруда, и по ее интонации Штааль понял, что тетка эта должна быть ему известна. Он утвердительно кивнул головой и сказал наудачу: «Ach, ja»,⁶³ хотя никакой тетки не помнил. Штааль узнал, что в Киеве дела фройлейн Гертруды идут недурно; правда, среди проезжающих много грубых людей, ganz unerzogene Leute,⁶⁴ но в общем грех жаловаться, а она всегда всем довольна: «Hab'ich Recht oder nicht?».⁶⁵ Фройлейн Гертруда рассказывала это Herr Leutnant'у (так она его застенчиво называла) очень быстро и сбивчиво. Затем она прослезилась, вытерла слезы и засмеялась. Видимо, она совершенно растерялась от радости. Штааль тоже был искренне обрадован встречей и растроган поднявшимися в нем воспоминаниями и радостью фройлейн Гертруды. Он взял ее руки обеими руками, свидетельствуя свое умиление этим не вполне естественным жестом. Фройлейн Гертруда изменилась и пополнела, но оставалась по-

⁶² Только представьте себе, господин поручик!.. Права я или нет? (нем.)

⁶³ «О, да» (нем.).

⁶⁴ Совершенно невоспитанные люди (нем.).

⁶⁵ «Права я или нет?» (нем.)

прежнему хорошенькой, и в глазах ее было то же небесно-чистое выражение. Штааль вдруг почувствовал с совершенной ясностью, что им предстоит радости любви, и притом не далее как нынче вечером, если еще не днем после обеда. Он видел также по лицу фройлейн Гертруды, что и ей это вполне ясно. Она заговорила вдруг, попеременно со многим другим, о той самой любовной истории, которую они вместе читали в Кенигсбергском саду, о «Вертере» доктора Гёте и заодно быстро-быстро рассказала, что ей, уже после их встречи, ее подруга (та самая, Herr Leutnant помнит) писала о докторе Гёте и сообщала самые удивительные и интересные вещи, которые... Ну тут фройлейн Гертруда всплеснула руками, внезапно вспомнив, что извозчик Herr Leutnant'a все еще стоит у ворот. Она ахнула, выбежала за калитку, велела снять вещи и расплатилась. Извозчик после этого долго ругался самыми нехорошими словами, к чему фройлейн Гертруда отнеслась, однако, совершенно хладнокровно.

Вещи были внесены по лестнице, пахнувшей свежесмытым деревом, в просторную чистую комнату, в которой было все, что требовалось: плюшевый диван, стол, два кресла, умывальник с зеркалом и с палочкой сбоку для полотенец, превосходная постель с белоснежными подушками. Были и украшения: часы, сделанные в брюхе поднявшегося на дыбы коня, фарфоровый Фридрих Барбаросса, виды Саксонской Швейцарии и портрет Анны Леопольдовны. Окно выходило в сад, и под ним, заползая ветвями на подоконник, позд-

няя сирень пахла бесстыдно-крепко. Фройлейн Гертруда налила воды из кувшина в чашку умывальника, нерешительно оглядываясь, оправила полотенце и затем выразила намерение удалиться. Но Штааль решительно этому воспротивился. Он заявил, что не умеет мыться без чужой помощи: ему всегда льют воду на руки из кувшина; он выразил надежду, что фройлейн Гертруда не откажется ему помочь.

– Aber selbstverständlich, Herr Leutnant!⁶⁶ – воскликнула с умилением фройлейн Гертруда. Штааль снял мундир, попросив у нее извинения. Она конфузливо кивнула головой, но не сказала «aber selbstverständlich» и, сливая ему воду на руки, старалась смотреть немного в сторону. Однако это их сблизило. Умывшись, Штааль опустился на колени и открыл свой сундук. Фройлейн Гертруда придерживала крышку сундука, уже с материнской нежностью глядя на густые мокрые волосы, на белую, сверху загоревшую шею молодого человека. В сундуке на самом верху лежали флаконы французских духов. При виде их фройлейн Гертруда застонала от восторга. Штааль немедленно подарил ей флакон духов Houbigant, ловко его откупорил и с нежной улыбкой провел смоченной стеклянной пробкой по бровям и по верхней губе фройлейн Гертруды, которая густо покраснела. Штаалю пришлось в голову, что, собственно, нет никакой причины откладывать решенное дело до вечера или даже до послеобеденного часа. Та же мысль пришла одновременно и фройлейн Гертруде.

⁶⁶ Ну, разумеется, господин поручик! (нем.)

XVI

Столовую гостиницы Штааль тотчас узнал. Она очень походила на ту комнату, в которой он когда-то познакомился с фройлейн Гертрудой. Только камин заменяла печь и все было хотя и чисто, однако несколько менее чисто, чем в Кенигсберге. «Верно, и belegte Brödchen⁶⁷ есть, с кильками и с яйцом», – подумал, улыбаясь, Штааль. Он устало сел за приготовленный для него у открытого окна стол. Девка в деревянных башмаках, надетых на босу ногу и, видимо, очень ее стеснявших, принесла на подносе серебряный кофейник, кувшинчик горячих сливок, граненый толстостенный стакан, масло, ветчину, яйца и расставила все перед гостем, испуганно на него глядя. Штааль позавтракал с большим аппетитом, лениво думая о случившемся. Что-то было ему неприятно. «Жаль, правда, нет де Бальмена, – вдруг догадался он. – Вот бы ему рассказать... Напишу, конечно, да он, пожалуй, не поверит: так долго ехали вместе – ни одного приключения, а как остался один, ан сразу и приключения...»

Боязливая девка, стуча башмаками, принесла ему блюдо земляники (которая здесь, впрочем, называлась клубникой). Вслед за девкой в столовую спустилась фройлейн Гертруда. Она переделалась и принарядилась. На ней было теперь очень

⁶⁷ Бутерброды (нем.).

узкое голубое платье с красным бантом (платье это, по-видимому, еще более напугало девку). Фройлейн Гертруда с нежной, застенчивой улыбкой подошла к Штаалу и присела за его столик. Она как будто чего-то ждала и, немного помолчав, с легким укором напомнила Штаалу, что это то самое платье, которое было на ней тогда, в Кенигсберге. Она надеялась, что Vube⁶⁸ сам его узнает. Фройлейн Гертруда стала называть Штааля Vube вместо Herr Leutnant в ту самую минуту, когда приобрела права на фамильярность. Новое обращение не очень нравилось Штаалу.

– Ну а я сильно изменился? – спросил он и вздохнул, выслушав ответ фройлейн Гертруды, хотя по точному смыслу ее слов выходило как будто, что он изменился мало.

– Да, прошла молодость, – угрюмо сказал по-русски Штааль (он уже почти механически произносил эту фразу). Фройлейн Гертруда смущенно засмеялась – она была с ним почти одних лет. Заметив, что Vube приходит в дурное настроение, хозяйка поднялась, поплыла к шкафу, приоткрыла его, строго взглянув на девку, которая тотчас отвела испуганно глаза в сторону, и принесла зеленый круглый стаканчик с надписью: «Schmeckt gut, nicht?»⁶⁹ и красивую четырехгранную бутылку с кальмусовкой. Фройлейн Гертруда сказала Штаалу, что в Киеве всегда запивают кальмусовкой кофе. В душе она не очень одобряла этот обычай запивать

⁶⁸ Малыш, мальчуган; шалун (нем.).

⁶⁹ «Правда, вкусно?» (нем.)

кофе водкой, но считала кальмусовку безошибочным средством для того, чтобы приводить мужчин в доброе настроение духа.

– А что ж тот старичок, профессор Кант? – спросил Штааль, не без труда подыскивая тему для разговора.

Фройлейн Гертруда благодарно ему улыбнулась: Кант навсегда был для нее связан с воспоминанием о поцелуе Штааля и, вероятно, не существовал вне этого воспоминания. Фройлейн Гертруда ничего о нем не знала – ей редко писали из Кенигсберга. Она предполагала, что Кант давно умер, так как он был очень стар и дряхл. Она грустно улыбалась, вспоминая о Канте: старик так хотел выдать ее замуж.

– Да... да... Ну а чиновник, что же было с чиновником? – спросил Штааль. Фройлейн Гертруда приписала его вопрос ревности, виновато улыбнулась и, оглянувшись на девуку, слегка потрепала Штааля по руке.

– Vube, das geht Dich nicht an,⁷⁰ – кокетливо сказала она – и вдруг поспешно встала. У калитки остановилась коляска. В сад вошла дама, за ней вприпрыжку вбежал нарядный господин. Он что-то весело кричал. Сидевший к ним спиной Штааль еще прежде, чем сообразил, кому именно принадлежит этот знакомый голос, почувствовал, что случилась большая неприятность. «Ein sehr anständiger Herr aus Petersburg»,⁷¹ – быстро сказала вполголоса фройлейн Гертруда и поплыла к

⁷⁰ Малыш, тебе нечего беспокоиться (нем.).

⁷¹ «Очень приличный, порядочный господин из Петербурга» (нем.).

двери с самой приветливой улыбкой на лице. В столовую вошла Настенька в сопровождении Иванчука. Штааль проглотил восклицание досады. Он встал и очень принужденно поклонился, не только не скрывая, но даже подчеркивая свою досаду. Настенька побледнела, слегка кивнула головой, оглянулась на Иванчука и закашлялась, хоть нарочно, но так, что у нее на глазах показались слезы. Смутился несколько и Иванчук, и даже фройлейн Гертруда почувствовала, с любопытством и с инстинктивным неприятным чувством, что произошла какая-то неудачная встреча.

– Вот не думал, что тебя здесь увижу, – сухо сказал Штааль, здороваясь с Иванчуком и предоставляя своему приятелю инициативу дальнейшего – сводить ли его с Настенькой или нет. Именно этот сердитый тон успокоил Иванчука и вернул ему его обычную самоуверенность. Он изобразил радость от встречи, великодушно пожал руку Штаалю и подвел его к Настеньке с видом полководца, начинающего сражение, которое оказалось срочно необходимым. При этом самоуверенность почему-то так вдруг в нем разлилась, что он чуть-чуть не спросил: «Ведь вы знакомы?..» Однако удержался вовремя и проговорил неопределенно-шутливым тоном:

– Кель ранконтр!..⁷² Вот и он.

Настенька протянула руку. Штааль спросил себя, целовать ли ее или только пожать. Он поцеловал руку Настеньки,

⁷² Вот так встреча! (*франц.* quelle rencontre.)

больше назло Иванчуку, великодушно-самоуверенный тон которого сразу его раздражил.

– Ach, die Herrschaften sind aus Petersburg bekannt, aber natürlich!⁷³ – восторженно зашебетала фройлейн Гертруда. Ее болтовня смягчила неловкость первых минут. Она заговорила одновременно с Иванчуком и Штаалем по-немецки, а с Настенькой (с принужденно-нежной улыбкой) на русско-польско-немецком наречии. Иванчука она называла Herr Staatsrat, Настеньку же – Frau Direktor.⁷⁴ Фройлейн Гертруда этим тонко подчеркивала, правда в очень почтительной форме, что хоть закрывает глаза, однако не считает их мужем и женой. Собственно, звание Frau Direktor Настенька, очевидно, могла иметь, в чем бы то ни было представлении, только как жена Иванчука. Но если б она действительно была его женою, фройлейн Гертруда называла бы ее Frau Staatsrat, по тому званию, которое она давала мужу. Настенька же ничего этого не понимала и лишь робела, почему-то связывая это наименование с особой директора петербургской театральной труппы, с которым у нее никогда ничего такого не было. Почтительность фройлейн Гертруды в отношении Иванчука еще больше раздражила Шта-алья. Он знал скупость своего приятеля и не мог понять, почему его всегда принимают с особым почетом. Штааль с болью почувствовал, что неожиданное появление этой пары мгновенно

⁷³ О, господа, конечно, знакомы по Петербургу (нем.).

⁷⁴ Господин государственный советник... Госпожа директор (нем.).

вернуло его в тот тоскливый мир беспредметной злобы, отращения от людей, глухой борьбы ни за что, в котором он жил в Петербурге после похода. Он за время путешествия, в обществе милого ему де Бальмена, отвык от этого мира и отдохнул душою.

– Die Herrschaften speisen zusammen?⁷⁵ – вскользь осведомилась фройлейн Гертруда. Хоть никто ей не ответил на этот прямой вопрос, она сорвалась с места, поплыла к столу, стоявшему у среднего окна (этот лучший стол предназначался для Иванчука и Настеньки), поставила третий прибор и отправилась распоряжаться по хозяйству. С ее уходом наступило недолгое молчание. Затем Штааль не совсем кстати рассказал, что целый день бегает по делам высунув язык, что он остановился было в нижнем городе, но переехал сюда по совету одного чиновника. Ему хотелось яснее удостовериться, что уж он-то никак не искал с ними встречи. Иванчук великодушно прервал его объяснения:

– Да что ты! Мы очень рады.

Эти слова «да что ты», сказанные в самых лучших намерениях Иванчуком, снова смутили Настеньку и еще более раздражили Штаалья.

– И вообразите, нашел здесь приятельницу, – сказал он, обращаясь к Настеньке. Он рассказал свою кенигсбергскую историю с фройлейн Гертрудой. Историю эту и Настенька, и Иванчук в свое время слышали неоднократно. Узнав, что

⁷⁵ Господа пообедают вместе? (нем.)

хозяйка гостиницы была та самая фройлейн Гертруда, Иванчук покатился со смеху в самом искреннем изумлении.

– Ну и ле монд э пти же!⁷⁶ – решительно сказал он. – Правду говорят люди...

Настенька очень непохоже изобразила на лице снисходительную улыбку. Штааль немного колебался, рассказывать ли дальше.

– Нет, каков! А еще жалуется, что на неделю задержали бумагу, – воскликнул радостно Иванчук. – Вот и доведи амуры до конца!

Ответ напрашивался сам собою.

– Уже довел, – со скромной улыбкой сказал Штааль, искаса поглядывая на Настеньку, и в деликатных выражениях сообщил о том, что было. Настенька улыбалась еще старательнее. Иванчук хохотал в восхищении. Он уже почти искренне радовался встрече с Штаалем – так все хорошо сошло.

– Нет, этакий красивец, – говорил он со смехом. – Этакий красивец! – Словом «красивец» Иванчук давал понять Штаалю (и в особенности Настеньке), что никак не считает его красавцем и к тому же не придает никакого значения мужской красоте. – Только вот что, ты поспеши: ведь мы увозим твою Гертрудку.

– Как так?

Тут Иванчук немного заторопился. Из не совсем ясных его слов выходило, что фройлейн Гертруда сводит его с

⁷⁶ Тесен мир (*франц.* le monde est petit jeu).

«факторами», по одному небольшому дельцу, и что они завтра с утра ненадолго уезжают втроем, – надо осмотреть одно именье, – клочок земли, – которое ему, Иванчуку, поручил купить один его приятель (Настенька покраснела). Несколько позже от самой фройлейн Гертруды Штааль узнал, что именно она в качестве посредницы и устраивала покупку именья. Фройлейн Гертруда не без успеха занималась в Киеве коммерческими делами.

– Ты, разумеется, с нами обедаешь? – быстро спросил Иванчук, переводя разговор на другой предмет.

– Какой же обед, я только что кофий пил.

– Вздор, вздор, здесь рано обедают. И ляпети в путешествии виен ан манжан.⁷⁷

XVII

Настенька поднялась к себе и к обеду спустилась в столовую в новом светлом платье с огромным кружевным веером. По тому, как смотрела на веер фройлейн Гертруда, Штааль понял, что вещь стоящая и кружева настоящие (Иванчук перед самым отъездом за бесценку купил этот веер у знакомого таможенного чиновника). Обед прошел вполне благополучно. Настенька вела себя достойно. Неожиданно для себя самой она при этой встрече с Штаалем (за исключением первой минуты) взяла совершенно новый тон, нисколько не

⁷⁷ Аппетит приходит во время еды (*франц.* l'appétit vient en mangent).

трагический и даже не печальный, а светский, легкомысленно-веселый, который с непривычки очень понравился ей самой. Еще больше тон этот понравился Иванчуку. Он старался даже великодушно скрыть торжество и лишь втихомолку поглядывал на Штааля. В конце обеда выпили «по случаю приятного сюрприза». Настенька пила вино не без удовольствия, но делала вид, будто пьет в шутку: «Уж эти мужчины всегда заставят», – сказала она, как всегда в таких случаях говорила. От нескольких рюмок вина, от нового тона, от присутствия Штааля и фройлейн Гертруды у Настеньки приятно закружилась голова; ей хотелось говорить смелые, чуть-чуть неприличные вещи, и она, несмотря на природную свою застенчивость, незаметно переводила разговор на легкомысленные предметы.

Штааля раздражали и новый тон Настеньки, и великодушное лицо Иванчука, и подобострастие, которое проявляла в отношении Herr Staatsrat'a фройлейн Гертруда. «Какой он, к черту, штаатсрат? – сердито думал Штааль, собираясь сейчас же после обеда объяснить немке общественное положение Иванчука. – А фрау директор жеманится, точно у нас никогда ничего с ней не было. Было, голубушка, было. А может, и опять будет, ежели только я захочу...» Штааль себя спрашивал, хочет ли он, чтоб опять было. Выходило как будто так, что хочет, да не очень: если само собой выйдет – прекрасно, а если не выйдет, то Бог с ней, – «попользовался, и будет». Но всякий раз, как он встречался глазами с велико-

душным взором Иванчука, Штаалю хотелось устроить так, чтоб вышло. «Она, однако, опять похорошела и помолодела, без балетной муштры... И с ним тоже разговаривает не так, как ранее». Это наблюдение было верно. Настенька действительно в дороге привыкла к Иванчуку и обращалась с ним гораздо свободнее прежнего. «Хороша голубка: то я, то Иванчук... Или вправду снова попользоваться? Верно, она еще меня любит... А может, и не любит? Разве у них поймешь?» Штааль со злобной радостью думал, что из трех бывших в столовой женщин только запуганная девка ему не принадлежала, – это было приятно еще и тем, что как-то ставило Настеньку на уровень запуганной девки в деревянных башмаках. Штаалю неожиданно пришла мысль, что по-настоящему надо бы в один день иметь два похождения. С ним этого никогда не случалось, но от товарищей он не раз слышал рассказы о таких историях. «Вот уж этому Саша никогда не поверит...»

Сердитое настроение Штааля понемногу принимало характер злобно-игривый. Иванчук, который после обеда должен был уехать по делу с фройлейн Гертрудой, за десертом, в порыве великодушия, посоветовал Штаалю и Настеньке пойти на Крещатик поохотиться на уток и предложил им свои ружья (у него, собственно, было только одно ружье, но сказалось: «свои ружья»).

– Какая же теперь охота? – заметил Штааль, пожимая плечами. – Впрочем, я с удовольствием, – добавил он поспеш-

но, хоть незадолго до того уверял, будто целый день высунув язык бегаёт по делам по городу. Настенька отказалась охотиться, сославшись на усталость. Это вышло очень удачно: и Штаалю давалось понять, что его обществом вовсе не дорожат, да и Иванчука отказ должен был успокоить (Иванчук в самом деле просиял и окинул Штааля ещё более торжествующим взглядом). Впрочем, Настенька действительно устала. Ей хотелось прилечь, но так, чтоб Штааль, или Иванчук, или даже они оба были тут же и, сидя у нее на постели, вели легкомысленные разговоры.

Прилечь было, однако, невозможно – платье и прическа не позволяли. Настенька поднялась к себе, пододвинула кресло к окну и уселась, положив на колени деревянную коробку с маркизом и пастушкой на крышке. В этой коробке из-под конфет она возила с собой предметы первой необходимости: ножницы, пуговицы, нитки, коллекцию мушек. Настенька занялась работой: она вышивала платочек для Иванчука. Но голова у нее кружилась здесь от сирени ещё больше, чем в столовой; работа шла плохо. Сидела она так, что ей было видно в саду все; ее же увидеть оттуда было труднее. Она думала, что Иванчук точно очень мил и любит ее, как, вероятно, никто никогда ее не любил. Настенька вздохнула. Она чувствовала, что надо обдумать возможные последствия этой неожиданной встречи с Штаалем. Но думать ей не хотелось. У нее было приятное сознание, что вела она себя с ним

очень хорошо и «показала ему». Этим, конечно, и объяснялся его вызывающий тон, который она, в отличие от Иванчука, сразу заметила. Настенька загадочно улыбалась: как многие самые скромные дамы без всяких прав и претензий, она иногда, правда очень редко, чувствовала себя роковой женщиной.

Иванчук с фройлейн Гертрудой прошли по саду к калитке, разговаривая по-немецки. «И все он знает, и по-немецки, и по-французски, – с гордостью подумала Настенька. – А немка-то тихоня...» На секунду она мысленно попробовала приревновать Иванчука к немке и сама засмеялась: так ей ясно было, что другие женщины не существуют для Иванчука, несмотря на некоторые его особенности и на книжку «Нежные объятия в браке». У калитки Иванчук оглянулся на окно комнаты Настеньки – она оценила это и даже хотела наградить его улыбкой (все больше чувствуя себя роковой женщиной), но раздумала и не показала в окне. Иванчук открыл калитку и вышел первый: он хозяйку гостиницы рассматривал не как даму, а как «факторку». Фройлейн Гертруда смиренно принимала это как должное, но все же ей было неприятно – она подумала, что Vube, наверное, пропустил бы ее первой и что Herr Staatsrat очень строгий человек.

Послышался грохот отъезжавшей коляски. Настенька опять вздохнула. Она не без удивления замечала, что ей теперь все скучнее оставаться одной без Иванчука, – так за время их путешествия она оценила и его самого, и подорож-

ную, и власть денег. «Не иначе как сделает предложение, – подумала Настенька с хитрой улыбкой и сама себе подивилась, какая она умница, кроме того что роковая женщина: – Ведь за него бы всякая рада пойти». Ей захотелось взглянуть, точно ли она так похорошела. Настенька не без труда повернулась в кресле – уж очень покойно было сидеть – и оглянулась на зеркало. Но оно висело так, что ничего нельзя было увидеть. Впрочем, белая рама окна на свету все отражала – Настенька, придвинувшись, могла разглядеть даже свои брови и ресницы. Вдруг она беззвучно засмеялась, увидев в саду Штаалья. Он, стоя в профиль к ней, подняв голову, перед столбом с высеребренным шаром (эту игрушку фройлейн Гертруда вывезла из Германии) и с явным неудовольствием себя рассматривал. Шар отражал толстого, низенького человека, безмерно раздувшегося лицом и туловищем. Настенька поспешно бросила в коробку шитье, вытащила коллекцию мушек и, еще раз оглянув себя в раму, подвинулась ближе к окну. Она хотела было наклеить на середину лба вырезанную звездочкой большую тафтяную мушку, что означало холодное равнодушие: «смотрю, да не нравишься» (язык мушек Настенька знала твердо; ей было известно, что и Штааль, как все молодые люди, хорошо его знает). Но она раздумала и надела маленькую мушку на верхнюю губу. Это значило кокетство и ни к чему не обязывало. Настеньке хотелось еще проучить зазнавшегося мальчишку.

– Ах какие прекрасные, – сказала она, перегнувшись в ок-

не и смеясь не совсем уверенно.

Штааль быстро оглянулся.

– Ну да, вот и вы, фрау директор, – произнес он нахальным тоном, как будто и не сомневался в том, что она появится. Он заметил мушку на верхней губе и презрительно усмехнулся, точно нисколько не сомневался и в этом. Настенька смутилась: она не так понимала свою мушку. Но смущение ее было приятное. От запаха сирени голова у нее кружилась все сильнее.

– Очень сирень пахнет, – смущенно сказала она.

Он презрительно засмеялся.

– То-то, фрау директор, – сказал он.

Слова его были совершенно бессмысленны, он и сболтнул их наглым тоном больше от собственного смущения. Но Штааль ничего не мог бы выдумать лучше: и «то-то», и «фрау директор» перепугали Настеньку.

– Ишь какие вы стали...

– Значит, такие...

– Какие же? – пробормотала Настенька.

– Такие, – еще более значительным тоном повторил Штааль. Но, решив, что диалог этот не может все же продолжаться бесконечно долго, он кратко добавил: – Хорошо, я к вам сейчас приду.

«Так и есть, два приключения в один день», – торжествующе подумал он. Но первые сказанные им не бессмысленные слова успокоили Настеньку.

– Вот еще! – обиженно произнесла она. – И вовсе не хорошо, и никто вас не просит.

Штааль почувствовал свою ошибку.

– То глаза в сторону воротит, то к вам приду, чуть друг со двора. Ишь тоже! – продолжала Настенька, переходя в наступление.

– А он вам муж, что ли, или жених?

– Может, будет и жених, и муж, почем вы знаете?

– Это Иванчук-то! – Штааль искренне расхохотался.

– А знаете, кто без резону смеется?

– Кто, Настенька?

– Дурак, вот кто.

Она улыбнулась, желая смягчить непривычно резкое слово. Но улыбка у нее вышла гораздо более нежной, чем ей хотелось. Настенька тревожно подумала, что, кажется, все выходит очень нехорошо.

– Жарко как... Пить хочется, – уж совсем смущенно сказала она.

– Я сейчас принесу.

Штааль побежал в столовую, к столу, за которым они обедали. Стол не был убран, но обе бутылки фройлейн Гертруда заперла на ключ. В стаканах, однако, еще оставалось вино. Штааль слил остатки в один стакан, вылил туда и кальмусовку, остававшуюся на дне рюмок, и понес в сад. Он подбежал к окну, ловко стал на выступ стены и подал стакан Настеньке, не пролив ни капли.

– Упадете, расшибетесь, – сказала Настенька. – Ну, мерси... Что это вы мне дали, крепкое какое? Фу!.. Я думала, сироп, ей-богу!..

– Совсем не крепкое... И не все ли равно?

– Ан, не все равно. Пьяна буду, вот что... Стыдно вам!

Штааль заметил, что на ней была другая мушка, означавшая «а вот и не поцелую». Он засмеялся от радости.

– Чего зубы скалите?

– Настенька, я сейчас к тебе приду.

Она сделала вид, будто не заметила к «тебе», но с ужасом почувствовала, что все кончено, что она любит его по-прежнему.

– Попросите честью.

– Прошу честью.

– Скажите: на коленях вас, Настенька, умоляю.

– На коленях тебя, Настенька, умоляю. – «В окно, что ли, влезть?» – быстро подумал он. Влезть было можно. Можно было и порвать панталоны. «А отчего бы не взойти по лестнице? Нет, нельзя ее отпускать ни на минуту, еще дверь закроет...» Он оглянулся, сделал усилие и поднялся «на мускулах». Настенька попятилась назад и замахала руками. Со всей возможной грацией Штааль взобрался в окно, чувствуя себя одновременно и школьником, и испанским кавалером. Он даже вытянулся во весь рост на подоконнике, хоть это во все не было нужно. «Эх, не поверит Саша», – подумал Штааль, сбивая с колен пыль. Он на цыпочках соскочил в ком-

XVIII

Ключок земли (в полторы тысячи десятин), который соби-
рался приобрести Иванчук, был расположен недалеко от го-
родка Житомира. Владелец находился в отъезде и поручил
продажу управляющему богатых помещиков Обуховских, у
которого, в иванковском имении, и должны были остано-
виться покупатели. Иванчук рассчитывал съездить и вер-
нуться в Киев в три-четыре дня. Он желал на месте взгля-
нуть, не вводят ли его в обман продавцы, хоть еще в Петер-
бурге знал, что дело чрезвычайно выгодное. «Кота в мешке
не покупают», – сердито говорил Иванчук фройлейн Гертру-
де – от нее, однако, ускользал смысл этого выражения в до-
словном немецком переводе. По мере приближения сделки,
которая должна была наконец сделать его настоящим поме-
щиком, Иванчук волновался все больше. Сгоряча он даже
предложил Штаалю съездить с ними – тотчас, правда, спох-
ватился, но Штааль уже принял приглашение.

– Вот и прекрасно, парти карре⁷⁸ учиним, – кисло сказал
Иванчук. Он утешился тем, что большую часть расходов от-
несет на счет Штаалья. «Как парти карре, то пусть за свою
немку и платит, чтобы мне хоть не кормить в дороге эту про-
рву». Кислый вид Иванчука рассеял последние колебания

⁷⁸ Увеселительная прогулка вчетвером (*франц. partie carrée*).

Штааля. «Ежели Иванчуку неприятно, значит, надо ехать. Однако не предполагал я, что он этакий осел», – подумал Штааль. Оба они совершенно искренне считали друг друга дураками.

Штааль не мог разобраться в своих чувствах. Вернее, чувства эти менялись у него беспрестанно. То ему больше нравилась Настенька, то фройлейн Гертруда. В мыслях он сравнивал обеих цинично и говорил себе, что не любит ни ту, ни другую, – любит же госпожу Шевалье. Он очень дорожил этим своим чувством. Штаалю неприятно запали в душу слова Ламора об его бедном темпераменте. «Да, единственно к ней пожирает меня страсть, – не совсем уверенно думал он. – А что до пылкости нрава, я сделал мои доказательства». Временами ему казалось, что он создан для такой жизни, исполненной мимолетных любовных приключений: нынче с одной, завтра с другой. В эти минуты он смотрелся в зеркало, приглаживал волосы напомаженной щеткой и чувствовал себя победителем: зеркало отражало самую победоносную улыбку. Но Штааль помнил также, что, выходя из комнаты Настеньки, он испытывал отвращение и от нее, и от себя самого, и от всего в жизни. «Пуще смерти надо бояться ресидивов любви, через несколько лет той же даме строить куры. Я состарился, да и она не помолодела. И волюпте в ней теперь острее, противнее... Впрочем, все это приукрашено в книгах», – думал он, забывая, что его пожирает страсть к госпоже Шевалье.

Перед самым отъездом фройлейн Гертруда вошла в комнату Штааля и подала ему бумажку. Счет был на четырнадцать рублей семьдесят копеек. Значились в нем комната, извозчик, завтрак, обед, ужин, свеча и корзинка с едой, приготовленная в дороге. Но свеча была зачеркнута, а кроме того, под итогом была карандашом сделана пометка *Rabatt*⁷⁹ 15 %, d. i. 2 р. 20 к., и Штаалю пришлось уплатить только двенадцать с полтиной. Фройлейн Гертруда с застенчивой улыбкой обратила его внимание на скидку в счете и на зачеркнутую свечу. Он поблагодарил, с трудом удерживаясь от смеха. «Вот о чем непременно напишу Саше».

Ехали они более суток в старом фаэтоне фройлейн Гертруды. Коляска Иванчука была и недостаточно вместительна, и слишком нарядна. Иванчуку хотелось прибедниться немного перед продавцом, – может, что-нибудь скинет в последнюю минуту, – но хотелось также внушить уважение в местах, где он должен был стать помещиком. Из этих противоречивых стремлений он избрал средний выход: ехал в чужом экипаже, выговорив заранее, что фройлейн Гертруда за фаэтон не возьмет ничего. Она согласилась, но только в случае, если сделка состоится. Фаэтон был четырехместный, и лицом к лошадям могли поместиться трое. Мужчины решили сидеть на «скамеечке» попеременно.

Дорога была пыльная. Однако кое-где в рытвинах лужи от давно прошедших дождей были таковы, что фаэтон ухо-

⁷⁹ Скидка (нем.).

дил в воду до верха колес, – фройлейн Гертруда сообщила, что недавно в одной из таких луж утонул почтарь. Иванчук, обычно всех занимавший, теперь был поглощен мыслями о покупке, обо всем том, что нужно оговорить (он то и дело вынимал книжечку и записывал несколько слов для памяти). Когда Штаалу выпадало сидеть с дамами, его сажали посредине, и обе дамы конфузливо говорили, что он из них четырех самый тонкий. Штааль угрюмо подтверждал: «Да, самый тонкий» – и вообще не проявлял особенной любезности. Глупая роль Иванчука не доставила ему того наслаждения, на которое он рассчитывал. Удовольствие, конечно, было, но очень скоро притупилось, как и легкое волнение от тесной близости женщин. Фройлейн Гертруду деловые соображения волновали не меньше, чем Иванчука (они изредка обменивались краткими замечаниями, которых не понимали их спутники). Настенька явно больше не знала, как себя вести, и разговор ее, никогда не отличавшийся блеском, от смущения выходил особенно натянутым. Хотя она, по прежней своей жизни, не придавала чрезмерного значения физической любви, Настеньке было, однако, очень стыдно перед Иванчуком. Штаалья все раздражало: и разговоры Настеньки, и облупившийся нос Иванчука, и задумчивый сосредоточенный вид, с которым фройлейн Гертруда уписывала крутые яйца, заботливо счищая с них ногтем скорлупу, и то, что лица у них у всех скоро стали серыми, а потом гнусно черными от пыли. Штааль больше не чувствовал себя победи-

телем. «Нет, положительно у меня испортился характер, – думал он (почему-то эта мысль доставляла ему легкое удовольствие). – Не со скорлупой же ей, в самом деле, есть яйца и отчего же не совать их в бумажку с солью. Вот и я то же делаю... И они не виноваты, что дорога пыльная. Посадить мадам Шевалье, она не лучше была бы. Ну, положим, лучше, и с ней милей бы было так сидеть рядышком...»

Под конец дороги они почти все время дремали. Земли, по которым они ехали, принадлежали большей частью польским богачам, Браницким, Олизарам, Поляновским, Обуховским. Кучер называл их имена, а фройлейн Гертруда тихо вскрикивала: «Furchtbar reich! Kolossal reich!». ⁸⁰ Понаслышке знал их и Иванчук. Он внимательно расспрашивал фройлейн Гертруду и кучера, сколько душ и десятин у каждого помещика.

Последняя их остановка была в деревне Котельне. Они плотно закусили в корчме. Иванчук старался в наибольшей мере использовать те припасы, которые были захвачены из Киева. Штааль же, которому надоели яйца, высохшая ветчина на просаленных бумажках, зачерствевший пыльный хлеб и теплое пиво, приказал корчмарю «тащить на стол все, что есть», – больше, впрочем, назло Иванчуку, который терпеть не мог таких неопределенных и рискованных заказов. Корчмарь принес старательно запачканную бутылку и украдкой показал на ней Штаалю княжескую корону. Это был мед

⁸⁰ «Ужасно богатый! Колоссально богатый!» (нем.)

из погребов соседнего ивницкого имения, принадлежавшего еще Вишневецким. Корчмарь получал его по знакомству, через масонскую ложу, бывшую в ивницком дворце. Цена бутылки была такая, что фройлейн Гертруда вскрикнула от испуга. Штааль, иронически глядя на Настеньку, предложил взять бутылку на свой счет. Но Иванчук разошелся, ударил Штааля по колену и велел откупорить бутылку, заявив с достоинством, что платить будут они пополам. «Дамы не платят», – сказал он, галантно кланяясь. Штааль усмехнулся, подумав, что галантность эта Иванчуку небезвыгодна: обе были его дамы. Мед точно был удивительный. Они не оставили ни капли в бутылке. Фройлейн Гертруда выпила рюмку с таким видом, будто в атаку шла, – зажмурил глаза и с отчаянным выражением на лице. Через полчаса они снова сели в фаэтон – отяжелевшие ноги очень их беспокоили. Хоть езды от Котельни до иванковского имения было минут сорок, не более, обе дамы заснули в фаэтоне, и даже Иванчук несколько сомлел.

Как раз когда они усаживались, к корчме с грохотом подъехало несколько тяжело нагруженных фур. Из них выскочили люди и стали поспешно вытаскивать ковры, диваны, кресла, подушки. Корчмарь с просиявшим лицом выбежал на крыльцо. Кучер объяснил Иванчуку, что это в Киев едет богатый пан, верно, из Ивницы или из Лещина; высланные им вперед люди готовили к его приезду корчму. Действительно,

не успели они отъехать версты три, как показался поезд самого барина. Дамы в испуге проснулись от звука труб. Кучер придержал лошадей и почтительно свернул к самому краю дороги, пропуская мимо коляски поезд, состоявший не менее чем из двадцати экипажей. Впереди неслись верховые с незажженными факелами. Затем проехали фуры с музыкой, с кухней, с аптекой, с гардеробом. Дальше скакали вооруженные люди, личная охрана барина, за ними трубачи, потом шутиха в разноцветном наряде, сидевшая верхом на осле, задом наперед, и что-то отчаянно кричавшая. Наконец показался и сам пан в коляске, запряженной шестеркой белых лошадей цугом, с форейторм и гусарами на запятках. Пожилой осанистый человек в атласном розовом халате полулежал на заваленном подушками тюфяке, повернув голову и приставив руку к уху. За ним бежали скороходы. Кучер снял картуз. Иванчук тоже приподнял было шляпу. Но барин даже не посмотрел на них, и Иванчук сделал вид, будто поправляет шляпу на голове. Шутиха показала ему нос.

– Кто же это? – спросил Штааль, когда музыка заглохла вдали.

– Должно, Ивницкий пан, альбо Лещинский, – ответил кучер.

Штааль из запыленного фаэтона с завистью смотрел вслед помещику.

– Как ездит, а? – сказал Иванчук, видимо любясь богатством проехавшего барина. В отличие от Штааля, он отно-

сился к богатым людям без всякого злобного чувства. В глубине души Иванчук был совершенно уверен в том, что и сам он рано или поздно будет богат. В этом помещике он уже с гордостью видел соседа.

– Grossartig! – восторженно говорила фройлейн Гертруда. – Wunderschön!..⁸¹

– Эх ты, и не знаешь, кто едет, – укоризненно сказал Иванчук кучеру. – Верно, скоро этак все спустит. Плакали панские гроши, – добавил он, обращаясь к Штаалю, и по одному этому, с жадностью произнесенному, слову «гроши» Штааль с удовлетворением почувствовал пропасть, которая отделяла его от Иванчука.

Фаэтон свернул налево под прямым углом, затем опять направо. Кучер хлестнул по лошадям. Показались невысокие крытые соломой строения. Собаки с отчаянным лаем понеслись за лошадьми, то приближаясь к ним, то отскакивая от кнута с яростным визгом. Какой-то бородатый человек, сорвав картуз, побежал за экипажем, крича на собак и отгоняя их картузом. «Браму, браму открой!» – кричал он с ужасом. «Что такое брама?» – с недоумением спросил Штааль. Иванчук приосанился. Встречные люди почтительно снимали шапки. Дети, кланяясь, бежали за экипажем. Коляска въехала в широко открытые ворота парка, около которых, запыхавшись, стоял без шапки сторож, свернула направо, быстро обогнула огромную круговую клумбу, обсаженную низки-

⁸¹ Он великолепен!.. Он прекрасен! (нем.)

ми стриженными кустами, и подошла к белому одноэтажному длинному дому. Кучер снял шапку и низко поклонился господам. Иванчук выскочил первый и помог сойти Настеньке. Несколько человек прислуги бросилось целовать руки приехавшим господам.

XIX

Управляющий имением, старый литовец, высокий, худой, с необычным для деревенского жителя изможденным лицом лимонно-желтого цвета, встретил гостей на веранде и произнес цветистое приветствие, смысл которого они плохо уловили. Фройлейн Гертруда неудачно сказала вполголоса: «Glänzend...»⁸² Иванчук немного насторожился, – нет ли тут со стороны продавца какого-либо подвоха. Но скоро успокоился, так как в приветствии не было ни слова о покупке имения. Штааль сладко зевал. «Какие, однако, уроды водятся в глуши», – думал он, ожидая, дадут ли им наконец возможность умыться как следует и переодеться. Управляющий говорил о предметах возвышенных, упомянул о матери земле, о друидах, коснулся также вопросов космогонических. Вид у него был очень торжественный. Говорил он медленно, довольно плавно, как вдруг, к общему изумлению, заикнулся так страшно и продолжительно, что все гости, кроме Иванчука, опустили глаза – в первую секунду им даже показалось,

⁸² «Блестящий» (нем.).

будто он шутит: так свободно он говорил до той минуты. Лицо управляющего передернулось. Он, видимо, скомкал конец своей приветственной речи, причем вторично заикнулся еще мучительнее и по-польски велел прислуге проводить гостей в предназначенные для них комнаты. Штаалья отвели в большой кабинет, довольно просто убранный и украшенный портретами папы Пия VI, Яна Собесского и Месмера. Это сочетание немного озадачило Штаалья. «Да, странные люди водятся в глуши», – подумал он снова, уже несколько мягче. Через полчаса их позвали обедать.

Обед был не то чтобы очень тонкий, но чрезвычайно сытный и обильный. Подавали малороссийский борщ, рыбу, зразы, какое-то жаркое по-гусарски, сочни с сыром и сметаной. Дамы сидели по одну сторону стола, мужчины по другую – в Петербурге этот старинный обычай уже понемногу выводился. На почетных местах сидели Настенька и Иванчук. Фройлейн Гертруда и для управляющего была «факторна». Относительно же Штаалья он находился, по-видимому, в некотором сомнении, не зная, кто это, собственно, такой и зачем сюда пожаловал. Штааль сам чувствовал, что он здесь лишний, и сердился на себя, что поехал. На своего хозяина гости теперь поглядывали не без опаски. Особенно Настенька боялась, как бы он снова не начал так тяжело давиться словами. Управляющий ел мало, но со старинным гостеприимством потчевал гостей. Говорил он вначале немного, больше отвечал на вопросы, рассказал, однако, кое-что об иванков-

ском имении,⁸³ об оранжереях, славившихся на всю Польшу (он, видимо, и эти места считал Польшей), о богатстве владельца, которого управляющий, не совсем понятно для гостей, титуловал паном маршалком: фамилии он не называл вовсе, точно на свете существовал только один пан маршалок. В кратких фразах управляющий совершенно не заикался, и гости успокоились. Успокоился, видимо, и он сам: чувствовалось, что большая часть душевной энергии этого человека уходит на борьбу с непослушными органами речи. Случайно разговор соскочил снова на возвышенные предметы. Тут, к большому удивлению Штаала, управляющий одушевился и вдруг стал рассказывать о самых неправдоподобных происшествиях, свидетелем которых или даже участником ему пришлось быть. Оказалось, что он собственными глаза-

⁸³ С именем, описанным в настоящих главах, неясно связывается трагическое воспоминание. Граф Август де Лагард, путешествовавший по России в 1811 году, оставил чрезвычайно интересный дневник своего путешествия («Voyage de Moscou à Vienne». Paris, 1824). В записи, помеченной июлем месяцем без числа и сделанной в 20 верстах от этого имения, автор в очень взволнованном тоне сообщает о преступлении, только что совершенном в деревне Иванково под Житомиром и вызвавшем много шума. Крепостными убит, из мести, в спальне своего дома помещик граф Каменский (следует драматическое описание убийства). Сообщение это явно не может относиться к известному убийству фельдмаршала гр. М. Ф. Каменского, происшедшему 12 августа 1809 года в совершенно иной обстановке. Лагард, мог, конечно, смешать фамилии, но трудно предположить, что неверна вся запись, сделанная им на месте, под свежим впечатлением события, с точным указанием деревни. По сведениям пишущего эти страницы, иванковское имение принадлежало в 1800 году польским богачам Обуховским. Волынские архивы могли бы разрешить эту загадку. — Автор.

ми три раза видел сатану, а один раз сам сделал чудо, исцелив месмерическим способом, при помощи некоего заклинания, издыхавшую, даже совсем почти издохшую, лошадь.

Иванчук вначале все выше поднимал брови и тонко-насмешливо улыбался, свидетельствуя, что ему никакой космогонией зубов не заговоришь. Настенька старалась не показать, что она не знает, какая-токая космогония. Фрой-лейн Гертруда сочувственно кивала головой и изредка вставляла с жаром: «Wie interessant!»⁸⁴ Когда дело дошло до исцеленной месмерическим способом лошади, Иванчук догадался, что перед ним сочинитель, и успокоился, так как считал, что с такими господами всегда легче иметь дело. В эту минуту управляющий опять заикнулся самым ужасным образом, и тотчас оживление с него слетело. Иванчук воспользовался случаем и заговорил о покупке имения.

– Что ж, ведь по одному плану нельзя судить, – сказал он недовольным тоном. В его интонации ясно чувствовалось, что продавцы ведь часто и надувают доверчивых покупателей. Иванчук выразил желание сейчас после обеда осмотреть имение. «Экой, однако, железный», – подумал Штааль, очень утомленный путешествием.

– Досконале, пане ласкавый, – ответил сухо управляющий (до того говоривший по-русски) и тут же приказал заложить четверку цугом. По тому, как изумленно выслушал это приказание лакей, Штааль понял, что здесь после обеда разь-

⁸⁴ «Как интересно!» (нем.)

езжать не в обычае. Отдав распоряжение, управляющий с неестественной улыбкой придвинул к Иванчуку блюдо сочной, подчеркивая, что для него дело и гостеприимство – вещи, друг от друга не зависящие.

– Мы ведь к вам ненадолго, – пояснил Иванчук, почувствовавший, что его желание признано бестактным. – Ведь у вас говорят: «Гость что свежая рыба: три дни хорош, а потом портится».

Он первый засмеялся, желая вернуть беседе непринужденный характер. Тотчас засмеялась и Настенька, все время следовавшая за ним.

– Як то можно, пане ласкавый, – начал было хозяин. Но его перебила фройлейн Гертруда. Она вдруг горячо вмешалась в разговор и, хотя поддержала продавца, свидетельствуя с полным убеждением, что план составлен вполне честно, но поддержала и покупателя в том, что проверить план на месте нужно непременно, – и лучше всего им поехать сейчас после обеда, ибо она тоже очень спешит: ее ждет принадлежащий ей Gasthaus.⁸⁵ Фройлейн Гертруда с достоинством дала понять, что не «факторка», а единоличная владелица гастгауза, а «комиссионгешефтами» занимается так, больше из желания оказать услугу, притом очень добросовестно и за умеренную плату. Из неожиданно горячего слова ее стало ясно, что фройлейн Гертруда тоже поедет с ними осматривать имение и что разговаривать о деле она имеет полное

⁸⁵ Гостиница (нем.).

право, куда бы ее ни сажали за столом. Управляющий холодно, с демонстративным вниманием, слушал ее польско-русско-немецкую речь; как только она кончила, он, ничего не ответив, приказал подать кофе. Штааль едва удерживался от смеха; он предполагал, что немка разгорячилась из-за него, желая перед ним оградить свое достоинство владелицы гостгауза. Это было верно, но лишь отчасти: фройлейн Гертруда, кроме того, не хотела отпускать Иванчука ни на шаг, боясь, как бы он не вошел с продавцом в какое-либо соглашение за счет ее интересов.

Штааль – не совсем кстати – сообщил, что он слышал в Петербурге, будто земля в этих местах скоро должна сильно подняться в цене.

– Ну, это вздор, – сказал поспешно Иванчук, взглянув на Штааля. Но управляющий тотчас подтвердил слух и, хоть, видимо, не мог себе объяснить цели замечания непонятного гостя, стал с ним особенно любезным. После кофе он сам проводил Штааля в свой кабинет.

Штааль с удовольствием устроился на мягком диване и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу. Она оказалась старинным описанием земноводного круга на русском языке. Штааль прочел, зевая, о разных дивных людях, о тех, что «до пупа человеки, а от пупа хобот змиев, крылаты, а зовомы василиски»; об Астромовых людях, «кои живут в Индейской земле, сами мохнаты, без обоих губ, а питаются от древа и коренья пахнучего, и от яблок лесных, а не едят, не

пьют, только нюхают и, покамест у них те запахи есть, по та места и живут». «Бабий вздор! – подумал Штааль, решительно не веривший ни в василисков, ни в Астромовых людей, – он даже и в существование сатаны плохо верил. – Однако и в философических книгах часто на то упирают, что есть у всех народов вера в бытие загробное... Вот и в василисков же все народы верили...» Идея эта ему показалась очень смелой. Он подумал, что хорошо было бы ее сообщить в Париж какому-нибудь энциклопедисту, пусть тиснет где-нибудь от его имени. Но Штааль не знал ни одного энциклопедиста. «Может, их и не осталось вовсе? Темная эта все материя – кто из них прав? И не мое это дело... А ведь когда-то читал, волновался». Штааль перелистал книгу, перешел от дивьих людей к современным народам. Прочел, что французы «зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много»; что «люди королевства англениского немцы купеческие и богатые, воинских людей у них мало, а сами мудры и доктороваты, а пьют много». Эту черту – «а пьют много» автор книги с видимым удовлетворением отмечал почти у всех народов. Несколько сильнее было сказано о поляках: «...а пьют зело много». Прочел Штааль также, что «король французский есть ныне самовластнейший на свете потентат». Штааль, вздрогнув, вспомнил *fosse commune*,⁸⁶ в которую бросили труп французского короля, и закрыл книгу. «Все бренно, все проходит... И я скоро умру... Зачем я здесь, в каком-то

⁸⁶ Общая могила (франц.).

чужом имении? Вот завтра уедем, и никогда больше всего этого не увижу... Жаль, парк, кажется, редкостный».

Он вскочил с дивана, точно испугавшись, что больше никогда всего этого не увидит, и подошел к окну, выходившему на круглую ярко-зеленую клумбу с серой полоской кегельбана посередине. За ней шли отгороженные парники. Слева расстился великолепный парк. «Деревья, деревья какие! – подумал Штааль. Сон у него прошел. – Стыдно спать в такую погоду, когда под боком этакая натура!» Он вышел из кабинета. Дом управляющего, очень просторный, был убран без роскоши, но удобно и приятно. Штааль прошелся по комнатам. Никого не было. В буфетной мальчик, стоя спиной к Штаалю у выбеленной стены, бил мух сложенным вдвое поясом. После каждого удара на стене появлялось пятнышко; другие мухи, однако, не улетали. Штааль окликнул мальчика и, подделываясь под польско-малороссийскую речь, спросил, уехали ли «Панове». Узнав, что уехали, он лениво вышел на веранду, зачем-то поскреб недавно вычищенные сапоги о тупую скобку сбоку от лестницы и спустился в парк. Слева уходила вдаль прямая как стрела аллея, с проложенными следами колес. «Верно, к палацу идет», – сообразил он: за обедом выяснилось, что «палац» пана маршалка расположен в самом конце парка, над обрывом, опускающимся к деревне. Штааль быстро шел по аллее. Парк был огромный. В конце аллеи, на залитой светом поляне, действительно стоял дворец Обуховских. Штааль не подошел к дворцу, чтобы не

навязываться (он забыл, что владельцы имения находились в Варшаве). «Княжна, верно, где-нибудь в угольной живет, во втором этаже, – предположил он (почему-то он мысленно называл Обуховских князьями, хоть они никакого титула не имели). – А недурно бы с нею познакомиться... Вдруг влюбится, на эдакой и жениться можно. Пригодились бы и парк, и палац. А ежели попросить государя, улучив добрую мину-ту, – ко мне перейдет и титул князей Обуховских. Буду назы-ваться князь Штааль-Обуховский. Можно даже и выкинуть Штааля – глупое имя... Князь Юлий Обуховский... Ерунда, конечно. Главное в ней самой. Право, недурно бы...»

Он постоял немного в раздумье. Перед «палацом» рассти-лались великолепные цветники. Особенно удивил Штааля один из них, окруженный соснами величины необыкновен-ной. «Сосны вокруг цветника. Странно... Эх, хорошо живут люди!..» Он свернул вправо по тропинке. Вдали внизу блес-нула заросшая водорослями узкая река Гуйва. Вдоль нее шла запущенная, густо засаженная деревьями самая прекрасная часть парка. Дорожка некруто спускалась к реке. Штааль со-шел к огромному мшистому камню, далеко вдававшемуся в мутно-зеленую, блестящую на солнце воду. лягушки пры-гали у него под ногами. Справа вдали белела дощатая ку-пальня, к которой шел длинный мостик. Штааль выбрал ме-сто поблизости, в чаще парка, осторожно уселся, прислонив-шись спиной к огромному, ободранному снизу, поросшему мхом дереву, затем облокотился и прилег на бок. С подозри-

тельностью городского жителя он смотрел на сыроватую землю, сплошь усеянную бесчисленными обломками прутьев, листьями всех цветов, зелеными, желтыми, красноватыми, то влажными, то сухими, свернувшимися в неровные трубочки. Неба не было видно, но солнце кое-где просвечивало сквозь чащу, оставляя на земле и на стволах деревьев снизу неровные ветвистые бледно-золотые пятна. Над ними слышалось щебетанье птиц. Штааль не знал, какие это птицы, и ничего не знал здесь по названию – ни птиц, ни деревьев, ни кустов. Ему было и смешно, и стыдно. Тощие кусты ко-со росли над оврагом, точно заглядывая вглубь верхушками. Штааль сорвал лист, поднес его к носу. «И не пахнет почти что...» Он потрогал шершавую поверхность листа, глянце-вито-зеленую с одной стороны, бледноватую с другой, разодрал листок по нервам, взял в рот длинный прямой стебелек... Натура ему нравилась. Чрезвычайно нравился ему и парк, и все это имение. Его неустанно точило привычное чувство зависти к чужому богатству.

Поблизости раздался странный радостный крик. Штааль выплюнул стебелек листа и приподнял голову. За бледно-золотым пятном, на поляне, вытянув длинную шею с прямым острым клювом, неподвижно стояла большая серая птица. «Верно, журавль, – лениво скашивая глаза, подумал Штааль, – а может, и не журавль». Птица с жадным любопытством смотрела на землю. Штаалу был виден сбоку тупой, злой, светлый глаз. Вдруг по земле что-то метнулось. В ту же

секунду изогнулась длинная шея, острый клюв хищно ткнулась в землю, что-то взлетело вверх. «Это он, подлец, лягушкой играет», – подумал Штааль. Он приподнялся на локте, звонко ударил себя по колену и закричал. Птица замерла, встрепенулась, побежала в сторону, с резким криком отделилась от земли и исчезла. «Вот это и есть настоящая жизнь, – подумал Штааль. – Это и есть натура! Лягушка припала к земле, он поиграет и съест... А я его... А меня – ну и на меня найдутся... Вот и учишься у природы – у этого журавля. Надо жить, как он...»

Штааль зевнул, устроился поудобнее и скоро задремал. Ему снились крылатые женщины с длинным хоботом. Он во сне уверял себя, что это вздор, ерунда, – ни один энциклопедист теперь не верит, и Ламор будет хохотать, когда ему это расскажет Баратаев. А он назло непременно расскажет. Дивьи люди тоже хохотали на вершине Парижского собора Божьей Матери, особенно один, горбоносый, с высунутым языком, очень страшный. Но крылатая женщина с хоботом была – только без крыльев и без хобота, а высокая, прекрасная, с дивьей грудью и шеей. И непонятно было, почему этот сумасшедший называет василиском госпожу Шевалье...

«Разве искупаться? – подумал, проснувшись, Штааль. – А в самом деле? – Он оглянулся. Людей не было. – Да хоть бы и были, мне что, лишь бы одежду не стащили. Ну, здесь не стащат». Штааль спустился снова к камню, разделся, бросился в воду вниз головой, коснулся руками дна, вынырнул

и, фыркая, выплыл на середину реки, подальше от цеплявшихся за ноги водорослей. «Мы еще проживем, поборемся, – вдруг с чрезвычайной бодростью подумал он. – Вот вернусь в Петербург и начну жизнь заново. И госпожа Шевалье будет моею». Он плыл с непривычной, радовавшей его энергией, точно уже начав новую, полную трудов жизнь. Дощатая ветхая, чуть заметно дрожавшая на солнце купальня приближалась. Штаалу показалось, что в ней кто-то есть. Штааль поплыл бесшумно. ««Может статься, княжна Обуховская?» – подумал он. Сердце у него забилося сильнее. Хоть ему было и совестно, он осторожно подплыл к купальне вплотную. Слегка запахло гнилым деревом. Достать дно ногами Штааль еще не мог и, приняв вертикальное положение, взялся рукой за сваю, брезгливо уклоняясь от слизкой зелени, покрывавшей у столбов воду. Купальня дрогнула. Он замер. Однако купавшаяся дама (Штааль почему-то был уверен, что это дама), по-видимому, ничего не заметила. Штааль переждал несколько секунд, оглянулся и осторожно приблизил глаза к узкой щели, прижавшись лбом к шершавым разогретым солнцем доскам. Ничего не было видно. С сильно бьющимся сердцем он так стоял в воде несколько минут, все время стараясь сохранить равновесие. Течение толкало его на доски. Он оцарапал лоб, колено. Справа от него полоскалась в воде невидимая княжна Обуховская. «Русалка!» – книжным словом восторженно подумал Штааль, с трудом переводя дыхание. Княжна рисовалась Штаалу в образе госпожи Шева-

лье, которую он так часто раздевал в мыслях. «Глупо, однако, этак здесь торчать, глупо и стыдно», – решил он наконец, оттолкнулся ногами от сваи так, что купальня довольно сильно дрогнула, и быстро поплыл назад к камню, уже не заботясь о том, чтобы плыть бесшумно. Отдуваясь и дрожа от холода, он взобрался на камень. Ногам было больно. Вытереться было нечем. «Глупая затея так купаться...» Штааль оделся, не вытираясь, и быстро пошел наверх по сырой, тенистой аллее, мимо парников, – тоже великолепных и тоже чужих.

Минут через двадцать, обойдя парк кругом, он уже перед самым домом неожиданно встретил Настеньку, которая с мохнатым полотенцем через плечо, в белом платье, свежая и веселая, шла быстрой легкой походкой, видимо доставлявшей ей наслаждение. «Да это, верно, она купалась, – разочарованно подумал Штааль. – Хороша княжна Обуховская...» Они столкнулись у выхода из круглой клумбы, в которой был устроен кегельбан. Оба одновременно вспомнили о «Красном кабачке». Настенька робким умиленным взглядом взглянула на Штааля и покраснела.

– А, вы тоже купались? – холодно спросил Штааль тем наглым тоном, который теперь вошел у него в бессознательную привычку при разговоре с Настенькой наедине. Она густо залилась краской, что-то невнятно пробормотала и поспешно поднялась на веранду.

XX

По сдержанному, но сильному и явно радостному волнению Иванчука, по раскрасневшемуся лицу фройлейн Гертруды и Штааль, и Настенька сразу поняли, что дело сделано.

– Подписал, – кратко сказал Иванчук, выходя из коляски, пыльный и потный. – Я подписал!

Он великодушно взглянул на кланявшегося кучера и протянул ему серебряную монету. Фройлейн Гертруда одобрительно закивала головой и тоже, порывшись довольно долго в сумочке, дала кучеру на чай. Иванчук, видимо не удержавшись, поцеловал подошедшую Настеньку, чего до тех пор при посторонних не делал. Настенька покраснела и слегка оттолкнула его от себя. Но она была довольна и его поступком, и в особенности тем, что это произошло на глазах у Штааля, который, с ленивым видом, с принужденной улыбкой, стоял на лесенке веранды. Штааль иронически поздравил Иванчука с покупкой, явно отвергая официальную версию, будто клочок земли приобретался для другого лица. Он чувствовал немалую досаду оттого, что его приятель стал помещиком. Однако Иванчук в своем волнении решительно не заметил иронии Штааля и крепко, с благодарностью, пожал ему руку.

– Превосходное имение! Прямо превосходное! – говорил Настеньке взволнованно и гордо Иванчук – он сам забыл о

своей официальной версии и даже не называл больше имение клочком земли: гордость помещика в нем ненадолго вытеснила его обычную осторожность. Фройлейн Гертруда была тоже сильно возбуждена.

– Wir haben alle Herrn Staatsrat herzlichst zu gratulieren, aber herzlichst, – повторяла она. – Herr Staatsrat, hatt'ich Recht oder nicht?⁸⁷

– Ja, ja,⁸⁸ – говорил взволнованно Иванчук. Фройлейн Гертруда недурно заработала на сделке, и деньги от Иванчука получила, по своей вежливой, но настойчивой просьбе, при самом заключении условия (к продавцу она инстинктивно имела больше доверия). Скоро появился на веранде и управляющий. Он был чрезвычайно любезен и просил дорогих гостей остаться у него подольше. Гости, однако, решили ехать на следующее утро. Хозяин тотчас распорядился отправить им в Бровки повара с провизией, чтобы они к полудню могли там пообедать. Такая любезность опять встревожила Иванчука, – уж не переплатил ли он или, может, где-либо скрыт обман? Но беспокойство его продолжалось одно мгновение; он отлично знал, что купил имение за гроши.

Слуги накрывали на веранде стол для ужина. С усилившимся к вечеру ароматом цветов смешивался доносившийся из кухни вкусный запах жаркого. Все, кроме Штааля, были

⁸⁷ Мы должны искренне поздравить господина государственного советника, искренне... Господин государственный советник, права я или нет?.. (нем.)

⁸⁸ Да, да (нем.).

веселы. За ужином хозяин сказал приветственное слово – на этот раз без друид. Он любил говорить речи, как иные нервные люди любят сильные ощущения. Иванчук, очень растроганный, провозгласил тост «за всех дворян – землевладельцев края и за нашего доброго хозяина». Штааль, от которого тоже ждали тоста, предложил, с усмешкой глядя на Настеньку, выпить за ее здоровье. Этот тост был принят с энтузиазмом; фройлейн Гертруда даже вскочила и расцеловалась со смущенной Настенькой. Немка прекрасно понимала, что первый тост Vube должен был провозгласить за Frau Direktor, но теперь смотрела на него выжидательно. Выпили и за фройлейн Гертруду, хоть значительно холоднее. Однако она прослезилась, чокнувшись с Штаалем. Фройлейн Гертруда в течение всего ужина глядела на Vube с чрезвычайной нежностью.

В промежутках между тостами разговаривали на всякие темы. Хозяин учтиво заспорил с Иванчуком о том, кто лучший полководец, Ян Собесский или Суворов. Иванчук отстаивал Суворова, но без особого жара. Он готов был теперь соглашаться с чем угодно. Управляющий нехотя отдавал Суворову должное, однако Собесского ставил гораздо выше – выше всех полководцев. Он даже дал понять, что Собесский обладал одним таинственным секретом, который безошибочно доставлял ему победу. Но, по-видимому, управляющий тотчас пожалел, что коснулся этой темы с людьми непосвященными. Впрочем, главный интерес разговора для

него, как всегда, был не в содержании, а в том, чтобы ни разу не споткнуться на длинных фразах. Это после ужина ему удалось, и потому он был особенно хорошо настроен. Штааль, внезапно разгорячившись от венгерского, резко заявил, что Суворов не знал никакого таинственного секрета, однако всегда побеждал. «Вот и Варшаву взял в свое время», – нелюбезно добавил он. Иванчук тотчас признал, что и в этом мнении есть большая доля правды: жаль, конечно, что Собесский и Суворов, живя в разное время, никогда между собой не сражались, – и, может быть, вернее всего считать их равными по силе полководцами. «Aber selbstverständlich, – говорила фройлейн Гертруда, сразу немного опьяневшая. – Sehr richtig, Herr Staatsrat».⁸⁹ Настенька грустно размышляла о наглом выражении лица Штааля в ту минуту, когда он поднял тост за ее здоровье. Штааль хотел взглядом дать ей понять, что нисколько не ревнует ее к Иванчуку и совершенно к ней равнодушен. Он не был, однако, уверен, что Настенька поняла это по взгляду, и подумывал, как бы пояснить ей намеком. «Это и есть, как журавль с лягушкой. Так и надо!» – мысленно говорил он. Почему-то Штааль решил, что мстит Настеньке за прошлое, хоть ему, собственно, не за что было ей мстить, да он прежде ни о какой мести и не думал. В действительности Настенька отлично все поняла. Она и в его тосте усмотрела какой-то дурной намек на ее полноту. Однако наглый тон Штааля произвел на Настеньку совсем не

⁸⁹ «Разумеется... Очень верно, господин государственный советник» (нем.).

то действие, какого он ожидал (он, впрочем, мало об этом заботился, да и тон такой взял случайно, а поддерживал уже механически). Настенька не чувствовала за собой никакой вины перед Штаалем. Она опять сравнила его отношение к ней с нежной заботливостью Иванчука. Настеньке все больше казалось, что достоинства Иванчука имеют, в особенности для нее, очень большое значение. «Вот и имение теперь задаром купил, а тот всегда будет голышом». При всем бескорыстии Настеньки, независимо от ее воли, богатство Иванчука сильно поднимало его престиж в ее глазах. «И говорит как бойко», – думала она, почти с нежностью слушая нового помещика.

Стемнело. Слуги внесли свечи в колпаках, подали чай с вареньем, кренделями и лимоном. Управляющий посидел после ужина столько, сколько нужно было для приличия, и попросил извинения у дорогих гостей: он вставал ежедневно с зарею и рано ложился спать. Штааль тоже подумывал о постели. Он немного боялся, как бы к нему в кабинет не поместили Иванчука (Штааль терпеть не мог спать в одной комнате с мужчинами). Но оказалось, что в доме нашлось по свободной комнате для каждого гостя. Лучшая комната была отведена Настеньке – ее Иванчук представил хозяину как добрую знакомую, однако в разговоре ввернул с самого начала, что это его невеста: Иванчук про себя уже давно принял решение жениться на Настеньке и заботился о репутации своей жены в том крае, где он становился помещиком.

В его планах женитьба, не совсем понятным образом, тесно связывалась с покупкой имения.

Простившись с управляющим, Штааль зевнул и сказал, что у него болит голова. «Armer Bube»,⁹⁰ – воскликнула стогряча фройлейн Гертруда и объявила, что мигом вылечит его фиалковой настойкой, которую всегда возит с собой, так как у нее часто бывают ужасные головные боли. Иванчук пожелал им спокойной ночи и многозначительно объявил, что сам он еще посидит на веранде с Настенькой. Фройлейн Гертруда закивала головой, показывая, что понимает и находит вполне закономерным желание Herr Staatsrat'a. Она при этом подмигнула Штаалю. Штааль, несмотря на усталость, вдруг почувствовал желание остаться на веранде хоть всю ночь, лишь бы испортить удовольствие «дворянину-землевладельцу края», как он теперь называл мысленно Иванчука. Штааль видел, что его приятель находится в необычно приподнятом настроении. Но после того как сам же объявил о своей головной боли, а Иванчук, крепко пожимая ему руку, сказал игриво: «Приятных снов, красавец», – оставаться было неудобно. Штааль засветил свечу и, зевая, прошел в кабинет, где для него на диване была приготовлена постель.

В одиночестве он, однако, оставался недолго. Через несколько минут в кабинет не вошла, а прокралась, с заговорщическим выражением на лице, фройлейн Гертруда, в пеньюаре, с коробкой ваты и с темно-зеленой бутылочкой в

⁹⁰ «Бедный мальчик» (нем.).

руках. Она намочила Штаалю голову фиалковой водой и поцеловала его в лоб, который он страдальчески морщил.

– Armes Kind,⁹¹ – нежно сказала фройлейн Гертруда, садясь ему на колени. «Да, все это сильно преувеличено», – успел подумать Штааль.

Для Иванчука вопрос о женитьбе на Настеньке был, после долгих колебаний, решен. Но под свое решение он все еще упорно подыскивал разумные практические доводы. Он говорил себе, что не в деньгах счастье. Изречение это, однако, не имело для него никакого разумного смысла. «Да, не в приданом счастье, – повторял он, несколько сузив мысль. – Вот я и без богатой женитьбы приобрел порядочное именье». Говорил он себе и то, что люди (он разумел людей влиятельных) должны будут оценить его бескорыстие, как бы они ни отнеслись к женитьбе на женщине с прошлым Настеньки. Иванчук думал даже, что об этом (особенно ежели попросить Палена) легко может узнать сам государь, а при рыцарском характере государя стоит попасть в добрую минуту и еще, пожалуй, перепадет весьма порядочная награда. Подобные происшествия случались не только в сказках. О покойной матушке государыне рассказывали трогательные истории в том же роде. Иванчук, сладостно замирая, мечтал, как они вдвоем упадут к ногам императора, благодаря его за неожиданное счастье. Но он прекрасно понимал, что это

⁹¹ Бедное дитя (нем.).

только мечты: так он иногда (даже он) представлял себя в мыслях то герцогом, то фельдмаршалом, то турецким султаном. Никакого серьезного расчета на милость государя по случаю женитьбы на Настеньке строить, конечно, не приходилось. Не приходилось и вообще связывать соображения выгоды с этой женитьбой. Иванчук чувствовал, что он просто «влюбился, как дурак». Это и конфузило его, и трогало – в одних сочетаниях мыслей больше трогало, в других больше конфузило. Окончательно решил он для себя вопрос по дороге в Киев, когда постоянная близость Настеньки стала для него привычкой и источником счастья.

Он оглянулся на освещенное окно комнаты Штааля и нерешительно спросил взволнованную Настеньку, не желает ли она погулять в парке. Ему, впрочем, нисколько не хотелось гулять – он очень устал за день, да и темные аллеи пустынного парка глядели ночью неуютно. «Нет, оттуда не слышно, – подумал Иванчук, измеряя глазами расстояние от веранды до окна освещенной комнаты. – Да у него сейчас, верно, Гертрудка...»

– А то здесь посидим, здесь славно, – тоже нерешительно сказала Настенька. Она чувствовала, что он сейчас все скажет. Ее мучили угрызения совести, ей хотелось плакать.

Иванчук отогнал муху от блюдечка с вареньем, кашлянул и начал издали, с той самой мысли, которая теперь переполняла его душу: сказал, что вот он как-никак и без всякого приданого приобрел нынче порядочное именье (при сло-

ве «приданое» Настенька покраснела). Затем Иванчук сообщил, что за него хотели выйти замуж две девицы: одна племянница генерал-поручика, другая с двумя тысячами душ, с тремя домами в Москве и с большим капиталом в Заемном банке. Для верности он назвал обе фамилии. Собственно, этих невест только предлагала Иванчуку сваха – ни с невестами, ни с родителями и разговора не было. Но опытная сваха говорила жениху, что обе невесты уж с какой радостью за него пошли бы. Иванчук на этом основании давал понять приятелям, что его «ловили, да не словили». Настеньке же он прямо объяснил, почему отказал начисто обеим невестам: потому что не любил их, а любовь – первейшая вещь в женитьбе. «Уж если жениться, Настеньна, то надо быть уверенным, что жена тебе предана, как собака, что она в огонь и в воду за тебя бросится... Я, Настенька, не хотел себя продать, – говорил горячо Иванчук, – я не то что некоторые... Вон тот Родомонт-забияка, – он чуть понизил голос и показал жестом на освещенное окно, – и рад бы жениться на богатой, да кто за него, балбеса, пойдет?» Настенька покраснела до слез.

Иванчук внезапно замолчал с открытым ртом, усомнившись на мгновение в правильности принятого им решения: так на него подействовал собственный его рассказ о двух невестах, которым он отказал начисто. Особенно ему было жаль второй из них. У нее не было трех домов и двух тысяч душ, – Иванчук знал, что сваха безбожно врет, – но один

среднего качества дом в Москве, тысяча двести семьдесят незаложенных душ и тридцать пять тысяч капитала в Заемном банке у невесты действительно были...

Настенька испуганно посмотрела на Иванчука. Он подумал и заговорил снова. В самой мягкой форме он дал понять Настеньке, почему никто другой, кроме него, не женился бы на девушке без положения (из деликатности он обозначил ее лишь как девушку без положения). На это Настенька ничего не ответила. Инстинкт подсказывал ей, что лучше всего опустить голову и грустно молчать. Ее грустное молчание умилило Иванчука. Он встал и прошелся по веранде. Бабочки вертелись вокруг стеклянного колпака свечи. Где-то над круглой клумбой шелкал соловей. Он шелкал уже давно, но Иванчук только теперь услышал. И соловей как будто все решил: без него Иванчук, быть может, еще отложил бы последние, решительные слова. Но соловей перегрузил заряд поэзии в его душе, – после покупки имения, в эту лунную ночь, в этом пышном старинном парке. Иванчук обернулся, взглянул на Настеньку и вдруг упал перед ней на колени (она вздрогнула).

– *Ma chère, soyez ma femme,*⁹² – прошептал он. У него давно, еще до знакомства с Настенькой, было твердо решено, что он сделает предложение невесте не иначе как по-французски и непременно прошепчет, а не скажет. Настенька по-французски понимала плохо, однако эту фразу про

⁹² Будьте моей женой, дорогая (франц.).

«*ma femme*» она должна была понять. Насчет самой фразы у Иванчука не было никаких сомнений. Но обращения он долго не мог придумать. «*Ma chère*» выходило суховато, а «*Nastenka*» недостаточно торжественно. Он все же выбрал «*Ma chère*». Настенька задрожала мелкой дрожью. Она не могла ответить по-французски и не знала, что нужно сказать.

– Я... я за счастье почитать должна, – прошептала она.

Самая лучшая французская фраза не могла бы так обрадовать Иванчука. Он знал, что все кончено, что нет больше ни дома в Москве, ни тридцати пяти тысяч в Заемном банке, ни тысячи двухсот семидесяти нигде не заложенных душ. Но он был полон счастья, какого никогда не испытывал в жизни. Иванчук опустил голову на колени Настеньки. Это тоже было предрешено.

Часть вторая

I

Высокий худой сутуловатый человек в темном поношенном сюртуке вошел, опираясь на бамбуковую палку, с площади Согласия в Национальный сад и поднялся на террасу, внимательно вглядываясь в редких прохожих. Шел восьмой час утра. Октябрьский день был скучный, утомительно-серый. Кофейня только что открылась. Под навесом пожилой лакей в белом фартуке, зевая, снимал со столов стулья, с неудовольствием поглядывая на старичка, который уже устроился в углу на первом же снятом стуле. Старичок не без робости кивнул головой лакею и сказал особенно бодрым голосом: «*Ça va, mon vieux?*»⁹³ Лакей что-то буркнул в ответ и даже не справился о заказе: старичок этот ежедневно, в течение пятнадцати лет, спрашивал чашку липового чая, сидел за газетами два часа, в хорошую погоду на террасе, в дурную – внутри кофейни, а затем оставлял на чай одно су. Читал он за эти годы последовательно «*l'Ami du Roi*», «*l'Ami de la Constitution*», «*l'Ami du Peuple*»,⁹⁴ – и всегда с одинаковым удовольствием. А когда при Робеспьере внизу, на пло-

⁹³ «Как дела, старина?» (*франц.*)

⁹⁴ «Друг короля», «Друг Конституции», «Друг народа» (*франц.*).

щади Революции, перед самой кофейней шли казни и хозяин догадался класть на столики, вместе с картой блюд, ежедневные списки осужденных, – старичок аккуратно читал и эти списки, и тоже с удовольствием. Но на казни никогда не приходил: они производились не утром, а днем, да и столики в эти часы можно было получить только с бою.

Лакей принес чашку липового чая, поставил ее перед старичком и обомлел, увидев входившего сутуловатого человека. Весь Париж знал министра полиции. Бескровное, неподвижное, изможденное лицо с безжизненными чертами, редкие бесцветно-светлые, тронутые сединой волосы, бледные тонкие губы – «ходячий мертвец!» – говорили о нем люди. Лишь в маленьких, налитых кровью, чаще всего полузакрытых глазах и видна была иногда жизнь. Старичок в углу тоже обомлел. Из кофейни под навес выбежал сам хозяин. Он с низкими поклонами сбил салфеткой пыль со стула, вытер яростно сырой липкий столик и взволнованным шепотом передал лакею заказ: «Une tasse de café bien chaud, et plus vite que ça, lu entends?»⁹⁵

Лакей сломя голову бросился за кофе. Хозяин с ожесточением ударил салфеткой толстую кошку, которая вскочила на стул возле старичка, испуганно уткнувшегося в газету, и, бегая на цыпочках, загнал ее внутрь кофейни.

На террасе сада с разных концов появились еще два господина. Они тоже вошли под навес и уселись за столика-

⁹⁵ «Чашку кофе погорячей и побыстрей, слышишь?» (франц.)

ми между старичком и министром. Фуше с неудовольствием оглянулся. Это были сыщики, приставленные к нему для охраны. Говорили, что Жорж Кадудаль, страшный роялистский заговорщик, находится снова в Париже, и Фуше принимал меры предосторожности. Сыщики шли за ним по набережной от самого министерства – один спереди, другой сзади. Он знал их и в лицо, и по фамилиям, и по условным кличкам, как почти всех своих подчиненных. Агенты были хорошие, давние, служившие в полиции еще с королевских времен. Фуше, в общем, предпочитал эту породу сыщиков новым революционным агентам, которые достались ему от Комитета общественной безопасности. Министр нашел, однако, что вошли агенты за ним в кофейню слишком заметно, одновременно, да и сели не совсем так, как следовало: один должен был бы сесть позади него, у стеклянной двери. «Надо будет разработать подробную инструкцию слежки», – подумал министр. Старичка, сидевшего в углу, Фуше не знал в лицо. В первую минуту он подумал, что это чужой сыщик, которому поручено следить за ним какой-нибудь другой полицией, скорее всего личной агентурой первого консула. Но, взглядевшись в старичка лучше острым взглядом полузакрытых красных глазок, Фуше тотчас убедился, что его догадка неверна и что старичок ни в какой полиции не состоит. Министр отвернулся, взял чашку, отпил глоток кофе и внимательно осмотрел площадь Согласия. Он нашел, что все в порядке: достаточно и полицейских, и агентов охраны. Од-

нако, ввиду тревожного времени, Фуше решил ввести в Национальный сад еще несколько человек наблюдателей. Он тут же наметил для них в саду удобные места – на террасах, на скамейках у бассейна и у тех мраморных пьедесталов, на которых, по мысли устроившего их художника Давида, философы должны были, согласно древнегреческому образцу, учить мудрости народ. Бескровные губы министра слегка искривились. Он всегда испытывал удовольствие от того, что другие люди оказывались дураками или прохвостами. В глупости Давида Фуше никогда не сомневался. Но ему было приятно, что знаменитый художник, бывший друг Робеспьера, стал теперь прихлебателем при дворе первого консула... Министр выбрал место и для старшего агента, в конце каштановой аллеи. Здесь на празднике в честь Верховного Существа стояла статуя атеизма. Фуше вдруг увидел перед собой пышно разукрашенную трибуну, стотысячную толпу людей, огромный костер. Нескладная неестественная фигура, с неестественно поднятой пудреной головой, спустилась с факелом по ступенькам, неестественно согнулась и неестественным жестом подошла к чучелу, изображавшее Атеизм. Это воспоминание доставило еще больше удовольствия Фуше. Он всегда терпеть не мог Робеспьера и своей ролью в перевороте Девятого Термидора всю жизнь гордился чрезвычайно, как самым удачным и искусным из всех своих удачных и искусных дел.

Фуше в 1793 году, в разгар революционного террора, про-

поведовал крайние коммунистические взгляды. Он утверждал, что республиканцу для добродетельной жизни достаточно куска хлеба, и усердно отбирал у владельцев «золотые и серебряные сосуды, в которых короли и богачи пили кровь, пот и слезы народа». Умер же он одним из богатейших людей Франции, самым крупным ее помещиком. Фуше осыпал проклятиями аристократов и всячески их преследовал. Однако принял от Наполеона сначала графский, а потом герцогский титул. В Конвенте он подал голос за казнь короля Людовика XVI и даже удивлялся, как можно голосовать против казни тирана Капета. Но после падения империи тотчас пристроился на службу к Бурбонам. В бытность свою полномочным комиссаром в Лионе он сотнями расстреливал ни в чем не повинных людей за то, что они, по его мнению, были недостаточно революционны. Несколькими же годами позднее, в качестве министра полиции, он строжайше преследовал всех тех, кто проявлял какую бы то ни было революционность. Были – в частности, в эпоху революции – исторические деятели, совершившие еще больше злодеяний, чем Фуше. Но, в отличие от них, у него никаких страстей не было. Все то, что он делал, он делал исключительно по соображениям простого, ничем не омраченного расчета. В пору террора для карьеры надо было сотнями казнить людей и произносить при этом пышные революционные фразы. Фуше это и делал, хотя по природе нисколько не был жесток и никогда не любил риторики. Те неслыханные гнусности, которые Фуше совершал

в лионских церквях, тоже вызывались отнюдь не желанием надругаться над чувствами верующих. Никакой жажды издевательства в его характере не было, и верующих людей он нисколько не презирал и не ненавидел: при старом строе он долгие годы преподавал науки в духовном училище, поддерживал самые лучшие отношения с монахами и как раз перед революцией сам собирался принять монашество (педагогическую карьеру легче было сделать монаху). Но в 1793 году надругательства над верой входили в программу той революционной группы, с которой Фуше считал выгодным связать свою политическую карьеру. Он поэтому с полной готовностью осквернял лионские церкви. Еще несколько позднее, с появлением генерала Бонапарта, проницательным людям стало ясно, что революции приходит конец. В то же самое время революция кончилась и для Фуше. Все выгоды от нее были им получены. Теперь надлежало твердо, навсегда закрепить их за собою – Фуше стал консерватором в самом точном смысле этого слова.

Он охотно принимал почести, которыми осыпали его сначала Наполеон, а затем Людовик XVIII. Но свой герцогский титул Фуше ценил не очень высоко: слишком много герцогов взошло на эшафот на его глазах и при его близком участии. Титул был пустой звук. Настоящей и несомненной реальностью были деньги. Фуше жадно собирал их где только мог: и со своих жертв, и со своего герцогства. Часть золотых и серебряных сосудов, в которых короли и богачи пи-

ли кровь, пот и слезы народа, он откладывал себе на черный день. Впоследствии одни игорные дома ежедневно платили ему в виде взятки три тысячи франков. Настоящей любовью Фуше любил и свое полицейское дело. Здесь он чувствовал себя несравненным знатоком и мечтал о том, чтобы поднять технику розыска до высоты точных наук. И наконец, почти так же, как деньги и полицию, он любил свою чудовищно уродливую жену. Это была тихая, верная, подлинная привязанность до гроба, свойственная многим негодьям, историческим и не историческим. Горько оплакав умершую жену, он женился снова, уже стариком, без любви, на молодой девушке, принадлежавшей к одной из самых знатных фамилий Франции. Родня невесты старого Фуше погибла на эшафоте в пору террора, в организации которого он играл такую страшную роль. Свидетелем же на свадьбе министра полиции был король Людовик XVIII, родной брат казненного тирана Капета. Фуше умер естественной смертью, должно оплаканный и с почестью похороненный. Перед кончиной он успел сжечь свои бумаги – летопись самых ужасных, самых грязных драм революции. В его характере не было ничего дьявольского, демонического, того, что мы обычно предполагаем в знаменитых шефах полиции. Он просто был негодяй, но негодяй в совершенно чистом, свободном от всяких примесей виде. Люди, подобные ему, редко добиваются в революционное время до последних вершин власти. Но бельэтаж всех революций неизменно населен ими, от них рево-

люции получают свой гнусный и отвратительный облик.

Фуше допил кофе, взглянул на часы, положил на стол монету и поднялся. Хозяин и лакей, испуганно кланяясь, выбежали на террасу. Старичок заерзал в углу, выглянув с жадным любопытством из-за газеты. Сыщики торопливо направились за министром. «Непременно разработать инструкцию», – с раздражением подумал он.

Министр полиции считал себя обязанным в день покушения на первого консула еще раз проверить лично все охранные посты Тюильрийского сада и дворца. В этот вечер 18-го вандемиэра в оперном театре заговорщики должны были заколоть кинжалами генерала Бонапарта.

Большой опасности первый консул, впрочем, не подвергался: самые решительные из убийц были тайными агентами министра полиции. Однако заговор выдумкой не был. Фуше держался мнения, что полиция не должна выдумывать покушения, да и не имеет в этом надобности: в тревожное время всегда найдутся такие политические дела, которые могут быть поданы как заговоры. Роль же полиции, по мыслям Фуше, должна была заключаться в том, чтобы руководить такими делами и давать им ход, отвечавший видам правительства или ее собственным видам. Так и теперь, заговор, конечно, был, но его, собственно, и не было. Все зависело от полиции. Несколько старых республиканцев, Демервиль, Арена, Чер-

акки («Les vieilles barbes de la Révolution»,⁹⁶ как они сами себя называли с любовью и к себе, и к Революции), действительно предполагали, что следовало бы убить первого консула, захватившего всю власть в государстве. Это их желание было хорошо известно и Фуше, и самому первому консулу. Главный заговорщик, капитан Гарель, состоял на службе у охраны и ежедневно по вечерам представлял ей доклад о развитии заговора. Но заговор развивался плохо. У его руководителей не было ни людей, ни денег, ни оружия. И министр полиции вынужден был им доставлять и оружие, и людей, и деньги.

Фуше делал это очень неохотно. Он считал этот заговор несвоевременным, не отвечающим ни интересам государства, ни его личным интересам. По мнению министра полиции, гораздо нужнее и полезнее мог бы быть теперь заговор роялистов. У него был и такой: среди роялистов Фуше тоже знал людей, которые считали, что хорошо было бы убить первого консула. Они вдобавок, в отличие от якобинцев, имели и деньги, и оружие, так как за ними была секретная английская агентура. Но заговор роялистов еще не созрел. Между тем якобинский заговор, к большому огорчению Фуше, уже самостоятельно раскрыла собственная полиция главы государства. Личный секретарь первого консула был на службе у Фуше и за двадцать пять тысяч в месяц сообщал ему о каждом слове Бонапарта. Сообщения эти были чрезвычай-

⁹⁶ «Старикашки Революции» (франц.).

но неприятны. Фуше с неудовольствием узнавал, что первый консул считает его обманщиком и негодяем, правда незамеченным на должности министра полиции. Узнал он также, что над ним, как над бывшим террористом, тяготеет смутное подозрение в сообщничестве с заговорщиками-якобинцами. Подозрение это было лишено основания: Фуше и думать забыл о своем революционном прошлом.

Убийцы уже были выбраны министром полиции из самых лучших сыщиков и, под видом отчаянных якобинцев, предоставлены в распоряжение заговорщиков. Министру был известен каждый шаг руководителей заговора. Одного из них, Демервиля, в этот день должен был навестить его старый приятель Бертран Барер, прежде знаменитый оратор Конвента, а теперь мелкий агент на службе консульского правительства. Но донесения Барера можно было ждать не ранее трех часов дня. В это утро министр хотел лишь условиться с генералом Бонапартом о подробностях покушения в опере.

Фуше свернул с главной аллеи и по узенькой дорожке, мимо ласкавших глаз кустов, выстриженных кубами, направился к Национальному дворцу. Сыщики отстали от министра. Пост наружной полиции оказался в исправности. Часовые везде были на местах. Фуше отдернул тяжелую зеленую портьеру и вошел в памятную ему залу, где когда-то помещался Конвент. Там было темно и пусто. Воздух стоял тяжелый. Пахло краской. Генерал Бонапарт, переехав в Национальный дворец, велел отовсюду убрать то, что он называл

«Les saloperies».⁹⁷ Под потолком над трибуной рабочие соскребывали со стены Марата. Маляр закрашивал революционную надпись, лениво водя кистью по первым буквам слова «Fraternité».⁹⁸

«Да, как будто от этого всего ничего не осталось», – равнодушно подумал Фуше. По складу его ума ему могло быть лишь приятно сознание, что сотни тысяч людей погибли так, без всякого результата, ни для чего. Но министр полиции не любил общих вопросов. Он имел дело с людьми, а об идеях, стоявших за ними, думал мало, как не очень следил за модами на платье: и моды, и идеи постоянно менялись. Генерал Бонапарт мог себя считать продолжателем дела революции – Фуше это казалось искренней, а потому очень забавной причудой.

Министр долго ходил взад и вперед по еще темным залам дворца, часто останавливаясь у дверей, у окон. Фуше сообщал, как он сам поступил бы, если б был заговорщиком и желал убить первого консула. Это был его обычный способ работы. На полчаса министр полиции перевоплотился мысленно в заговорщика. Он видел, что наружные караулы достаточно сильны. Дозоры часто обходили дворец. Несмотря на свою неприязнь к консульской агентуре, Фуше с беспристрастием знатока отдал должное постановке дела охраны. Это еще не было научно поставленной полицией. Но для ди-

⁹⁷ «Гадость, мерзость» (франц.).

⁹⁸ «Братство» (франц.).

летанта, каким мог считаться в полицейском деле генерал Бонапарт, охрана была поставлена недурно. Открытое нападение на дворец днем министр признал почти невозможным. Очень трудно было и хитростью проникнуть ночью в покои первого консула. Тяжелые двери запирались наглухо. В комнате перед внутренними покоями спал адъютант, человек неподкупный, и только по его указанию открывал дверь мамелюк, дежуривший в передней внутренних покоев. За передней находилась спальня первого консула. Генерал Бонапарт на ночь в ней запирался и впускал в спальную лишь тех, чей голос был ему известен. «Да, трудно, очень трудно», – сосредоточенно думал Фуше. Больше надежд можно было возлагать на отраву. Но и кухня первого консула, и вина, и миндальное тесто, которым он пользовался при мытье, и смесь водки с водою, служившая ему для полоскания рта, – все находилось под строгим наблюдением. Только на смотре или в театре и можно было убить первого консула. Однако и это было далеко не просто. Генерала Бонапарта везде окружали телохранители.

Фуше не без сожаления закончил опыт перевоплощения, чувствуя (как иногда с ним бывало), что мысли его несколько смешались. Перевоплощение как бы становилось действительностью. Могло быть интересно покончить с заговорщиками. Но могло быть также интересно покончить и с первым консулом. В уме Фуше шевелились различные, очень сложные комбинации, иногда казавшиеся ему фантастическими.

«Что такое фантастические?... Для всего свое время», – думал он, слегка кривя бледные, бескровные губы и нервно оглядываясь по сторонам. Он находился в комнатах, где при Робеспьере помещался Комитет Общественного Спасения. До революции здесь жила королева Мария-Антуанетта. «Да, конечно, что такое фантастические?» – спросил себя министр полиции, торопливо уходя из этих комнат.

В ранний час в большой приемной еще никого не было. Фуше попросил адъютанта разбудить первого консула. «Важное дело... Чрезвычайно важное!» – сказал он значительным тоном. О покушении должен был на следующее утро заговорить весь Париж, и Фуше считал полезным запечатлеть в умах парижан волнующую подробность: то, что министр полиции счел нужным разбудить главу государства. Но, к неприятному удивлению Фуше (все неожиданное бывало ему неприятно), оказалось, что генерал Бонапарт не спал.

Адъютант пошел докладывать о приходе министра. Фуше неторопливо прохаживался по полутемной комнате, обдумывая подробности предстоявшего разговора. «Ему нужен удар по якобинцам. Вероятно, он хочет запутать в это дело Массену. Карно... Может быть, и меня... Посмотрим... Робеспьер сказал когда-то: “Через две недели Фуше взойдет на эшафот”. Это было как раз за две недели до Девятого Термидора... На эшафот взошел не я... Чего только не бывает!.. Талейран считает возможным возвращение Бурбонов...»

Министр полиции беспokoйно задумался, вспоминая, что в Конвенте подал голос за казнь Людовика XVI. «Бурбоны опять здесь, в этом дворце, после того, что было!.. Возврат к прошлому немислим», – повторил Фуше без большой уверенности то, что говорили все.

Лакей в зеленой расшитой золотом ливрее вошел в приемную, почтительно поклонился министру и зажег свечи люстры. Фуше рассеянно поднял голову. На потолке был изображен Лебренем Людовик XIV. В пору Конвента к голове короля примазали трехцветную кокарду. Первый консул, поселившись в этих покоях, приказал ее закрасить. Но, как ни старались художники, кокарда просвечивала сквозь закраску. Фуше с беспокойством глядел на потолок. «Нет, возврат к прошлому немислим», – тревожно думал министр полиции.

II

Аудиенция министра иностранных дел была назначена на девять часов утра. В приемной первого консула уже было довольно много людей. Талейран, прихрамывая, неторопливо вошел в приемную и раскланялся по-старинному. Его тотчас обступили придворные. Неопытные люди желали выведать у министра новости. Опытные хорошо знали, что он ничего не скажет, или если скажет, то непременно неправду. Но разговаривать с ним было чрезвычайно приятно, и всегда можно было чему-либо научиться. Как человек старого строя,

как аристократ и потомок князей, Талейран, помимо своего личного престижа, пользовался особым обаянием среди придворных первого консула. Они вместе с его шутками – *les mots de l'évêque d'Autun*⁹⁹ – перенимали поклоны, обращение, тон разговора старого двора. Одет Талейран был тоже по-старинному, и его французский кафтан выделялся среди военных мундиров и модных иностранных костюмов новой знати. Несмотря на национальное направление революции, моды в Париже были исключительно иноземные: мужчины носили немецкие фраки, английские жилеты, итальянские шляпы, русские сапоги *à la Souwaroff*.

Лакей пододвинул кресло министру иностранных дел. Талейран учтиво его поблагодарил – это удивило новых придворных: они были убеждены, что при старом дворе с лакеями обращались грубо, – сами они дурно обращались с прислугой именно из желания подражать старому двору. Талейран уселся у окна, вытянув больную ногу.

Он значительную часть ночи провел за игрой, проиграл довольно много и выпил за ужином полбутылки редчайшей белой мадеры *vino de goda*, пространствовавшей тридцать лет по морю. Были красивые женщины, хоть и не столь красивые, как те, которых он знал в молодости. Было довольно весело, но не так весело, как в ту пору, когда он, при старом дворе, задавал тон молодежи. После ухода гостей Талейран медленной тяжелой походкой, волоча ногу, удалился в свою

⁹⁹ Остроты епископа Отенского (*франц.*).

роскошную спальную, занялся ночным туалетом, затем, намазанный, надушенный, в белом атласном колпаке, устало опустился в огромную постель с балдахинном и оперся на высокую пирамиду подушек (он спал не лежа, а сидя). В постели бывший епископ Отенский долго читал своего любимого Вольтера, улыбаясь, как старым друзьям, давно знакомым мыслям. Это были мысли его времени. Талейран, ближайший участник Революции, настоящей жизнью считал только ту, которая была перед бурей и теперь миновала безвозвратно. Бывший епископ Отенский всех знал и ничего больше не делил в этой томительной, порочной, исполненной очарования жизни. Вольтер и Мирабо в его воспоминании сливались как люди старого строя с Людовиком XVI, с Марией-Антуанеттой. Одни медленно подтачивали, другие слабо сопротивлялись. Свеча затрещала в тяжелом низком канделябре. Утомленный чтением, Талейран положил, наконец, на столик книгу в сафьянном переплете с гербами, погасил огонь и долго еще в темноте с улыбкой вспоминал эту разрушенную ими жизнь. Он заснул в пятом часу. Ему было достаточно четырех часов сна в сутки. Но чувствовал он себя всегда немного утомленным. Устало-учтивый вид и придавал Талейрану ту особенную distinction,¹⁰⁰ секрет которой, по общему отзыву, был с Революцией потерян во Франции.

– Vous allez donc en berline au palais, citoyen ministre?¹⁰¹

¹⁰⁰ Тонкость, изысканность (франц.).

¹⁰¹ Вы ездите во дворец в берлине [род экипажа], гражданин министр? (франц.)

– сказал придворный, стоявший у окна. – *Moi, je vais me promener en calèche, au spectacle en berline, chez ma femme en dormeuse, chez ma maitresse en demi-fortune...*¹⁰²

Он с улыбкой взглянул на Талейрана.

– *Mes compliments pour vos chevaux... Ils ont dû vous coûter gros?*¹⁰³

– *Pas le Pérou, citoyen,*¹⁰⁴ – кратко сказал Талейран, поддельваясь под слог собеседника. Он разговаривал с новыми людьми, как с торговками.

В эту минуту его позвали в кабинет первого консула. В дверях он столкнулся с выходящим Фуше и холодно с ним раскланялся. Они терпеть не могли друг друга. Фуше кто-то прозвал «Талейраном сволочи», и это было неприятно Талейрану, который сам, в глубине души, с отвращением чувствовал некоторое сходство между собой и министром полиции. Он был скептик, и Фуше, вероятно, был скептик. Он был циник, и Фуше также был циник. Правда, Фуше ничего не понимал ни в вине, ни в женщинах, ни в Вольтере, а по манерам, по языку ничем не отличался от сапожника. Но это сходства не уничтожало. Не уничтожало сходства даже то, что Талейран не был никогда революционным комисса-

¹⁰² А я на прогулку выезжаю в коляске, в театр – в берлине, к жене – в дормезе, к любовнице – в деми-фортуне... [род экипажа] (*франц.*).

¹⁰³ Поздравляю вас с такими лошадьми... Должно быть, они дорого вам обошлись? (*франц.*)

¹⁰⁴ Не Перу, гражданин (*франц.*). (Талейран имеет в виду богатейшие перуанские серебряные рудники.)

ром и не расстреливал сотнями людей. Вид Фуше всегда был неприятен министру иностранных дел. «Забегал вперед, – подумал Талейран. – Конечно, по делу этого заговора...»

Генерал Бонапарт сидел перед письменным столом в кресле, спиной к огромному камину, в котором горел огонь. Ковер перед креслом был усеян газетами, книгами, письмами. Первый консул был одет и выбрит, несмотря на ранний час. «Неужели опять не ложился?» – подумал Талейран с удивлением. Бонапарт холодно ответил на поклон министра, не вставая и не подавая руки. Талейран знал, что первый консул старается больше не подавать руки никому, и в душе одобрял это, как все означавшее постепенный переход к тем порядкам, которые были в других странах. Но ему было немного смешно. Людовик XVI, Мария-Антуанетта в свое время подавали ему руку. Он бывал запросто в этом старом королевском дворце в ту пору, когда лейтенанту Бонапарту не могло бы прийти в голову показаться сюда и на порог.

Талейран не торопился начать разговор. У него не было на этот раз особенно важных дел. Он надеялся, что первый консул сам заговорит с ним о раскрытом покушении. Но Бонапарт ничего не сказал. Лицо генерала было неподвижно. «Этот не расчувствуется, – подумал Талейран. – А все-таки неприятная у него жизнь: работа, заговоры, покушения...»

Генерал Бонапарт действительно провел за работой почти всю ночь. Поздно вечером, продиктовав множество длинных писем, он отпустил измученного секретаря и велел подать в

кабинет обычный ужин: цыпленка, мороженое, полбутылки шамбертена. Поужинав, он разделся и сел в ванну, которая находилась недалеко от кабинета, в бывшей капелле королевы Анны Австрийской. Вода была настолько горяча, что в комнате от паров ничего не было видно. Подремав в ванне часа два, Бонапарт оделся, снова сел за письменный стол и провел за ним весь остаток ночи, быстро переходя от одного дела к другому. Просмотрел доклады административных комиссий, полицейскую сводку за день, пробежал новый памфлет «La France f...e»,¹⁰⁵ только что доставленный ему из подпольной типографии, где его под величайшим секретом печатали роялисты, раскритиковал последние донесения министров, сократил какую-то статью расхода в дворцовом ведомстве и только под утро перешел к своему любимому делу, к войне: прочел очередные отчеты штабов и занялся разработкой одного из трех планов кампаний, которые в то время его занимали.

Утром ему доложили о приходе Фуше, и Бонапарт с неудовольствием вспомнил, что в этот день его должны заколоть в оперном театре на первом представлении «Горациев». Эта мысль была ему неприятна и сама по себе, и еще по тем тяжелым вопросам, которые она поднимала: о связи его дела с делом французской революции, о поставленной им цели, о необходимых услугах негодяев и о казнях порядочных людей.

¹⁰⁵ «Франция в дерьме» (франц.).

Он знал, что люди, которых вечером должны были схватить в театре и затем, после принятых формальностей суда, отправить на эшафот, хотели убить его по самым бескорыстным побуждениям. Генерал Бонапарт считал этих людей безнадежными дураками, но отдавал должное их убежденности и мужеству. По-своему они были правы: для них он был тиран. Он понимал, что заговорщики эти, желавшие вернуть правительственные порядки Конвента, в случае успеха непременно привели бы Францию к гибели. Логическое рассуждение, касавшееся их дела и участи, было очень простое. Первый консул не любил казней, но не верил в страх, внушаемый тюрьмою в тревожное революционное время, когда люди из тюрем то и дело переходят во дворцы, а из дворцов в тюрьмы. Он говорил себе, что бессмысленно отправлять на смерть за родину десятки тысяч солдат и бояться крови, пролитой на эшафоте. Все дело и здесь было в мере. Та обстановка полицейской провокации, в которой шел этот нелепый заговор, усугубляла отвратительность дела, но не меняла его существа. Генерал Бонапарт давно, с первой молодости, совпавшей с временем террора, пришел к твердому убеждению, что правителям должно гораздо чаще обращаться к худым, чем к добрым людским побуждениям. Он мог, конечно, отойти в сторону, оставив истории не очень большое, но хорошее и трогательное имя; мог погибнуть – глупо ли, как Дантон, или красиво, как генерал Жубер. Первый консул не собирался ни погибать, ни уходить

в сторону. К власти, нужной ему для всего дела его жизни, не было бескровного пути. И в цепи логического рассуждения генерала Бонапарта одно звено неразрывно связалось с гибелью тех людей, которые, с ведома и с благословения полиции, собирались заколоть его в театре на представлении оперы «Горации».

... – Мы в Петербурге дадим бой Англии, Талейран.

Первый консул произносил «Тайеран», и это всегда раздражало министра.

– Разумеется, генерал. Но не могу от вас скрыть: строить серьезные расчеты на Россию трудно. Положение в Петербурге становится все более тревожным. Мои агенты доносят, что русская аристократия стоит за союз с Англией. Мальтийские штучки императора Павла надоели. Число недовольных растет, и можно каждую минуту ожидать переворота.

– Да, я знаю, – с неудовольствием сказал первый консул.

– Один из наших петербургских агентов, лично вам известный, – подчеркнул Талейран, – просит меня обратить особенное ваше внимание на грозящую опасность. Он не без основания указывает, что Англия чрезвычайно заинтересована в кончине русского императора. А люди, в кончине которых заинтересована Англия, часто бывают недолговечны, – с особенным выражением в голосе сказал Талейран.

– Какой это агент? – спросил первый консул.

– Его имя – или псевдоним – Пьер Ламор.

– Ах, да... Тоскливый и злой старик... Это не человек, а моль. Терпеть не могу скептиков.

– Умный человек, генерал. С его мнением считаться не мешает.

– Вы сказали: псевдоним. Кто же он, собственно, такой? Я толком никогда не знал.

– И я, генерал, знаю немногим больше вашего, хоть знаком с ним очень давно да и пытался наводить справки. Это таинственный человек, с немалым, но плохо выясненным прошлым. На вторых ролях часто суетятся такие никому не ведомые, странные люди... Если не ошибаюсь, он выкрест из евреев. Знаю также, что он занимает видное положение в масонских организациях, – вскользь добавил министр с точно такой же усмешкой, с какой говорил о мальтийских штучках императора Павла. Талейрану было известно, что первый консул франкмасон. Это составляло для министра загадку, как, впрочем, многое в главе государства. Бывший епископ Отенский считал первого консула гениальным, но несколько сумасшедшим человеком. Конечно, генерал Бонапарт был неизмеримо талантливее всех европейских монархов, вместе взятых. Однако королевский строй представлялся Талейрану более прочным и надежным, чем консульский. Он думал, что во Франции должны быть приблизительно такие же порядки, как в других европейских странах. Одно из общих правил житейской мудрости Талейран видел именно в том, чтоб «быть, как все».

– Будем продолжать в Петербурге прежнюю политику, – сказал первый консул. – Кажется, все? Иначе торопитесь: меня сегодня убивают в опере.

– Я непременно приду посмотреть, генерал, – сказал, кланяясь с улыбкой, Талейран.

– Хороши эти господа! Кого же они посадили бы на мое место?

– Можно было бы избрать новый Конвент, – сказал Талейран. – Разумеется, с Комитетом Общественного Спасения. Барер будет председателем.

– Можно, конечно. Можно и просто выписать каторжников из Кайенны... Нет, тут не должно быть снисхождения, – с силой сказал Бонапарт, как бы отвечая себе самому. Он взял со стола перочинный нож и стал строгать им ручку кресла.

– Ни в каком случае, генерал, – подтвердил Талейран. Презрение промелькнуло на лице первого консула. Талейрану вдруг стало ясно, что он был для Бонапарта тем же, чем для него самого был Фуше. Эта мысль на мгновенье смутила бывшего епископа Отенского. «Да, конечно, все политические деятели, кроме очень глупых, в чем-то похожи друг на друга. Однако есть многое, кроме этого что-то...»

– Говорят, вы очень разбогатели, Талейран? – вдруг спросил первый консул. – Я слышал, вы играете на бирже.

– Я купил государственные бумаги накануне 18-го брюмера, – с холодной усмешкой ответил министр.

– Надеюсь, вы не разоритесь и впредь... Фуше тоже бо-

gateet с каждым днем... Правда, ведь и вы, подобно Фуше, считаете полезным иногда устраивать заговоры? Эшафот и амнистия одинаково развлекают парижан?

Первый консул с силой ударил ножом по ручке кресла и бросил нож на стол.

– Нет, генерал. Я, как и вы, небольшой охотник до эшафота. Но мы живем в трудное время. От своего мнения я не отказываюсь: говорите неизменно о свободе, но правьте при помощи штыков.

– Это мнение я слышал и от того старика, вашего агента.

– Мы с ним действительно кое в чем сходимся. Ведь правда, если вас убьют, – сказал Талейран равнодушно, – некого будет посадить на ваше место.

Они молчали с минуту.

– Будьте совершенно спокойны, – с насмешкой проговорил наконец первый консул. – Меня не убьют ни сегодня, ни завтра. Пусть Бурбоны, которых вы так любите, подождут еще немного.

Он открыл ящик стола, порылся в бумагах и вынул два листка.

– Так называемый Людовик XVIII предлагает мне посадить его на престол и обещает щедрую награду. Роялисты мне советуют уступить Францию Бурбонам, а самому стать корсиканским королем.

Он засмеялся. Талейран молчал.

– Не знаю, показывал ли я вам свой ответ. Слушайте.

Он прочел по бумажке:

– «J'ai reçu, Monsieur, votre lettre, je vous remercie des choses honnêtes que vous m'y dites.

Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France; il vous faudrait marcher sur 100.000 cadavres.

Sacrifiez votre intérêt au repos et au bonheur de la France... L'histoire vous en tiendra compte.

Je ne suis pas insensible aux malheurs de votre famille... Je contribuerai avec plaisir à la douceur et à la tranquillité de votre retraite». ¹⁰⁶

– Очень хорошо, – сказал Талейран. – Особенно про сто тысяч трупов... Вы так бережете чужую жизнь, генерал. Берегите же и вашу собственную.

– Постараюсь. Хотя в моей скоропостижной смерти тоже очень заинтересована Англия. Но на этом кончается мое сходство с императором Павлом.

Они еще помолчали.

– Да, да, непременно продолжайте ту же политику, – сухо сказал первый консул. – Я ничего другого так не желаю, как союза с Россией. Смерть Павла I была бы несчастьем для

¹⁰⁶ «Я получил, сударь, Ваше письмо и благодарю Вас за добрые слова, слова, которые Вы мне сказали. Вы не должны желать своего возвращения во Францию; для этого Вам пришлось бы пройти по ста тысячам трупов. Пожертвуйте своей выгодой, Вашими интересами ради покоя и благополучия Франции... История примет это во внимание. Я не равнодушен к несчастьям Вашей семьи... Я с радостью сделаю все, от себя зависящее, чтобы Ваше пребывание в Вашем убежище [на покое?] было возможно более приятным и мирным» (франц.).

Европы. Пусть ваши агенты делают все для того, чтобы наладить прямые переговоры с петербургским двором.

– Боюсь, что из переговоров не будет толка. Император Павел все занят мыслью о завоевании Индии.

– Это не такая плохая мысль.

Талейран посмотрел вопросительно на первого консула. «Вот оно, безумие», – сказал он себе.

– Я тоже разрабатываю план похода на Индию в союзе с русскими войсками. Впрочем, вам всего этого не понять.

«Как жаль, однако, что этот великий человек так плохо воспитан», – подумал Талейран.

– Я человек штатский, вам, конечно, виднее, генерал, – произнес он с улыбкой.

III

Камиллу, желавшую выйти замуж за Куриация, мучили мрачные предчувствия. Мрачные предчувствия мучили и мадемуазель Майар, создававшую роль Камиллы в новой опере Порты. Старая певица старалась изо всех сил: не отрывая ног от пола, зажав парик обеими руками, она скользила, шатаясь, по всему храму Эгерии и высокие ноты тянула так отчаянно долго, что хотелось перевести за нее дыхание. Но публика слушала ее плохо и смотрела не на сцену, а на большую, украшенную золотым орлом, ложу, в которой в начале действия появился генерал Бонапарт.

Одновременно с ним в первый ряд кресел торопливо прошел, оглядываясь по сторонам, министр полиции. Он сел, наладил бинокль и, повернувшись вполоборота, стал рассматривать освещенный зрительный зал. Фуше кивнул несколько раз головой, быстро перевел бинокль на задние ряды кресел, по-видимому, кого-то разыскал и удовлетворенно повернулся лицом к сцене. Эгерия как раз предсказала, что Камилла в этот самый день выйдет замуж за Куриация. Появился и сам Куриаций и, протянув руки к ложе первого консула, пропел: «Chère Camille, enfin je puis revoir vos charmes...»¹⁰⁷

Генерал Бонапарт, в зеленом мундире, с кривой турецкой саблей, рукоятка которой, осыпанная брильянтами, была видна поверх красного бархата барьера, сидел в ложе боком, несколько впереди секретаря и адъютанта. Дамы не отрывали глаз от его мраморно-бледного лица. Он, казалось, не смотрел ни на зал, ни на сцену и нервно разглаживал средним пальцем руки заложенный угол лежавшей на барьере афиши. Зато люди, находившиеся позади него, были очень озабочены. Они все время переговаривались шепотом. Секретарь Бурьен, войдя, старательно запер за собою дверь ложи. Молодой генерал Дюрок отстегнул шпагу и поставил ее между колен, попробовав, вынимается ли свободно клинок.

Старик Гораций, не сводя глаз с первого консула, благо-

¹⁰⁷ «Дорогая Камилла, наконец-то я могу снова видеть ваши прелести...»
(франц.)

словил дочь и отдал ее за Куриация. Занавес опустился. Послышались аплодисменты. В зале началось движение, хотя антракт должен был продолжаться лишь очень недолго: за первым действием непосредственно следовала интермедия.

Министр полиции встал, оглянулся и вдруг, мимо соседей, испуганно поджимавших ноги под стулья, быстро направился к выходу. Все торопливо перед ним сторонились. Фуше встретился глазами с первым консулом и чуть заметным движением головы показал ему на колонну в проходе. У колонны этой, недалеко от ложи, украшенной золотым орлом, появился плохо одетый, бледный брюнет. Он прислонился к колонне и заложил руку за пазуху, не сводя глаз с генерала Бонапарта.

Первый консул повернул голову, на мгновение впился глазами в человека у колонны и тотчас перевел взгляд на министра. Фуше, не замедляя хода, едва заметно кивнул утвердительно. Бонапарт слегка пожал плечами. В ложе, взявшись рукой за шпагу, поднялся генерал Дюрок.

Бледный человек поспешно вышел из залы в коридор и, по-прежнему держа руку за пазухой, по покатоному боковому кулуару направился с решительным видом к ложе первого консула. Ему навстречу неторопливо шел очень изысканно одетый господин, весь погруженный в чтение программы спектакля. Бледный человек посторонился, но и господин, читавший программу, как раз посторонился тоже, так что они столкнулись.

– Mille pardons, citoyen,¹⁰⁸ – проговорил нарядный господин и вдруг схватил брюнета за обе руки выше кистей. В ту же секунду на брюнета из-за угла бросились еще какие-то люди. За ними в коридоре мелькнула фигура министра полиции. Бледного человека потащили к выходу.

– Готово! – сказал вполголоса Фуше. Хотя он не одобрял всего этого дела, блестящая техника доставила ему удовольствие как специалисту.

Занавес взвился. Вокруг алтаря Юпитера Капитолийского толпился римский народ, воины, сенаторы. Оркестр играл торжественный марш, под звуки которого на сцену входили жрецы. В зрительном зале запоздавшая публика занимала места. Не обращая внимания на возобновившийся спектакль, министр полиции подошел к ложе первого консула. Встревоженное выражение лица Фуше ясно показывало, что случилось нечто весьма важное. На сцене первосвященник пел:

Faibles jouets des destinées.

Que pouvons nous sans son secours?..¹⁰⁹

Генерал Бонапарт, хмурясь, перегнулся через барьер ложи. Министр, с озабоченным, очень серьезным лицом, заговорил вполголоса, кивая головой и разводя руками. На них

¹⁰⁸ Тысяча извинений, гражданин (*франц.*).

¹⁰⁹ Мы в руках ее, как в клетке, — Кто решится ей мешать...

во все глаза смотрели и публика, и римский сенат, и жрецы, медленно ходившие на сцене под звуки марша.

– Убийцы схвачены, генерал, – проникновенным тоном, довольно громко, как бы не в силах сдержаться, сказал Фуше. На лицах людей, повернувшихся в креслах близ ложи первого консула, изобразилось крайнее волнение.

C'est lui seul qui de nos années
Arrête et prolonge le cours,¹¹⁰ —

растерянно пел первосвященник.

¹¹⁰ Мы в руках ее, как в клетке, — Жизнь ли, смерть ли – ей решать. Перевод с французской Е. Витковского.

Часть третья

I

В первые же дни по возвращении в столицу Штааль выполнил долг – съездил на кладбище, на котором уже несколько месяцев лежал князь Суворов. Штааль выехал из Петербурга незадолго до кончины фельдмаршала. Известие о ней дошло до него на юге. Он чрезвычайно гордился Суворовым, однако к его скорби примешалось и раздражение от того, что Иванчук при получении этого известия сделал попытку схватиться за сердце.

Петербург неласково встретил Штааля. Задержавшись в Одессе, он вернулся лишь поздней осенью. К столице он подъезжал с неясными, смешанными чувствами. Глушь ему надоела. Все его интересы были связаны с Петербургом. Штаалю и жалко было свободы, и хотелось поскорее приступить к делу, – он сам точно не знал, к какому. Почему-то он много ждал от предстоявшей зимы. «Пора, пора», – с волнением говорил он себе, имея в виду выход в люди, о котором он мечтал так давно и бесплодно. Хотелось ему повидать и госпожу Шевалье, хоть он знал в глубине души, что было немало выдуманного в этой его страсти.

У заставы дожидалось очереди много всевозможных воз-

ков и колясок. В них с унылым, покорным и измученным видом сидели всякие люди, военные и штатские. Стражи было гораздо больше, чем весной. Ждать пришлось долго. Сердитый пристав подозрительно и грубо расспрашивал Штаала о том, зачем он уезжал и зачем вернулся. Собственно, это было видно из предъявленной Штаалем бумаги. Но выражение лица пристава явно показывало, что бумаги могут быть у каждого и ровно ничего не значат, – а вот не угодно ли на словах все объяснить умному человеку. Штааль хотел было даже вломиться в амбицию, однако не вломился и, затаив злобу, послушно дал объяснения. Пристав выслушал их недоверчиво, как бы говоря: «Так-то оно так, а, может, ты и врешь». Однако велел пропустить.

Петербургский ямщик, взятый на последнем перегоне, вполголоса, сочувственным тоном объяснял Штаалу по дороге, что очень трудно стало жить: пошли еще новые порядки. С вечера на перекрестках выставляют заставы, и всех, кто без пропуска выйдет на улицу, хватают и везут в часть, а то и в Тайную экспедицию (трудное слово «экспедиция» ямщик выговорил совершенно правильно – видно было, что он часто и слышал его, и произносил). Штааль слушал с тревожным изумлением. «Что же это такое? Что с ним делается? – спрашивал он себя, разумея императора. – Или все заговора боится? Ну и слава Богу, ежели не вдали люди, будто есть заговор...» Коляска наконец застучала по мостовой, выехав на главные улицы. Оживления на них было гораздо меньше,

чем весною. Немногочисленные прохожие точно торопились куда-то и все озирались с беспокойством по сторонам. Петербург – в дурную осеннюю погоду – произвел тяжелое впечатление на Штаала.

Немного радости ждало его и дома. Хоть он не очень любил свою квартиру и стыдился ее убогой обстановки, Штааль подъехал к дому на Хамовой не без радостного чувства: «Все же свой угол, и мебель своя, и все свое». Дворник, с которым он был в натянутых отношениях, неприветливо отдал ему ключ, не поздравил с приездом, а только сказал многозначительно, что со службы два раза присылали справляться. Из лавки, помещавшейся в том же доме, вышел приказчик и пожаловался на дела: совсем денег нет для оборота (Штааль был должен лавочнику). В квартире с забеленными окнами было темно, грязно и неудобно. Ямщик, кряхтя, внес в квартиру сундук. Штааль с трудом развязал веревки. Вещи были сложены плохо. Самое нужное оказалось внизу. Штааль с досадой повыбрасывал все вещи на стулья, причем опрокинул и разбил лампу. Затем он отправился в баню, оттуда на службу и по знакомым.

Настроение у всех было очень дурное.

Над могилой фельдмаршала была краткая, выразительная надпись: «Здесь лежит Суворов». Штааль расстроено вспомнил швейцарский поход, бездонные пропасти Альпов, подвиг и смерть князя Мещерского, гибель приятелей, знакомых. «А они еще удивляются, что я вернулся из похода».

да другим человеком. Мудрено было бы проделать это и не стать другим». Ему вспомнился ясно образ старого полководца, проезжавшего над альпийскими пропастями. «Да, все ни к чему, и доблесть, и подвиги, и слава...» Штааль пытался настроить душу на торжественный лад – возвышенные и новые мысли не приходили ему в голову. Он еще постоял – делать у могилы было нечего – и пошел дальше: на том же кладбище лежал Александр Андреевич Безбородко. Штааль без труда отыскал его могилу В гроте, за медной решеткой, на небольшом возвышении стояла колонна с бюстом канцлера, окруженная какими-то аллегорическими фигурами. У подножья мавзолея был виден орел с опущенными крыльями и княжеский щит с девизом «*Labore et zelo*».¹¹¹ Александра Андреевича Штааль знал гораздо лучше, чем Суворова, и любил его иной, более крепкой любовью: не как национальное сокровище, а как близкого, родного человека. Он смотрел на бюст и вдруг, к собственному своему удивлению, прослезился, впервые в жизни почувствовав страх при виде сходства с тем, чего больше не было. Бюст верно схватывал то оторопелое выражение, которое изредка появлялось у Александра Андреевича. Вытирая глаза, Штааль опять подумал, как много видел и унес с собой старик Безбородко, – так он и не успел обо всем его расспросить.

Он посидел с четверть часа у могилы. Думал о том, о чем всегда все одинаково думают над могилами и немедленно

¹¹¹ «Трудом и ревностью» (лат.).

забывают, вернувшись с кладбища. Он старался создать такой круг мыслей, при котором не было бы глупой шуткой то, что случилось с князем Безбородко, с Суворовым и со всеми другими лежащими здесь людьми. Этого круга мыслей Штааль не нашел. Тоскливо вспоминались ему какие-то обрывки заученных представлений о загробной жизни, но все это было так смутно и неправдоподобно. К тому же умнейшие люди, разные Вольтеры, Аламберы и Дидероты, ни во что такое не верили и даже как будто научно доказали, что все это пустое суеверие и вздор. «Разумеется, вздор, разумеется, глупая шутка», – думал Штааль, постепенно радостно озлобляясь, с твердым желанием не поддаваться этой глупой шутке. Ему становилось скучно. Мысли были неинтересные – давным-давно, верно, все это передумано, – и сидеть так у могилы без толку в холодную, сырую погоду было неприятно. Штааль взглянул на левые часы (у него их было двое – он теперь очень следил за модой) и сказал себе, что спешить все равно некуда, который бы час ни был. Никто нигде его не ждал. «Погулять разве здесь, скоро и меня тут где-нибудь похоронят», – подумал Штааль. Он был совершенно здоров и очень любил думать о своей недалекой кончине. В последнее время он не раз мрачно говорил о ней приятелям и немного раздражался от того, что никто не обращал на его слова никакого внимания. Мысль, что и его здесь где-нибудь скоро похоронят, была, скорее, приятна Штаалю. Он надолго задержался на ней, лениво бродя по огромному кладбищу

и представляя себе во всех подробностях, как его будут хоронить и как каждый из знакомых отнесется к известию об его кончине. Штааль понимал, что известие это, собственно, ни на кого не могло произвести потрясающего действия. Но все-таки эффект, связанный в особенности с его молодостью и полным одиночеством – ни жены, ни родных, – был трогательный. Штааль старался угадать, какой именно уголок земли ему отведут, представлял себе обряд похорон – и приятное умиление все больше его охватывало. Затем он попробовал себе представить и день, следующий за похоронами. Ему стало очень страшно.

«Экое ребячество, – подумал он. – Или мне всегда будет семнадцать лет? А ведь сейчас говорил, что стал другой человек».

Однако расстаться с приятными и трогательными мыслями было жалко. Устало бродя между могилами Лазаревского кладбища, Штааль продолжал думать о том же, лишь немного изменив тон своих мыслей, придав им и некоторую насмешливость, от которой, впрочем, они становились еще трогательнее. «Да, так где же я буду лежать?» – думал он, осматриваясь кругом. Одно место ему особенно понравилось. «Здесь недурно... Купить разве это место, когда будут лишние деньги?.. А соседи кто? Долго лежать рядом, надо бы познакомиться».

Он нагнулся и прочел эпитафию:

Аз тысяча семьсот двадцать девять лета

В 28 ноября жителем стал света,
А год месяца седьмсот был сорок четвертый,
13 июля, как вкусил я смерти.
В Голландии живота я тогда лишился.
Когда дел отечеству полезных учился...

Стихи показались ему плохими. Он не пожелал лежать рядом с каким-то мальчишкой, вкусившим смерти более полувека тому назад. Штааль усмехнулся и пошел дальше, читая по сторонам эпитафии. «Бех – несмы, есте – не будете». «Ну и не будем, что с того? А ты уже “несмы”, – думал он раздраженно о человеке, который позволял себе за гробом над ним издеваться. – И Бог с тобой, бех!.. Нехорошо, впрочем, так думать на кладбище. Обо мне тоже так будут говорить. Ну и пусть говорят. Мне совершенно все одно», – думал Штааль. Плоские мысли эти казались ему глубокими и смелыми, особенно потому, что он чувствовал сам их неприличие. «Какое там уважение к мертвецам! За что их уважать?..»

Он опять вспомнил *fosse commune*,¹¹² в которую бросили Робеспьера, стоявший там запах, огромную, блестящую, как металл, муху, ползшую по стеклу в сторожке. Штааль вдруг почувствовал усталость. На траве между могилами стояла пустая тачка. Он подошел к ней и, потрогав рукою, не очень ли грязна, присел на край. «Ну а здесь кто похоронен?» – задал он себе вопрос и стал читать длинную эпитафию. «На сем месте погребена Агафья Иванова дочь, де Ласкаря жена,

¹¹² Общая могила (*франц.*).

урожденная Карабузина... – Верно, почтенная бабушка. Спи спокойно, Агафья Иванова дочь. – Монумент, который моя нежность воздвигнула ей достоинству, источнику и свидетелю наигорчайшей моей печали, приводи на память потомкам нашим причину моих слез... – Что ж, приводи, приводи... – Пускай оплакивают купно со мною обитающую здесь добродетельми изящных дней достойную гречанку... – Так она гречанка? Карабузина? Вот тебе раз!.. – ...приятную разными живо в ней являющимися качествами, скромную, благотворительную и нежную жену без слабости, к прелестям, к талантам вмещающую в себя и премудрость. О, судьба! вот сколько причин долженствовали тебя умилоствовать. Родилась в 1753 году, февраля 4 числа, преставилась в 1772 году...»

Сердце Штаалья вдруг сжалось: «Так ей было всего девятнадцать лет...» Глупое, насмешливое настроение сразу с него сошло. Почтенная старуха вдруг превратилась в молоденькую красавицу. Штааль постарался вообразить гречанку, прекрасную, как те статуи, которые он видел в Италии, в музеях. «Ах, бедная, как жаль... Девятнадцати лет умерла, верно от злой чахотки», – подумал он. Ему мучительно захотелось воскресить несчастную гречанку. «Она могла бы меня полюбить... Потом я вернул бы ее убитому мужу...» – Штааль вдруг устыдился глупости своих мыслей. Он повернулся на тачке и перевел глаза на соседнюю могилу, которая тоже была с эпитафией. «На сем месте погребена и вторая

его, подполковника де Ласкаря, жена, Агафья Иванова, дочь Городецкая...» «Так он женился снова, неутешный супруг! И опять на Агафье Ивановне, как странно! – подумал Штааль, переводя глаза с одной эпитафии на другую и сверяя с удивлением имена. – Вот и наигорчайшая его печаль! – Штааль горько усмехнулся, точно относя к себе изменчивость подполковника де Ласкаря. – Да, да, пускай оплакивают купно со мной... – бессмысленно говорил он вслух слова эпитафии. – А впрочем, их нельзя винить... Что ж, они все так созданы. Этот подполковник де Ласкари, быть может, долгие годы оплакивал свою милую гречанку. А потом жизнь взяла свое, рана сердца зарубцевалась, и он полюбил другую деву, – говорил мысленно Штааль словами разных хороших сочинителей, настраиваясь на доброту и снисходительность к человеческим слабостям. – Все мы люди, все человеки, и де Ласкари, и обе Агафьи Ивановны, и вот этот, кто здесь лежит», – думал он, переводя взор на третью могилу у тачки и снова всматриваясь в эпитафию: «На сем месте погребена Елена, де Ласкаря третья жена, урожденная Христоскулеева. Несчастный муж, я кладу в сию могилу печальные останки любезной жены...»

Штаалем вдруг овладел припадок неудержимого смеха. Он долго хохотал так, что тачка под ним дрогнула и сдвинулась. Штааль встал и, хлопая себя по ляжкам, как делают актеры, изображающие смеющихся людей (и как никогда почти не делают смеющиеся люди), прочел конец эпитафии: «Про-

хожий! ты, который причину моих слез зришь...» – Зрю, зрю, c'est ça... – «...восстони о печальной моей судьбе...» – C'est bien ça,¹¹³ вот я и восстонал, – задыхаясь от смеха, говорил вслух Штааль. – «...и знай, что добродетель, таланты и прелести и самая даже юность вотще смерти противоборствуют. Родилась в 1750 году, мая 27 числа, преставилась в 1773 году, апреля...» – Да когда же он, разбойник, успел их уморить!..

Штааль поспешно направился к выходу, все более довольный наглым тоном своих мыслей. Ему надоело кладбище. Он шел торопливо, точно кто-то хотел его здесь удержать: у него было такое чувство, будто он разгадал и расстроил козни, кем-то против него коварно направленные.

II

С кладбища Штааль проехал на извозчике к Демуту, надеясь застать там Ламора. Разговор со стариком был бы ему теперь приятен. Он хотел сказать Ламору, что отныне во всем с ним согласен и даже идет дальше. Штааль думал, что мысли, занимавшие его в последнее время, сближают его с Ламором: хоть он и затруднялся точно выразить эти мысли, ему казалось, будто они стали поворотными в его жизни. К своему огорчению, старика у Демута он не застал. Не встретив никого из знакомых, Штааль пообедал один в столовой гостини-

¹¹³ Вот именно... Именно так (*франц.*).

цы. Под конец обеда, выпив бутылку вина, он стал очень мрачен и ясно почувствовал, что, несмотря на всю свою ненависть к людям, не способен вернуться домой и провести вечер в одиночестве.

«Поеду в тот игрецкий дом, о котором говорил Саша», – подумал он.

Модное дорогое заведение, которое ему рекомендовал недавно де Бальмен, собственно, не было только игорным домом. Де Бальмен с загадочной улыбкой сообщил Штаалу пароль, открывавший доступ в этот притон, и советовал ни в каком случае не называть там своего настоящего имени. Де Бальмен, по-видимому, гордился тем, что бывает в этом заведении, и давал понять, что проделывал там самые необыкновенные вещи.

Штааль подумал, что есть что-то непристойное в поездке в притон после посещения кладбища. Эта мысль тоже ему понравилась. Он даже пожалел, что вышло это как-то случайно. «Нарочно бы так сделал и в ресторацию не надо было заезжать», – сказал он себе.

Он потребовал счет, расплатился и заодно пересчитал свои деньги. Их было не очень много, но достаточно для того, чтобы начать игру: двести двадцать рублей. «Ну, там видно будет», – сказал он решительно и вышел на улицу.

Веселое заведение было расположено недалеко от Невского, на одной из тихих боковых улиц. Когда Штааль подошел к дому, его взяло сомнение, уж не ошибся ли он адресом.

Окна не были освещены, и весь дом своим спокойным солидным видом нисколько не походил на притон. Поколебавшись немного, Штааль дернул ручку звонка и прислушался. Звонок, по-видимому, был подвешен далеко – звука почти не было слышно. Не было слышно и шагов. Но через полминуты раздался легкий сухой треск задвижки, и дверь чуть отстала. Штааль попробовал ее рукой и вошел в небольшие сени без окон, освещенные лампой в спускавшемся с потолка на цепочке стеклянном шаре. Никого не было: очевидно, задвижка поднималась шнурком. В сенях не было ни вешалки, ни стульев. На стене висела картина, изображавшая наводнение в Петербурге. Штааль нерешительно кашлянул, испытывая неловкое чувство: ему казалось, будто откуда-то на него смотрят, – затем поднялся по лестнице. На первой площадке сбоку показалась почтенная, полная дама средних лет, густо наруганная кошенилью, в обшитом блондами платье фу-ро цвета *soupir étouffé*,¹¹⁴ с длинным лифом и с фижмами. Прическа дамы с косыми буклями была в пол-аршина вышиной. На шее болталось приличное перло.

Дама строго, с оскорбленным видом, осмотрела гостя с ног до головы, и опять Штаалья взяло сомнение, не ошибка ли. «Это баронесса какая-то, – подумал он, неопределенно кланяясь: не совсем как баронессе, но и не так, как содержательнице веселого заведения. – Да нет, у баронесс дверей так не открывают...» Он набрался храбрости и произнес впол-

¹¹⁴ Приглушенный вздох (франц.).

голоса пароль:

– Шапочка корабликом.

«Вдруг она позовет лакеев и прикажет меня вывести»? – подумал он. Дама не позвала лакеев, но к оскорбленному выражению ее лица прибавилось крайнее изумление.

– Что вам угодно, мусью? – сказала она, высоко подняв насурмленные брови.

Слово «мусью» сразу успокоило Штаалья.

– Да вы, верно, знаете, что мне угодно, – ответил он и постарался улыбнуться возможно наглее.

Дама помолчала, внимательно его оглядывая.

– Кто вам дал наш адрес?

– Мой друг Жан-Жак... А меня зовут Жюль, – сказал Штааль и пожалел: «Уж если не называть себя, то и имя надо было выдумать другое. А впрочем, все одно...»

– Ежели вы играть, – сказала нерешительно дама, – то еще нельзя. К нам раньше шести не ездют...

– А ежели я не играть? – сказал Штааль.

На лице «баронессы» (он продолжал так ее называть мысленно) вдруг появилась старательная плутовская улыбка. При этом с левой стороны рта у нее открылись три сломанных зуба.

– Снимите шинель, мусью... Здесь повесьте. Не бойтесь, никто не сопрет, – сказала она со светским кокетством. – Пройдемте вот туды.

Шурша платьем, она поднялась по лестнице, свернула и

пошла длинным коридором, в который открывались, на довольно далеком расстоянии одна от другой, одинаковые низкие двери. Дама остановилась около одной из них, оглянулась на гостя и, очевидно передумав, пошла дальше. Они вошли наконец в небольшую, освещенную разноцветными фонариками комнату. Как ни мало смыслил Штааль в мебели, он не мог не видеть, что находившаяся в комнате дешевка предназначалась для создания восточного стиля: низенькие широкие диваны, коллекция трубок, стоявшая в углу на стойке, персидский ковер во весь пол (Штааль и сам купил для своего кабинета в Гостином дворе, на Суrowsкой линии, такой же персидский ковер за пятнадцать рублей). Пахло пудрой. Дама усадила Штааля на диван и села рядом. Диван был жесткий и очень низкий, так что колени приходились почти на уровне груди и сидеть было неудобно. Дама завела разговор: начала с погоды, коснулась военной службы, затем, понизив голос, пожаловалась на строгость Тайной, от которой просто житья нет. Тайной канцелярией она возмущалась (и голос при этом понижала) совершенно так, как возмущались действиями этого учреждения либерально настроенные люди. И вообще говорила дама очень достойно, так что Штааль вздрогнул от неожиданности, когда вдруг в разговоре она произнесла, деловито и просто, весьма неприличное слово. Штааль глупо засмеялся, точно это слово сразу все разрешало. Но дама, по-видимому, не поняла, чему он смеется, и удивленно на него взглянула.

– Нет, нет, ничего, – сказал Штааль, – продолжайте, баронесса.

На лице дамы вдруг опять засияла плутовская улыбка. Она ткнула гостя пальцем выше колена и сказала:

– Вы, должно быть, страшно развратный? Сейчас видно.

– Н-да, – произнес польщенный Штааль, но поторопился перевести разговор: «баронесса» несколько ему не нравилась. – А Жан-Жака вы давно знаете? – спросил он в надежде узнать что-либо такое, чем он мог бы потом дразнить своего друга.

– Бальмошу? – переспросила дама и засмеялась радостному удивлению Штааля. Она стала называть условные клички, под которыми бывали у них в доме разные, очень известные люди. Одновременно она сообщала о них, о вкусах и привычках каждого, самые удивительные, непристойные и неправдоподобные вещи. Штааль так и ахал, хоть ему совместно было обнаруживать свою неосведомленность. Люди, которых он привык ценить, уважать или бояться, вдруг навсегда невозвратно меняли облик. Если б даже все это оказалось неправдой, он и тогда не мог бы относиться к ним так, как прежде. Не было, собственно, никакой связи между сообщениями «баронессы» и тем, что делали открыто эти известные, почтенные люди; да никто и не говорил никогда Штаалю, что они ведут аскетическую жизнь. Тем не менее он теперь испытывал такое чувство, будто перед ним вдруг случайно открылся бесстыдный обман: все эти люди и в сво-

ей открытой жизни были, конечно, низкие лжецы. Их честные души, их благородные мысли и дела – все наглая ложь и комедия!..

– Я это вам по секрету говорю, – сказала дама. – Уж вы, пожалуйста, не болтайте. Я так никогда никому ничего, только вам, Жюльчик, потому что вы мне страшно понравились. И, знаете, не сразу: как вы вошли, мне показалось, будто вы нехороший, ей-богу! Очень они нас теперь эксплуатируют, – сказала она, старательно и с некоторой гордостью произнося это слово. – Прошлый месяц за опий оштрафовали на пятьдесят рублей, мошенники...

– Разве у вас есть опий?

– А как же, мы все получаем, все восточные снадобья: и из Персии, и из Константинополя, и из Египетской земли. Вы интересуетесь, Жюльчик?

– Интересуюсь, – подтвердил Штааль.

Дама опять ткнула его в ногу, встала, открыла дверцы висевшего на стене небольшого стеклянного шкапа и стала перебирать разные баночки и склянки, поясняя действие каждого снадобья. Штааль слушал с интересом.

– Это константинопольский опий... А это смирский... Как кто любит... Вот терьяки, а это банджи... Лучшее всего вот это.

Она подняла крышку коробки, в которой стояли в стойках, плотно прижатые одна к другой, жестяные трубочки величиной с наперсток, вынула из них две и, отвинтив крышку

одной, протянула Штаалю. В трубочке была вязкая коричневая жидкость, похожая на мед. Штааль осторожно поднес ее к носу. Пахло приятно. Какое-то отдаленное воспоминание шевельнулось в уме Штааля.

– Что же это такое? – неуверенно спросил он.

– Давамеск, – пояснила значительным тоном «баронесса». – Гашиш.

– А пахнет будто миндалем и еще чем-то, только не помню чем. Франжипаном, что ли?

– К гашишу разное примешивают: и миндаль, и сахар, а для запаха мускус.

– Что ж, дайте-ка трубочку, я закурю, – сказал смело Штааль.

Дама снисходительно улыбнулась:

– Гашиш едят, Жюльчик, а не курят. Это опий курят. С кофеем скушаете, я сейчас вам дам кофею... Две трубочки – пятнадцать рублей.

– Мне на сегодня одной достаточно, – нерешительно сказал Штааль, вынимая кошелек.

– Ах, стыдно, возьмите две. Одна стоит десять, – сказала дама, внимательно вглядываясь в кошелек гостя. Штааль высыпал золото на диван. Дама улыбнулась и игривым движением опустила другую трубочку ему в карман.

– Одну теперича скушаете, а другую дома. Увидите, как приятно, еще придете просить, – сказала она, немного понизив голос. – Вы скушайте с кофеем и полежите здесь до ше-

сти. Давамеск приносит счастье. А как выиграете, Жюльчик, опять сюда приходите. Если не найдете, спросите у человека номер шестой... Я вам все устрою, потому вы мне страшно нравитесь, ей-богу. Такое будет, что не пожалеете.

– Что же будет?

– Ишь кюрю! – сказала кокетливо дама и вышла.

Штааль, недоумевая, глядел на коричневую жидкость.

«Или в самом деле попробовать? Интересно, ежели она не врет... А вдруг одурею и меня здесь ограбят?»

Он понюхал давамеск и представил себе, как в стене откроется невидимая дверь и в комнату войдет грузный широкоплечий человек с белым шрамом во всю левую щеку, с огромными волосатыми руками... Штааль вдруг вспомнил: от давамеска пахло духами того полковника, которого он видел когда-то в брюссельской разведке.

«Да нет, вздор какой, – подумал он, пожимая плечами, – де Бальмена не ограбили же. И не опьянею я вовсе. Две бутылки вина выпиваю в вечер, и ничего, а от этой дряни одурею!.. Непременно попробую. Славное слово “давамеск”, надо запомнить. Так живешь и ничего не знаешь...»

Дама вернулась с чашкой кофе. Она взяла трубочку у Штааля и вылила вязкую жидкость в чашку.

– Выпейте тепленьким и полежите с четверть часа, – сказала она, размешивая кофе ложечкой. – Как раз и игра начнется. А потом, помните, опять сюда приходите. Одно слово: не пожалеете. Ведь вы страшно развратный, Жюльчик,

правда? И чем вы это меня взяли, не пойму.

За стеной прозвучал слабый звонок. Дама поспешно поставила чашку на стол и вышла снова.

Кофе было чуть слаще обыкновенного и немного пахло мускусом. Медленно помешивая ложечкой в чашке, Штааль сидел в неудобной позе на низком диване и думал, что, в общем, все это вышло довольно глупо. «Я сам виноват... Ежели пришел играть, то не к чему было пить масляное зелье. А ежели забавляться, то надо было сразу потребовать девочку, а не откладывать до ночи... И ничего она, верно, такого не покажет. Самый обыкновенный притон *avec chambres closes*,¹¹⁵ каких я видел сотню. Ну, не сотню, конечно, а все же видел достаточно. И гашиш ничего не действует – разве тошнит немного от этой сладкой дряни и от запаха. Все вздор... Прилечь, что ли, как она велела?»

Он прилег на диван, подложив под голову твердую узенькую подушку. Лежать на ней было очень неудобно. Штааль прислонил ее к стене, чтоб было выше голове, в которой он ощущал некоторую тяжесть. Стало лучше. Он почувствовал, что отлично мог бы заснуть и даже с удовольствием соснул бы, если б не было глупо спать в номере притона. За стеной теперь довольно часто раздавались тихие звонки; издали слышался негромкий звук голосов. Штааль больше не боялся: ему ясно было, что гашиш не подействовал. Это и разо-

¹¹⁵ С отдельными кабинетами (*франц.*).

чаровало его немного, и доставило ему удовольствие. «Не очень тоже меня одурманишь... Легкое действие, конечно, есть, – думал он, – но пустяки... А приятного ничего нет. Все она врала, старая ведьма...»

Он перевел мысли на предстоящую серьезную игру и пожалел, что уже успел уменьшить на пятнадцать рублей свой оборотный капитал. Оставалось всего двести пять рублей. «Ну, этого для начала предовольно. Опять звонок... Пожалуйте, сударь, милости просим... Неужто она так всех встречает, как меня? Нет, должно быть, только новых, сомнительных. А разве у меня сомнительный вид? И уж будто такой развратный?.. Верно, здесь во все игры играют. Я, пожалуй, сяду в макао. Больше расчета, чем в банк, и многое зависит от хладнокровия... Опять звонки... А сколько я так лежу, верно, с полчаса прошло? Полно, однако, дурака валять!»

Он вскочил с не совсем обычной легкостью и выбежал из комнаты. В коридоре никого не было, но в конце его за дверью показалась фигура штатского господина в шубе. Штааль побежал за ним. Он хотел даже окликнуть господина и предложить ему идти вместе, но не сделал этого. Господин в недоумении оглянулся и свернул вниз. «Он, что же, уходит, чудак этакой?» – удивился Штааль. Но господин не уходил: лестница, по которой он спускался, вела не на улицу, а во двор. «Где же я шинель оставил?» – спросил себя Штааль. Впереди сверкнули два ряда огней: в глубине двора стоял флигель. Обогнав господина, который опять посмотрел на него

с недоумением и даже несколько испуганно, Штааль вбежал во флигель и поднялся по устланной мягким ковром лестнице, шагая через три ступеньки.

В большой, ярко освещенной, особенно у столов, комнате находилось довольно много игроков. Знакомых Штааль не видел, но это несколько его не смущало. За средним длинным столом играли в банк. У другого стола поменьше метал талию в макао богато одетый пожилой желтой пудрой напудренный человек с холодным каменным лицом польского типа. Это был знаменитый петербургский игрок. Штааль, зная его в лицо, радостно ему поклонился, первый подал руку и при этом громче, чем было нужно, произнес свою фамилию, забыв, что он решил быть здесь просто Жюлем. Банкомет не сказал ему ни слова, но движением руки предложил стул. За его столом было всего семь игроков. Штааль радостно высыпал на стол небольшую кучку золота, не почувствовав никакого стеснения, хотя перед большинством понтеров лежало гораздо больше денег. Некоторые игроки отмеряли для скорости ставки небольшими стаканами, доверху наполненными золотом.

Сдавая новую талию, банкомет вопросительно взглянул на Штааля и равнодушно обошел его при сдаче, услышав, что новый гость хочет сначала посмотреть две-три игры. Сухость была манерой, которую, по соображениям удобства, раз навсегда выработал себе банкомет. Он был одинаково хо-

лоден со всеми понтерами, независимо от того, ставили ли они золото мерками или клали нерешительно на карту серебряный рубль. Заметив восторженное состояние Штааля, банкомет, считавший себя чрезвычайно умным и проницательным от природы человеком, тотчас его зачислил в разряд людей, которые в игре и игроках видят поэзию, или вдохновение, или какой-то еще глупый вздор в этом роде. Сам он видел в игре дело, притом самое грязное дело на свете. Банкомет, выигрывавший и спускавший на своем веку миллионы, почти всех игроков считал прохвостами и был убежден в том, что даже редкие порядочные люди становятся немедленно мошенниками в игорном доме. Он думал, что в дом этот лишь очень немногие приходят для забавы или из любви к сильным ощущениям, а громадное большинство понтеров, садясь за карточный стол, единственной целью имеют выигрыш. Думал также, что никто из них, кроме случайных игроков, выиграв сто тысяч, не даст займы ста рублей обыгранному дочиста партнеру и не оставит рубля на чай дежурящему всю ночь лакею. Щедро платили после выигрыша только продажным женщинам по какому-то странному обычаю или психологическому недоразумению, которое, несмотря на свой тридцатилетний опыт, плохо понимал банкомет. По его убеждению, из десяти понтеров девять ни за что не заявили бы об ошибке, если б он при расчете передал им лишний рубль, и ни на минуту не задумались бы (особенно женщины) сплутовать, если б это можно было сде-

лать незаметно или безнаказанно. При игре с ним плутовать незаметно было невозможно, но безнаказанно мошенничать некоторые могли – он иногда считал необходимым или выгодным не замечать плутовства партнера. Так и на этот раз, как будто не занимаясь игроками, лишь изредка окидывая их рассеянным взглядом, как люстры на потолке и засаленную красную бархатную мебель, он отлично видел, что понтировавший от него справа богач, отсчитывавший золото мерками, регулярно в стакан, который в среднем вмещал двадцать пять золотых, но мог заключать в себе и двадцать четыре и двадцать шесть, всыпал именно двадцать четыре, получая при выигрыше двадцать пять или двадцать шесть. Он видел также (и заносил в память на случай надобности), что рассеянный игрок, сидевший слева на краю стола, в течение пяти минут небрежно играя кошельком, табакеркой, монетами, вел сложный маневр для того, чтобы незаметно присоединить к своей кучке денег золотой, немного отделившийся от груды золота соседа. Шулеров за столом банкюмета не было: он хорошо знал в лицо и по манере всех шулеров главных европейских столиц – новых же распознавал после двух-трех сдач. Банкюмет, так же гордившийся выработанной им философией, как своим каменным лицом, не чувствовал никакого отвращения к шулерам и только в техническом отношении отделял их от других игроков. Но сам он, в совершенстве владея всеми шулерскими приемами, не пользовался ни одним из них: он и так был вполне в себе уверен. Банкюмет

часто слышал от играющих и особенно от не играющих людей, что при азартной игре нет и не может быть никакого уменья, а все зависит от фортуны. Тех, кто так говорил, он немедленно причислял к числу самодовольных дураков, уверенно рассуждающих о том, о чем они не имеют представления. Сам он был убежден, что фортуна открывает равные шансы перед всеми и что в общем счете результат игры зависит именно от искусства игрока. В чем заключалось это искусство, за которое он заплатил десятками лет жизни и миллионами, он не мог бы сказать точно: сюда входили и опыт, и воля, и наблюдательность, и еще какой-то природный, не поддающийся определению талант.

Штааль попросил карту и поставил сразу все, что имел. По намеченному им плану игры надо было ставить на одну карту никак не более трети остающихся денег. Но он и не вспомнил о своем плане. «Будет девятка червей. Хочу, чтоб выпала девятка червей!» – сказал мысленно Штааль. Он в эту минуту был совершенно уверен, что девятка червей ему и достанется. Банкомет равнодушно метал карты белой длинной рукой, в запыленной снизу, белоснежной наверху, кружевной манжете. Штааль открыл девятку бубен.

– Neuf d’emblée!¹¹⁶ – вскрикнул он.

– Вы двести пять изволили поставить? – не то просто сказал, не то спросил банкомет ровным, бесстрастным голосом. Штааль кивнул головой. Банкомет отсчитал ему шестьсот

¹¹⁶ Девятка сразу! (франц.)

пятнадцать рублей. Штааль схватил мерку, наполнил ее золотом и поставил на карту, но ему показалось мало. Он высыпал золото и наполнил стакан вторично.

– Все, все идет, – почти задыхаясь, пояснил он. «Теперь выпадет... – он хотел дать новый заказ фортуне, но не дал, смертельно боясь ошибиться. – Все равно, что бы ни выпало, одно верно: я выиграю!..» Банкомет метал. «Je m’y tiens...», «Carte, s’il vous plait...», «И мне карточку...», «Crevé...»¹¹⁷ – говорили понтеры спокойными голосами, подделываясь под бесстрастную манеру знаменитого игрока. Игрок, сидевший на краю стола, встретился глазами с банкометом и вдруг опрокинул свой бокал. Пока лакей вытирал полотенцем разлившееся по столу шампанское, банкомет не сдавал карт, сложив на сукне колоду. Очередь дошла до Штааля. Он опять выиграл, поставил еще три мерки и выиграл снова. Какой-то старичок, вертевшийся вокруг стола, подошел к Штаалю и негромко спросил, позванивая золотом в длинном вязаном кошельке:

– В моти желаете?

Штааль смотрел на него с изумлением.

– Что? Яснее говорите! – закричал он.

Старичок испуганно отшатнулся.

– Извольте видеть, они предлагают вам играть в доле, à moitié, – пояснил холодно банкомет.

– Не надо, – прошипел яростно Штааль. – Не надо мне

¹¹⁷ «У меня идет...», «Карту, пожалуйста...», «Лопнуло...» (франц.)

никого! – Он чуть не бросил «дурака» этому старику, который хотел выманить у него половину подарка фортуны. Лакей приблизился к Штаалу и почтительно предложил подать шампанского. Штааль злобно замотал головой. «Надо сохранить всю ясность ума. Еще могут подпоить... Не в никитишны дуемся...»

Игра продолжалась.

Банкомет проиграл то, что назначил в этот день на случай проигрыша. Он равнодушно встал и велел лакею принести порцию ветчины. Никто из понтеров не торопился брать банк. Этому новичку слишком бешено везло. Банк достался Штаалу. Игроки понтировали против него без одушевления. Старый банкомет, закусывая рядом за столиком, следил за игрой. Ему было интересно, как будет метать этот клоп. «Не шулер ли все-таки?» – спросил он себя с любопытством. Наряду с шулерами обычного благообразно-величавого типа ему изредка попадались шулера пылкие, выезжавшие на энтузиазме и на восторженности. После первых же двух таллий он удостоверился, что первоначальное его предположение было правильно и что новый гость не шулер, а фатуй, который не имеет представления об игре и через неделю заложит часы с цепочкой у старичка, а то продаст выигравшему партнеру любовницу или жену, – как Салтыков проиграл Пассеку свою Марию Сергеевну. Банкомет подозвал лакея, расплатился и, уезжая из игорного дома, подошел к Штаа-

лю. Он щеголял перед самым собой тем, что почти всегда говорил прямо противоположное своим действительным мыслям.

– Прекрасно изволите играть, сударь, – сказал он. – Предсказываю вам: самого Кашталинского затмите. Рад буду завтра сразиться снова. Вы мне должны реваншем.

– Да что ваш Кашталинский! – вскрикнул Штааль. – Плевать мне на вашего Кашталинского!..

– Изъезженному коню навоз возить... Очень буду рад сразиться, – повторил с усмешкой банкOMET и, ни с кем не раскланиваясь, вышел из комнаты.

Штааль загребал золото. Понтеры один за другим покидали стол, пожимая плечами. Он едко, по-актерски, хохотал им вслед, стараясь, чтобы смех его звучал возможно презрительней.

III

В одиннадцатом часу последние три игрока перешли от него к столу, за которым играли в банк. Штааль швырнул колоду на стол так, что часть карт упала на пол, и сгреб в карман последние золотые монеты. Лакей сбегал куда-то сломя голову, принес шинель и почтительно ему подал. Штааль тут же обещал принять его к себе на службу и для начала сунул ему несколько золотых монет: сначала он дал три монеты, потом подумал и добавил еще две. Лакей, чуть поддерживая

барина, проводил его через ворота и усадил на извозчика. Штааль хотел дать на чай еще и за это, но трудно было лезть в карман за деньгами. Он протянул лакею руку, которую тот поцеловал два раза.

– Халуй! – закричал яростно Штааль. – Сейчас дай руку!.. Все люди равны... Мерзавец!..

Извозчик, боясь встречи с полицией, поспешно довез Штааля и помог ему добраться до квартиры. Штааль дал ему немного мелочи, нашедшейся в кармане шинели, и затопал ногами в ответ на его разочарованное бормотание.

Штааль открыл дверь своей квартиры и засветил в кабинете и спальней все свечи, которые у него были. Он презрительно засмеялся, увидев свою рыжеватую мебель, кровать с продраным одеялом, полку с коллекцией дрянных табакёрок. В счастливом изнеможении он упал в кресло перед столом и так сидел минуты две, откинувшись головой на спинку кресла. Затем он вскочил с изумлением, вспомнив, что до сих пор не сосчитал выигранных денег. Он горстями стал высыпать золото на стол. С ростом сверкавшей близ свечей кучи все росло его счастье. Штааль стал считать и насчитал двадцать тысяч сто сорок рублей. Это очень его поразило: он был уверен, что выиграл гораздо больше. Вдруг он с ужасом подумал, что шторы не спущены; стол стоял у окна, и из второго этажа противоположного дома видно было то, что делалось в его квартире. Он быстро задул свечи на столе и, перегнувшись через стол, закрывая золото грудью, припал

лицом к стеклу. В противоположном доме, как во всех домах, выходящих на улицу, свет был погашен с девяти часов. Штааль немного успокоился (хоть могли подглядывать и из темной комнаты), опустил шторы, плотно пригнал их концы к подоконнику и положил краем на бахрому штор «Французскую Революцию» Христофа Гиртаннера. Затем он снова стал считать деньги, раскладывая их столбиками, и насчитал двадцать тысяч сто семьдесят рублей. Расхождение в цифрах крайне его расстроило. В грудe золота оказалось вдобавок несколько английских монет – эти монеты, которыми расплачивалось за поставки британское правительство, ходили в России после кампании 1799 года. Штааль принялся считать наново, решив принять каждую английскую монету за десять золотых рублей. Вышло опять двадцать тысяч сто семьдесят рублей.

«Куда же деть все это, украдут мошенники!» – подумал Штааль. Он открыл средний ящик стола и стал выбрасывать на пол все, что там находилось: сургуч, нетронутые гусиные перья, пакеты, перевязанные разноцветными ленточками, – это были письма женщин. Штааль вытащил ящик из стола и повернул его дном вверх. На пол посыпались кусочки сургуча, сор, запахло пылью. Он вдвинул снова ящик и принялся сбрасывать в него золото. Столбики рассыпались и со звоном падали в ящик. Штааль запер ящик на два поворота ключа, подsunул руку под стол и попробовал – ящик не поддавался.

«Что же теперь делать? – подумал он взволнованно. –

Выйду в отставку?.. Довольно лямку тянул, абшит, поживу теперь в свое удовольствие... Жаль, за границу не пускают. Да, что людям сказать? Сказать, что получил наследство? Нет, не поверят: все знают, что не от кого... Да и в игрецком доме меня видели – ведь сразу разнесут по городу, подлецы!.. Но отчего же не сказать правды? Или честные люди не выигрывают денег? Семен Гаврилович сотни тысяч выигрывал (он опять почувствовал нежность к своему воспитателю). А Меллисино? А Пален? Разве он не ставит на карту десятки тысяч?.. Правда, они все богаты, а я был бедняк... Да плевать мне на то, что люди скажут! – воскликнул Штааль. – Не для людей жить, а для себя... Но что же теперь делать? Имение купить, что ли? Говорят, Шклов продается после смерти Семена Гавриловича...»

Ему вспомнился шкловский парк, поросшая орешником аллея, спускавшаяся к реке. «Но что делать с училищем? Не содержать же мне всех этих мальчишек. С какой, в самом деле, стати? Их родители, верно, думают, что я обязан кормить эту ораву. Ну нет...»

Тут ему пришло в голову, что на покупку шкловского имения все равно не хватит денег. Ведь выигрыш – только двадцать тысяч сто семьдесят. И вдруг он с отчаяньем вспомнил, что в эту сумму входят и те двести пять рублей, с которыми он сел за карточный стол, «Господи, значит, еще меньше? Сколько же? Девятнадцать тысяч... Девятнадцать тысяч девятьсот, и сколько?..» Он не мог произвести вычитание,

но чуть не заплакал при мысли, что даже и двадцати тысяч не выиграл, а всего только девятнадцать тысяч с чем-то... Прежде все-таки была круглая цифра, и звучала она как-то иначе. «Ну, да я завтра еще пойду играть... До ста тысяч доведу. Нет, до миллиона... А может, я не все вынул из карманов?»

Он засунул обе руки в карманы и вытащил подкладку наружу. Что-то со слабым стуком упало на пол. Штааль поднял жестяную трубочку с гашишем – и всплеснул руками. «Да как же я забыл! Ведь меня ждут в номере шестом... Но еще не поздно...»

Он вдруг засуетился. «Разумеется, сейчас надо опять туда бежать. Эх, жаль, извозчика отпустил... Да ведь недалеко». На мгновение ему пришло в голову, что можно остаться дома. «Mais non. Je ne manquerai pas à ia parole donnée, – бормотал Штааль, суетясь вокруг шкапа с платьем. – Vous ne voudriez pas que je manque... je manquasse,¹¹⁸ – поправился он и засмеялся оттого, что употребил imparfait du subjonctif.¹¹⁹ – Ну да, и правильно – я по грамматике двенадцать баллов... Тот старый дурак говорил “моти”... Одеться надо, однако, теплее, не простудиться бы после этой жары». Штааль весь обливался потом, хотя в нетопленной с утра комнате было холодно. Он надел давно не ношенные

¹¹⁸ «Ну нет, я свое слово не нарушу... Не станете же вы требовать, чтоб я нарушал... чтоб я нарушил...» (франц.)

¹¹⁹ Прошедшее несовершенное сослагательного наклонения (франц.).

теплые вещи, направился к выходу и в передней вспомнил, что не взял с собой денег. «Ах, я дурак! Нет, какой я осел!.. – вскрикнул он и бросился к столу. Ящик не открывался. – Куда же я положил ключ?» – беспокойно подумал он, хлопая себя по карману. Ключа не было. Штаалем овладел ужас, точно золото было потеряно. Он замирая сел в кресло, попробовал ящик снизу – ящик не открывался. «Постой, постой, как же это все было?» – подумал Штааль. Он стал водить рукой по столу, точно сгребая золото, повернул затем руку перед скважиной замка, автоматическим движением сунул ее в маленький боковой карман – и нащупал ключ. Он засмеялся от радости и открыл ящик. Золото было цело. «Сколько же взять? Пятьсот, тысячу рублей? Нет, зачем так много?» Штааль ссыпал в карман десятка два золотых монет, снова запер ящик и положил на прежнее место ключ. «Теперь буду помнить, в верхнем боковом кармане». Он вышел, но на лестнице его взяло сомнение, точно ли он запер ящик. Хотя Штааль ясно помнил, что запер, он вернулся к столу и снова попробовал. «Конечно, запер, все в порядке...»

Плохо освещенная Хамова улица была пуста. Гулко отбивая шаги и с удовольствием к ним прислушиваясь, Штааль шел по Петербургу победителем, как по вновь купленному имению или как по завоеванной области. Изнеможение его прошло. Он чувствовал себя очень бодрым и все больше жаждал деятельности. В висках у него стучало. Ему было жарко и чрезвычайно весело. Вдруг он остановился и выру-

гался, ступив в глубокую лужу лакированным сапогом (только в этом году стали носить лакированную обувь).

– Что за безобразия! – с возмущением сказал Штааль. – Вот так порядки! Азия!..

Он поднялся на цыпочки, сделал какое-то па, обошел лужу и внезапно запел. Пел он «Ельник», любимую песню императора, причем старался подражать хриплому голосу Павла. Вдруг впереди недалеко от себя, в полосе света от фонаря, он увидел приближавшийся к нему экипаж.

– Извозчик, подавай! – закричал Штааль и залился смехом, заметив свою ошибку: экипаж был занят. Держась за козла, какой-то человек, в сплюснутой треугольной шляпе, стоя высовываясь из коляски, внимательно вглядываясь в Штааля. Над его головой торчало перо.

– Шапочка корабликом, – закричал Штааль и помахал рукой в воздухе.

Коляска вдруг остановилась – сердце у Штааля екнуло. К нему поспешно направился человек с длинной тростью. Из экипажа выходили еще люди. Штааль уставился на них с тревожным изумлением.

– Вы зачем шумите? – сказал человек, быстро подходя к Штаалю и не спуская с него глаз. – Это что такое? Вы как одеты?

– А вам что за дело?.. Да здравствует свобода!.. Люди... А... – заорал Штааль во все горло. Мимо человека с длинной тростью кто-то бросился на Штааля, низко наклонив голову.

Штааль почувствовал сильный удар в грудь и упал бы, если бы его не подхватили под руки. Через мгновение, еще не опомнившись, он очутился в коляске. Человек с длинной тростью сидел против него. В руке у него был пистолет.

– В Тайную, живо! – приказал он кучеру.

IV

Когда он проснулся, в каземате было еще темно. Штааль растерянно вскочил, нащупал рукой жесткую солому и вдруг с невыразимым ужасом понял, что находится в Тайной канцелярии. Провел рукой по лбу: сомнений не было – он не спал, он был в Тайной.

У него сильно болела голова. Ему хотелось подышать воздухом поглубже, затем снова лечь, ни о чем не думая. Штааль почувствовал, однако, что непременно надо вспомнить и обдумать все случившееся. Он сделал, что полагается делать, – растер виски руками и стал вспоминать. Сцены игорного дома он помнил совершенно отчетливо, но дальше все было неясно. Штааль помнил мосты, толчок остановившейся кареты, скрип открывшихся тяжелых ворот, свет фонаря, помнил еще высоких, грубых людей в треуголках. Помнил, что какой-то человек злобно его о чем-то спрашивал, что затем его вели по длинным, плохо освещенным, пахнувшим краской и гнилью коридорам, втокнули в каземат и с шумом заперли за ним дверь. Штааль повалился на солому и

тотчас заснул. Ночью он раза два был близок к пробуждению – от боли в спине, в ногах, в груди и от страшного крика, который, как ему казалось, откуда-то к нему доносился.

Опираясь руками на колючую солому, Штааль замирая прислушался. Никаких криков теперь не было слышно. Напротив, стояла совершенная, непривычная даже ночью, тишина. Но боль ему не снилась, он чувствовал зуд во всем теле. Штааль с отвращением понял, что облеплен насекомыми. Это довело его ужас до последнего предела. Он вскочил, ударился обо что-то в темноте, опустился на солому и обнял колени руками. Так он сидел долго с расширенными глазами, с сильно бьющимся сердцем, тоскливо ожидая конца ночи, точно утро должно было принести конец его страданиям.

Он плохо понимал размер совершенного им проступка. При императрице уличные скандалы с полицией обыкновенно кончались пустяками. При Павле за это можно было угодить в Сибирь. Но все было лучше, чем эта ночь в каземате. Штааль то вскакивал, с отчаянием чесался и ерошил волосы, то снова садился на солому и обнимал руками колени.

Холодный свет ноябрьского утра стал проникать в каземат. Штааль понемногу разглядел проделанное высоко в стене небольшое окно с решеткой, тяжелую дверь и табурет. За окном слышалось тонкое ржание лошади. Оно почему-то успокоило немного Штаала. Он вскочил и встряхнулся, с отвращением глядя на солому. Лишь теперь он заметил, как

он был одет. Теплые вещи, которые он надел, уходя из дому, шинель с собольим воротником, черная казимировая конфедератка с мушковым околышком, были строжайше запрещены; они три года провалялись у него в шкафу без употребления. Штааль знал, в какую ярость приводили императора нарушения правил об одежде и какие строгие наказания за это полагались. «Ну, теперь моя песенка спета, – подумал он, проклиная себя, содержательницу притона и тех дьяволов, которые изобрели гашиш. – Попал в жерло ада... Вот что значит жить в стране с сумасшедшим царем!.. Эх, Марата бы на него...»

Штааль подошел к табурету и потрогал его руками. Словно он ждал, что здесь табурет окажется налитым свинцом или прикрепленным к полу, – он удивился легкости этого предмета. Штааль перенес его к окну, ступил на край одной ногой, оглянулся и бесшумно встал на чуть пошатнувшийся табурет, осторожно поднимая голову к решетке окна. О месте этом (называли его то Тайной канцелярией, то Тайной экспедицией) рассказывали всякое: часовые могли выстрелить в окно. Никто не выстрелил. Штааль припал лицом к решетке. Было уже довольно светло. Шел редкий, тотчас таявший снег. Окно выходило на небольшой двор, обнесенный бревенчатыми строениями и высоким забором. Во дворе стояла повозка, запряженная парой лошадей, какая-то странная, длинная и низкая, похожая на похоронные дроги. На козлах не было кучера. Сверху и с боков повозка была об-

тянута рогожами и перевязана веревками. Одна веревка висела незавязанной. Лошади жевали овес из мешков. Ничего страшного во дворе Штааль не увидел. Часовых вовсе не было. На завалинке у забора под навесом грыз семечки старик сторож. В луже, по которой расходились кругами редкие, тающие в воздухе снежинки, стояла на телеге с приподнятыми оглоблями большая бочка. Вид ее тоже произвел успокоительное действие на Штаалья. В такой бочке в Шклове возили воду в училище. И весь двор имел мирный деревенский вид.

Штааль сошел с табурета, сел и опять задумался о своей судьбе. «Неужто жизнь может разбиться из-за пустяка? Ужель я погибну в цвете лет, в тот самый миг, когда наконец улыбнулась столь длительно неблагоприятная Фортуна?» Хоть Штаалю было вовсе не до литературы, он по привычке думал о своей несчастной судьбе книжными словами и оборотами. Он вспомнил о своем золоте, протянул руку к боковому карману и нащупал ключ. «Золото еще цело, но далее что?.. Что будет? Что им показывать? Эх, и вчера я наговорил лишнего...» Из случившегося с ним он всего хуже помнил то, что отвечал на допросе приказному: в момент его ареста дурман достиг, по-видимому, предельного действия. Штааль смутно помнил, что говорил он в очень повышенном тоне, предлагал немедленно вызвать князя Безбородко, канцлера Российской империи, ссылаясь на графа Палена, которого, кажется, назвал ближайшим своим другом. Он морщился при этом воспоминании. «Что Безбородко вызы-

вал, это даже хорошо, значит, явно был не в себе. А насчет Палена, худо... Надо было вызвать Иванчука, ведь он здесь свой человек, и не такой же он, в самом деле, подлец, чтобы не помочь мне в беде... Так я и сделаю, когда опять позовут на допрос. Не могут не позвать... Не станут же они меня пытаться, в самом деле? – успокаивал он себя. С некоторой неуверенностью он думал и о том, как поведет себя Иванчук. – Да нет, не такой же он, в самом деле, подлец», – повторял Штааль. Но уверенности, что Иванчук не такой подлец, у него не было, и злоба так и подступала у него к сердцу. Одновременно со злобой его одолевали покаянные мысли, которые в другое время могли бы быть приятны. Здесь он не мог извлечь удовольствия и из покаянных мыслей. Он думал, что он сам теперь недалеко ушел от Иванчука. Мысль эта очень не понравилась Штаалю. Он до того всегда был уверен, что между ним и Иванчуком целая пропасть и в моральном, и в умственном отношении. Штааль стал поверять мысленно: пропасти не было. «Да, характеры разные. Он хам, конечно, а я, что хотите, но не хам... Он и неуч, не читает ничего. Правда, и у меня Гиртаннерова «Революция» который год лежит на столе... Прежде не то было».

Штааль вдруг вспомнил, как восемнадцати лет от роду проводил вечера в библиотеке Шкловского училища. Он ясно увидел перед собою крошечную книгу Байе о Декарте, изданную у вдовы Крамуази «avec privilège du Roy»,¹²⁰ уви-

¹²⁰ «По королевской привилегии» (франц.).

дел «Discours de le méthode»¹²¹ в сафьянном переплете и чуть надорванную снизу тонкую желтоватую страницу, с той фразой, которая когда-то так его потрясла: «C'est pourquoi sitost que l'aage me permet»¹²² – и непривычное двойное «а» в слове «aage» опять его удивило, как тогда в Шклове. Штааль чуть не заплакал от горя в каземате Тайной канцелярии, как восемь лет тому назад от счастья и волнения по-настоящему заплакал над этой страницей в библиотеке Шкловского училища. Он подумал, что надо будет совершенно изменить жизнь, если удастся благополучно выйти из стрясшейся над ним беды. «Нет, что хотите, а таким, как Иванчук, я не стану, я и теперь не хам», – повторял он упорно. И со злостью думал, что спасение теперь может прийти к нему только от хама Иванчука.

За стеной слышались негромкие голоса. Штааль опять поспешно вскочил на табурет. Во дворе теперь были люди. Около лошадей суетился фельдъегерь, отвязывая мешки с овсом. Старик сторож у ворот снимал огромные замки с запоров. Двери одного из бревенчатых строений широко открылись. Штааль с тревогой переводил взгляд с этих дверей на повозку и обратно. Из строения стали выходить люди. Первым вышел человек с тростью под мышкой, в плюснутой треугольной шляпе с пером, в перчатках с огромными

¹²¹ «Рассуждение о методе» (франц.).

¹²² «Вот почему, как только возраст позволил мне...» (франц.)

раструбами. За ним, осторожно и тяжело ступая, два гвардиана несли носилки, покрытые чем-то белым. Они подошли к повозке. Фельдъегерь поднял и оттянул в сторону конец рогожи. Гвардианы стали вдвигать в повозку носилки. Штааль, крепко вцепившись в решетку окна, увидел замирая, что на носилках лежал человек. «Труп?.. Нет, кажется, живой, шевелится... Он, что ж, привязан?.. Что же это такое? Да что они делают?..» Гвардианы и фельдъегерь поспешно отступили на несколько шагов. Человек в треуголке совсем вдвинул носилки под рогожу повозки и, нагнувшись над головой лежавшего, очевидно закрывая ее от других, вытащил из-под рогожи покрывало. Гвардианы засуетились над рогожей, зашивая концы и завязывая свободную веревку. Фельдъегерь полез на козлы. Сторож быстро отодвинул тяжелые засовы ворот. Человек в треуголке махнул тростью. Повозка тронулась.

Иванчук, на которого сослался Штааль, прибыл часа через два, к полудню. Гвардианы ввели Штааля в очень бедно убранную комнату, ничем не отличающуюся от обычных канцелярских передних. Здесь тоже стоял смешанный запах краски и гнили. По стенам на длинных вешалках висели шляпы, шапки и шинели. За дощатым столом сторож мирно пил чай вприкуску. Он не встал при входе Штааля и сказал равнодушно:

– Велено подождать.

Через минуту вошел Иванчук. Штааль никогда в жизни

так не радовался его появлению, как на этот раз. Увидев приятеля, Иванчук покатился со смеху. Но и смех его музыкой прозвучал для Штаалья.

– Так это вправду ты? – наконец, перестав хохотать, спросил Иванчук. – В чем дело?.. Выйди-ка, Степан... Скажешь Макарычу, что я с барином остался, – приказал он почтительно вытянувшемуся при его появлении сторожу, на которого показывал глазами Штааль.

– Слушаю-с.

– Да у меня, видишь ли, случился на улице скандал с полицией... Как снегом меня осыпало, – сказал радостно Штааль, как только они остались одни. – Ты думаешь, беда невелика, дружище?

Он никогда прежде не называл Иванчука дружищем и сам почувствовал некоторую неловкость.

– Истории, мой любезнейший, бывают разные, – ответил Иванчук (он тоже никогда не называл Штаалья любезнейшим). – И друзья тоже бывают разные... Иногда, значит, и Иванчук может пригодиться?

– Да ведь, правда, у тебя здесь есть приятели? – принужденно улыбаясь, сказал Штааль.

Иванчук великодушно хлопнул его по плечу.

– У меня, почтеннейший, везде есть приятели. Кое-кого, слава Богу, знаю и здесь (он назвал по имени-отчеству несколько человек, очевидно бывших хозяевами в Тайной канцелярии). Наконец, ежели тут заартачатся, то можно и

патрону сказать, Петру Алексеевичу. В два счета освободят. Рассказывай живо, в чем дело. Как ты еще напроказил?

Штааль принялся рассказывать. Когда Иванчук узнал о выигрыше двадцати тысяч, он всплеснул руками и изменился в лице.

– Да не может быть! – воскликнул он.

В дальнейшем его лицо становилось все серьезнее, и из его переспросов уже как будто не вытекало, что Штаалья освободят в два счета. Дослушав до конца, Иванчук нахмурился и, помолчав, сказал, что дело выходит много важнее, чем он думал.

– Сам посуди, моншер. Тут и воротник, и конфедератка, и ночное безобразие, и сопротивление властям. У нас за круглую шляпу ссылают в Сибирь, – неодобрительно и печально сказал он.

– Как же быть? – вскрикнул Штааль.

Иванчук обещал сделать все возможное.

– Подожди меня здесь, – сказал он, как будто от Штаалья зависело и уйти отсюда. Он вышел за дверь. Сторож тотчас вернулся в комнату и подал стул Штаалю.

– Вы бы, ваше благородие, сразу сказали, что с ними приятели, – сказал он, точно оправдываясь.

– А что?

Но от разговоров сторож уклонился. Иванчук вернулся через четверть часа с очень встревоженным видом, опять выслал сторожа и сказал, что дело чрезвычайно серьезно, – но

замять все-таки можно. Однако будет стоить денег.

– Я готов заплатить... Сколько? – торопливо сказал Штааль.

– Порядочно, брат. Десять тысяч, – сочувственным тоном сказал Иванчук и в ответ на вырвавшееся у Штааля восклицание ужаса и негодования стал объяснять, какие мошенники и воры люди, ведающие Тайной канцелярией (он больше не называл их по имени-отчеству). – Впрочем, попробуй оставить дело натуральному ходу, – сказал он грустно. – Может, в Сибирь и не сошлют. Чуды всякие бывают... Хотя ты сам знаешь, какие у нас порядки. Разве это свободная страна? Деспотия, брат, азиатская деспотия.

– Я больше пяти тысяч не дам, – сердито сказал, не глядя на него, Штааль.

Иванчук сокрушенно вздохнул:

– Ничего не выйдет. Этот мошенник говорит, что, если б не я был negociатором, то он и двадцати тысяч не взял бы за такое дельце.

– Больше пяти не дам, – решительно повторил Штааль.

– Как знаешь, конечно. Только ведь, когда у тебя обыск произведут, то могут и все отобрать, – участливо произнес Иванчук.

– Ты обещал, однако, сказать графу Палену?

– Я с охотой патрону скажу, ты, надеюсь, сам понимаешь, что я для тебя все сделаю. Но Петр Алексеевич не всемогущ. Не заткнуть рта этим господам, еще дело дойдет до государя

императора. Тогда, моншер, пиши завещание.

Штааль нервно ходил по комнате:

– Как же быть? Ежели я и согласился бы дать, скажем, семь тысяч, ведь при мне денег нет.

– Это ничего. Надеюсь, ты мне доверишь? – с достоинством сказал Иванчук и продолжал, не дожидаясь ответа: – Тогда дай мне ключ, я съезжу к тебе домой и привезу десять тысяч.

– Семь тысяч.

– Ну что ж, я попробую трактовать. Знаешь что? – сказал он, положив руку на плечо Штаалья (Штааль немедленно ее снял со своего плеча). – Дай мне ключ, – продолжал, не смущаясь, Иванчук. – Я сначала съезжу к патрону. Ежели ничего нельзя будет сделать, только в этом разе, – внушительно подчеркнул он, – я привезу деньги. А ежели патрон может так тебя освободить, твое счастье, и деньги твои будут, разумеется, целы.

Получив ключи от квартиры и от стола, он уехал, приказав сторожу принести его благородию обед из трактира. При этом он вынул из кошелька рубль и, замахав на Штаалья левой рукой, вручил сторожу монету.

– Когда-нибудь и ты угостишь меня обедом, моншер, – сказал он, – Ну, пока прощай.

Иванчук вернулся часа через полтора в большом возбуждении и объявил, что, хоть патрон все сделал, без денег замять дело оказалось невозможно, так как эти разбойники из

Тайной канцелярии грозили донести государю, – зато удалось сторговаться на восьми тысячах. Вид у Иванчука был очень взволнованный. Штаалу в первую минуту показалось, будто он немного выпил.

– Нет, каковы порядки, а? – быстро и негромко говорил Иванчук. – Какая дикая, несчастная страна, а?.. Сейчас тебя отпустят, и все шито-крыто, только уж впредь держись своей капустой. Я заплатил этим мерзавцам, а остаток твоих денег привез тебе, вот, сочти. – Он запер на ключ дверь комнаты и передал Штаалу аккуратно завязанный сверток с золотом. – Нет, я решительно тебя прошу, сочти сейчас, – быстро говорил он с проникновенной интонацией, точно Штааль отказывался это сделать. – Дружба дружбой, а деньги счет любят... Убедительно тебя прошу, мой милый... Ты подумай, негодяи каковы! Зато теперь будь спокоен: на себя муха обух не подымет.

Как ни жаль было Штаалу потерянных восьми тысяч, но известие о том, что дело улажено, и вид все еще достаточно полновесного свертка с золотом настолько его утешили, что он даже поблагодарил Иванчука (этого он потом долго не мог себе простить).

– Ну что ты, иль тебе не стыдно? – говорил Иванчук (как если бы Штааль рассыпался в выражениях признательности). – Не стоит благодарности, брат. Всякий для друга сделал бы на моем месте то же самое... Что за народ, грабители какие, а?.. Так сочти же деньги, я тебе помогу, моншер. Ты

бы их поместил, право, в заклад недвижимости или фонды займов.

Счет оказался в порядке. Когда деньги были снова завязаны в сверток, Иванчук велел сторожу позвать стрекулиста, показал какую-то бумагу, получил другую и повел Штаалья.

– Мы вместе выйдем. Мне пора...

– А ты здесь совсем свой человек, – съязвил Штааль.

– Меньше, нежели ты думаешь, поверь, гораздо меньше. Чем дальше от этих негодяев, тем лучше... Патрон, правда, частенько меня сюда посылает, он сам не любит здесь бывать... Да, кстати, – добавил он небрежно, – Петр Алексеевич желает тебя видеть...

– Меня? Зачем?

– Не знаю, он не сказал. Велел тебе сейчас к нему отправиться.

– Сейчас? Да я в баню хочу.

– Ну, так прямо из бани поезжай к нему. Признаться, я и сам не могу понять, зачем ты ему понадобился, – с досадой и, как показалось Штаалю, с некоторой тревогой сказал Иванчук. – Ты у него, однако, не болтай, не заводи новой истории. Это, прямо скажу, было бы для тебя опасно... Теперь налево, в ту дверь и вниз по лестнице.

Они вышли во двор, который тотчас узнал Штааль.

– Вот куда они меня посадили, – сказал он, ориентируясь по бочке и показывая рукой на решетку крошечного окна.

– Сюда? – удивленно переспросил Иванчук. – Странно...

Правда, у них теперь в крепости все переполнено. Ты знаешь, что здесь такое? Вон тут. Застенок... Ла он тортюр, – негромко пояснил он по-французски, хоть с ними никого не было.

– Быть не может! Вот здесь?.. Неужели пытаются?

– А ты думал? Куды зря!.. Днем редко, ночью больше... Ты что ж, так в баню повезешь деньги? Ведь стащат? Дай лучше, раззява, мне на хранение.

– Нет, не надо... А не знаешь, нынче ночью пытали? – быстро спросил Штааль.

– Вероятно, брат, больше, нежели вероятно. Эти живодеры работают без отдыха. Теперь отсюда каждую ночь разных человечков отправляют с правожным листом куда надо и не надо. В такие кибитки зашивают, внизу маленькое отверстие, так и везет фельдъегерь отсюда в Сибирь, а кого везет, не знает. Они называются безымянные.

– Да кто же они?

– Разные бывают, люди худой нравственности, крамольщики и возмутители. Все государь подозревает заговор...

– А нынче кого пытали?

– Да ты, моншер, за кого меня считаешь? Ты вправду, кажется, думаешь, что я здесь распоряжаюсь? Почему мне знать? Смотри, благодари Бога (ну, без скромности, и меня немного можешь поблагодарить), благодари Бога, что отсюда ноги унес. Теперь ни за что пропасть – все одно что плюнуть. Прежде дворян и духовных редко пытали. А теперь и с нами

не шутят. Ведь полковника Грузинова насмерть засекали... А пастор Зейдер, слышал?.. Кнутом приказано было драть за то, что немецкие книжки без цензуры получал. Нет, право, безобразие, – говорил убедительно Иванчук, точно это все оспаривали. – И книги самые, можно сказать, невинные. Открывай ворота, кобылья голова! – сердито закричал он на сторожа.

Старик сторож положил на скамью кулек с семечками, отодвинул запоры, равнодушно отпер и тотчас же запер за вышедшими тяжелые ворота, от скрипа которых невольно поморщился Штааль. Отойдя немного от ворот, расчувствовавшийся Иванчук обнял Штааля, поздравляя его, и хотел расцеловаться с ним по-русски, трижды. Но поцеловал только один раз: Штааль энергично высвободился из его объятий:

– Прощай, прощай...

– Деньги в бане не потеряй, красивец, – отеческим тоном закричал ему вдогонку Иванчук.

VI

Час был неурочный. В чистой, удобно и хорошо обставленной (как весь дом военного губернатора) приемной никого не было. Чиновник, вежливый и деловитый, попросил Штааля подождать – его сиятельство скоро освободится. Штааль заметил небрежно в ответ, что ему совершенно не

к спеху. Это замечание было не очень уместно, но все мысли Штааля спутались. Он был чрезвычайно утомлен. Из бани он успел съездить домой, спрятал золото и переоделся. Теперь Штааль с наслаждением ощущал только то, что по нем не ползают насекомые. Ему хотелось спать. Впечатления последних двух дней сказались в нем лишь большой усталостью. Он не думал ни о прошлом, ни о будущем. Его даже не очень теперь занимало, для чего он понадобился военному губернатору Петербурга. Лишь бы скорее кончилось еще и это. В темном углу приемной стоял большой диван; Штааль думал, что хорошо было бы лечь, сняв сапоги и натиривший шею, наспех завязанный, галстух. Он уселся в кресло у стены под канделябром и едва не заснул. Из соседнего кабинета доносились голоса. Разобрать слова было, однако, невозможно.

Штааль вышел из оцепенения и поспешно поднялся, когда высокая дверь кабинета распахнулась. На пороге, в блестящей полосе света, появился князь Платон Зубов. Штааль сразу его узнал, хоть не видел несколько лет (князь не жил в Петербурге). Зубов с порога быстро взглянул на Штааля, очень любезно ответил на его нерешительный полупоклон и, повернувшись, замахал руками в открытую дверь.

– Нет, пожалуйста, не провожайте меня далее, граф, ради Бога, – с жеманной улыбкой почти пропел он, видимо, любуясь своим, действительно прекрасным, голосом, и кокетливым жестом притворил за собою дверь кабинета. В сопро-

вождении поспешно подошедшего к нему чиновника он направился к выходу. Поравнявшись с Штаалем, Зубов остановился и протянул руку.

– Простите, пожалуйста, – учтиво сказал он. – Ведь мы с вами встречались, правда?

Штааль, польщенный, назвал свою фамилию.

– Ну да, конечно, – сказал Зубов радостно, точно случайно забыл имя доброго приятеля (хоть он совершенно не помнил фамилии Штааля). – Я оч-чень, оч-чень рад был снова встретиться.

Он, видимо, не знал, что сказать. После неловкого молчания он снова пожал руку Штаалу и простился. «Какой любезный стал, вернувшись, – подумал Штааль не без удовольствия. – И щуриться перестал».

Чиновник пробежал по приемной, вошел в кабинет и через минуту позвал Штааля. В ярко освещенной комнате за столом сидел граф Пален. Он сухо, без обычной усмешки, ответил на поклон молодого человека и с минуту молча его осматривал с головы до ног.

– Садитесь, – без обращения сказал наконец Пален.

Штааль сел на край стула. Усталость сразу с него слетела. Он чувствовал большое смущение.

– Ваше дело мне известно, – кратко произнес Пален, так, что нельзя было понять по этим словам, ждет ли он каких-либо объяснений. Штааль что-то пробормотал. Пален продолжал смотреть на него своими тяжелыми глазами.

– Вы воспитывались в Шкловском училище графа Зорича. Были в Париже с миссией (он подчеркнул это слово). Прежде служили в конногвардейском полку. Получили сему полтора года достоинство мальтийского рыцаря...

– Так точно...

– Вы участвовали в походе князя Италийского?

– Так точно, ваше сиятельство.

Пален помолчал еще, не спуская тяжелого взора с Штаалья.

– Я мог вас выручить из беды и весьма тому рад, – снова заговорил он. – Но не ручаюсь, что дело так для вас сойдет. Другие лица могут донести о нем его величеству государю императору... Тогда, разумеется, вы можете счесть себя за погибшего человека.

– Ваше сиятельство, но мне сказали...

– Я не знаю, что вам сказали. Я говорю вам это. Равно вам не поручусь, что я сам не вспомню сего дела во всей точности, ежели не буду в полной мере вами доволен, – холодно, с явной угрозой в голосе, произнес Пален, подчеркивая каждое слово.

Штааль молчал.

– Вы прикомандированы к адмиралу де Рибасу?

– Так точно, ваше сиятельство.

– Вам нечего у него делать. Адмиралу де Рибасу поручено укреплять Кронштадт на случай войны с Англией. Но сего безумия не будет...

Он замолчал.

«Какого безумия?» – подумал Штааль. Смущение его все усиливалось.

– В Кронштадте нечего делать молодому человеку, способному и решительному, – сказал с расстановкой Пален, несколько изменив тон и подчеркивая слово «решительный». – Люди, вам подобные, нужны мне здесь.

Штааль взглянул на него с удивлением.

– Я велю отчислить вас в полк. Кавалергарды несут службу при особе его величества государя императора.

В том, что говорил Пален, не было ничего необыкновенного. Но интонации его голоса звучали мрачно и загадочно. Штаалю стало очень жутко.

– Я возьму на себя заботу о вашей карьере, ежели буду в полной мере вами доволен, – сказал медленно, негромким голосом, Пален, с теми же непонятными интонациями. – Помните, я спас вас от Сибири... С вами едва не случилось происшествие, у нас, по несчастью, довольно обычное. Как умный человек, вы, конечно, полагаете, что такие происшествия до той поры неизбежны на нашей родине, пока...

Он вдруг поднялся, не докончив фразы, и резким движением отодвинул кресло. Штааль тоже вскочил и с ужасом на него уставился. Пален перегнулся своей огромной фигурой через стол и, опершись на него руками, несколько театрально приблизил к лицу Штааля свое нахмуренное, мрачное лицо.

– Вполне натурально, – заговорил он снова, еще понизив

голос, – что люди умные, решительные, любящие свое отечество, думают так, как вы. Мысли сии делают вам честь... К несчастью, ежели государь император узнает о вашей истории, о вашем образе мыслей, вы погибли... Узнать же может он всякий день... Жаль, жаль... Люди, как вы, нужны России... Прощайте, молодой человек. Помните, что отныне я буду иметь вас в виду. Каждый шаг ваш будет мне известен... Вы далеко пойдете, ежели я буду знать, что во всем могу на вас положиться. Во всем, – повторил он совсем тихо, но с необыкновенным выражением силы в голосе, в упор глядя на Штаалья.

Правый угол рта скривился у Палена в его обычную холодную усмешку.

– До свиданья, молодой человек, до свиданья, – сказал он совершенно другим, обыкновенным и любезным, тоном, протягивая руку Штаалю.

VII

У ворот, открывавших доступ к Михайловскому замку, чиновник внимательно проверял документы. Штааль, стоя в небольшой очереди, с беспокойным чувством осматривал портал, гранитные столбы, красные мраморные колонны, затейливый вензель императора в кресте святого Иоанна Иерусалимского, ярко блестящем на холодных лучах декабрьского солнца. Михайловский замок был уже освящен. Но го-

сударь все туда не переезжал: некоторые залы еще отделялись, и в замке, об устройстве и роскоши которого рассказывали чудеса, было очень сыро. Этим временем пользовались для его осмотра люди, не приглашавшиеся ко двору, но имевшие знакомых в дворцовом управлении. Штааль достал пропуск у каштеляна.

Чиновник повертел бумагу в руках, внимательно осмотрел Штааля и велел его пропустить. За воротами открывалась длинная аллея. Слева бесконечно тянулся пустой, скучный экзерциргауз. Штааль отстал от других посетителей и сел на скамейку, чувствуя себя с утра очень усталым.

Он еще не получил никакого назначения, и делать ему было нечего. Недавно скоропостижно скончался Рибас, при котором он числился. О смерти адмирала ходили мрачные слухи. Штааль с жадностью их ловил. Он теперь верил всем мрачным слухам.

В первые два-три дня после своего освобождения из Тайной канцелярии Штааль ездил по лавкам, с наслаждением покупал разные ненужные, дорогие вещи, совсем как когда-то перед отъездом в миссию за границу. Купил новую мебель в кабинет; хотел приобрести и библиотеку, вспоминая свои печальные мысли в заключении (Гиртаннерову «Революцию» он тотчас же убрал со стола). В первую очередь Штааль предполагал купить «Энциклопедию», Декарта и Вольтера, – непременно в темных кожаных переплетах. Но иностранные книги были запрещены. Штааль купил Карамзи-

на, Фонвизина и несколько продававшихся по секрету легкомысленных книжек с картинками. Он собирался даже составить большую коллекцию таких книжек, – уж если нельзя достать Вольтера и Декарта, – но скоро покупки ему надоели. Хотел он переехать на квартиру получше, однако раздумал, решив, что в этом было бы нечто скоро-богатое: как все внезапно разбогатевшие люди, он весело смеялся над внезапно разбогатевшими людьми. Немало денег перебрали у него займы приятели. Он давал охотно, деля, по небольшому опыту, приятелей на три разряда: одни отдадут долг; другие не отдадут и сделают вид, будто забыли; третьи тоже никогда не отдадут, но при каждой встрече будут изображать отчаяние от того, что до сих пор не вернули денег. «Они, так сказать, расплачиваются отчаяньем да извинениями», – думал Штааль, с удовольствием вошедший в роль богатого человека. О деньгах, розданных приятелям или потраченных на покупки и кутежи, он не жалел. Но о восьми тысячах, потерянных в Тайной канцелярии, думал с все большей злобой. «Сам я, ослиная башка, виноват: не сказал бы сдуру Иванчуку, что выиграл двадцать тысяч, – выпустили бы меня и так. Точно я его не знал – собачьего нрава не изменишь. Разумеется, это Пален приказал меня освободить, как я ему очень нужен...»

Беспрестанно вспоминая и обдумывая все, что сказал ему граф Пален, Штааль пришел к убеждению, что против государя составлен заговор. Об этом поговаривали давно, В та-

индивидуальную связь с заговором ставили и скоростную смерть адмирала де Рибаса, и другую взволновавшую всех недавно новость: отставку и опалу вице-канцлера Панина. Но положение графа Палена, по общему отзыву, было чрезвычайно крепким. Он считался первым сановником империи и любимцем государя. Штаалу поэтому было трудно поверить, что именно Пален стоит во главе заговора. Пытался он и по-иному, естественным образом, объяснить странную сцену в кабинете военного губернатора, двусмысленные слова и непонятные интонации Палена. Приходило ему в голову, что Пален, быть может, его испытывал, и Штааль с волнением себя спрашивал, что должен был о нем, в таком случае, подумать царский любимец. Но это предположение казалось все же маловероятным Штаалу. «Если б Пален вправду хотел меня испытать, он говорил бы яснее. Верно, он просто предложил бы мне соучаствовать, а то какие же делаться резоны из молчания в ответ на намеки?.. Нет, дело сурьезное», — думал Штааль, холодея при этой мысли. После ночи в Тайной экспедиции он особенно ясно представлял себе, чем может грозить такое страшное дело.

Один из посетителей, проходивших в аллее мимо экзерциргауза, посмотрел на Штааля. Штааль беспокойно проводил его глазами. «Нет, это он так посмотрел. Не всякий же человек в Петербурге шпион... Да ведь я еще и не дал согласия... Опять же и не донес по долгу присяги... Конечно, я не доносчик, но эти живодеры в Тайной не будут так рассуж-

дать... Предположим, я их не боюсь... Хотя как их и не бояться? Однако, если мне напрямик предложат участвовать в деле, соглашусь я или не соглашусь?» Он с ужасом чувствовал, что не может ответить. Штааль пробовал рассуждать и взвешивать. Он не любил царя, не прощал своего дела в Тайной экспедиции. Но и ненависти к царю у него не было. Да и в деле этом царь не был, собственно, виноват. «Точно при государыне не было Тайной экспедиции? Ведь Новикова, говорят, пытали, и Княжнина драли за “Вадима”. Не только у нас, везде мучают, истязают почему зря, везде, во всем свете, а всех монархов не опровергнешь... Ведь речь у них, конечно, идет об опровержении царя. Не об убийстве же, в самом деле? Ужель у Палена руки поднимутся на венценосца, который его осчастливил?»

Штааль задумался, припоминая награды, которые в это царствование выпали на долю Палена.

«Да на какого дьявола мне нужна эта штука? – нерешительно спросил он себя... – Ну, не сделаю карьера, умру неизвестным, как миллионы других, не все ль одно? Точно мне уж так хочется стать новым Паленом и править Россией! Еще и счастлив ли сам Пален? Может, гораздо лучше прожить свой век богатой приватной персоной...»

Мысли эти сильно его взволновали. Ноги в лакированных сапогах стыли на морозе. Штааль поднялся и пошел к Михайловскому замку. Перед укреплением в конце аллеи стояло несколько человек. Один из них нетерпеливо оглянулся

на Штаалья. Здесь, у подъемного моста, через который впускали посетителей, другой чиновник снова спросил пропуск и, проверив, оставил его у себя. Штааль почувствовал себя стесненным, оставшись без зеленоватой бумажки: вдруг чиновник не знает, и там опять спрячут.

– Пять? – сказал чиновник, пересчитав стоявших. – Опустить!

Дежурный с явным удовольствием стал опускать подъемный мост. Посетители с любопытством и страхом смотрели на невиданную штуку. Первый в очереди, почему-то на цыпочках, перешел через мост. За мостом открывалась перед замком большая площадь. С облегчением соскакивая с моста, посетители нерешительно оглядывались друг на друга. Штааль отстал от кучки, прошел вдоль красной громады, вернулся, заглянул через перистиль во внутренний двор, затем вошел в замок.

Его сразу охватило тяжелое чувство. Пахнуло сыростью. Солнце исчезло. В овальной зале горели огни. В замке стоял густой туман и на небольшом расстоянии ничего не было видно. Штааль, осторожно ступая, медленно шел по залу – и неожиданно поймал себя на том, что старается зачем-то запомнить дорогу. Он вздрогнул и ускорил шаги. В тумане вырисовывались растерянные фигуры посетителей. Штааль шел туда, куда шли все. Он понемногу осваивался с туманом: в других покоях замка сырости было меньше, всюду горели огни. Штааль быстро переходил из одной комнаты в дру-

гую, нигде не останавливаясь и ничего не осматривая. Видел только, что все было чрезвычайно богато. Мрамор, порфир, золото, хрусталь, необыкновенная мебель, огромные зеркала, росписные потолки, колонны, вазы, балдахины – обычная нежилая обстановка дворцов – сливались в общее впечатление роскоши и скуки. Стены почти везде были затянуты великолепным бархатом самых ярких цветов, голубым, розовым, пурпурным, то с серебряным, то с золотым шитьем. Этот бархат особенно поразил Штааля. В тех европейских дворцах, которые ему приходилось видеть, стены обычно бывали голые. Штаалу не приходило в голову, что можно затягивать стены бархатом. Бархат местами темнел мокрыми пятнами. Посетители вполголоса обменивались впечатлениями и все куда-то торопились. Тоскливое чувство в душе Штааля нарастало. «Да в чем дело?» – нервно спрашивал он себя, ускоряя шаги.

– Как жаль, что не пускают в покои государя императора, – сказал у дверей кто-то вполголоса. Сердце у Штааля почему-то забилося сильнее. «В самом деле, государь ведь живет в верхнем этаже», – подумал он. Он небрежным тоном спросил служителя, для кого предназначаются эти покои. Оказалось, что в нижнем этаже будет жить наследник престола, а также некоторые высшие лица свиты, как их сиятельства граф Кутайсов и князь Гагарин.

Усталость Штааля все росла от бесконечной вереницы зал. Он чувствовал себя нехорошо: в ногах была слабость, в

ушах шумело. В самом мрачном настроении он повернул назад и пошел по направлению к лестнице. Вдруг его по-французски окликнул знакомый старческий голос. Он удивленно оглянулся и увидел Ламора. Штааль подошел к нему и поздоровался.

– Все живописью люблюсь, – сказал Ламор. – Немало дряни, но есть и превосходные картины... Особенно портреты... Лукавые люди ваши портретисты... Рисует человекэтакого вельможу: какой блеск, что за величие! А смотришь – чего-то вельможе не хватает. Чего бы? Да кольца в носу – перед тобой точно разодетый дикарь. Я преувеличиваю, конечно, но что-то есть дикое и страшное в некоторых из этих портретов. Может быть, ваши художники обличают высшее общество? У нас перед революцией все обличали двор: писатели обличали, художники обличали, музыканты обличали... Вестрис тот и танцевал не иначе как с обличением и с патриотической скорбью. В вашей гостеприимной стране вдобавок все просвещенные люди думают, что Россия отстала от Европы на целые столетия, Это происходит оттого, что Россию вы знаете, а Европу нет. Конечно, Россия отстала, но так лет на тридцать, не больше.

– Да, у нас теперь есть прекрасные живописцы. Рублей за триста вы можете купить хорошего художника, ежели без жены, – деловито сказал Штааль. Он с напряжением поддерживал разговор.

– Как? Ах, да... Нет, я не торгую художниками. Что ж,

пойдем?.. В общем, я должен признать, что этот замок – один из самых прекрасных, своеобразных и поэтических дворцов, какие я когда-либо в жизни видел. Его тоже Растрелли строил?

– Нет, что вы, Растрелли давно умер.

– Да? Я потому, видите ли, спрашиваю, что всю Россию, кажется, выстроил Растрелли. По крайней мере, у всех моих знакомых русских, либо в Петербурге, либо в имении, Растрелли непременно строил дом. Этот архитектор, по моему приблизительному расчету, должен был жить лет триста и все, днем и ночью, строил русским дворцы. А мы в Европе и не слыхали о таком архитекторе... Но кто бы ни строил Михайловский замок, поздравляю. Весь ваш Петербург точно из «Тысячи и одной ночи», а Михайловский замок едва ли не лучше всего. У вашего императора есть то, что в искусстве лучше вкуса: у него есть размах.

– Ну, размаха у покойной государыни было побольше, – сказал Штааль, оглянувшись.

– Я не нахожу. Монархи, как поэты, рождаются; nascuntur, non fiunt.¹²³ Екатерина II родилась захудалой немецкой принцессой и такой же осталась на русском троне. Вы скажете: ее победы. Но с кем она воевала? С турками, с поляками, со шведами. Турок, поляков побеждала – невелика заслуга. А шведов уж не очень и побеждала. Поверьте, никто в Европе не знает по названию ни одержанных Екатериной побед, ни

¹²³ Рождаются, а не делаются (лат.).

заключенных ею мирных трактатов. Ведь это очень важно: что такое слава, если ее нельзя обозначить двумя словами? Ну, какой мир заключила она с турками? Ку?.. Кутшу?..

– Кучук-Кайнарджа, – подсказал с улыбкой Штааль.

– Вот видите, разве это можно запомнить? То ли дело император Павел! Воевать – так против французской республики, во главе европейской коалиции. Итальянская кампания, ваш переход через Альпы – это запомнится.

– Да, конечно, – сказал Штааль, вспыхнув от удовольствия.

– И имя хорошее: Суворов. Отличное имя для полководца. Оно звучит как трубный звук. Очень важная вещь... Прекрасное имя у нашего первого консула, у генерала Бонапарта.

– Какое? Ах да, Наполеон.

– Да, прекрасное имя, звучное, необыкновенное и не смешное. Оно очень ему пригодится. Что, если б его звали Жан-Селестен-Мари? Вы за себя не тревожьтесь, молодой человек. У вас фамилия так себе, но жаловаться не на что... Да, мы говорили об Екатерине? Ведь она, кажется, не выстроила ничего особенно грандиозного? Это ее вельможи строили настоящие дворцы: Орлов, Потемкин, Строганов, еще мне называли каких-то князей и графов. Эти точно были люди со вкусом и с размахом. А Екатерина и строила, кажется, больше для того, чтобы от них не отставать...

Они медленно шли по залам. Ламор часто останавливал-

ся и не умолкал ни на минуту, объясняя Штаалю достоинства и недостатки всего того, что им попадалось. Эта медленная ходьба с остановками и говорливость старика все больше утомляли Штаалья. Богато одетая дама, с тройной длинной ниткой жемчуга на шее, шла им навстречу. Штааль проводил ее взглядом и увидел, что Ламор также смотрел ей вслед. Штааль усмехнулся.

– Вы смотрите на даму, а я на жемчуг, – пояснил Ламор. – Какое изумительное свидетельство человеческой глупости. Вы знаете, что такое жемчуг? Я в молодости был на острове Цейлоне и видел ловлю. Это очень интересное зрелище. Под палящими лучами солнца от берегов Манарского залива отходят десятки лодок. Слышится заунывное пение: это специалисты заклинают акул, которыми кишит в тех местах море. На лодках ловцы, так называемые дайверы, самые несчастные из людей. К ногам их привешивают тяжелый камень – для того, чтоб им было легче нырять. В левой руке у дайвера сигнальный шнурок. В правой – кол для защиты от неверующих акул, не поддавшихся чарам заклинания. Ловец зажимает рот, нос и, зацепив пояс за веревку, бросается в воду. Опустившись на большую глубину, он набирает в сеть раковины, затем дает сигнал. По сигналу дайвера вытаскивают, если на счастье его милует акула. Впрочем, виноват: сначала вытаскивают сеть с драгоценными раковинами (она на особом шнурке), а уж потом самого ловца. К концу рабочего дня у дайвера обычно кровь идет изо рта, из носа, из ушей...

Живут ловцы очень недолго: не акула, так апоплексический удар. Затем раковины складываются на берегу и там гниют: пока они не сгнили и не высохли, из них нельзя вытащить жемчужины, не оставив на ней знака, который, видите ли, ее портит. От гниения раковин стоит на милю расстояния такое зловоние, что жители бегут от берегов, пока не пройдет муссон и не очистит воздух. Делается же все это для того, чтобы та толстая дама могла своим великолепием огорчить других дам. Правда, даме все это неизвестно, и, по птичьему своему уму, она ничего такого и не понимает. Но для кого же существуют виселицы, если не для торговцев жемчугом?

– Да вы, сударь, говорите, как эгалитер, – сказал иронически Штааль. «Невелика мудрость толстую купчиху изобличать», – подумал он.

– Нет, какой я эгалитер! Разве коллекционер человеческой глупости, и то нет: надоело и это.

Солнечные лучи вспыхнули, прорезав туман, осветили голубой бархат стены, хрусталь люстры, золото тяжелых канделябров. Штааль невольно сошел с дорожки, проложенной по середине узкой длинной комнаты, и заглянул в окно. День был ослепительно светлый. Вдали на Царицын луг проходил кавалергардский полк. Он шел по новому порядку, «колено с коленом сомкнувшись», с дистанцией в одну лошадь между шеренгами. В первой шеренге в середине каждого эскадрона чуть колыхались штандарты. Люди, в великолепных мундирах, украшенных белыми крестами, на тяжелых гнедых ло-

шадях с красными вальтрапами, двигались медленно, непостижимо ровно. Солнце сверкало на пиках и кирасах.

– Вот это прекрасно! – сказал Ламор, с любопытством вглядываясь в даль утомленными прищуренными глазами. – Сколько красоты и поэзии во всем этом! Вот, мой юный друг, истинное назначение армий: парады. Подумайте, как безобразна война: как на ней все нелепо, бестолково, до ужаса грязно... Не надо больше войн, мой друг, повоевали, и будет. Я неизменно говорю это и другому моему приятелю, генералу Бонапарту. Жаль, что он плохо слушает, как и вы, впрочем... Хорошо идут, а? Удивительный, на редкость красивый полк. Пожалуй, другого такого нигде не сыщешь. В дни моей молодости хорошо ходил наш Royal-Gravates, синяя кроатская кавалерия на французской службе... Мудро, мудро устроена эта отдушина: какая дивная система для уловления молодых душ! Нет человека, который в семнадцать лет всем этим не грезил бы – и слава Богу! Если б вы не грезили этим, то грезили бы чем-нибудь похуже – похождениями Картуша, величием Робеспьера...

Кавалергарды медленно уходили вдаль.

– Не дай Господь, чтоб на это прошла мода, – продолжал Ламор. – Быть может, именно это спасет вас от колеса или гильотины... Впрочем...

Он замолчал и оглянулся. В комнате никого не было.

– Что, мой друг, плачут царские кони?

– Как вы говорите? Я не понимаю...

– Это не я, это Плиний... Плиний говорит, что лошади льют слезы, когда их хозяевам грозит опасность. А другой древний лгун, Светоний, утверждает, что незадолго до мартовских ид заплакали горькими слезами кони, на которых Цезарь перешел Рубикон.

– Что вы хотите сказать?

Ламор пожал плечами.

– То, что говорит, кажется, весь Петербург. Мой друг, носятся упорные слухи о заговоре против императора Павла.

– Я ничего не знаю! Может быть, вам что-либо...

Голос Штааля дрогнул. Ламор посмотрел на него внимательно.

– Это весьма удивительный заговор. Все о нем говорят – и ничего... Я иностранец, по-русски не понимаю ни слова, а слышал. А вот ваша страшная Тайная экспедиция...

Он опять взглянул на побледневшее лицо Штааля и замолчал.

– Вот что, мой милый друг, – заговорил снова Ламор серьезным тоном. – Меня все это не касается, но я втрое старше вас и видел побольше вашего. Ничего я этого не знаю и не хочу знать... Впрочем, нет, очень хочу знать, но не знаю... – Он опять помолчал, вопросительно глядя на Штааля. – Я, конечно, ни о чем вас не спрашиваю, я так говорю, на случай чего: не лезьте вы в это дело, – вы, шальной юноша, господин Питтов агент, – вставил он с усмешкой. – Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. А выйдет, так вас не

очень благодарят... Других, может быть, благодарят, а вас едва ли... Не напоминаю вам, конечно, о присяге – это пустяки. Когда вас приводили к присяге, то, верно, не спрашивали, согласны ли вы присягать или нет, правда? Вы тотчас присягнете другому царю, и дело с концом... При всех переворотах первым делом те же люди присягают новой власти, и она всегда чрезвычайно этому рада – я никогда не мог понять почему... Однако причины вам лезть в эту петлю я не вижу решительно никакой. Правда, осведомленные люди утверждают, что ваш монарх сошел с ума. Но, во-первых, еще нужно доказать, что страна не может процветать при сумасшедшем монархе. По моим наблюдениям, народы и страны более или менее одинаково процветают при всяких правителях и правлениях. А во-вторых, не во всем верьте и осведомленным людям. Помните мудрое изречение: «Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage».¹²⁴ Я вот недавно беседовал с одним либеральным помещиком. Уж так он бранил все ваши порядки – и верно, поделом, – пуще всего бранил разрыв дипломатических сношений с Англией: безумие, кричит. А потом выяснилось, что вследствие разрыва дипломатических сношений с Англией у всех русских помещиков доходы уменьшились втрое; некому продавать хлеб, дерево, лен. Я и думаю: хороший помещик, либеральный помещик, но, может быть, разрыв с Англией и не такое уж безумие, а? С английской точки зрения, конечно, безумие; как с рус-

¹²⁴ «Тот, кто хочет утопить свою собаку, заявляет, что она бешеная» (франц.).

ской, я не знаю, а с мировой – это вещь полезная. Почему не стать на мировую точку зрения? Во всяком деле первая вещь – точка зрения... Будет очень хорошо, если наши монархи назло Англии возьмут и заключат союз.

– Как это монархи? У вас ведь республика.

– Ах да, я забыл... Ну да все равно... Первый консул знает, что делает, стремясь к соглашению с Россией. Надо бы ему помочь в интересах мира... Впрочем, все это – высшая политика, а вам я попросту говорю: по дружбе вам советую стать на такую точку зрения, чтоб не соваться в это дело. Опять же, если оно не выйдет, у вас могут быть серьезные неприятности. Например, колесо. Я это в молодости не раз видал на Гревской площади – помните, недалеко от Notre Dame есть большая площадь? В доброе старое время на казни съезжалось все лучшее общество. Я в жизни не видал сборищ приятнее... Но висеть на колесе, могу вас уверить, вовсе невесело. У вас, кажется, более принято четвертование? Что ж, Берк недавно доказал, что ко всем национальным обычаям следует относиться с полным уважением. Четвертование так четвертование. Вот вы и представьте себе, как вас разделнут и начнут привязывать к лошадям и как вы тогда вспомните, что можно было пить вино, ухаживать за хорошенькими женщинами или хоть со мной, стариком, болтать, а? Не лезьте, право... Не говорю уже о мелочах, вроде Тайной экспедиции с кнутом и другими хорошими вещами. В Тайной экспедиции, наверное, сидят изобретательные люди. В этой

области есть в любой стране такие Франклины, такие Лавуазье, что невольно гордишься даровитой человеческой породой... Серьезно вам говорю, милый друг, любя вас говорю, не лезьте вы в это дело, и друзьям советуйте не лезть.

– Да о чем вы говорите, не понимаю, – сердито сказал Штааль. – Я не участвую ни в каком заговоре.

– Ну и хорошо, если так, – произнес Ламор с видом полного одобрения и замолчал.

– Вот поживете с мое, – начал он снова, – сами увидите: не стоило ни в какие истории лезть... Ведь сколько мне осталось жить? Год, два, предположим, пять лет, хоть это почти невероятно. Я вспоминаю: что было пять лет назад? Да ведь точно вчера это было!.. Стоит ли стараться, а? Есть люди, – сказал он злобно, – есть люди, которые утешаются тем, что их переживет какое-то дело... Это самые глупые из всех: складывают ноли и радуются воображаемой сумме.

«И то пора тебе, в самом деле, помирать, – подумал Штааль, вспоминая, что Ламор еще семь лет тому назад, при первом их знакомстве, говорил ему о своей тяжелой болезни и о близкой кончине. – Все врал, разумеется...» Ему хотелось напомнить об этом Ламору. Они шли минуты две молча. Штааль искал случая проститься. Им повстречался неторопливо гулявший по залу величавый каштелян замка в странном, очень длинном малиновом мундире с золотыми кистями.

– Вы, что ж, во двор не идете? – спросил он Штааля, по-

кровительственно кивнув головой.

– Зачем во двор?

– Сегодня там представляются его величеству и благодарят. Как погода очень хорошая, то во дворе. Или не интересно посмотреть?

– Очень интересно, да разве можно присутствовать?

– Отчего же? Не воспрещается, ежели вас сюда пустили... Публика всегда есть. Кого даже и приглашают. Высовываться вперед, конечно, не годится.

Штааль не перевел Ламору слов каштеляна. «Еще тоже увяжется. Бог с ним, надоел. Много очень говорит и не в свое дело суется...» Он простился со стариком и направился во двор кратчайшей дорогой, указанной ему каштеляном.

VIII

Император должен был приехать с вахтпарада, производившегося на Царицыном лугу. В восьмиугольном внутреннем дворе замка представлялись офицеры гвардейских полков, не принимавших участия в вахтпараде, а также другие лица, которым в этот день надлежало за что-либо благодарить государя. Была во дворе и посторонняя публика. Около одной из ниш, вблизи перистиля, стояли стулья, очевидно для приглашенных на церемонию почетных гостей. Штааль увидел здесь и дам. Среди них он узнал падчерицу Екатерины Лопухиной, Анну Петровну, недавно выданную замуж за

князя Гагарина. Другие зрители, служащие Михайловского замка или случайно, как Штааль, затесавшиеся люди, робко жались друг к другу по углам, видимо, не зная точно, имеют ли они право присутствовать на церемонии.

Порядок до приезда государя соблюдался нестрого. Некоторые из представлявшихся еще гуляли под колоннами перистилия, выходили на лестницу замка или любезничали с приглашенными дамами. Большинство офицеров, однако, уже стояло группами, по полкам. Лица у многих были встревоженные, даже испуганные. Командиры полков тщательно с ног до головы осматривали каждого нового офицера: за упущение в форме можно было и виновному, и командиру угодить в ссылку или, по крайней мере, в чистую отставку. Штааль тоже с беспокойством себя осмотрел, хотя было маловероятно, чтобы государь обратил внимание на постороннюю публику. Штааль занял место в кучке служащих замка, подалее, ни к кому не подходя. Он издали смотрел на Анну Петровну, по-прежнему не находил ее красивой и по-прежнему удивлялся тому, как в не очень красивую женщину может быть влюблен государь. Говорили, что император влюблен в Гагарину больше прежнего, а к госпоже Шевалье будто бы остыл. Говорили, впрочем, и обратное. Штаалю понравилось, как скромно и просто держала себя Анна Петровна (ее все хвалили за простоту и за то, что она, как прежде Нелидова, часто заступалась за пострадавших и ходатайствовала о них перед государем). К ней многие подходили. В то время

как ее увидел Штааль, с Гагариной разговаривали Зубовы, князь Платон, недавно по ходатайству Палена возвращенный в Петербург после долгой опалы, и его брат, граф Николай, огромного роста гусарский офицер с грубым, отталкивающим пьяным лицом. Платон Зубов, видимо, рассыпался в любезностях перед Анной Петровной. «Верно, считает себя неотразимым, красавчик», – с насмешкой подумал Штааль, хоть он теперь, после встречи в приемной военного губернатора, был доброжелательно настроен в отношении бывшего фаворита Екатерины. Анна Петровна, как показалось Штаалю, с робостью смотрела своими кроткими глазами на Зубовых, особенно на Николая.

Несколько поодаль от представлявшихся групп офицеров Штааль увидел с удивлением графа Никиту Петровича Панина, недавно подвергшегося опале и уволенного от должности вице-канцлера. «Он-то за что же благодарит?» – озадаченно спросил себя Штааль. Рядом с Паниным стоял взволнованный мальчик в мундире пажа. Они двое и составляли в этот день группу благодарящих. По-видимому, соседство мальчика раздражало бывшего вице-канцлера. Панин старался казаться спокойным и даже слегка улыбался. Но легкая судорога изредка дергала его тонкое, умное и желчное лицо. Паж испуганно на него поглядывал. Граф Панин вызывал всеобщее любопытство. Но он ни к кому не подходил и холодно-учтиво отвечал на поклоны. Впрочем, кланялись опальному сановнику далеко не все его знавшие.

«А ведь ежели есть заговор, то здесь должно быть немало участников, – подумал Штааль со смешанным чувством страха и радости. Он переводил взгляд от одной полковой группы к другой, стараясь угадать заговорщиков. – Зубовы? Да, вероятно... Платон Александрович, конечно, ненавидит государя. И у Палена он тогда был, верно, неспроста... Кто же еще? Панин, что ли? А дальше?.. – Штааль вглядывался в офицеров, стараясь прочесть на их лицах, участвуют ли они в заговоре или нет. Лица ровно ничего об этом не говорили. – Ведь есть же, говорят, такие, что читают в душах, как в книге... Верно, врут это... Ну, вот бы у меня кто прочел в лице, участвую ли я или не участвую, особенно ежели я и сам этого не знаю?.. Глупое, правда, мое положение... Однако, коль на то пошло, за чем дело стало? Чего проще его тут же зарубить саблями, – какая здесь может быть охрана? – думал Штааль замирая. – Может, и вправду царя сегодня убьют? Верно, за ним следуют?.. Не предупредить ли его? Нет, это было бы подло... А почему же подло? Разве я дал им слово молчать? Разве они мне открыли всю правду? Напротив того, я присягал государю, собственно, мой долг и есть в том, чтобы все ему донести... Правда, я никогда не донесу, но на то моя добрая воля... И вправду пора положить край этой тирании», – нерешительно думал Штааль, все больше теряясь в своих мыслях.

Он продолжал осматривать собравшихся, почему-то вдруг вспомнив сцену во дворе Якобинского клуба. Внезап-

но за группами офицеров по другую сторону двора под его взгляд попала томно порхавшая Екатерина Лопухина. «Ее только здесь не хватало... Как бы не увидела меня», – подумал Штааль и ретировался в сторону, так, что семеновские офицеры закрыли от него Лопухину. Но в ту же секунду она снова где-то выпорхнула. Лицо Екатерины Николаевны сияло. «Что же она не подойдет к Анне Петровне?.. Говорят, в семьях Лопухиных и Гагариных Екатерину Николаевну не переносят – считают ее за фамильный скандал и несчастье древнего рода... Потому Рюриковичи... У всех у них, у Рюриковичей, что ни говори, особое достоинство... Иные и милости Анны Петровны, слышно, не рады. С чего же Лопухина этакой именинницей ходит? Кто с ней? Ах, то-то: наследник, не кто иной». Великий князь Александр, принужденно улыбаясь и, видимо, думая о другом, рассеянно разговаривал с Екатериной Николаевной. «Говорят, она имеет на него виды. Тоже губа не дура... Какой, однако, красавец великий князь! Правду говорят, ангельское лицо: что за чистота в выражении! Вот бы кого в цари...» Александр Павлович поцеловал руку Лопухиной (она просияла еще больше), быстро отошел от нее и занял место впереди офицеров Семеновского полка. В ту же секунду офицеры, гулявшие у перистилия, бросились по местам. Панин с неприятной улыбкою оглянулся на вытянувшегося рядом пажа. Ужели государь едет? Не может быть, рано, да и дали бы знать, ежели б государь», – подумал Штааль и, оглянувшись, увидел, что

из открывшейся настежь большой стеклянной двери замка вышел граф Пален. Он командовал парадом. Пален, отдавая честь, неторопливо прошел по двору, внимательно оглядывая зорким взором каждую группу. Увидев вице-канцлера, он удивленно поднял брови, затем, что-то вспомнив, усмехнулся и слегка развел руками.

– Государь император прибудет не ранее как через полчаса, господа, – сказал он громко, закончив обход. Во дворе снова началось движение.

– А как сошел вахтпарад? – беспокойно спросил кто-то вполголоса.

– Как сошел, еще не знаю, полковник, – очень серьезным тоном сказал Пален, – а начался плохо. Я оттуда. Государь император нынче с утра гневен.

Лица у слышавших его слова побледнели. Известие мгновенно передалось во все концы двора, миновав только Гагарину, которая, беспокойно оглядываясь по сторонам, сидела у статуи Славы. Некоторые из служащих замка стали исчезать. «Не убраться ли и мне подобру-поздорову, пока цел?» – спросил себя Штааль. Но любопытство в нем превозмогло тревогу. На людях не было страшно. Группы во дворе снова разбились. Поднялся гул, более взволнованный, чем прежде.

Пален приблизился к отставному вице-канцлеру и вместе с ним прошел к стеклянной двери. Все провожали их глазами. Они поднялись по лестнице.

– Ты за сенаторское звание благодаришь? – спросил Пален

с нескрываемой насмешкой, садясь на бархатный небольшой диван и показывая своему собеседнику место рядом с собою (этот жест тотчас раздражил Панина – точно Пален разрешал ему сесть). – Впрочем, ты больше и не сенатор.

Они приходились другу другу родственниками и были на «ты», несмотря на разницу в годах. Пален говорил по-немецки: немецкий язык в ту пору был уже мало распространен в обществе.

– Так, пришел откланяться, говорят, нужно, – отрывисто ответил Панин, неохотно принимая и эту меру предосторожности, и иронический тон своего собеседника. – Благодарить мог бы разве за приказ немедленно выехать из Петербурга в деревню... Сегодня утром получил.

– Я знаю. Ничего не мог поделать.

– Я тебя и не виню.

– Едва ли он будет с тобой говорить, – сказал Пален, подумав. – Он очень зол на тебя... Лучше бы ты и не являлся, а написал письмо Гагариной. Графине передай мое искреннее участие. Впрочем, за тебя я могу лишь порадоваться. Отдохнешь душою от этого сумасшедшего дома... Да и голова останется на плечах, чего нельзя с уверенностью сказать о других (он привстал и заглянул вниз). Но для дела твой отъезд – истинное несчастье. Еще хуже, чем эта глупая смерть Рибаса... Нам не везет.

– Я присутствовал при этой глупой смерти, – сказал, хмурясь, Панин. – Вернее, я не отходил от него с той минуты,

как он впал в беспамятство. Это было ужасно... Рибас бредил и мог проговориться... Я безотлучно был при нем, следил за каждым его словом, заглушал его голос, когда входили близкие... Разве теперь можно кому верить?

– Враги его у нас говорили, будто он ненадежен, – сказал Пален. – Ходил, ходил такой слух...

Панин вспыхнул.

«Точно такой же слух ходит о тебе», – подумал он с раздражением.

– Рибас ничего дурного не сделал, – сказал сухо Панин. – А вот кто может поручиться, что надежны те молодчики, которых ты ежедневно вербуешь?

– Никто не может поручиться.

– Так что же ты делаешь? – с горячностью произнес Панин. – Я не скрываю, не я один удивляюсь.

– Укажите мне, пожалуйста, другой, безопасный способ привлечения людей к заговору. Я с удовольствием приму... Какие вы удивительные люди, – сказал Пален. Он снова встал, заглянул вниз через перила (в вестибюле по-прежнему не было никого). – Я отлично знаю, что вы все мною недовольны. Отчего же вы не возьмете дела в свои руки? Я охотно уступлю. Может быть, Талызин с братьями-масонами? Или князь Платон, а? Или – чего же лучше – ты сам?

– Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, – ответил, сдерживаясь, Панин. – Меня высылают из Петербурга, да я штатский человек. Руководить военным заговором мо-

жет только военный с большим именем.

– Так возьмите Зубова, ведь он генерал-фельдцейгмейстер.

– Полно шутить. Зубов воин из будуара императрицы и... Ну, ты сам знаешь. Талызин – храбрый и порядочный человек (Панин невольно подчеркнул это слово), но он молод и неопытен. После смерти Суворова ты один имеешь должный авторитет в офицерстве...

– Тогда предоставьте мне поступать так, как я считаю нужным. С тех пор как существует мир, заговорщиков, думаю, вербовали именно так, как их вербую я. Других способов я не знаю. Разумеется, риск есть, страшный риск... Тайная канцелярия, правда, ничего не делает помимо меня... Что?

– Ничего, – ответил Панин, стискивая зубы.

– Тебе не нравится? Талызину тоже не нравится (он сказал пренебрежительно: *dem Talysin*). В остальном вы непохожи друг на друга, а в этом сходитесь. Хороши бы мы были, ежели б я не стоял во главе Тайной канцелярии. Могу тебя уверить, что вы с Талызиным уже висели бы теперь на дыбе... И не вы одни...

Он помолчал.

– Я говорю, за Тайную канцелярию я более или менее спокоен. Но кто же может поручиться (как ты справедливо выражаешься), что один из тех молодчиков, которых я вербую ежедневно, не донесет обо всем прямо государю? Никто не может поручиться. Очень трудно устроить заговор с руча-

тельством... Я каждое утро, выходя из дому, готовлю себя к тому, что больше никогда не вернусь. Каждый день жизни я рассматриваю как дар судьбы. Вполне возможно, что государь сегодня же пошлет за Аракчеевым. Может, он уже послал. Знаю, что он подозревает о заговоре... Он всех подозревает, – но больше всего... больше всего тех, кто действительно в заговоре участвует. От природы он человек неглупый. Быстро теряет рассудок, но, кажется, не совсем еще потерял. Я знаю, он хочет заменить меня Аракчеевым. Тогда с вами будет разговор.

«С вами? Отчего же не с нами?» – спросил себя Панин.

– Пока все же он еще мне верит... Ты только и умел с ним поссориться. Это очень нетрудно. Вы обвиняете меня в двоедушии, я это прекрасно знаю... Я все знаю – больше, чем вы, быть может, думаете. Однако на моем двоедушии держится все дело. Каких усилий мне все это стоит, как мне все это гнусно и гадко, не стану говорить. Но я это делаю для России...

В глазах Панина что-то мелькнуло.

– Я это делаю для России, – повторил Пален, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово: *Was ich tue, das tue ich für Russland...*¹²⁵ Я знаю, мое немецкое имя внушает вам недоверие. У русского дворянства недоверие к людям с немецким именем – старинный и неизменный признак либерализма... Твою матушку звали, однако, баронесса Вендель. Но,

¹²⁵ То, что я делаю, делаю для России... (нем.)

разумеется, решающее значение имеет кровь отца, – сказал он с насмешкой. – Иначе, может быть, и русских среди нас не осталось бы... Все-таки, поверь мне хоть в этом, я такой же русский патриот, как вы с Талызиным. Шестой десяток живу, служу России, как могу, и ничем, слава Богу, пока русского имени не посрамил.

– Да кто же сомневался?..

– Ну, тем лучше, если никто не сомневается. Так повторю, пока Павел мне верит. Но, в самом деле, кто может поручиться (он опять иронически подчеркнул это выражение), что один из завербованных мною молодчиков сегодня же, да вот здесь на представлении, не доложит всего государю?

– И что же тогда?

– Тогда пришлось бы действовать решительно, тут же, – сказал Пален равнодушно. – Боюсь только, как бы после этих решительных действий солдаты не подняли нас на штыки... Ну да что говорить заранее! Пока никто не донес. Разумеется, – сказал он, смеясь, – я не так уж во всем открываюсь молодым шалопахам, о которых ты говоришь и без которых, к сожалению, нельзя осуществить дело. Жаль, что покойный Фонвизен – тот, что комедии писал, – не видал меня с некоторыми из них. Я иногда сам себе напоминаю не то заклинателя змей, не то Месмера, не то злодея из пьесы сочинителя Коцебу. Это прекрасно действует почти на всех... Кстати, ты не знаешь господина фон Коцебу?

– Того, что заведует немецким театром? Встречал, кажет-

ся.

Пален опять засмеялся.

– Знаешь ли ты, чем он сейчас занят? Павел осчастливил его литературным заказом. Ему приказано составить от имени государя вызов на дуэль всем монархам.

– Что такое?

– Я говорю, государь вызывает на дуэль всех европейских монархов.

– Какой вызов? Это шутка?

– Вовсе не шутка. Впрочем, не знаю – разве у него разберешь? Как бы то ни было, Коцебу приказано составить вызов, который будет напечатан в русских и в иностранных ведомостях.

– Да кому вызов? Какая дуэль? Что за вздор!

– Знаю только, что я и Кутузов – секунданты. Принимаю поздравления.

– Да где ж это видано?

Пален пожал плечами.

– Где видано, чтоб мертвым людям делали выговор? Объявил же он выговор умершему Врангелю. Где видано, чтобы высылать так послов... Да вот опять вышло хорошо: он поругался со своим гостем, с шведским королем. Они, видишь ли, не ладили. Наш изображает из себя Фридриха II, а тот мальчуган – Карла XII... Что же ты думаешь? Королю не велено давать есть, будет голодать всю дорогу. Разве ты еще не слышал?

– Несчастливая страна, – сказал со вздохом Пален. – Его по-человечеству жаль.

– Кого? Шведского короля?

– Государя, разумеется.

– Разве что по-человечеству.

Панин быстро на него взглянул.

– Мало ли в России сумасшедших. Их зверски бьют, на них надевают смирительные рубашки. Конечно, по-человечеству и их жалко... Почему его жалеть больше? Те хоть безобидные.

– Что Александр? – спросил, помолчав, Панин.

– Все тянет... Этот мальчик умен и очень скрытен. Сам не знаю, как быть. Без него действовать трудно, а он упорно не дает ответа. Видишь ли, ему очень хочется стать царем. И очень не хочется стать отцеубийцей... Что ты морщишься? Я правду говорю... Конечно, его положение тяжелое... Хуже моего! – вырвалось вдруг у Палена. – Вот он и думает, как бы так сделать, чтобы и царем стать, и отца не обидеть. Ему так хотелось бы, чтобы мы свергли Павла без него... Так, видишь ли, свергли, чтоб он ничего не знал. Тогда он мог бы, в порыве сыновнего возмущения, ну, не казнить нас – он юноша не кровожадный, – а, скажем, сослать подальше. Перед историей это было бы совсем хорошо... Я понимаю, конечно, что ему это было бы крайне удобно. Но нам совсем неудобно, – добавил он, усмехаясь. – Я вынужден поэтому все беспокоить его неприятными разговорами.

Еще придется поговорить... Жаль, что нельзя при свидетелях. Этот мальчик очень хитер.

– Как бы мы не ошиблись в расчете?

– Не думаю. Но, разумеется, власть должна быть у них вырвана. В этом ты совершенно прав. Я знаю твой проект конституции. В общем одобряю, но есть серьезные недостатки.

Он кратко и точно изложил недостатки выработанного Паниным конституционного проекта. Панин внимательно слушал и удивлялся дельности возражений, здравому смыслу этого человека.

– Мы, конечно, не знаем, как к нашему делу отнесется русский народ, – начал Панин.

– Русский народ? Вероятно, нехорошо отнесется. Я думаю, народ любит Павла: любит именно потому, что мы его ненавидим, – другой причины я не вижу. К счастью, не так важно, что думает народ... Его нигде, кажется, ни о чем не спрашивают, а особенно в таких делах, да еще у нас в России... Войска, гвардия, это так.

– Я иного мнения, – еще больше хмурясь, сказал Папин. – Может, ты находишь, что народ любит и палки, и крепостное право?

– Да, это очень серьезный довод. Мы отменим и палки, и крепостное право, но нам потребуются годы. А народ ждатель не любит. Поэтому рассчитывать на проявления народной благодарности не следует. Я даже принял кое-какие меры предосторожности.

– Почему потребуются годы?

– Если освободить крестьян без земли, они возьмутся за вилы.

– Надо, значит, освободить их с землею.

– Ты Дугино отдашь?

– Дело не во мне и не в моем Дугине... Нужно найти общее решение, которому я подчинюсь, как другие.

– Зачем непременно общее решение? Если б ты хотел отдать своим крестьянам Дугино, ты давно мог бы это сделать. Как ни относиться к нашему самодержавию, надо все же признать, что оно никогда не запрещало частным лицам заниматься благотворительностью, – сказал Пален. В тоне его теперь, как и у Панина, звучала явная враждебность. – Во всяком случае, я решительно тебя прошу не поднимать вопроса о крепостном праве... До тех пор, пока мы не доведем дела до конца. Я прямо скажу: ты отобьешь от комплота девять десятых участников. У нас состав пестрый. Одни принимают участие в деле по самым высоким патриотическим мотивам, как ты. А другие – потому, что подкуплены на английские деньги. Одни хотят завести конституцию или даже республику, а другие смертельно боятся, как бы Павел не освободил крестьян.

– Назови имена. Я не желаю участвовать в деле с такими людьми... И об английских деньгах я слышу впервые.

– Я никак не предполагал, что ты подкуплен. И меня, как ты догадываешься, не подкупили. Что до английских денег,

то беды никакой нет, ежели и правда. Лишь бы стать у власти, а затем мы отобьем у господ англичан охоту вмешиваться в наши дела... Впрочем, большинство у нас составляют люди, которым одинаково мало дела и до крепостного права, и до конституции, и до Англии. Большинство – это молодые люди, которые пойдут свергать царя, как еще недавно шли шалить в корпусе. Все равно: сейчас мы все союзники. А дальше будет видно... Нечего переделывать людей, бери их такими, каковы они есть, ежели ты хочешь быть политическим деятелем.

По побледневшему лицу Панина он увидел, что раздражение завело его слишком далеко. «Да, конечно, это не следовало ему говорить. Он хоть и молод, но занимал важнейшие государственные посты».

– Ну, что ж нам тут спорить на сквозном ветре, – изменив тон, благодушно сказал Пален (точно они только что заговорили на этом месте). – К тому же ты это понимаешь лучше меня. Ты так долго изучал все эти вопросы. Ich habe nur die Pfiffigologie studiert,¹²⁶ – сказал он весело (Панин знал, что это слово, от pfiffig – «хитрый», было любимым выражением Палена). – Главное мое соображение: нет у нас конституционалистов. Ты, я, Яшвиль, еще два-три человека. Воронцов? И то не знаю. Едва ли даже Талызин? Да и у каждого конституционалиста, верно, свой проект конституции. Сговориться будет не так просто.

¹²⁶ Я изучал только **хитрологию** (нем.).

– Мы убедим других.

– Надеюсь, убедим: гвардия в моих руках.

Он опять пожалел о вырвавшемся у него слове, увидев снова раздражение и недоверие на смягчившемся было лице Панина. «Однако я все хуже собой владею», – подумал он с неудовольствием.

– Ну да сначала сделаем дело, – сказал Пален. – Ты когда едешь? Завтра?

– Да, кажется.

– Счастливого пути... До его отречения... Когда он отречется, я тебя вызову... Мы немедленно тебя вызовем, – поправился он. – Пойдем, однако, он скоро приедет. И то ему, верно, сегодня же донесут, что я долго с тобой разговаривал...

IX

Они вернулись во внутренний двор замка, и опять появление Палена привлекло общее внимание. Гул разговоров ослабел. Никита Петрович, ни с кем не заговаривая, вернулся на свое прежнее место и оттуда недоброжелательно провожал взглядом Палена. «Эким он ходит хозяином дома! – сказал он себе с легким раздражением. – И улыбается этак по-королевски...» Он подумал, что Пален, верно, ненасытной любовью любит свое хозяйское положение в России, почет, который ему воздают, и особенно сказывающуюся в этом по-

чете власть. «Верно, любит и двор, и этикет дворцовый, и куртизанов, и пажей, и скороходов, и все эти chinoiseries,¹²⁷ – с насмешкой думал Панин, в душе сознавая, что и сам он ко всему этому не вполне равнодушен, и оттого озлобляясь еще больше. – Зачем же ему наша cause,¹²⁸ если он и так хозяин в России, le maitre absolu du pays?¹²⁹ Для верности, что ли? Он не был бы и за конституцию, если б обеспечил себе роль временщика. Ведь при Павле все это карточный дом... А когда Пален совсем усядется над нами, он в своем роде будет почище Павла...» Никита Петрович сердито оглянулся на пажа, который жадными глазами тоже следил за Паленом. Военный губернатор остановился около группы семеновских офицеров. Наследник престола отдал честь, настойчиво подчеркивая свою служебную подчиненность. Легкая ответная улыбка Палена и принимала это как должное, и вместе как бы показывала, что его немного забавляет подчиненность ему наследника русского престола. Так, по крайней мере, про себя толковал эту улыбку Панин.

Посторонняя публика в углу двора заволновалась. Штааль оглянулся. Кучка собралась и быстро росла вокруг немолодого дворцового служителя, который что-то рассказывал с очень значительным видом. Штааль подошел к кучке. Служитель, только что прибежавший с Царицына луга, взволно-

¹²⁷ Китайские штучки; китайщина (*франц.*).

¹²⁸ Дело (*франц.*).

¹²⁹ Абсолютный хозяин страны (*франц.*).

ванным шепотом сообщил, что на вахтпараде случилась беда. Батюшка царь с самого начала был очень гневен. Под конец парада что-то такое не вышло, и государь изволил приказать отсчитать виноватому офицеру двести палок. Служитель ахал, рассказывая об этом происшествии, но в глазах его сияла с трудом сдерживаемая радость. Принесенное известие в одну минуту облетело весь двор. Гул голосов как-то вдруг изменился. Изменились и лица офицеров. Из них никто не подходил и не расспрашивал служителя – его об этом было стыдно расспрашивать. Анна Петровна Гагарина вдруг откинулась на спинку стула и закрыла лицо муфтой. Александр Павлович, очень бледный, стоял перед Паленом, который продолжал что-то ему рассказывать. Пален был по-прежнему совершенно спокоен. Но на лице его больше не было улыбки. Он стал чрезвычайно серьезным.

Со стороны Дворцовой площади загремел барабан. За его грохотом не было слышно команды. Посторонняя публика мигом отхлынула в дальние углы двора. Пален занял свое место сбоку от представлявшихся и в последний раз окинул их беглым внимательным взглядом. Все вытянулись и замерли.

Барабан гремел все громче. Вдруг грохот оборвался. Настала мертвая тишина. К воротам, верхом на белой лошади, медленно подъезжал император. Адъютант и камер-гусар ехали по сторонам от него, сзади, так что головы их лошадей приходились вровень бедрам императорского коня, ни

на дюйм не отступая от положенного расстояния. Станный треугольник приблизился к воротам и здесь в мгновение расстроился. Адъютант и камер-гусар соскочили с коней. Въезжать верхом во внутренний двор замка имел право один император. Белый конь, скашивая глаза назад и закусывая удила, шагом вошел во двор. Землисто-бледный человек в синевато-зеленом мундире, с двумя звездами, немного поднявшись на стременах и наклонившись вперед, судорожно постегивая хлыстом по ботфорту, быстро озираясь по сторонам воспаленными красными глазами, доехал до середины двора. Адъютант боком бежал за государем, не сводя с него глаз. Вдруг государь рванул поводья. Белый конь, сильно мотнув головой, стал, не доходя до окаменевших людей.

Император сошел с лошади, бросив поводья камер-гусару, и принял рапорт Палена. Он больше не постегивал себя по ботфорту и хлыст держал как-то странно, на некотором от себя расстоянии, точно собирался отбить внезапный удар. Опустив подбородок, Павел снизу вверх в упор, странно остановившимися глазами, смотрел на графа Палена. Затем, не сказав ни слова, сдвинулся и мелкими автоматическими шажками, высоко поднимая ноги, подошел к первой офицерской группе. Бледный как смерть наследник престола, не глядя на отца, что-то пробормотал невнятно. Неестественная и страшная улыбка искривила землистое лицо с выпученной нижней губою. Вдруг государь круто повернулся назад. За спиной Павла на расстоянии сажени огромным

столбом стоял Николай Зубов. Хлыст дернулся в руке императора. Несколько секунд длилось мучительное молчание. Затем послышался внятный звучный голос Палена. Все на него оглянулись. Он назвал какую-то фамилию. Мальчик в мундире пажа сорвался с места и выбежал вперед. Император отшатнулся и поднял хлыст.

– Камер-паж... имеет счастье благодарить ваше императорское величество за высокую милость, – спокойно произнес Пален. Мальчик, споткнувшись, опустился на одно колено, с очевидным усилием сгибая ногу в высоком и узком ботфорте. Государь вдруг захохотал и протянул руку для поцелуя. В ту же секунду, взглянув поверх головы мальчика, он встретился взглядом с уволенным вице-канцлером. Павел отдернул руку, и воспаленные глаза его снова остановились.

– Прочь! Не надо! – хриплым голосом прокричал он, неизвестно к кому обращаясь. Он побежал автоматическими шажками вперед по двору. Вдруг у статуи Славы он увидел княгиню Анну Гагарину. Павел остановился. Лицо его сразу совершенно переменилось. Он тяжело вздохнул, провел рукой по лбу. Затем подошел к княгине, робко заглянул ей в глаза и бережно, с нежностью, приблизил к губам ее руку.

Х

Костюмер впрыснул волосы Талызина душистой жидкостью, расположил на его голове согнутую дугою проволоку и,

закрепив косу, усердно засыпал все пудрой. Талызин, закутанный в пудер-мантиль, морщился в белом облаке, закрыв глаза, сжимая ноздри и губы. Продольная складка, обозначившаяся при этом от носа к углам рта, придала его благодушному холеному лицу несвойственное ему надменное выражение.

– Нет, нет, конечно, над ухом, – открывая на мгновение глаза и почти не разжимая рта, недовольно ответил он на вопрос костюмера, устроить ли фальконеты на высоте половины уха или над ухом. Талызин тотчас закрыл глаза в облаке белой пыли, с живостью высвободил правую руку из-под пудер-мантиля и наметил указательным пальцем уровень фальконетов. Он задавал моду в Петербурге, очень изысканно одевался, насколько это позволял мундир, и немного гордился этим, как гордятся эстеты своей любовью к красивым вещам.

– Слушаю-с, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться, – сказал почтительно-ласково костюмер, обожавший Талызина за его щедрость и за благодушную барскую вежливость. Белое облако разошлось. Складки на лице Талызина исчезли. Он открыл глаза и взглянул в большое тройное зеркало, расположенное над туалетным столом. Стол у него был китайчатый лаково-сургучный с золотыми храмами на доске; туалетный прибор – русского глянцевого, снежно-белого фарфора с алыми розами. Талызин ценил русский фарфор и считал своим долгом богатого человека покрови-

тельствовать отечественному искусству. Стены комнаты, над низом резного дуба, были затянуты русскими гобеленами императорской шпалерной мануфактуры. Талызин не любил однородного стиля мебели: Louis XVI к тому же надоел и вышел из моды, Louis XV и даже Louis XIV были у всех знатоков. В комнатах Талызина были собраны красивые и дорогие вещи самых разных эпох и стилей. На полу лежал мягкий бархатный ковер Savonnerie. Мебель была розового дерева, крытая шитым шелком.

– Да, так хорошо, – сказал Талызин, внимательно осмотрев прическу. Он передвинул левую створку зеркала в раме, отделанной яшмой и порфиром. – Вон тут разве пригладить?.. Впрочем, нет, хорошо. Благодарю вас.

Костюмер, вытянув шею и губы, осторожно подул на края волос Талызина, который, почувствовав на лбу дыхание, брезгливо отшатнулся.

– Я вас, кажется, просил не сдувать пудру, – сердито сказал он и тотчас же смягчился: он не способен был говорить резко с людьми низшего положения.

– Простите, запамятовал, ваше превосходительство, – с несколько обиженным выражением сказал костюмер. Он развязал шнурок, которым был перевязан большой сверток в гладкой чистой бумаге, вынул розовое домино и ловко развернул его на левой руке перед Талызиным.

– Как изволили приказать, ваше превосходительство, французского шелка, капюшончик высокий, а маска прямо

из Парижа, от Марасси...

– А другое домино у вас в свертке зачем?

– Это не для вашего превосходительства, это для их сиятельства князя Зубова. От вас к ним велено приехать, в кадетский корпус.

«В кадетский корпус? Ах да, в самом деле, ведь ему приказано воспитывать юношество... Хорош воспитатель, – подумал с неприятным чувством Талызин. Ему опять пришлось в голову, что на то дело, которое они затеяли, должны были бы идти только безупречные люди. – Правда, во всяком хлебе не без мякины. Где же их взять, безупречных людей? Вот и Панина сослала...»

Он в сотый раз подумал, что только чудом каким-то они все еще гуляют на свободе, когда посвящены в дело десятки людей.

– Истинное чудо! – произнес вдруг вслух Талызин. Он в последнее время часто говорил сам с собой. Костюмер посмотрел на него вопросительно, но одновременно сам Талызин с испугом оглянулся на костюмера, точно тот по этим двум словам мог догадаться об его мыслях.

– Чудное домино, – сказал он, улыбнувшись своей нехитрой выдумке.

– Прикажете пристегнуть капюшон?

– Да, пожалуйста.

«Разумеется, чудо, не иначе как промысел Божий, – продолжал думать Талызин. – Да еще, кроме Провидения, то,

что Тайной канцелярией ведает опять же Пален...» Он внутренне поморщился от циничной формы, в которую вылилась его мысль. Ему пришло в голову, что это не случайно: в последнее время слишком часто что-то совершенно непривычное, циничское стало заскальзывать в его душу. «Тот старик француз говорит, что людей можно делить по тому, как часто им приходят в голову так называемые циничные мысли, и по тому, любят ли они эти мысли или нет. Что ж, может быть, и вправду политика без этого не бывает. Да, я не создан для дел политических», – думал Талызин. Эта мысль, все чаще приходившая ему в голову по мере того, как близился к развязке заговор, была ему и приятна, и немного его огорчала.

Талызину иногда хотелось быть настоящим политическим деятелем. В молодости он мечтал об этом. Он и теперь находил необходимым читать разные политические сочинения, хотя они утомляли его и наводили на него скуку: во всякую эпоху есть книги, которые нисколько не интересны громадному большинству образованных людей и которые тем не менее почти всеми читаются; не читавшие их стыдятся этого и делают вид, что читали. От политических деятелей Талызина отталкивали их сухость и нетерпимость. «Надо родиться с особой узкостью души для этого дела», – утешая себя, думал он. Как все люди, внутренне презирающие политику и политиков, Талызин старался презирать их откуда-то сверху; но откуда именно, он не знал сам. По-настоящему он любил веселых, благодушных, остроумных, независимых

людей, никому не делающих зла, но умеющих, за бутылкой вина, пошутить довольно едко, отпустить в прозе, а то и в стихах колкую эпиграмму. Таких людей было немало. Талызин знал, однако, что ему, как человеку новых взглядов, следовало бы держаться своих единомышленников, а к людям, враждебным новым взглядам, относиться с насмешкой, даже с презрением, иногда и с ненавистью. Однако он с противниками нередко чувствовал себя гораздо лучше, чем с единомышленниками. Тон противников, благодушно подшучивавших над его взглядами (он так же благодушно отшучивался), обычно не раздражал Талызина, разве только уж кто-нибудь не совсем шутливо высказывал нечто ни с чем не сообразное, вроде того, что нужно бы запретить все книги или что либералистов следовало бы перевешать, – тогда Талызин вспыхивал и говорил резкости. Но это случалось нечасто. В среде же своих единомышленников он порою испытывал скуку и досаду от какой-то круговой поруки, которая, как он чувствовал, раз навсегда установилась между ними, – они все словно подмигивали вечно друг другу. Талызин не на словах, а по-настоящему верил, что правда была на их стороне. К новым идеям он примкнул совершенно искренне, не из желания пооригинальничать ими в аристократическом кругу. Но себя переменить Талызин не мог. Он читал Вольтера и, как все (даже противники), восхищался его стилем и остроумием. Но в глубине души Талызин сознавал, что ни он сам, ни девять десятых образованных русских людей не мог-

ли бы отличить стиль Вольтера от стиля другого французского писателя. Блеск вольтеровского остроумия тоже несколько утомлял Талызина – в чем он никогда не решился бы признаться. Про себя он знал, что ему гораздо больше удовольствия доставляли едкие шуточки гетмана Кирилла Разумовского или юмор Александра Андреевича Безбородко в те, в последнее время его жизни все более редкие, минуты, когда старый канцлер оживлялся за бутылкою вина. Талызин, конечно, не думал, что Безбородко или Разумовский остроумнее Вольтера (он знал, что это такое и сказать невозможно, – даже враги бы рассмеялись: Вольтер был Вольтер). Но Безбородко и Разумовский, со свойственным им природным умом, живостью, юмором, говорили о том, что было близко и знакомо Талыzinу. Самые же прославленные остроты и шутки Вольтера в большинстве относились к предметам, совершенно Талызина не интересовавшим. Он не всегда и понимал, что, собственно, могла бы означать символически Кунигунда и как именно следует толковать «Ecrasez l'infâme». ¹³⁰ Ни до какой Кунигунды Талыzinу не было ни малейшего дела, к формуле «Ecrasez l'infâme» он сочувствия не испытывал и сомневался, чтобы венерическая болезнь Панглосса могла способствовать опровержению Лейбницевой философии. По обязанности свободомыслящего человека Талызин прочел и Гольбаха, и Ламетри. Но эти философы уж никакого удовольствия не доставляли. От «Système de la Nature»

¹³⁰ «Раздавите гадину» (франц.).

оставался даже весьма неприятный осадок, как от невкусного блюда, которое, в чужом доме, надо было есть и похваливать, чтобы не обидеть хозяина. Талызин говорил, что в материалистической философии есть доля правды (хотя сам чувствовал, что доли правды быть не могло: в «Système de la Nature»¹³¹ или все было правдой, или все было вздором). Однако в церкви всякий раз, как он слышал «Со святыми упокой», у него на глазах выступали слезы. Он в масонстве видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми. Много другое в учении парижских философов было еще более чуждо Талызину. Они называли себя гражданами мира; Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. Талызин же был ревностным патриотом, гордился Суворовым как национальным сокровищем и страстно любил свой Преображенский полк. Все относившееся к полку он любил так, как любил те красивые вещи, которые собрал в своей квартире. Он считал свой полк лучшим полком в мире и испытывал хоть и легкое и быстро проходившее, но несомненное чувство досады, когда при нем особенно горячо расхваливали семеновцев, конногвардейцев или кавалергардов. Вслед за французскими энциклопедистами Талызин искренне верил в то, что люди равны и должны быть равны между собою. Но ему было приятно, что род его восходил к XV веку. Он подшучивал над первым своим предком, Мурзой-Кучук-Тагай Иль-

¹³¹ «Система природы» (франц.).

дызом, выехавшим из Орды к князю Василию Васильевичу, – а втайне немного сожалел, что не был Рюриковичем, и утешался тем, что через Одоевских и Лобановых все же был сродни Рюрику, а через Куракиных Гедимину. Родословное дерево, заказанное его дедом домашнему художнику, висело у Талызина не в кабинете и не в зале, как у многих других, а в отдаленной комнате дома. Но он, случалось, водил в эту комнату приятелей и хоть шутливо пояснял, что «не на чердак же было прятать сие произведение искусства», однако знал свое дерево наизусть и о предках весело рассказывал разные истории, из которых выходило, что предки эти были хоть отнюдь не вольтерьянцы, но в общем славные люди. Талызин вообще любил генеалогию и в английских порядках высоко ценил палату лордов. В его раздражение против престола отчасти входило и то, что у власти обычно находились не очень родовитые люди. Немецкую знать он недолюбливал, и ему не пришло бы в голову признать, например, Палена равным по происхождению Рюриковичам, хотя род Паленов восходил к комтурам Тевтонского ордена. В масонских ложах Талызин неизменно отстаивал демократические взгляды и стоял за свободный доступ в ложи для людей всех сословий. Только крепостных принимать было невозможно: Талызин чувствовал, что их появление внесло бы в работу лож нестерпимую фальшь. Он поддерживал в масонстве оппозицию престолу. Люди, имевшие слишком много власти, – в частности, власти над ним самим, – его немного раздражали

еще со школьных времен (он учился в Германии). Это, вместе с природной независимостью характера, было главным источником свободомыслия Талызина. Но втайне он гордился многим в царствовавшей династии, даже тем, чем ему, по его взглядам, гордиться не приходилось: ее блеском, роскошью двора, двумя тысячами лошадей в царских конюшнях. Талызин понимал, что без монархии Преображенский полк невозможен да и теряет всякий смысл. Он чувствовал, что и дворцовый переворот может принести вред полку. «Но как нам выполнять военный долг в это ужасное время, при его системе, где все держится палкой?» – говорил он себе и другим. В глубине души Талызин не был убежден в том, что можно без палки поддерживать военную дисциплину, и старался вовсе не думать об этом предмете, отдавая возможно меньше времени строевой службе. В минуты полной откровенности с самим собой Талызин чувствовал, что он прежде всего знатный барин, знаток искусства, признанный в свете законодатель внешних приличий и правил поведения. С этой основной линией его жизни не вполне отчетливо, но твердо слилось масонство. Все же прочее было случайное и наносное. Порою он себя спрашивал, не принадлежит ли к наносному и его участие в заговоре. Многие из того, что делал – особенно в последние дни – Пален, явно не соответствовало характеру Талызина, всем его привычкам и мыслям. Теперь развязка приближалась, и он становился все мрачнее. Как громадное большинство людей, сделавших военную карьеру

в России, Талызин был храбр: в том, смутном, смешанном, очень тягостном чувстве, которое он испытывал, думая о близящейся развязке заговора, нерешительность, неуверенность и некоторая брезгливость преобладали над страхом. Долг гражданина, доводы рассудка предписывали ему принять участие в заговоре против безумного царя. Но Талызин все яснее чувствовал, что не его это было дело. Он не был республиканцем, как не был, собственно, и конституционалистом. Он был благородный, образованный, образцово порядочный русский барин, с наклонностями свободомыслия и оппозиционности, в нем было все то лучшее, что было в течение последнего века у русской аристократии, – и у той, что находилась у власти, и в особенности у той, которая власти чуждалась, а занималась хозяйством, философией, искусством, масонством, позднее земской службой и немного революцией.

– Готово-с... Сейчас изволите надеть?

– Да разве время ехать? Ведь в шесть назначено? – спросил Талызин, протягивая руку к соседнему столику, на котором лежал пригласительный билет. «Маскарад для дворянства и купечества... – быстро пробежал он глазами бумагу... – С фамилиями в маскарадном платье... для благородных мужеска пола персон розовые домины...» – Partait¹³²... «Купечеству же разных цветов токмо не розово-

¹³² Чудесно... (франц.)

го домины...» – De mieux en mieux¹³³... Вот: «3 февраля в шесть часов пополудни иметь приезд в Михайловский Его Императорского Величества замок».

– Да ведь праздник был вчера, Сретение Господне? – спросил он костюмера.

– Точно так-с, но праздновать велено нынче, как нынче тезоименитство великих княгинь Анны Федоровны и Анны Павловны, – улыбаясь, ответил бойкий костюмер.

Талызин нахмурился. Хоть он не очень соблюдал обряды, но религиозное чувство в нем было задето перенесением церковного праздника. «И вовсе не из-за великих княгинь, а, конечно, из-за Анны Гагариной, – сердито подумал он. – Это они так поддерживают авторитет церкви... Митрополитам велено присутствовать в театре на спектаклях Шевалье... Общее собрание Сената государь с пренебрежением называет овчьим собранием... Везде, везде позор!..»

– Нет, я еще подожду, потом надену, – сказал Талызин, нервно поднимаясь. – Ведь вы теперь к Зубову? Скажите князю, что я просил кланяться, – добавил он. Костюмер собрал свои вещи, откланялся и вышел.

Талызин вышел в кабинет и стал неторопливо ходить взад и вперед по длинной комнате. «Fais ce que dois, advienne que rougga»,¹³⁴ – повторил он свою любимую поговорку. Но ни фаталистическая поговорка, ни философские размышления

¹³³ Все лучше и лучше (*франц.*).

¹³⁴ «Делай, что должен, и будь что будет» (*франц.*).

его больше не успокаивали. «Хоть бы скорее, в самом деле, назначил он день, – нетерпеливо говорил себе Талызин, имея в виду Палена, – Чего он ждет, наш главный взмутчик и наущатель? Сил, говорит, у скопа еще недостаточно. И это, может статься, верно. Но если еще ждать, нас схватят, это тоже верно. Так всегда бывает в крамольных, в заговорных делах, при революциях, при переворотах. Никому не известно, когда пора, когда рано... Почему во Франции край терпения настал в 1789 году, а не раньше, не позднее? При четырнадцатом Лудовике, в пору драгоннад, недовольство, верно, было гораздо сильнее... И знает ли, по крайней мере, сам Пален, когда он начнет? Да есть ли план у Палена? Уж не сложная ли все это игра, уж не балансирует ли на две стороны, как поговаривают? Правда, от наговора не отгородишься... Нет, непременно сегодня поговорю с Паленом и потребую решительного ответа. На маскараде очень удобно разговаривать, там это выходит естественно и подозрения вызвать не может... Он уверяет, что Александр не дал еще согласия. Так пусть даст, ежели еще не дал. Да и не морально требовать от сына согласия на заговор против отца...» Он невольно вздрогнул, подумав об ужасном положении, в котором находился великий князь Александр Павлович. «Ну что ж, долг гражданина своей родины превалирует над долгом сына, – нерешительно говорил себе Талызин. – Да мы все в таком положении, по крайней мере, мы, свободные каменщики. Александр встает против отца, а мы против гла-

вы и покровителя масонского ордена, против человека, которого мы двадцать лет называем братом. Что с того, что государь отошел от ордена? Он остыл, но ничему не изменил, он братом остается. Прав, быть может, Баратаев, что считает это дело преступлением против нашего ордена... А мы все-таки идем на него, и, как граждане, мы правы, ибо другого, кроме крамольства, пути перед нами нет. И того предовольно, что всякий день творится в застенках Тайной! Как законно вырвать власть у безумного деспота? Да, мы правы, как граждане, – говорил все решительнее Талызин, довольный найденной формулой. – Александр Павлович должен понять, что его положение не труднее нашего. Нелегко, нелегко проливать кровь...» Он вдруг почувствовал ложь этой мысли. Кровь не так его пугала. Талызин не испытывал особенной жалости к Павлу и не ждал угрызений совести в случае убийства. Эти неизменные слова «нелегко проливать кровь» приходили ему в голову механически, точно он следовал вековому обычаю людей, находившихся в таком же или сходном положении. Он чувствовал, что и дальше будет зачем-то говорить эти слова. «Везде обман, в себе больше всего, – тоскливо подумал он. – Вот, говори *fais ce que dois*... Да и как узнать, что именно *dois*...»

Талызин сел к столу, вынул из ящика пачку ассигнаций и положил в карман мундира. Так, на случай внезапной высылки в Сибирь, поступали теперь все, отправляясь туда, где находился император. Талызин еще подумал, затем снял со

стены небольшой кинжал, вытащил его из ножен и осмотрел лезвие. На стальном клинке с восточным орнаментом была восточными письменами выгравирована надпись Nekaman. Талызин вдвинул лезвие в ножны, спрятал кинжал под мундир и прошел снова в ту комнату, где его причесывал костюмер. Он надел розовое домино, попробовал маску и внимательно осмотрел себя в зеркало, медленно передвигая боковые створки.

XI

Настенька также получила приглашение на придворный маскарад. Красивая твердая плотная карточка с рисунками, с бордюром и с надписью (не сразу понятой) *Val paré*¹³⁵ доставила ей большое наслаждение.

Настенька с каждым днем все тверже убеждалась, как благоразумно и хорошо поступила, согласившись выйти замуж за Иванчука. Радость шла за радостью. Много удовольствия принесла Настеньке первая в ее жизни собственная квартира. Хорошо было также иметь горничную, кухарку. Вначале Настенька перед ними несколько конфузилась, но скоро привыкла и даже научилась на них покрикивать. Приятно ей было и принимать у себя гостей, хоть здесь удовольствие отравлялось, особенно в первое время, мучительным страхом, — как бы чего не напутать, не сделать или не сказать

¹³⁵ Бал-маскарад (*франц.*).

глупости, за которую мужу было бы стыдно. Принимали они, впрочем, не очень много, зато гости все были хорошие, – как говорил Иванчук, первый сорт. Но приглашение на придворный бал, с правом на розовое домино и на участие в маскарадной фигуре, послужило для Настеньки самым наглядным доказательством того, как повысилось ее общественное положение. Она знала, что этим, как всем, обязана мужу, и чувствовала, что ее благодарность все растет и даже начинает переходить в самую настоящую любовь, очень мало отличающуюся от той, которую она еще недавно испытывала к Штаалу. Настенька вначале немного стыдилась этой мысли: ей было совестно, что она так быстро полюбила человека, с которым сошлась по расчету и над которым когда-то посмеивалась. Она говорила себе, что прежде просто его не знала, и с каждым днем открывала в своем муже новые достоинства. Ей было обидно, что она не только сама смеялась над Иванчуком в прежнее время, но еще и другим позволяла при себе над ним смеяться. Этих других она старалась отводить от дому.

Настенька после выхода замуж снова похорошела, что должны были признать приятельницы, наиболее ей завидовавшие. Она и одевалась теперь гораздо лучше, старательнее прежнего, хотя, как всегда, тратила на наряды немного. Экономила она каждую копейку и все беспокоилась, не слишком ли много берет денег у мужа. Так же она беспокоилась об этом, когда жила на средства других мужчин. Настенька все-

гда неясно думала, что их трогает ее бережливость. В действительности, бережливость эта их чаще всего раздражала. Но Иванчука она в самом деле трогала, особенно в связи с тем, что Настенька решительно ничего не понимала в денежных делах.

Известие о женитьбе Иванчука на Настеньке вызвало изумление у всех, кто его знал. Никто не хотел этому верить, искали и не находили причин его странного поступка. Все были убеждены в том, что Иванчук либо подцепит, уловив момент, настоящую невесту, с именем, со связями и с деньгами, либо в крайнем случае женится на богатой молодой купчихе, на любовнице какого-нибудь вельможи. Но еще больше удивлялись те из друзей Иванчука, которые ходили к нему в гости после его женитьбы. Он был, по общему их отзыву, неузнаваем.

Об Иванчуке все его знавшие неизменно говорили, что он хам. Одни (немногие) говорили это враждебно, другие благодушно, третьи почти с уважением. Но на этом определении все обычно сходились. Хамство Иванчука было настолько очевидно, что почти утрачивало свой предосудительный характер. Именно совершенная его очевидность, общепризнанность и неоспоримость примиряли с ним большинство приятелей Иванчука. По той же причине и его успехи не вызывали особенной зависти. Иные его приятели говорили даже, что, за вычетом этого своего основного свойства, Иванчук – человек далеко не без достоинств: и неглупый, и

незлой, и весьма способный. Вычесть хамство из характера Иванчука не всегда удавалось. Но долго на него почти никто ни за что не сердился. Всех даже неприятно удивило бы, если б он стал поступать не по-хамски. Именно это слегка неприятное чувство и испытывали люди, бывавшие в доме Иванчука после его женитьбы. Не только самую женитьбу его должно было признать совершенно бескорыстной, но и вел он себя с женой так, как мог бы себя вести самый порядочный человек. Он был с Настенькой ласков, нежен, предупредителен, даже тактичен; избегал разговоров, которые могли бы быть ей неприятны, и не позволял рассказывать при ней неприличные анекдоты, которые сам чрезвычайно любил.

Иванчук действительно был влюблен. На второй день после женитьбы он вручил Настеньке ключ от ящика, в котором хранилась порядочная сумма денег. А еще недели через две, в минуту особенной нежности, он открыл ей то, чего не знал ни один человек на свете: объяснил Настеньке обстоятельно, ничего не скрывая, сколько у него всего денег, где они находятся и какие есть виды на будущее. Настенька не очень этим интересовалась и туго понимала дела. Но он объяснял так горячо, что она постаралась все запомнить и по возможности понять. Иванчука удивляло, смешило и трогало, что могут быть люди, не понимающие преимущества первой закладной перед второю. Он хохотал, умилялся и, как малому ребенку, все растолковывал Настеньке, так что она

стала наконец разбираться. Ей было приятно услышать, что у них на черный день припасено так много денег (Иванчук только первую неделю говорил: у меня, а потом стал говорить: у нас; эту разницу тотчас заметила и оценила Настенька). Черный день был любимой темой Иванчука. В возможности наступления черного дня он смутно чувствовал поэзию; возможность эта придавала особый уют его жизни. Настенька поддерживала разговор о черном дне, но она плохо верила в то, что у них может наступить когда-либо черный день. Раз как-то она дала это понять мужу.

– Да? Вот как? А что ты, к примеру, будешь делать, когда я околею? – спросил польщенный внутренне Иванчук.

Об этом Настенька не думала и сердито замахала руками: она терпеть не могла разговоров о смерти, да еще в таких выражениях. Иванчук с умилением приписал сердитый жест Настеньки ее любви к нему. Но и это, собственно, уже было близко к правде.

Сам Иванчук тоже входил во все дела Настеньки, сначала по чувству долга, а потом и с настоящим интересом. Он с первых же дней знал все ее платья, шляпы и туфли и так же твердо, как она сама, помнил экономию ее туалетного хозяйства: знал, в какой дом ей ещё можно прийти в том или другом наряде и в какой уже нельзя, потому что его там все видели. Штааль ничего этого не знал и не понимал. К удивлению Настеньки, оказалось, что Иванчук прекрасно разбирается в дамских туалетах и в особенности в ценах на них.

Так же безошибочно определял он стоимость драгоценных вещей, от юсуповских бриллиантов до золотого кольца с рубином, которое Настенька принесла в приданое. Настенька не знала, что могли стоить юсуповские бриллианты (только ахала, слушая цифры мужа), но цену своего кольца она знала хорошо и была поражена тем, как точно он эту цену определил. Сначала она было отнеслась недоверчиво-насмешливо к его указаниям, какие вещи нужно покупать в «Английском магазине», какие в Нюренбергских лавках, какие на Суконной линии Гостиного двора. Но потом, убедившись в верности указаний мужа, строго им следовала. Его внимание очень ей льстило.

Настенька понимала, что, при их давних близких отношениях, новым для Иванчука в женитьбе был только семейный уют, как для нее – квартира, горничная, гости или обеспеченность на черный день. Она поэтому с самого начала особенно заботилась о семейном уюте. Понемногу он захватил и ее. Они оба почувствовали, что их жизнь соединена твердо, навсегда, что у них нигде и ни в чем нет и не может быть разных интересов. Иванчуку, которого никто никогда не любил, это сознание доставляло большое наслаждение. Он с каждым днем все больше привязывался к Настеньке. Хотя Иванчук (в отличие от Штаала и от большинства молодых людей) не любил и не умел копаться в своих чувствах, он как-то вечером, поджидая Настеньку, задумался над вопросом, уступил ли бы он ее добровольно самому императору. Пе-

ребирая мысленно блага, которые мог ему предложить император, Иванчук с удивлением и с гордостью убеждался в том, что, пожалуй, не уступил бы. «Ну, за шереметевское, скажем, богатство ужель не уступил бы? – спрашивал он себя. – Или за должность канцлера?.. Право, нет, ей-богу...» Он был совершенно растроган и счастлив. При всей своей природной черствости Иванчук еще был слишком молод для свободной, спокойной и скучной жизни никого не любящего человека.

На придворный маскарад Настенька, после долгих совещаний с мужем, решила нарядиться индейской ворожеей. За час до бала, одетая, нарумяненная и разукрашенная, Настенька при зажженных свечах стояла перед зеркалом с большим букетом цветов в левой руке и повторяла позы ворожеей. В небольшой комнате все было блестящее и недорогое. Иванчук остался жить в своей прежней холостой квартире. Одна из четырех комнат, не имевшая прежде никакого назначения, была отделана под будуар Настеньки, а в спальную поставили новую постель. Гостей принимали в столовой и гостиной, но хозяин никогда не забывал вернуть, что они временно живут на биваках, в тесноте (на что гости обычно с игривой улыбкой отвечали: «да не в обиде»). Иванчук говорил также, что ищет хорошую квартиру где-нибудь за Фонтанкой, – там еще так просторно и дешево. В действительности он приторговывал двухэтажный дом на Невском и поду-

мывал о хороших жильцах для нижнего этажа, – чтоб платили, как следует, и чтоб знакомство было приятное. Но с покупкой Иванчук не торопился. Хоть он ни во что не был посвящен Паленом, он, как все, смутно чего-то ждал.

Иванчук, в розовом домино и в маске, на цыпочках бесшумно вошел в комнату, таинственно вытянув вперед руки. Настенька увидела его в зеркале, вскрикнула и засмеялась. Из опустившегося букета роз выпала кожаная змея. Иванчук, неуверенно различая предметы сквозь прорези в черной бархатной маске, скользнул на пол, распахнув снизу домино, поднял змею и зашипел, тыча Настеньку в плечо жалом. Она замахала руками. Кожаная змея решительно ей не нравилась, но Иванчук говорил, что в Индии у ворожей змеи – первое дело, и Настенька уступила – только поглубже спрятала змею в букет. Иванчук через маску нежно поцеловал жену.

– У меня с машуармувантом, – сказал он, снимая маску и мигая. – Ты очаровательна, ма бель, лучше ворожей в Индиях не найти.

Он поцеловал ее снова.

– И краска вкусная...

– Вечно шутите.

– Ты обожаешь мои поцелуи.

– Вот еще!

– Обожаешь, – уверенно и кратко подтвердил с наслаждением Иванчук. – Видно, во мне есть что-то такое этакое...

– Еще что выдумаете...

– А я только что твоего осла видел. Тоже на бал собирается...

– Кого это? – небрежно спросила Настенька, как бы не догадываясь.

– Твоего Родомонта, Штааля, – с презрительной интонацией произнес Иванчук. Он называл Штааля почему-то Родомонтом-забиякой. У Иванчука был небольшой запас одних и тех же продолжительно державшихся шуток. Сначала это было неприятно Настеньке, но потом она привыкла, и они стали ей нравиться, как привычные серенькие обои в ее комнате. Настенька даже огорчилась бы, если бы ее муж переменял какую-нибудь старую шуточку. Но он не мог ничего переменить, – он механически произносил эти свои шутки, способствовавшие уюту его жизни.

– И вовсе он не осел, – обиженным тоном сказала Настенька. Она была человек справедливый и не считала Штааля глупым. Кроме того, ей было приятно возбуждать ревность Иванчука. Настенька находила это и полезным. Иванчук смутно чувствовал, что упоминание о Штаале, на первый взгляд вполне бестактное, не так уж неприятно Настеньке, – и потому упоминал о нем часто. В действительности он не очень ревновал Настеньку; но незнакомое чувство ревности (для которой, как он знал, больше не было никаких оснований) доставляло ему удовольствие. Он себе не отказывал в недорогих удовольствиях.

– Как же не осел? И капюшончик на домино этакой востренький. Ну да, осел, совсем Родомонт-забияка, храбрый дурак...

XII

Маски были обязательны только в Тронном зале, в котором находился государь. Там должно было состояться и маскарадное шествие. Держа в левой руке черную бархатную маску, Талызин поднялся по лестнице в бель-этаж. Издали слышалась печальная музыка. По ступеням между балюстрадами серого мрамора поднимались люди в домино. Большинство, как Талызин, держали маски в руках. Лица разобрать было нелегко. В сенях и на лестнице еще стоял довольно густой туман, сквозь который прорезывались обведенные дрожащим круглым сиянием бледные огоньки свечей. Наверху в залах было светлее; там сырость была выведена лучше. Талызин остановился и спросил себя, идти ли в Тронный зал. Хотя Пален, которого он искал, скорее всего, мог находиться именно там, Талызин почему-то пошел в противоположном направлении. Звуки музыки удалялись и слабели. «Все равно в Тронном зале не разговоришься», – подумал он. По огромным, холодным, не одинаково ярко освещенным залам Михайловского замка неуверенно, двумя вереницами, тянулись в обе стороны, лишь изредка отражаясь в зеркалах, большей частью потускневших от влаги, стран-

ные розовые фигуры с высокими капюшонами на головах. Несмотря на огромное число приглашенных, оживления не было никакого. Почти не слышно было и гула разговоров. Талызин здесь, как везде, знал множество людей, но никто к нему не подходил. Знакомые с принужденной улыбкой обменивались неловкими поклонами, – очень непривычно и неудобно было кланяться в маскарадном костюме. Иные военные подносили руку к капюшону и тотчас ее отдергивали. «Не весьма приятный бал», – подумал Талызин. Вдруг впереди себя он услышал другую, веселенькую музыку. Оркестр играл что-то старое, давно знакомое. Талызин вошел в белый зал, где собралось купечество. Здесь танцевали, было шумно и как будто весело. В ту минуту, когда вошел Талызин, маленький духовой оркестр, расположенный не на хорах, а в самой зале, в углу, на мгновение перестал играть. Распорядитель, молодой человек в красном, расшитом золотом домино, закричал диким голосом, все росшим к концу фразы (так, что Талызин вздрогнул): «Штейнбасс! чудный веселостью контрапанец, с превычурными балансеями!..»

В дверях зала Талызин столкнулся с Иванчуком, который, обмахиваясь маской (хоть вовсе не было жарко), разговаривал с хорошенькой, сиявшей весельем женщиной в костюме ворожеи. Иванчук, видимо, был недоволен тем, что Талызин застал его в зале, отведенном для купечества (Настеньке здесь было гораздо приятнее и легче). Он вступил в разговор и с жаром стал описывать роскошь внутренних апартаментов

ее величества.

– Мервейе, мервейе, женераль, – говорил он. – А тут забавно, правда, грасы¹³⁶ какие! Веселятся толстосумы...

– Разве пускают во внутренние апартаменты?

– Нас пустили, – небрежно сказал Иванчук. – Разрешите, генерал, познакомить вас с моей супругой, – добавил он и, взяв Настеньку за руку, сказал ей значительным тоном: – Настенька, генерал Петр Александрович Талызин, командир Преображенского полка... Рефюзе, – шепотом добавил он, показывая глазами на распорядителя, который, очень бойко улыбаясь, на цыпочках скользил к ним, очевидно с тем, чтобы пригласить Настеньку танцевать.

Талызин поклонился Настеньке, невольно задержавшись на ней глазами.

– Вы не видели, граф Пален в Тронном зале?

– Вы желаете поговорить с Петром Алексеевичем? – хитро улыбаясь, переспросил Иванчук. – Нет, нет, он не в Тронном, он только что был в Готлиссовой галерее, я как раз оттуда... Граф, кстати, сегодня не будет у высочайшего стола. Графиня Иулиана Ивановна приглашена, а граф...

– Это где, Готлиссова галерея? – перебил Талызин.

– Да вот отсюда налево, во внутренних покоях государыни, за концертной залой, – поспешно сказал Иванчук.

Заглаживая свою неучтивость, Талызин особенно любез-

¹³⁶ Великолепно, великолепно, генерал... грации... (*франц.* Merveilleux, merveilleux, général... graces...)

но простился с Настенькой и поцеловал ей руку. Она покосилась на мужа и вспыхнула от удовольствия, чувствуя, что понравилась красивому генералу и что Иванчуку это чрезвычайно приятно.

– Милости просим к нам, – смущенно сказала она и спохватилась. Иванчук с ужасом взглянул на Талызина, но, не заметив на его лице никакого негодования, сам горячо добавил:

– И правда, Петр Александрович, если заедете, вы нас осчастливите... – Он торопливо назвал адрес и пожалел, что Талызин не записал.

«Отчего бы, в самом деле, ему не бывать у нас, хоть он и командир Преображенского полка, – с гордостью подумал Иванчук. – Со временем министры будут захаживать». Он ободрительно улыбнулся Настеньке, имевшей виноватый вид. Талызин поблагодарил за приглашение и отошел. У него осталось неприятное ощущение от тонкой улыбки Иванчука и от интонации, с которой тот спросил: «Вы желаете поговорить с Петром Алексеевичем?» – «Да, конечно, все уже знают», – с тревогой подумал Талызин. В действительности Иванчук ничего не знал, кроме ходивших по Петербургу неопределенных слухов о заговоре. Он, собственно, ничего и не имел в виду, а улыбался хитро больше так, наудачу.

Внутренние покои государыни в самом деле были открыты в этот вечер, но людей там встречалось немного. Отдельные гости заходили посмотреть комнаты и тотчас исчезали.

Талызин искал глазами Палена. Хотя мысли его были заняты предстоящим разговором, он невольно любовался красивыми вещами, которых было так много в этих комнатах. «Неужто подлинный Бернини? Нет, едва ли... Это хорошо, голубой бархат на фоне белого мрамора... Золота, пожалуй, слишком много. А все-таки хорошо. Надо будет у себя устроить такую же штуку... ежели на плаху не попадем». Звуки музыки стали слабеть. Гостей попадалось все меньше.

В большой комнате, расположенной за концертной залой, было зажжено лишь несколько канделябров по углам. Но в огромном мраморном камине горел яркий красный огонь. Спинай к нему, заложив назад руки, стоял Пален, разговаривавший с человеком еще выше его ростом. Больше в комнате никого не было. «Николай Зубов», – с неудовольствием подумал Талызин, быстро подходя к ним. Что-то в виде этих двух громадного роста тяжелых людей в высоких острых капюшонах было неприятно Талызину. Их лица были странно освещены снизу, как у актеров от рампы. Тени захватывали всю длинную комнату, ложась снизу на стену. Подходя, он услышал конец разговора.

– Я Сашке зубы выбью, даром что обер-камергер, – говорил Зубов.

– Да не в этом дело...

– А я говорю, в этом... И Саблукову тоже зубы выбью...

Зубов был, как почти всегда, навеселе. Пален смотрел на него с любопытством.

– А, Талызин, рад видеть... Холодно как, правда? – произнес Пален. «Ох, и с ним будет разговор», – подумал он утомленно.

– Ну, я пойду к буфету греться, – сказал Зубов, здороваясь с Талызиным. – Потом приходите туда оба, отличное у него бургонское...

Он вышел из галереи, немного пошатываясь (что казалось страшным при его гигантской фигуре). Пален, улыбаясь, смотрел вслед Зубову.

– И этот нужен, и этот, – с легким вздохом сказал он. – Там штейнбасс играют, правда?.. Ну, что нового?

– Я у вас о том хотел узнать, Петр Алексеевич.

– Все идет отменно хорошо, Петр Александрович, – сказал Пален с шутливой интонацией, относившейся как бы к сходству их имени-отчества. – Догадываюсь о том, что вы хотите со мной поговорить. Вы натурально желаете знать когда?

– Именно... Но кроме того...

– Точно не могу сказать, когда, – перебил его Пален. – Точно не могу сказать, но скоро. Теперь очень скоро.

– Чего вы ждете?

– Жду, чтоб набралось человек пятьдесят – шестьдесят.

– Зачем так много?

– Меньше нельзя. Выйдет на дело пятьдесят, не льщусь, чтоб дошло десять.

– То есть как же это? Остальные погибнут, что ли?

– О нет... Отстанут в дороге незаметно... Дело, знаете ли, нелегкое, многие обробеют. Это будет похуже сражения... Вы еще, быть может, хотите мне сказать, что пролонгации рискованны, что нас могут выдать. Весьма верно, это я слышу от всех. Все осуждают, вот только помогают мало... Ничего не поделаешь, надо под... Ведь оригинал «Афинской школы»,¹³⁷ кажется, в Риме, правда? Превосходнейший этот гобелен *en haute lisse*,¹³⁸ – совершенно не меняя выражения голоса, сказал Пален, показывая рукой на стену, а глазами, едва заметно, на дверь против камина. Стоявший к ней спиной Талызин с удивлением оглянулся. В галерею зашли два молодых человека. Они быстро оглядели комнату, робко взглянули на Палена и исчезли через минуту, показав, что не испугались важных людей.

– Кроме того, Александр все еще не дал своего согласия. Я принял намеренье нынче опять с ним говорить, – продолжал нехотя Пален. – Наконец, не аранжирован деталь, от которого полагаю зависящим многое... Это не весьма вам интересно.

– Напротив того, весьма интересно. Какой же деталь, Петр Алексеевич? – хмурясь сказал Талызин. – Я полагаю, вы могли бы иметь более ко мне доверия.

Пален смотрел на него с неудовольствием:

– Не репорты же об этом печатать... Что ж, если вы так

¹³⁷ Фреска Рафаэля «Афинская школа» находится в Ватикане.

¹³⁸ Гобелен, в котором нити основы расположены вертикально.

хотите знать... Это, кстати, недалеко отсюда...

– Как?

Пален отошел от камина, прошел по галерее до конца, заглянул в дверь и вернулся.

– Вы хорошо знаете Михайловский замок?

– Совсем не знаю, – ответил Талызин, вдруг побледнев.

Пален слегка развел руками с выражением: «иного от вас и не ожидал». Он еще подумал, затем подошел к другой двери, которой в полумраке прежде не замечал Талызин.

– Кириллов, – позвал Пален, приоткрыв дверь. Ответа не было. – Кириллов! – повторил он громче. – Верно, перепились по случаю праздника. Это вход в его приватные покои. Желаете пройти? Там никого нет.

Пален подошел к канделябру и вынул из него зажженную свечу.

– Пожалуйста, – сказал он с усмешкой, открывая дверь. Пламя свечи изогнулось горизонтально. Им в лицо подул резкий ветер. Пален закрыл дверь. За дверью было темно и холодно. Только в конце анфилады комнат мерцал легкий свет. Пален шел осторожно, внимательно наблюдая за дрожащим пламенем свечи. Талызин безмолвно, как зачарованный, следовал за ним в нескольких шагах, неуверенно ступая и вытянув вперед левую руку, точно он боялся на что-то натолкнуться или упасть в яму.

– Воску б не накапать, – не останавливаясь и не оборачиваясь, сказал шепотом Пален. – Это его библиотека.

– Не слышу... Что? – шепнул, неровно ступая, Талызин. Сбоку огромным голубоватым четырехугольником слабо блеснуло окно. За ним, чуть светясь, расстилалась снежная пелена. Где-то вдали дрожал звездочкой огонек. Свет ночника впереди приближался. Талызин стукнулся рукой о дверь. Они вошли в комнату, где горел ночник. Пален остановился.

– Здесь, – сказал он едва слышным шепотом. Талызин, сжимая плечи, с трудом переводил дыхание. В комнате было очень холодно. Его колотила нервная мелкая дрожь. Сердце стучало. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что язык может не подчиниться. Без кровинки в лице, он молча кивнул два раза головою.

Комната была обложена по стенам деревом и выстлана во всю длину очень мягким толстым ковром. В памяти Талызина навсегда остались освещенные бледным пламенем ночника конная гипсовая статуя, громадный камин, странный письменный стол с решеткой из слоновой кости, небольшая кровать за ширмами. Камин и кровать почему-то были особенно страшны Талызину. Он опять хотел что-то сказать, но вышло невнятное бормотанье. Талызин взялся рукой за грудь и сделал вид, будто кашляет. Вдруг сквозь открытую, дрогнувшую на крючке форточку ветер с силой ворвался в комнату и рванул пламя свечи. Тени взлетели по стене. Пален, распахнув домино, быстро заслонил свечу левой ладонью и сделал несколько бесшумных шагов к стене.

– Вот он, деталь, – сказал он, высоко подняв руки и осветив тяжелую дверь.

– Что такое? – прошептал Талызин.

– От этого все зависит. Потаенных дверей в спальне нет. Я выяснил. Но есть эта. Двери двойные. Стены толщины необыкновенной. Слышно оттуда не будет.

– Так что же? – еще глуше шепнул Талызин. Дрожь его все усиливалась.

– Пойдемте, там скажу, – ответил Пален. Он быстро обвел свечой вокруг себя. Пламя заколебалось. Огромная бесформенная тень метнулась по стене, покрыв часть потолка. «Точно дьявол в удушливом сне!..» – подумал Талызин. Они поспешно пошли назад. Вдруг издали донеслись веселые танцующие звуки духового оркестра. Пален задул свечу и приоткрыл дверь. В Готлиссовой галерее по-прежнему никого не было. Он вошел в комнату, вставил свечу в канделябр, снова ее засветив, вернулся к камину и принял прежнюю позу, не глядя на смертельно бледного Талызина.

– В чем же дело? – спросил наконец, овладевая собою, Талызин. Он все время нервно оглядывался на дверь.

– В том дело, – сказал Пален, – что, коль скоро зачнетя в библиотеке шум, он бросится в те двери, поднимет крик, и через минуту в спальню ворвется стража.

– Да ведь караул будет наш?..

– Наш, наш? – повторил Пален, барабанив пальцами вытянутой руки по мраморной доске камина в такт доносившейся

музыке. – Офицеры наши, а за солдат могу ли поручиться? Очень действует на солдат вид русского царя...

– Что же вы хотите сделать?

– Я его убеждаю наглухо закрыть те двери. Намекаю, что гибель может прийти оттуда.

– Как так?

– Двери ведут в спальню императрицы. Моя задача теперь в разговорах с ним вселить против нее подозрение. Авось ли выйдет...

– Какая...

Талызин хотел сказать «Какая низость!», – но опомнился. Пален посмотрел на него мрачно, перестал барабанить пальцами и повернулся лицом к камину, как бы показывая, что разговаривать больше не о чем. Усмешка сошла с угла рта Палена, и глаза его стали стальными.

– Мы, однако, порешили лишь отречение, – нерешительно проговорил Талызин. – На убийство иные не пойдут...

Он сказал это и почувствовал, глядя на Палена, что неловко и незачем говорить пустяки.

– Не идите, – равнодушно ответил Пален. – Это делает честь вашему мягкосердечию. Займитесь среди сиротства вашего самоусовершенствованием – кажется, это так называется?.. Оно же и более еще безопасно.

– Нет, полноте, Петр Алексеевич, не для того говорю я, чтобы меняться с вами оскорблениями... Вы знаете, как я вас уважаю.

– Ah, je vous remercie,¹³⁹ – резко сказал Пален, снова к нему поворачиваясь. Он перешел на французский язык. – Конечно, я очень дорожу вашим уважением, но боюсь, что мне никак его не заслужить. У нас слишком разные взгляды... Я желал бы, однако, знать, – добавил он, видимо сдерживаясь из последних сил, – я желал бы знать, чего вы все, собственно, хотите? По-вашему, то, что я делаю, подлость? Вы это хотели сказать? Ну, мы не сделаем подлости, этой подлости, он убежит, нас схватят, изрубят в куски тех, кто не дастся, других повезут в Тайную... Вы нас в застенке будете утешать тем, что мы подлости не сделали? Да мы уже сделали тысячу подлостей! Да, да, мы все – и вы в том числе... Нет, вы правы, уходите из комплота, Талызин. Предоставьте политическое убийство людям покрепче вас. Панин, по крайней мере, был дипломатичен: он вовсе об этом не спрашивал. «Не мое, мол, дело, устраивайтесь, как знаете. Мне главное, чтоб была конституция...»

Талызин молча его слушал. Он чувствовал большую усталость. «Ах, все равно, лишь бы скорее... Он прав, конечно... Да и вправду вздор все это. И угрызений совести не будет ни у него, ни даже у меня... Все вздор», – угрюмо думал он.

– Вы меня не поняли, – сказал он сухо. – Я говорил не о себе... Но быть может, целесообразнее добиться отречения, чем убивать.

Пален засмеялся:

¹³⁹ Ах, благодарю вас (*франц.*).

– Конечно, вы еще молоды, Талызин, но вам все-таки не двадцать лет и вы не сын Павла, как Александр. Подумайте о том, что вы говорите. Отречение невысказано. Ну, предположим, он отречется, как отрекся его отец. Куда вы его денете? В крепость? В загородный дворец? Да на следующий день его освободит гвардия! А не на следующий день, так через месяц, через год, когда найдется новый Мирович, честолюбивый офицер, который взбунтует свою роту солдат. Пришлось бы задушить его в загородном дворце, как задушили его отца. По-моему, гораздо менее гнусно убить самодержца, чем беззащитного узника... Говорить об этом незачем. Но вы должны были бы понимать, что нельзя оставлять в живых двух царей. Мы не можем рисковать судьбами Русского государства. Уж лучше провозгласить республику...

Оркестр в белом зале заиграл новый танец.

– Это матрадура, – сказал, прислушиваясь и улыбаясь, Пален. – Очень люблю... Вы не танцуете, Петр Александрович? Пойдем, что ж все говорить о таких неприятных предметах...

Они вышли в Концертный зал.

«Он щеголяет своим хладнокровием... И о матрадуре тоже сказал из щегольства. Умный человек, а хочет за чем-то походить на злодея из слезной драммы... Но в существе он совершенно прав, – думал Талызин, сожалея о том, что возражал. – Все это и просто и неоспоримо».

Пален смотрел на него и улыбался, качая головой в такт

матрадуре. «И с этим каши не сварить, – думал он ласково. – Этот еще из лучших... Нет, надо в исполнители взять немца. Без Беннигсена дело не выйдет».

XIII

Знакомых на маскараде было у Штааля немало, но как-то так вышло, что не к кому было пристать. Впрочем, ему этого и не хотелось. Тоска не покидала его ни на минуту. «Да в чем дело? – уже по привычке думал он, хитря сам с собою. – Деньги есть... Не очень много, конечно, однако я никогда не был так богат, как теперь... Или в Шевалиху так я влюблен, что ли?.. Если говорю Шевалиха, как Иванчук, значит, не так влюблен... Или заговора я боюсь?» – невинно подходил он к этому предположению, хоть с самого начала знал, что именно в этом все дело. Мысль о заговоре лежала у него на сердце камнем. «Raisonnons,¹⁴⁰ – повторял он угрюмо в сотый раз. – Во-первых, никто меня не заставляет лезть в комплот¹⁴¹... Быть может, Ламор и прав. Что ж, не захочу, так и не полезу. Значит, вздор...» Но это рассуждение, как будто совершенно неоспоримое, не требовавшее никакого «во-вторых», его не успокаивало. «Нет, пойдешь, – отвечал он себе злобно. – Вот и не заставляет никто, и прав старик Ламор, а ты все-таки пойдешь... И попадешь, чего доброго, на

¹⁴⁰ Обдумаем (*франц.*).

¹⁴¹ Заговор (*франц. complot*).

дыбу в том деревянном строении в крепости. – Он не раз (особенно после встречи с Ламором) представлял себе дыбу, знал ее устройство и по ночам возвращался к ней мыслями. – По потолку через весь застенок идет тяжелый брус, на нем блок с веревкой в желобе. Разднут догола, на ноги бревно, руки выкрутят назад и свяжут ремнями (это у них называется хомутом). За хомут подвешат к блоку. Затем заплечный мастер в красной рубахе потянет веревку, – верно, так завизжит в желобе... Тело медленно поднимается, руки выйдут из суставов. Это виска, а потом будет встряска: он вскочит на бревно и заплешет... А после встряски бьют кнутом... Ну, да разве я одну виску выдержу?... Верно, тотчас околею, и слава Богу... А ежели и через это пройти? Тогда из строения в длинную кибитку, под рогожу. Снизу отверстие, пищу подают и для всего... Да, хорошего мало, – говорил он себе, содрогаясь, – надо очень, очень подумать... Ну, а во-вторых? Какое-то у меня было еще во-вторых и в-третьих?... Да, во-вторых, не я один, верно, в заговоре, а, быть может, десятки или, скорее, сотни людей. И Пален в том числе, за ним ведь не пропадешь...» Он искал глазами Палена (его многие искали в этот вечер) и вдруг невдалеке от себя увидел Иванчука с Настенькой. Штааль холодно поклонился. Иванчук ласково-пренебрежительно кивнул головой. Настенька ответила неестественно-бесстрастным поклоном (она этот светский поклон нарочно разучила для встречи с Штаалем и даже заимствовала гордый поворот глаз из иг-

ры госпожи Шевалье в какой-то пьесе). Раскланялись, разошлись, и оба почувствовали, что все кончено навсегда. Их даже почти не взволновала встреча. Штааль несколько не домогался больше любви Настеньки. «Все взял, хорошего понемножку, дай Бог счастья Иванчуку!» – говорил он себе насмешливо. Однако ее равнодушный поклон с гордым поворотом глаз был ему неприятен. Эта маленькая неприятность теперь легла в кучу, едва увеличив давившую его душевную тоску. «Черт с ней, с Настенькой! – пробормотал он сквозь зубы и опять, как часто в последнее время, с удовольствием почувствовал себя циником, для которого нет ничего святого. – Были бы деньги да здоровье, вот теперь и вся моя философия... Да, вот только заговор... А не спросить ли прямо у Палена; так, мол, и так, выкладывай, старый черт, все что знаешь, не то до государя дойду!..» Штааль неожиданно улыбнулся, почувствовав, как невозможно сказать это Палену.

Вдоль стены комнаты, по которой он проходил, тянулся буфет с огромными серебряными леопардами по краям. Буфетов в залах дворца было в вечер маскарада несколько. Но этот был особенно роскошный. У него стояли только люди с именем и с положением. Штааль еще раньше обратил на это внимание. Он подошел к буфету и строго приказал лакею в красной ливрее дать ему рюмку коньяку. Лакей с удивленным видом выполнил приказание. «Ну вот, и легче стало... А ведь это всегда при мне будет, что бы там ни случилось. Уж

водки никто не отнимет. В кибитку, под рогожу, через дыру, и то, верно, можно будет получить косушку... – Штааль представил себя лежащим в кибитке, на соломе, в темноте, под рогожей, с избитым, окровавленным телом... – Душно не будет, скорее холодно, ведь в дыру будет входить стужа, – морщась думал он и вспомнил, как в Сен-Готардском убежище платком затыкал отверстие в потолке чулана, – все не мог заткнуть. – Навсегда и это прошло... Никогда больше не увижу...» Ему вдруг до сладостной боли захотелось увидеть Сен-Готард, черную чашу озера с дрожащей водою, крошечный уютный чулан в монастыре. Штааль тыкнул вилкой в какую-то закуску, велел презрительно смотревшему на него лакею налить еще рюмку, проглотил коньяк залпом – и на мгновенье поймал страшную мелодию, которую в ту ночь за дощатой стеной чулана играл на виржине монах. На Штаалья нахлынула радость. В ту же минуту донесшиеся издали звуки оркестра подхватили и снова унесли безвозвратно мелодию Сен-Готардского убежища...

– А я Сашке морду набью, будь он двадцать раз обер-камергер, – сказал поблизости густой бас. Штааль оглянулся и саженьях в двух от себя увидел у буфета возвышавшуюся над всеми головой фигуру Николая Зубова. С Зубовым пил Уваров. Штааль вспомнил бал у князя Безбородко. «Ах, тогда было весело, не то что теперь!..» Жаль бедного Александра Андреевича... При нем все было по-иному... Лопухина тогда очень ко мне льнула, мог, мог сделать карьер...

Того карьера не хотел, а на этот, значит, иду? Разве, впрочем, я только для карьера? А то для чего же? Ежели дело выйдет, я потребую два чина и сто тысяч чистоганом... Как же, однако, потребую? Условие, что ли, заранее заключить? Какую кость ни выкинут, все придется съесть. Могут ли дать сто тысяч на брата? Скажем, нас сто человек, значит, сколько выйдет на всех: сто на сто тысяч – пять да два, семь нолей, стало быть, сто миллионов... Где же это взять? Таких денег нет и в казне, – огорченно подумал он и отошел от буфета, с ненавистью взглянув на Уварова. – Правда, мне могут дать больше, нежели другим... Какая, однако, будет моя роль в комплоте? Хорошо бы вправду спросить у Палена. Надо же каждому знать свое дело. А то пройти в Тронный зал, на того посмотреть?..»

У противоположной стены длинного зала он увидел госпожу Шевалье. Она была в костюме Астреи и с ног до головы залита бриллиантами, хоть это не очень шло к костюму. Перед артисткой, разговаривая с ней, кто-то сидел спиной к Штаалю. «Прелесть какая!.. Подойти?.. Ах, какой я осел! – Штааль вдруг радостно сообразил, что сделал ошибку в счете: ведь сто тысяч, помноженные на сто, составят не сто миллионов, а десять. – Ну да, семь нолей, десять миллионов... Ах, я осел!.. Десять миллионов отлично могут нам раздать, конечно, могут за такую услугу...» Говоривший с Шевалье человек повернул голову вполоборота. Это был Пален.

Штааль пересек зал в ширину и с беззаботным видом по-

шел вдоль длинной стены так, чтобы пройти в двух шагах от них. Не доходя немного до госпожи Шевалье, Штааль, до того старательно смотревший в другую сторону, как бы случайно перевел взор, быстро изобразил на лице удивление и низко поклонился знаменитой артистке. Она взглянула на него через плечо сидевшего Палена и приветливо улыбнулась.

Она не помнила фамилии Штааля, не помнила, кто он, знала только, что он в нее влюблен. Это ей было не в диковину, но оттого ли, что Штааль был очень красив в этот вечер (ему шла бледность и усталое выражение, – он много пил и почти не спал в последние ночи), взгляд госпожи Шевалье задержался на нем гораздо ласковей, чем обычно. Он тотчас это почувствовал. Сердце у него забилося. Пален повернул голову в направлении взгляда артистки и тоже улыбнулся Штаалю. Он жестом подозвал молодого человека и, положив ему левую руку на спину, остановил перед госпожой Шевалье.

– Вы знаете этого молодого воина, богиня? – сказал Пален, вопросительно глядя на госпожу Шевалье и на Штааля: он не был уверен, свободно ли говорит по-французски Штааль. – Это наш будущий Суворов.

Штааль с глупо-радостным видом пробормотал что-то вроде «*Vous me comblez, comte...*»¹⁴² Но, сообразив, что эта фраза как бы признавала серьезным замечание Палена, он густо покраснел и добавил:

¹⁴² «Вы слишком добры ко мне, граф...» (*франц.*)

– Oh, quelle cruelle plaisanterie!..¹⁴³

Это замечание также показалось ему неудачным. Пален, однако, не очень его слушал. Убедившись, что Штааль говорит по-французски, он встал и посадил молодого человека на свое место.

– Посидите-ка вместо меня с коллежской ассессоршей, господин поручик, – шутливо сказал он по-русски Штаалю (мужу госпожи Шевалье был недавно пожалован чин коллежского ассессора). – Богиня... – прощаясь, произнес Пален, целуя руку госпожи Шевалье.

Ей не нравилось, что он называл ее *déesse*. Это напоминало ей, что она была богиней разума в революционном Париже. Она смутно даже подозревала, что Палену это известно и что он называет ее богиней нарочно. Он и слово «богиня» произносил деловито и просто, как обыкновенный чин: так он называл Штааля поручиком.

– Вы меня покидаете? – недовольным тоном спросила госпожа Шевалье.

На лице Палена выразилось отчаяние. Он глубоко вздохнул и приложил к сердцу руку, в которой держал маску.

– Да, я покидаю вас, богиня, – сказал он проникновенным тоном. – Я покидаю вас, но только на несколько минут. Мне надо показаться в Тронном зале. Затем я вернусь к вам и у ваших ног проведу остаток моих дней. Больше ничто нас не разлучит, богиня, – две жизни наши будут соединены наве-

¹⁴³ О, какая жестокая шутка!.. (франц.)

ки...

– Allez, allez, incorrigible farceur,¹⁴⁴ – сказала госпожа Шевалье с безнадежной улыбкой. Ей очень нравился этот человек, говоривший с ней, как с идиоткой; нравился даже его тон, хоть иногда ее раздражал; так никто с ней не говорил. Разговор Палена почти всегда был совершенно неинтересен. Но всеми ясно чувствовалось, что Палену и неинтересно быть интересным. Это внушало большинству женщин легкое нервное волнение.

Пален поднял с отчаянием руки и отошел прочь, очевидно забыв о госпоже Шевалье в ту самую секунду, как они расстались. Артистка с досадой проводила его глазами, затем перевела взор на Штааля. Пален был настоящий человек; этот был один из сотни влюбленных в нее мальчишек. Но и он был недурен в своем роде.

– Eh bien, – произнесла она, решительно не зная, что сказать Штаалю. – En bien! Mais qu'est ce que vous devenez donc? On ne vous voit plus.¹⁴⁵

Сказалось это случайно, как-то само собой, но точно так, как если б Штааль постоянно, по нескольку раз в день, бывал у нее в доме, а вот в последние два дня не заглядывал. Лишь затем, прочитав изумление и счастье на вспыхнувшем лице Штааля, госпожа Шевалье спросила себя, был ли у нее вооб-

¹⁴⁴ Идите, идите, неисправимый балагур (*франц.*).

¹⁴⁵ Ну хорошо... ну хорошо! Но что же вы делаете? Вас больше не видно (*франц.*).

ще когда-либо этот молодой человек. Ей сразу вспомнились их немногочисленные встречи. Она смотрела на него и чувствовала, что теперь нельзя вернуться к тону хозяйки большого политического салона или же влюбленной в искусство великой артистки, – нельзя да и незачем. Она много выпила шампанского в этот вечер и была в особенном, раздраженном состоянии: Гагарина все время попадалась ей на глаза, и поклонники что-то не ходили толпами, как обычно. Госпожа Шевалье в упор смотрела на Штаалья, и взор ее совершенно изменился.

– *Alors quand?*¹⁴⁶ – быстро и негромко спросила она с наглым выражением в голосе, чувствуя себя Мессалиной из какой-то пьесы.

Штааль смотрел на нее и не смел верить новому выражению ее лица. Но в выражении этом ошибиться было невозможно.

– *Cette nuit,*¹⁴⁷ – прошептал он.

Она засмеялась:

– *Et le gros, qu'en fais-tu?..*¹⁴⁸

– *Je m'en f...*¹⁴⁹ – решительно сказал Штааль, следуя больше звуковому темпу разговора и не понимая, о ком идет речь. «Ее муж, сказывают, уехал за границу... Ах да, Кутай-

¹⁴⁶ Ну, так когда? (*франц.*)

¹⁴⁷ Сегодня ночью... (*франц.*)

¹⁴⁸ А как же быть со значительным лицом?... (*франц.*)

¹⁴⁹ Плевать мне на него... (*франц.*)

СОВ...»

– Non, pas aujourd’hui, mais j’arrangerai cela, mon petit. Et maintenant f... le camp...¹⁵⁰

Она встала. Но точно ей мало показалось, она вдруг сказала негромко:

– Attends... Combien?¹⁵¹

Ей совершенно не были нужны его деньги, и она догадывалась, что их у него немного... Это она говорила для ощущения, молодея на десять лет и чувствуя себя уже не Мессалиной, а лионской уличной женщиной, какой она была в юности...

– Ce que vous voudrez... Ce que tu voudras,¹⁵² – растерянно сказал Штааль. «Осталось десять, нет, девять тысяч... Мало!...»

Она весело засмеялась:

– Tu es bête. Tu mériterais le fouet.¹⁵³

Походкой Астреи она направилась к дверям. Штааль растерянно смотрел ей вслед.

XIV

Пален прошел по залам и, не встретив нигде наследника

¹⁵⁰ Нет, не сегодня, но я это улажу, малыш. А теперь... (*франц.*)

¹⁵¹ Погоди... Сколько? (*франц.*)

¹⁵² Сколько хотите... Сколько хочешь (*франц.*).

¹⁵³ Ты скотина. Ты заслуживаешь кнута (*франц.*).

престола, неторопливо опустился вниз, в его апартаменты.

– Его высочество здесь? – спросил он у старого лакея. «Кажется, и этот на службе у нас, в Тайной?» – подумал он.

– Так точно, ваше сиятельство. Прилегли в кабинете отдохнуть.

Пален без доклада прошел к кабинету Александра Павловича, едва слышно постучал и открыл дверь, не дожидаясь ответа. В слабо освещенной небольшой комнате великий князь, в домино, лежал на розовом бархатном диване, глядя вниз на ковер, подложив руку под щеку. Он поднял голову, вздрогнул и быстро сел, увидев внезапно появившуюся огромную фигуру гостя. Палена поразило скользнувшее в глазах Александра и мгновенно исчезнувшее выражение острой ненависти.

– Что? Что случилось?

– Ничего, ваше высочество, ничего не случилось. Я так хотел сделать вам посещение, – пояснил, улыбаясь, Пален. – Вы почивали?

«Что, ежели все дело ошибка? – тревожно спросил он себя. – Ну, да он не решится...»

– Ах, нет... Устал от маскарадной суеты и толкотни... Отлучился на четверть часа к себе... Садитесь, граф, гостем будете, – приветливо приятным мягким голосом сказал Александр, улыбаясь своей прелестной детской улыбкой. – Никто не видал, что вы прошли ко мне?

– Никто, кажется, кроме вашего лакея... Славный старик

ваш Василий...

– Ах, да, хороший старичок, хоть немного плохоголов.

Пален уселся в кресло около дивана, поднял лежавшую на ковре маску наследника и положил ее на стол.

– Зачем вы утруждаетесь? Благодарствуйте... Хороши вы в домино, граф, совсем молодой человек. Очень вам идет.

– Да я и веду себя, как малолетний, ваше высочество, – весело сказал Пален. – Вообразите, только что строил куры госпоже Шевалье.

– О-о!..

– И правда, истая волшебница. Люди, имеющие сколько-нибудь крови в жилах, не могут, видя ее, не испытать амурного волнения, – сказал Пален, впрочем для амурного волнения довольно равнодушным тоном. – Изящнейшая эта ваша комната... Ведь оттуда ничего не слышно? – помолчав, добавил он невзначай.

– Очень славная комната, – точно не разобрав вопроса, сказал Александр. – А моя жена наверху, на бале...

– Да... Прекрасный маскарад.

– Исключая скуки...

– В ваши годы наскучить балами, ваше высочество! Вот чего мы не знали. Ах, как я был счастлив в больших обществах, когда был молод. И танцевал я до упаду.

– Неужели? В Риге?

– Нет, нет. Ведь юность моя прошла в Петербурге... Когда ваш покойный дед отрекся от престола, я служил в конном

полку.

– Вот как, я не знал, – сказал Александр, внимательно расправляя золотую кисть подушки. Темно-голубые, не очень большие глаза его полузакрылись. Морщинки появились меж страннобелых бровей.

– Видел, видел, как тогда все сделалось, – пояснил, улыбаясь, Пален.

– Позвольте, сколько ж вам было лет? Лет семнадцать?

– Да, не более того... Поэтому я и не участвовал в деле, но видел и помню все, как ежели бы вчера было. Решительные были люди...

Александр не поддержал разговора.

– Вот ведь и тогда многие находили, что безысходно погибла Россия. И что же вышло? Вышло блистательное царствование... Россия не погибнет, пока будут у нее достойные граждане.

– Надеюсь, всегда будут, граф. И даже уверен, что будут...

– С высоты престола подается пример гражданам, ваше высочество. Это зависит и от вас.

– Дай Бог, дай Бог!

– Мудрая наша поговорка, ваше высочество, указывает: на Бога надейся, а сам не плошай.

– А я, чем более живу, тем яснее вижу, что мы, человеки, бессильны, а во всем воля Божия.

– Это весьма справедливо, ваше высочество, – сказал Пален. – Но в иных обстоятельствах жизни приходится нам де-

лать дела решительные, во всем на себя полагаясь. – Он помолчал. – Если б так думала покойная бабка ваша и Алексей Григорьевич Орлов, то Россия, верно, теперь была бы провинцией прусского короля, которым был покровительствуем почивший дед ваш.

– Да, конечно, может быть, вы и правы.

– А вот, ваше высочество, – сказал, невесело улыбаясь, Пален, – очень мне по-прежнему любопытно знать, как, по-вашему, я прав: конечно или только может быть?

– Этого я что-то не пойму, граф.

– Я скажу яснее, ваше высочество... Мы ведь не раз говорили... Говорю снова с достоверностью: скоро вам надлежит взойти на российский престол.

– Я от вас действительно это слышал, граф. Но напомним вам, я всегда в самом начале отвечал, что своего долга сына и верноподданного забыть не могу.

– Вы действительно всегда отвечали это в самом начале, ваше высочество, – сказал Пален и нахмурился. – А я вам говорю: забудьте, ежели так, долг сына и верноподданного, ваше высочество, перед первейшим священнейшим долгом гражданина.

Александр молчал. На лице его выразилось волнение. Пален знал, что великий князь всегда волнуется при этом доводе. «Или притворяется? Может, и то и другое?..»

– И вид, однако, у вашего высочества, истинно краше в гроб кладут, – со вздохом сказал как будто некстати Пален:

он чувствовал, что это замечание должно быть приятно великому князю. Впрочем, лицо у Александра Павловича было действительно бледное и измученное.

– Странно было бы, ежели б не так было, Петр Алексеевич.

– Вам надлежит сделать над собою усилие. Сделайте это для России, ваше высочество... Помните, как вы ей нужны. Подумайте, что вы скоро будете царем.

– Ах, полноте!..

– Через месяц, ваше высочество.

Александр быстро на него взглянул:

– Почему через месяц?

– Может, и раньше. Но едва ли позднее.

– Я не хочу вас слушать, граф, – строго сказал наследник, качая отрицательно головой и совсем закрыв глаза.

– Да что же, ваше высочество, мы говорим без свидетелей, – сказал Пален, не сдержав раздражения (лицо Александра чуть дернулось), – и ведь не расписок же мы у вас просим. – Он спохватился. – Мы льстились заслужить ваше доверие. Я только хотел заметить вашему высочеству, ежели вы говорите о сыновнем долге: должно вам спасти жизнь государю.

– Как? – встрепенувшись, сказал Александр. Он оторвался от спинки дивана и весь наклонился вперед.

– Почем вы знаете, что на жизнь государя императора не готовится покушение? Да, покушение... За несчетные оби-

ды, за непристойную брань, за поносные поступки, за все, ваше высочество. Думаете ли вы, что все себе можно позволить над русскими людьми? – с силой сказал он. – Почему вы знаете, что один из тех офицеров, которых он приказал бить палками, не заколет его кинжалом хоть нынче на маскараде? Или у полковника Грузинова, засеченного насмерть по его велению, не осталось ни родных, ни друзей?

– Боже мой! – слабо вскрикнул Александр, закрывая лицо руками.

«Может быть, и вправду поражен?» – спросил себя Пален.

– Ваше высочество, – сказал он проникновенно. – Вы должны спасти от ужасной участи вашего отца... И не его одного: разные разговоры идут в гвардии, ваше высочество. Люди доведены до отчаяния. Дошло до того, что вспоминают ужасный пример Франции. Вы не только отца, вы Россию, быть может, спасете. Дайте нам согласие, и дело будет сделано. Ни один волос не упадет с головы вашего отца... Поверьте, и ему будет слаще жить, не делая зла, в каком-либо загородном дворце вдали от треволнений царствования. Подумайте о спасении души отца вашего. На ней много, очень много грехов, ваше высочество.

– Ах, Петр Алексеевич, – сказал с жаром Александр. – Если б это случилось, я окружил бы всем почетом, всеми возможными радостями жизнь моего отца, я превратил бы ее в вечный праздник отрады. Не один загородный дворец, все мои дворцы («мои», – отметил мысленно Пален) были

бы в его распоряжении. Я устроил бы ему театр, я поселил бы с ним Гагарину... Да мы все ездили бы к нему в гости...

– Истинно так, ваше высочество. И государь будет счастлив, гораздо счастливее, нежели теперь, творя ужасы и от них же первый страдая.

– Ах, граф, – с еще большим жаром сказал Александр, хватая Палена за руки. – Вы один имеете влияние на отца. Убедите его добровольно отречься от престола, и отечество благословит ваше имя...

«Он что ж, или почитает меня за дурака?» – удивленно подумал Пален, пожимая красивые слабые руки великого князя.

– Да ведь как сказать, ваше высочество? – начал он. – Мы и хотим убедить государя императора отречься добровольно... Вся задача, как того достигнуть. Да, конечно, я имею на него влияние и слава Богу: истинно вам говорю, ваше высочество, – вставил он, опустив глаза, особенно подчеркнутым значительным тоном, – истинно вам говорю, ежели б не я, Бог знает, какое зло еще не свалилось бы на Россию, на царскую семью, на вас. Хоть и без всякой приятности, а скажу это вашему высочеству: все возможно в деспотической стране, и времена царевича Алексея еще, быть может, не миновали в России. – Он мельком взглянул на Александра и продолжал: – Да, я имею влияние на государя императора. Мы и надеемся убедить его добровольно отречься в вашу пользу. Но боюсь, не будет ли нерасчетливо следовать вами ука-

занному. Сейчас дела наши в порядочном состоянии, но как бы не взяли тогда оборот неблагоприятный? Вы знаете нрав его величества... Ну, ежели я, например, завтра скажу ему в докладе: отрекитесь, государь, – будет ли толк, ваше высочество? Нет, ничего не будет, – разве лишь моя голова слетит с плеч... Впрочем, разрешите от имени вашего высочества предложить сию вашу мысль на обсуждение в тесном кругу. Посмотрим, что скажут другие.

– Нет, ради Бога, от моего имени ничего не предлагайте на обсуждение. Я только вам говорю.

– Я за лестнейший долг почел бы сделать вам угодное. Но соучастники наши, верно, отвергнут сию попытку... А может, признают, ежели ее делать, то не кому иному, как вашему высочеству. Хоть времена царевича Алексея и не миновали, а все же законный наследник трона может более уповать на снисхождение царя, нежели всякий из нас.

– Нельзя мне говорить в свою пользу: ведь я на престол взошел бы, а вы не имеете в деле интереса.

«Вот как», – опять отметил в уме Пален.

– Мы все имеем интерес, – сказал он, – и о каждом такое же скажут. Ваше высочество в разговорах со мною и с графом Паниным не скрывали от нас намерения по вступлении на престол, уважая своими и нашими мыслями, ограничить произвол самовластья.

– Вы знаете, что это всегда было дражайшей моей мечтой.

«Voilà qui n est pas très clair»,¹⁵⁴ – сказал себе Пален.

– Я предполагал, ваше высочество, что здесь не только прекрасная мечта ваша. Доброта вашего сердца, благородство ваших чувствований и помыслов хорошо нам известны... Ведь мы правильно поняли ваше высочество, разумея в словах ваших безотлагательное дарование России конституционного правления?

– Я ничего другого не желаю, граф.

– Вот наш интерес как граждан, любящих отечество. Могут быть и приватные интересы, но они лишены важности по сравнению с главным. Клеветники не устыдятся представить нас в худом свете. Пусть несут, что им угодно... Ваше высочество говорили о своем намерении поручить графу Панину управление иностранным ведомством. Ростопчин ведь никуда не годится, пустой и сварливый человек.

Он замолчал и вопросительно посмотрел на Александра.

– Вы знаете, я видеть не могу это калмыковатое лицо. Стыдно, что ему был подчинен такой человек, как Панин.

– Я точно того же мнения, ваше высочество. Панин честный, образованный и умный человек... Не без педантства, конечно, и немного ослеплен самомнением. Но лучшего слуги не найти вашему высочеству... Вы еще говорили, что на меня хотите возложить бремя общего руководства правительственными делами?

– И натурально поручить это умнейшему человеку Рос-

¹⁵⁴ «Вот это не очень ясно» (франц.).

сии.

– Благодарю выше меры, ваше высочество, хоть это отнюдь не важно, – сказал Пален, низко кланяясь. – Мне для себя ничего не надо. Я не алчен к почестям... Возвращаюсь к тому, как достигнуть отречения отца нашего. Я прямо скажу, ваше высочество, тут необходим моральный шок. Мы должны предстать перед государем в образе силы. Мы будем молить государя об отречении, но надлежит, чтобы он чувствовал за нами и силу. И для того нужно согласие вашего высочества.

– Я не могу дать вам согласия... Я и слушать вас не должен.

– Тогда ничего не будет, – твердо сказал Пален. – Без вашего согласия никто не захочет идти в дело.

Оба замолчали.

– Ваше высочество, избегайте порок нерешительности.

– Да я и замысла вашего в точности не знаю... Я не должен вас слушать, но доносчиком, граф, я никогда не был.

– Получив ваше согласие, – упрямо повторил Пален, – мы ночью явимся к императору и будем молить его об отречении.

– И вас схватят.

– Я возьму на себя удаление ненадежных частей. Мы выберем день, когда в карауле будет войсковая часть, вполне преданная вашему высочеству... Вас так любят.

– Я не даю согласия, граф. Не знаю, так ли меня и лю-

бят. Разве третий батальон Семеновского полка? Там действительно солдаты и офицеры за меня в огонь и в воду...

«Il est très fort, ce petit, – сказал себе Пален. – Et ses renseignements sont exacts...». ¹⁵⁵

Он низко наклонил голову.

– Я не даю согласия, граф, – еще раз твердо и отчетливо повторил Александр.

Пален встал.

– Что ж, а маскарад, ваше высочество? Не пора ли вернуться? – сказал он, как бы не расслышав последних слов великого князя.

XV

Штааль, пивший с горя до разговора с госпожой Шевалье, теперь у того же буфета пил от радости и счастья. Сначала он пил один, потом с Иванчуком. Иванчук ненадолго оставил Настеньку, пристроив ее к каким-то хорошим дамам. У буфета он, однако, не задержался. И Штааль показался ему что-то слишком оживленным («верно, выпил, еще наскандалит и меня впутает в истории»), и публику этого буфета он сразу признал уж слишком для себя важной: как ни приятно было бы с ней провести вечер, Иванчук чувствовал, что на это он все-таки еще не имеет права: может и не понравиться. Он чокнулся, однако, со Штаалем, еще с кем-то, чуть-чуть

¹⁵⁵ «Он очень сильный, этот малыш... И его сведения точны...» (франц.)

не чокнулся с Уваровым (чего ему очень хотелось), а затем вернулся к Настеньке. Штааль продолжал требовать то коньяку, то шампанского. Придворный лакей все презрительнее на него поглядывал из-за буфета, делал было вид, что не слышит требований, а раз даже сказал: «Вы бы лучше, ваше благородие, выпили клюквенного морсу». Но Штааль в своем радостном возбуждении не обратил внимания на дерзкое замечание лакея. Он, впрочем, приобрел большую привычку к вину и мог, не пьянея, выпить очень много, даже меняя напитки. Штааль пил, и при мысли о госпоже Шевалье на лице его расплывалась самодовольная улыбка.

Бледный, расстроенный Талызин подошел к буфету и спросил бокал шампанского. Хоть на буфете стояли не опорожненные бутылки, лакей сломя голову бросился к огромному серебряному чану со льдом доставать новую бутылку для гостя, известного всему Петербургу своей щедростью и богатством. Штааль сбоку глядел на соседа, с которым не был знаком. Талызин рассеянно на него взглянул, что-то вспомнил и протянул руку Штаалю.

– Я вас знаю, – сказал он, приветливо, хоть невесело, улыбаясь и повышая голос, чтоб покрыть доносившиеся из Тронного зала звуки оркестра. – Вы Штааль? Мне говорил о вас граф Пален. Будем знакомы.

– Я чрезвычайно рад, ваше превосходительство...

– Пожалуйста, без чинов на бале.

Пробка хлопнула. Талызин оглянулся и знаком приказал

налить шампанского Штаалю.

– Выпьем вина... Послушайте, отчего вы никогда ко мне не зайдете? У меня по понедельникам – хоть тяжелый день – бывает вечерами много молодежи... Всякий понедельник, вот только не завтра. Завтра ничего не будет...

– Я с наслаждением приду, – горячо сказал Штааль. Он не очень искал знакомств в аристократическом кругу, но всегда бывал рад им. Приглашение в дом Талызина считалось немалой честью. Об его понедельниках Штааль слышал от де Бальмена, который, видимо, гордился этим знакомством. Штааль знал также, что Иванчук давно старается попасть к Талыzinу и все тщетно. Это, впрочем, происходило по случайности: Талызин охотно позвал бы и Иванчука.

– С моим наслаждением приду, – повторил горячо Штааль и вдруг, краснея, решил, что обнаружил слишком много радости. – Вы говорите, по понедельникам, Петр Андреевич? – равнодушным тоном переспросил он, хотя отлично знал, что Талызина зовут Петром Александровичем.

– Петр Александрович...

– Ах, ради Бога, извините...

– Так в следующий же понедельник и приходите... Ваше здоровье...

– О вас говорят, Петр Александрович, будто вы различаете марки и год шампанского, – сказал Штааль, выпив залпом бокал вина и уже не считая нужным скупиться на любезности со столь любезным человеком.

– Прежде с легкостью различал. Теперь я меньше пью, могу ошибиться, – сказал, улыбаясь, Талызин. – Это, верно, Моэт, а какой год, не знаю, только очень хороший сухой год... Так и есть, Моэт, – проверил он по бутылке. – Славное вино... А вы обратили внимание на серебро? Оно, полагаю, лучшее в мире; аглицкое рококо. Это все подарки аглицких королей нашим царям, еще со времен Ивана Васильевича. Теперь у короля Георгия таких леопардов и в помине нет. Взгляните на эти кубки, грани что у бриллианта, правда?.. А вот та чаша, видите, посредине стола? Это знаменитая чаша Тюдоров, работы шестнадцатого столетия.

– Ведь правда, ни при одном дворе нет такого богатства, как у нас?

– Теперь, конечно, ни при одном... Но чего же это и стоит народу!.. – добавил Талызин, точно что-то вспомнив.

– Да, конечно, – сказал Штааль с неприятным чувством, подумав опять о заговоре. Музыка вдруг оборвалась. Все почему-то встрепенулись. В ту же секунду из Тронного зала послышалось не очень стройное пение хора.

– Это, верно, маскарадное шествие, – сказал с живостью Штааль. – Старинная фигура: «Пришествие Астреи, или Золотой век», я слышал, прекрасно поставлено. Не пойдём ли полюбоваться, Петр Александрович?

Он давно хотел пройти в Тронный зал, но один не решался.

– И то надо бы посмотреть, – нехотя ответил Талызин. –

Ну, спасибо, братец, – сказал он низко поклонившемуся лакею. – Да, правда, надо маски надеть, – добавил он, увидев, что некоторые из гостей стали надевать маски. – В Тронном зале для всех обязательно, без маски только государь. Таков обычай, идет еще от Лудовика XIV. Впрочем, перед вхождением успею надеть, а то и ходить в масках очень неудобно.

Они пошли по направлению к Тронному залу, куда со всех сторон стремились теперь гости. Сзади кто-то окликнул Талызина. Оба оглянулись. Их нагонял Пален.

– А, вы знакомы? – весело сказал он, увидев Штааля. Он говорил очень громко, покрывая шум шагов и голосов. – Что ж вы, молодой человек, бросили коллежскую ассессоршу? (Штаалю решительно не нравилась эта шутка.) Так вы знакомы?

– Только что познакомились.

– Вот отлично. Весьма рекомендую вам, генерал, этого молодого человека. – Он дружески потрепал Штааля по плечу и отошел улыбаясь. – Ах, да, Петр Александрович, – прокричал он, поманив к себе Талызина. – Он согласился. – Пален с усмешкой кивнул головою, чуть подняв плечи. – Согласился... Так в Тронном зале встретимся?

Штааль с удивлением увидел, что Талызин внезапно изменился в лице. Но внимание Штааля было тут же отвлечено. К ним, еще издали томно-задорно улыбаясь, подплывала Екатерина Лопухина. «Ах ты, черт!» – пробормотал сердито Штааль: юркнуть в сторону было невозможно. Лопухина

искоса смотрела на него так, как если б очень хотела расхотаться, но удерживалась из последних сил. С некоторых пор она усвоила со Штаалем (как, впрочем, со многими другими людьми) такой тон, будто он страстно в нее влюблен, но по известным ей, понятным и очень забавным причинам тщетно старается скрыть свою страсть, – да шила в мешке не утаишь. Лопухина подплыла к Штаалю, сияя от сдерживаемого смеха, протянула руку для поцелуя и с легким криком отдернула, точно испугалась, – как бы он тут же на нее не набросился. Талызин, который терпеть не мог Лопухину, хотел пройти вперед.

– Ах, вы идете в Тронный зал, – потупив глаза, томно прокричала Екатерина Николаевна с выражением крайней зависти, как если бы ей это было строго запрещено (сочетание ее опущенных глаз с крикливым голосом еще больше раздражило Штаалья). – Вы увидите прелестную госпожу Шевалье? – Она по-прежнему восторгалась красотой французской актрисы, особенно подчеркивая, что не завидует и не может ей завидовать, не то что другие женщины. – Какая волшебница, не правда ли?..

Талызин развел руками и решительно направился вперед, надевая на ходу маску. Штааль сделал то же самое. Лопухина поплыла вслед за ними, с трудом сдерживая смех. В галерее арабеск, последней комнате перед Тронным залом, гости на цыпочках теснились к дверям, за которыми слышалось пение. В толпе Штааль потерял Талызина. Лопухина то-

же отстала. Штааль протиснулся к входу, но войти в Тронный зал оказалось невозможным: у дверей внутри зала стояла сплошная стена людей, которые не хотели или не могли идти дальше. Здесь собрались преимущественно дамы. Вытянувшись на цыпочках, Штааль мог видеть то, что происходило в горевшем огнями колоссальном зале. У длинной стены неестественно, чуть не навтыяжку, стояли, плотно прижавшись друг к другу, в два ряда, люди в домино, капюшонах и масках. По залу шла маскарадная процессия. Быстро окинув ее взглядом, Штааль стал искать глазами императора. «Ах, досада, надо бы пробиться дальше...» Прямо перед собой в самой середине процессии он увидел госпожу Шевалье. Участники шествия не носили масок, но загримированные лица их были затянuty газом. Астрея медленно в такт музыке скользила по залу. Впереди нее шли с пением отроки в белых балахонах, с оливковыми ветвями в руках. Они шли в ногу и держали оливковые ветви как ружья. Позади Астреи тоже следовали люди, какие-то старики, увенчанные лавровыми венками. У одних венки были надеты набекрень; у других сидели на макушке; третьи поддерживали их руками, видимо мучительно боясь испортить сложную прическу. Позже Штааль узнал, что старики эти изображали стихотворцев, философов, законодателей, которые в свите Астреи приветствовали пришествие Золотого века. Штааль не мог оторвать глаз от красавицы. Она одна, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Штааль замирая освобож-

дал ее глазами от легкого костюма Астреи. Вдруг он чуть не вскрикнул. Где-то наверху, почти у самого потолка зала, перед ним мелькнуло и исчезло знакомое искривленное, землисто-бледное лицо. Прямо перед Штаалем покрывало стену знаменитое зеркало Михайловского замка, считавшееся самым большим в России. В Тронном зале сырости не было, и зеркало все отражало, так что в первую минуту Штааль его и не заметил. Он схватился рукой за маску, поправил на глазах прорезы, протиснулся в дверях и снова поймал в зеркале бескровное лицо Павла. Опустив руки на колени, чуть наклонившись вперед, император сидел в углублении стены на очень высоком красном троне, к которому шла лестница. На широких ступенях трона стояли как статуи люди в черных масках. Штаалю показалось, что в одном из них, стоявшем ступенью выше других, он узнал великого князя Александра. «А этот высокий, кажется. Пален? Да, конечно, это он...»

Штааль взгляделся в мертвенное лицо с остановившимися, выпученными глазами и вдруг почувствовал себя нехорошо. «Кажется, я слишком много выпил», – подумал он, тоскливо и с остервенением стал пробиваться назад. За ним уже стояла стена народа, но человека, освобождавшего место, выпустили легко. Штааль, пошатываясь, пошел по совершенно опустевшей комнате и тяжело опустился в углу в кресло под висячей лампой. «Да, не надо было так много пить. Как неприятен этот резкий свет!.. Я не пьян, конечно, сейчас все пройдет. Но зачем, зачем я ввязался в это дело?..»

Пение в зале становилось стройнее и увереннее. Штааль мог разобрать слова: «Ликовствуйте днесь, ликовствуйте здесь, воздух, и земля, и воды», – пел хор отроков. – «Да, ликовствуйте... Нечего мне ликовствовать... Пропаду ни за грош...» Ему снова вспомнился бал у князя Безбородко, – там тоже был этот страшный землисто-бледный человек. «Вот и опять... Повторилось... Тогда Лопухина, теперь Шевалье... Как странно, однако, – с неизъяснимой тревогой подумал Штааль. – Да что же тут странного? Вполне естественно... Вздор!.. Тот сумасшедший старик думал, что все происходит в жизни два раза. «Deux est la nombre fatidique!»¹⁵⁶ – вспомнил Штааль запись в тетради Баратаева... Мучительная тревога его все росла... – Ах как режет глаза и греет этот проклятый свет!» – подумал он, щурясь и поднимая голову.

Лампа над ним висела действительно очень низко. Проходивший по галерее арабск лакей приблизился к Штаалю и сбоку от него, перегнувшись над большой порфирной вазой, потянул вниз спущенную по стене серебряную цепочку. Лампа, висевшая на блоке, с легким визгом поднялась. Штааль, согнувшись, смотрел мутным взором на человека в красном костюме.

¹⁵⁶ «Два есть число вещее!» (франц.)

XVI

«Ma réponse, encore et toujours, est non. Pouvez vous en douter un instant?

Je ne puis vous empêcher de porter ce coup fratricide et insensé. Mais que vous comptiez sur moi, c'est trop fort!

Je ne donne pas la mort. C'est à sa négation que je vise. La vie est déjà assez courte. Décidément nous nous valons tous, surtout dans la stupidité.

Cent fois non.

Et une page de Suétone sur laquelle vous feriez bien de méditer:

«Sed Caesari futura coedes evidentibus prodigiis denuntiata est... Percussorum autem fere neque tridnnio quisquam amplius supervixit, neque sua morte eefunctus est. Damnati omnes, alius alio casu periit». ¹⁵⁷

Баратаев запечатал письмо и надписал: «Милостивому

¹⁵⁷ «Мой ответ, снова и навсегда, – нет. Неужели вы могли хоть на минуту усомниться в этом? Я не могу помешать вам нанести этот братоубийственный и безумный удар. Но то, что вы рассчитываете на меня, это уж слишком! Я никого не убиваю. Моя цель – отрицание смерти. Жизнь уже достаточно коротка. Решительно, все мы стоим друг друга, особенно в глупости. Сто раз нет. Вот страница из Светония, и вы хорошо сделали бы, если бы поразмыслили над ней (*франц.*): «Между тем приближение насильственной смерти было возведено Цезарю самыми несомненными предзнаменованиями... Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены и все погибли по-разному» (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Перевод М. Л. Гаспарова).

Государю Петру Александровичу господину Талызину в собственные руки».

XVII

То мучительное душевное состояние, в которое впал после маскарада Штааль и которое теперь называется неврастенией, тогда приписывалось действию «паров» и так и называлось – «ваперы». От него, как теперь, врачи лечили каплями. Житейская же мудрость советовала прибегать к вину. Штааль с отвращением глотал Гарлемские капли и, убедившись, что пользы от них нет никакой, обращался к бургонскому, к коньяку, к водке. Он пил в одиночку. Вино помогало, но ненадолго. Через час-другой состояние Штааля становилось еще мучительнее.

Хуже всего было по утрам. После тревожной тяжелой ночи он просыпался рано, с первым светом дня. Еще прежде, чем он приходил в себя, им овладевали беспричинный ужас, болезненная тоска. Судорожно подергиваясь, плотнее закутываясь в одеяло (ему теперь всегда было холодно), он припоминал, что такое еще случилось. Обыкновенно и припоминать было нечего: в эти дни в его жизни никаких событий не происходило. Тем не менее ужас и тоска не исчезали. Если же накануне случалась неприятность (чаще всего какая-нибудь новая приходившая ему в голову мысль), то неприятность эта, хотя бы самая ничтожная, немедленно представ-

лялась Штаалю несчастьем. Вздрагивая под одеялом, он лежал в постели часами. Иногда первый же стакан чаю он с утра обильно разбавлял коньяком. Становилось легче. Штааль сбрасывал с себя одеяло, умывался, одевался и через некоторое время с головной болью снова ложился в постель. Он почти не выходил из дому.

Ему становилось лучше лишь с наступлением темноты. Затворив на запор дверь, он тщательно опускал шторы, проверял заряд пистолета, привычным усилием, морщась от боли в верхней части ступни, стаскивал с себя сапоги, поспешно раздевался и тотчас гасил свечу. Штааль так уставал за день (ровно ничего не делая), что ему казалось, будто он как ляжет, так и заснет тотчас глубоким сном. Но стоило ему лечь, немного угреться в постели, и мозговая усталость проходила, заменяясь лихорадочным оживлением мысли. Это, однако, его не тяготило. Он с наслаждением думал, что тишина, темнота, полное одиночество продлятся не менее десяти часов. К середине ночи он засыпал. Сон его был неизменно беспокоен. Его мучили кошмары. Чаще всего он видел во сне бревенчатое строение Тайной канцелярии.

Штааль догадывался, что лучшим средством борьбы с ваперами была бы работа и общество приятных людей. Но дела у него в эти дни не было никакого. С новым служебным назначением вышла случайная задержка. Люди же, почти все, были ему противны до отвращения. Как назло, пропал куда-то де Бальмен. К собственному своему удивлению, Шта-

аль и о госпоже Шевалье думал в эти дни мало. Первые два дня после маскарада он ждал от нее вестей. Никаких вестей не было. Это, однако, не слишком его огорчало. «Еще одна завязка без продолжения, – пренебрежительно говорил он себе, точно в его жизни было так много таких завязок. – Нет, видно, это и с моей стороны было менее серьезно, нежели я думал. Да и ясно теперь, что она за женщина...» В том состоянии, в каком он находился, ему было не до любви, – он боялся даже оказаться не на должной высоте и пробовал, кроме Гарлемских капель эликсир столетнего шведского старца. «А может, я просто спятил? – с тревогой думал он. – То влюблен как мальчишка, то не серьезно...» Он теперь находил также, что слишком опрометчиво на вопрос «Combien?»¹⁵⁸ Шевалихи ответил ей: «Ce que tu voudras».¹⁵⁹ Остававшиеся у него девять тысяч для нее были явно на один глоток, – она могла потребовать и больше. Но и девяти тысяч было жалко. Штааль едва ли не впервые в жизни ощущал теперь материальную обеспеченность – не имел хоть забот, как свести в течение месяца концы с концами. Деньги не принесли ему счастья; но без них, он знал, и его бедственное душевное состояние стало бы много хуже. «Нет, это было не серьезно, и все не ce que tu voudras», – неуверенно думал Штааль. Молчание госпожи Шевалье тяготило его разве лишь как новое доказательство неблагоприятности к нему судьбы. «И здесь

¹⁵⁸ «Сколько?...» (франц.)

¹⁵⁹ «Сколько хочешь» (франц.).

не повезло, – во всем всегда не везет...»

Как ни мучительна была для Штаалья мысль очутиться в большом незнакомом обществе, в котором надо было бы разговаривать, сидеть, а не лежать, и быть одетым по форме, он с жутким нетерпением ждал вечера у Талызина. Что-то ему говорило, что вечерние сборища у командира Преображенского полка имеют близкое отношение к нависшему над Россией и над ним грозному, таинственному делу. Штааль смутно чувствовал, что визит этот многое уяснит и, быть может, его успокоит. Однако в воскресенье он получил краткую записку: Талызин в самой любезной форме извещал, что завтрашний прием отменяется и что он непременно ждет гостя в следующий понедельник. Записка была писана канцелярским почерком: только имя и отчество Штаалья во второй строчке, после обращения «дорогой друг», были вписаны рукой, которой принадлежала подпись. Сообщение о том, что долгожданное свидание откладывается еще на целую неделю, произвело ужасное впечатление на Штаалья. Мучаясь вопросом, почему отложен прием у Талызина, Штааль десять раз перечитывал записку, вдумывался в каждое слово и не находил ответа. Может быть, заговор раскрыт – тогда не будет ли тяжелой уликой это приглашение? Ведь через писарей и проследят, кого именно звали. Как только эта мысль пришла Штаалю, он сжег записку – в другое время было бы очень приятно при случае показывать приятелям письмо от одного из первых людей столицы с обращением «дорогой друг» (хотя бы

писанным рукой канцеляриста) и с указанием его имени-отчества. Затем он с ужасом подумал, что, быть может, кто-либо оклеветал его перед Талызиным, назвал ненадежным человеком или даже предателем. Ничто решительно не говорило в пользу такого предположения. Текст записки (Штааль вспоминал каждое слово) был, очевидно, одинаков для всех приглашенных. Да и самое приглашение не отменялось, а лишь откладывалось на неделю. Тем не менее предположение это было невыносимо. Штааль спал ночью еще хуже обыкновенного. Он проснулся в шесть часов с сознанием, что случилась катастрофа и что с мыслью о ней надо будет жить и весь этот день, и следующий, и так до ближайшего понедельника.

Он лежал на краю постели часа два, скосив глаза вниз и внимательно пересчитывая половицы. Этим он подолгу занимался в спальней по утрам. Сосчитать было трудно – мешал лежавший у стены ковер. Штааль измерял его мысленно, определяя на глаз число покрытых ковром половиц. Денщик принес ему стакан чая с лимоном – Штааль в последние дни ничего не ел по утрам. Он жадно отхлебнул из стакана, приподнявшись на локте. Но усилие было слишком велико. Как тяжелобольной, он в изнеможении снова опустил голову на подушку, закрыл глаза и задумался.

«Ну да, это ваперы, – думал он, – это может случиться со всяким... В трусости, в недостатке мужества никто меня не упрекнет. Ламор правду говорит, что нет вполне храб-

рых, ничего не боящихся людей, что храбрость есть самая неопределенная штука. Он еще цитировал Фенелона... Кажется, Фенелона?... Да, как это?... «Le courage humain est faux, c'est un effet de la vanité: on cache son trouble...»¹⁶⁰ Значит, память еще работает, несмотря на ваперы... Сколько храбрых людей, столько и храбростей. Конечно, у меня нет того мужества, что было у князя Мещерского, перешедшего под огнем по бревну через Руссу на Чертовом водопаде. Он, однако, упал на колени, когда перебежал на левый берег... У меня нет и выдержки старика Суворова, на то он и Суворов. Но я вел себя в походе не хуже других, лучше очень многих, и опасность, к которой бывал я подготовлен, никогда меня не пугала. Я выйду охотиться на медведя, соглашусь стреляться с опытным дуэлянтом... В Париже я один вершок был от смерти... Ну да! – радостно вспомнил он. – Конечно, тогда опасность была похуже нынешней: шутка ли, Питтов агент в Париже в пору террора! И вынес ведь... Правда, и тогда был страх, были кошмары, были бессонные ночи... А все же не было того, что сейчас... Да что же, какая опасность может мне теперь грозить? Ежели только меня не связывает тот разговор с Паленом... Может статься, я у них значусь в списках...» – угрюмо думал он.

Штааль с тревогой замечал в себе признаки большого душевного расстройствa. На столике возле постели у него по-

¹⁶⁰ «Человеческая храбрость обманчива, это следствие тщеславия: люди скрывают свое смятение...» (франц.)

стоянно лежал заряженный пистолет. Он испытывал больше, чем когда-либо прежде, то особое чувство свободы, которое дается постоянным обращением с оружием. «Дешево себя не продам, а застрелиться всегда успею. Нет, не дойдет до дыбы, — думал он, соображая, сколько времени им понадобится для того, чтобы взломать дверь и ворваться в его комнату. — Разве враспloch схватят? Надо, надо быть осторожным...» Он теперь очень тревожился относительно входной двери; иногда вечером, ночью, по два, по три раза вставал, выходил в переднюю, проверял запор и заодно прислушивался — не слышны ли на лестнице тяжелые шаги гвардианов.

XVIII

Дядьки на руках перенесли пажей через мокрое грязное крыльцо и усадили в давно дожидавшуюся огромную придворную карету. Пажи, назначенные на дежурство при высочайшем столе, тщательно вымытые, в непривычных французских костюмах, в новых шелковых чулках, сидели в карете без шляп, чтобы не смять сложной прически. Им было жутко и весело. Разговаривать они не смели: пажеский надзиратель, прозванный в корпусе «зайцем», имел вид очень хмурый. Однако при въезде в Михайловский замок самый бойкий из пажей, Костя Бошняк, не утерпел, наклонился вперед и прижался лицом к стеклу кареты, чтоб посмотреть, как опустится подъемный мост, о котором ходили в корпусе

таинственные волнующие слухи. Но Косте ничего не удалось увидеть. Никакого подъемного моста не было, да и «заяц» больно дернул Костю за ухо – за самый низ, чтобы не испортить ailes de pigeon¹⁶¹ над ушами. Карета остановилась. Дядьки соскочили с запяток и снова вынесли взволнованно на подъезд пажей одного за другим. Стало очень светло и тепло. Золото, мрамор, хрусталь ослепили глаза Косте. Он видел только, что шедший сбоку от них надзиратель имел здесь далеко не такой величественный вид, как в корпусе. Это было приятно. Затем, в одной из бесконечных великолепных зал, раззолоченный старичок с палочкой в руке (важный человек, судя по виду и по тому, как с ним говорил «заяц») долго и ласково учил порядкам пажей. Этому, впрочем, их учили и в корпусе на уроках учтивства и благопристойности; устраивались даже репетиции. Пажи, находившиеся в том возрасте, когда нельзя разобрать, где кончается застенчивость и где начинается глупость, слушали старичка плохо. Он вздохнул, посмотрел на часы, простился с надзирателем и повел пажей в столовую. Здесь у Кости совершенно разбежались глаза. У стены большой комнаты во всю длину выстроились лакеи в пышных красных ливреях, все такие громадные, что даже Володя, камер-паж, которому было семнадцать лет, приходился им по плечо, и сам учитель русского языка, прозванный в корпусе пихтою, был, пожалуй, их пониже. На стоявшем посредине комнаты огромном, покрытом белоснежной

¹⁶¹ Крылья голубя (франц.).

скатертью столе горели в канделябрах свечи. «Золотые канделябры!» – подумал благоговейно Костя. Все на столе, как в сказках, было золотое или хрустальное. В золотых вазах лежали такие фрукты, каких Костя отроду не видал (он, хоть и учился в Пажеском корпусе, был из очень небогатой семьи). Другие золотые вазы были полны доверху конфет. «Вот как живут, счастливицы, – подумал Костя. – Мне так не зажить». Он задумался, будет ли когда-либо царем. Надежды было мало. «Может, завоюю какое-нибудь царство в Африке», – успокоил он себя, понемногу осматриваясь. В комнате было два камина, но ни в одном не горел огонь. «Чудаки или спячатся? – спросил себя Костя. – И то холодно, как у нас в дортуаре». По сторонам от каминов картины изображали войну. Это было бы интересно рассмотреть получше, но старичок как раз поставил Костю на его место, слева от Володи, позади зеленого бархатного стула. Таких стульев в комнате было всего семь. Посредине, перед Володей, стоял стул пошире, тоже зеленый бархатный, но весь расшитый золотом и с огромным золотым гербом на отвале. Другие стулья – всего штук двадцать – были красные. На них лежали зеленые, не бархатные, а штофные подушки. Костя знал, что на стульях, за которыми их расставили, будет сидеть царская семья, а впереди камер-пажа Володи, на стуле с золотым гербом, сам государь.

– Кубок его величеству, миленький, буду подавать я сам, – ласково-убедительно говорил раззолоченный старичок, точ-

но упрасивая пажей согласиться на такой порядок. – Вы на меня, миленькие, смотрите: чуть что, я мигну, поймете. А как я возьму у тебя кубок, миленький, ты скоренько возьми у меня жезл, а потом тотчас и отдай, вот и хорошо будет...

Костя слушал плохо, довольный тем, что самая трудная роль выпадала на долю Володи, который заметно волновался. Косте очень нравились непривычные слова «кубок», «жезл». Он их знал только по книжкам; до того он и не догадывался, что палочка в руках старичка была жезлом. Затем каждому из пажей дали в руки по серебряной тарелке. Костя совершенно не знал, что с ней делать: о тарелках в корпусе на ученье им забыли сказать. Он украдкой посмотрел на камер-пажа. Тот держал тарелку впереди себя, приложив ее краем к груди. Костя сделал то же самое. Было неудобно и смешно.

– Ну вот, отлично понял, миленький, – говорил камер-пажу старичок. – Ну, вот и славно, молодцы, мальчишки, молодцы!

Володя поклонился головой и тарелкой. Косте стало еще смешнее. Он хотел что-то шепнуть соседу, но вдруг вытаращил глаза. В столовую комнату вошел очень маленького роста человечек в разноцветном коротеньком халате, из-под которого виднелись красный и зеленый сапожки. Лицо у этого человечка было ярко раскрашено; он носил усы, закрученные кверху и продетые в кольца, – слева золотое, справа серебряное. На щеке у него была наклеена огромная муш-

ка, как у генеральши, жены директора корпуса. К изумлению Кости, старичок в раззолоченном мундире не принял никаких мер против вошедшего, рассеянно на него взглянул и совершенно так же, как им, сказал ему: «Здравствуй, миленький».

– Это царский шут, – шепотом пояснил Косте камер-паж. Шут подошел к ним, вытащил из-под стола скамеечку и, видимо, с трудом опустившись, сел позади царского стула.

– Эх, старость не радость, – сказал он угрюмо. Молодой лакей, восторженно глядевший на шута, радостно фыркнул. Шут мрачно на него посмотрел.

– Чего смеешься, с... с...? – сказал он сердито.

– Ну, ну, ты потише, миленький, – укоризненно заметил раззолоченный старичок. – Какие ты слова при невинных детках говоришь, а?

Косте стало еще веселее оттого, что это они невинные детки и что при них, по мнению старичка, нельзя говорить такие слова. Он пришел в столь радостное настроение, что даже вход высоких особ не произвел на него большого впечатления. В шедшем странной походкой впереди человеке Костя сразу признал государя, хоть никогда его не видал и хоть портрет в корпусе большим сходством не отличался. Его немного удивило, что государь был не выше Володи (Костя иначе представлял себе царей) и что он все время фыркает. Наследника, который приезжал к ним в корпус, Костя видал и прежде. Ему показалось, что великий князь сильно

изменился, исхудал и осунулся. «Верно, болен», – подумал Костя. К большой его радости, шут вдруг галопом пробежал по комнате, высоко подкидывая полы халата. Царь вздрогнул и оглянулся. Шут замахал головой и сел на скамеечку позади стула, вытянув ноги в разноцветных сапожках и перебирая в воздухе ручками.

XIX

Штааль не знал, что переворот назначен на одиннадцатое число. Но он об этом догадывался.

План дела, время его выполнения были известны лишь очень немногим. По-настоящему все знал точно один Пален. На сборищах в доме генерала Талызина ничего толком не говорилось. Тем не менее после первого же из этих сборищ у Штааля исчезли следы сомнения: стало совершенно ясно, что заговор существует, что развязка приближается и что сам он принимает в деле очень близкое участие.

На последнем ужине у Талызина Пален отозвал Штааля в сторону и минут пять говорил с ним наедине. Имел он при этом такой вид, точно хотел раскрыть Штаалю всю свою душу. Однако говорил Пален больше о преимуществах свободы, о позоре рабского состояния, о Бруте и о других римлянах. Затем он, как будто некстати, но с участием, спросил Штааля об его видах и пожеланиях по службе. Неожиданно для самого себя Штааль, волнуясь, сказал, что ему ничего не

нужно: он и так готов всем пожертвовать для отечества. Пален одобрительно кивнул головой, как бы показывая, что это само собой разумеется. Тем не менее продолжал расспрашивать Штаалья об его служебных видах и даже что-то записал для памяти в книжечку. Потом он опять поговорил о Бруте и о свободе, под конец разговора, глядя в упор на собеседника, сказал тихо, проникновенным голосом: «J-f... qui parle, brave homme qui agit»,¹⁶² – отошел и отозвал в сторону другого гостя. Больше ничего не было сказано, однако Штааль понял, что все закреплено и кончено. «Да, я сжег свои корабли», – повторял он про себя с волнением. Ему нравилось это выражение (хоть он и не помнил толком, что за корабли и кто их сжег, – кажется, какие-то греки). Еще больше его взволновали заключительные слова Палена. Фразу «J-f... qui parle, brave homme qui agit» Штааль потом слышал не раз: по-видимому, Пален говорил ее и другим участникам дела (они, впрочем, на него не ссылались). Штааль про себя повторял эти французские слова в минуты особенного упадка духа. От них он как будто становился бодрее. Ваперы не исчезли, но ослабели: он переболел.

В марте вышла наконец бумага с его назначением. Он был определен ординарцем к генералу Уварову (который тоже постоянно бывал у Талызина). Штааль недолюбливал своего нового начальника, однако назначению был рад. Уварову как раз выпало исполнять обязанности дежурного генерал-адъ-

¹⁶² «Подлец – кто болтает, молодец – кто делает» (франц.).

ютанта при государе, и по должности ординарца Штааль чуть не целый день проводил в Михайловском замке. Работы у него было очень мало: он выполнял отдельные поручения Уварова.

Государя Штааль видел редко, но с царской семьей встречался беспрестанно. Она чрезвычайно ему понравилась. Штаалю со школьных лет внушалась привязанность к царствующему дому, но он прежде не чувствовал настоящей любви к чужим, далеким людям. Теперь он с удивлением заметил, что искренне полюбил и императрицу (хоть его очень смешил ее немецкий говор), и великих княгинь, и княжон. К наследнику он не чувствовал сердечного расположения, но любовался им невольно, как сокровищем искусства. «Право, это уж не весьма справедливо, – думал он, – что одному дано столько: и первый в мире престол, и ум, и этакая изумительная красота». Штааль старательно изучал, как ходит великий князь, как здоровается (в отличие от императора Александр Павлович подавал руку приближенным). Пробовал Штааль и перенимать эти манеры, но сам чувствовал, что совсем не выходит: для них требовалось быть наследником русского престола. Штааль видел раз издали, как в концерте Александр Павлович аплодировал госпоже Шевалье: левая рука его была приподнята до высоты лица и оставалась почти неподвижной; он медленно хлопал по ней правой рукой, откинув назад голову, чуть наклонив ее налево. И жест этот, и выражение лица великого князя, и его узкие породистые

руки с длинными тонкими пальцами казались Штаалю художественным созданием. «Вот она, раса, – говорил он себе. Личная обаятельность, свойственная многим Романовым, в Александре Павловиче достигла высшего предела. – У покойной государыни был, сказывают, такой же шарм, – думал Штааль. – Может, в молодости, – ведь я ее видел старухой... Нет, такой же едва ли был и в молодости. Откуда у ней, у захудалой немецкой принцессы, взялся бы?..» Сильное впечатление производил на Штааля и строгий придворный этикет. Было что-то магическое в вечном церемониале двора, в титулах этих людей, в странном обращении с ними. Штааль находился теперь в той степени близости к великим князьям, которая особенно способствовала их престижу. Они не были для него больше чужими, но не были и своими людьми. Он часто их видел, но никогда с ними не разговаривал. «Как ни смотри, а необыкновенные люди, и какие воспитанные!» – думал он. Мысль о том, что он участвует в заговоре против главы этой милой семьи, вызывала в нем иногда тоскливое недоумение. Он теперь старался возможно меньше думать о деле. Это, однако, не очень ему удавалось. В Михайловском замке становилось все страшнее.

На одном из французских концертов, часто устраивавшихся в столовой комнате замка, Штааль встретился с госпожой Шевалье. Он не получал приглашения на концерты, но, в числе многих других людей, под разными предложениями появлялся в комнатах, смежных со столовой, видел и разго-

варивал с приглашенными и сам чувствовал себя как бы приглашенным. Встретив госпожу Шевалье в вестибюле, он поклонился ей с той же самодовольной улыбкой, которая расплылась у него на лице после их разговора на маскараде. Артистка слегка прищурилась и холодно кивнула головой. Штааль не мог прийти в себя от изумления. Этот пренебрежительный кивок чрезвычайно его разозлил. «Постой-ка, погоди, моя прелесть», – подумал он. Ему пришло в голову, что после низвержения императора неизбежно пропадет и вся сила его фаворитки. «И Кутайсову тогда конец, а мы, маленькие люди, как раз пойдем в гору. Вот тогда по-своему поговорим, моя прелесть...» К числу наград, которых он ждал от успешного завершения дела, он причислил еще и эту.

В этот самый день Штааль встретил на Невском Талызина. Он заметно осунулся и был, видимо, расстроен. Поговорить им не удалось: Талызина ждали. Он успел только пригласить Штааля к себе на ужин в понедельник.

– Я как раз вам хотел писать, – сказал с очень значительным видом Талызин, необычно крепко пожимая руку Штаалю. – Непременно приходите. В понедельник, одиннадцатого числа, часам к одиннадцати, не позже, – настойчиво повторил он, бледнея. – В понедельник, одиннадцатого числа... Непременно!..

Штааль тоже очень побледнел.

XX

В понедельник он проснулся очень поздно, с таким мучительным чувством тоски, какого не испытывал даже в худшую пору ваперов. Он с отвращением проглотил целую ложку Гарлемских капель (впоследствии один запах их возбуждал в нем тоску) и долго еще лежал в постели. Потом умылся, выбрился при зажженных свечах (эти свечи днем еще усилили его тоскливое, тревожное настроение), надел новый мундир и положил в карман маленький пистолет, с которым никогда не расставался. «Что ж теперь? – угрюмо спросил он себя. – Не в клуб же ехать?..» Штааль обычно обедал в клубе, в котором «настоятелем» был его новый начальник Уваров. Но самая мысль о поездке в клуб в такой день показалась Штаалю нелепой. Есть ему не хотелось. Идти на службу было рано: обычно он приезжал в замок лишь после обеда. Пробовал он почитать: на столе у него постоянно лежал Декарт. Штааль раскрыл «Discours de la méthode» и разыскал ту страницу. Она и теперь немного его растрогала, но больше по воспоминаниям счастливого школьного времени, вызывавшим острую душевную боль. Читать дальше ему, однако, не хотелось. На дворе было почти совсем темно. «Экой денек выдался», – сказал вслух Штааль. Шел четвертый час. Собственно, можно было уже ехать в замок. Можно было еще немного и подождать. «Кажется, все взял, что нужно?.. – по-

думал Штааль. Неясно было, что именно нужно брать с собой для дела, которое предстояло. – Не сжечь ли лишнее?..» Ничего лишнего у него не было. «Ах, да, еще за деньгами заехать», – подумал он и обрадовался, что вспомнил. Штааль недавно, чтобы не держать дома остатков своего богатства, положил семь тысяч рублей ассигнациями в банк. «Тогда пора ехать, – не опоздать бы... И бумажник надо захватить, ежели ассигнациями заплатят». Обычно он не носил бумажника, а деньги хранил в боковом кармане, – вынимать их прямо из кармана было эффектнее.

Штааль открыл ящик стола, достал старый бумажник и сдул с него пыль. Из бумажника выпала игральная карта. «Это еще что?» – спросил себя Штааль. Карта была старинного фасона с девизом «Vive le goy».¹⁶³ Изображена была на ней странная фигура, с рогами, с высунутым языком. Штааль смотрел на фигуру с удивлением, что-то смутно и беспокойно припоминая. «Откуда она взялась?.. Ах, да...» Он вспомнил, что карту эту он когда-то отложил в бумажник в убежище на Сен-Готардском перевале. «На кого-то еще была похожа эта фигура, и я не мог сообразить, на кого именно, потому и отложил... На кого же?» Штааль не мог вспомнить и теперь. Он долго, с непонятной тревогой, смотрел на карту. Затем сунул бумажник в карман. «Что ж, пора идти. Может, никогда не вернусь...» Он вздохнул, погасил свечи и вышел.

В жарко натопленной комнате банка ярко и уютно горели

¹⁶³ «Да здравствует король» (франц.).

лампы. Сидевший за решеткой молодой франтоватый служащий, знавший в лицо Штааля, привстал с учтивым поклоном, пожал руку, протянутую Штаалем поверх перил, и поговорил о погоде.

– Нам принесли-с или получить прикажете-с? – осведомился служащий.

– Получить, – поспешно произнес Штааль. Ему было почему-то неловко сказать, что он хочет взять из банка все свои деньги. «Надо что-нибудь им оставить... Зачем закрывать счет? Оставляю сто... Нет, сто неудобно, – двести...» Он написал требование на шесть тысяч восемьсот рублей. Служащий любезно закивал головой, разыскал в книге счет Штааля и снова кивнул, но, как показалось Штаалю, несколько менее почтительно.

– Присядьте, пожалуйста... Сейчас запишем...

«Ежели б я принес им деньги, он, верно, сказал бы “запишем-с”», – подумал Штааль. Он сел на деревянный диван; вся мебель в банке – стулья, столы, диваны, решетки – была заморского дерева и сверкала медью. Чернильницы, вазочки с песком, ставки для перьев на столах – все было уютное, чистенькое. Служащие за перилами аккуратно делали каждый свое дело: справлялись по книжкам, записывали, принимали и выплачивали деньги, разговаривая вполголоса с посетителями. Любо было смотреть на все это. Штааль неизменно испытывал в банке особое чувство удовольствия: все делалось так гладко, все были так учтивы. Люди за ре-

шеткой имели, по-видимому, в своем распоряжении неограниченные суммы денег. Они и разговаривали так, точно и посетители должны были иметь в неограниченном количестве деньги. Штааль смотрел, как кассир за решеткой быстро отсчитывал заколотые булавками белые ассигнации, изредка прикасаясь средним пальцем правой руки не к губам, а к губке в стеклянной вазочке. «Что, ежели выхватить пистолет и выпалить в него, хватить все деньги и был таков... Пустяки, конечно... И поймают беспременно. Тогда перестанут улыбаться и уж совсем без слова-ерика заговорят... Какой вздор нынче лезет в голову, срам!» Он получил деньги, не считая, положил их в бумажник и простился со служащим.

– На днях опять к вам заеду... Внесу малость, – небрежно сказал он. – На человеколюбивый процент, – добавил Штааль, подчеркивая улыбкой официальное выражение. Он снова сел в сани и громко приказал ехать в Михайловский замок. Извозчик заторопился. Проходивший господин вздрогнул и оглянулся на Штааля.

После недолгого пребывания в тепле крепкий мороз чувствовался не так сильно. День кончился. В кабаке, на углу двух улиц, засветился желтоватый огонь. Бородатый кабатчик у окна задергивал занавеску, опершись рукой на плечо сидевшего с поднятой головой, радостно улыбавшегося человека, перед которым на столе стояла бутылка. «Вот оно, настоящее счастье, – подумал Штааль, – так бы и прожить весь век, как они, и ничего не нужно другого...» Мед-

но-красное улыбающееся лицо исчезло за грязной помятой занавеской. Тоска еще крепче сжала сердце Штааля.

Раздеваясь в вестибюле замка, он подумал, что хорошо было бы нынче снова встретить Шевалиху и возможно холоднее ей поклониться. «Нет, ведь нынче не будет французского концерта...»

Первый знакомый, которого Штааль увидел, был Иванчук. Он ежедневно заезжал в Михайловский замок и получал там нужный ему зачем-то список лиц, приглашенных к высочайшему столу. Иванчук вел тщательный учет того, кто и как часто получал приглашения к царским обедам; у него был даже заведен особый реестр, который он знал едва ли не на память. Штааль теперь немного щеголял перед Иванчуком тем, что постоянно находился во дворце. Он знал, что Иванчук ему завидует, и это было приятно: обычно ему почти во всем приходилось завидовать Иванчуку. Но, несмотря на постоянное пребывание Штааля в замке, всегда выходило так, что придворные новости он узнавал позднее, чем Иванчук. На этот раз вид у Иванчука был необычно растерянный. Он явно был чем-то сильно взволнован. Тем не менее Иванчук и теперь не мог отказать себе в небольшом удовольствии. Крепко пожав руку Штаалю и внимательно на него глядя, он спросил неопределенным тоном:

– Ты как думаешь? Их скоро выпустят?

Увидев по лицу Штааля, что сенсационная новость ему неизвестна, он добавил пренебрежительно:

– Да, впрочем, вам, верно, и не сказали? Государь посадил сынков под домашний арест.

– Великих князей? – воскликнул Штааль, в волнении не подумав о том, что его неосведомленность и изумленный вид доставят Иванчуку удовольствие.

– Обоих: и Сашу и Костю. Сначала велел их заново привести к присяге, а потом посадил под домашний арест... Ну, прощай, мне некогда...

Иванчук убежал, замахав руками. Штааль видел, что его приятель находится в большой тревоге. «Да, это вправду очень серьезно. Это на нас на всех может сказаться и на деле нашем», – подумал он холодея.

В Михайловском замке было очень тихо. Настроение у всех было чрезвычайно тяжелое. Штааль еще на лестнице узнал, что государыня императрица как раз вернулась из Смольного института, что вечерний стол назначен на девятнадцать кувертов и что приглашенные уже собрались в гостиной, поджидая выхода его величества. Государь, как говорили шепотом, настроен переменчиво; не то радостно, не то бурно – не поймешь.

XXI

Наследник престола действительно был арестован в своих покоях и провел день в смертельной тоске. К вечеру его позвали к столу государя. Александр Павлович привел себя в

порядок (он много плакал в этот день) и, сделав над собой тяжкое усилие, поднялся в верхний этаж. Ему было мучительно неловко: не то он был арестован как заговорщик, не то наказан как мальчик. Но чувство неловкости подавлялось смертельной тоскою.

В комнате, смежной с той гостиной, где собрались приглашенные к вечернему столу в ожидании выхода государя, наследника встретил граф Пален. На его лице сияла благодушная, почти игривая улыбка. В тоскливом взгляде Александра Павловича ненависть примешалась к надежде.

– Третий батальон Семеновского полка, как изволите знать, занял на нынешнюю ночь наружный караул замка, – негромко, вскользь, сказал Пален беззаботным тоном.

Александр Павлович изменился в лице, открыл рот, хотел что-то сказать и не мог. С минуту они молча смотрели друг на друга. Великий князь бледнел все больше.

– Петр Алексеевич, – прошептал он. – Клянись мне, клянись, что ни один волос не упадет...

– Клянусь, клянусь, – небрежно перебил его Пален.

«Все-таки лучше было просто сказать “клянусь”», – подумал он, опять чувствуя, что, быть может, себя губит.

Нарушая правила этикета. Пален первый отошел от великого князя.

Государь, с шляпой и перчатками в руке, вошел в гостиную. Озираясь по сторонам и фыркая, он кивнул головой в ответ на общий поклон. Затем подошел к наследнику престо-

ла и с минуту молча глядел на него со странной насмешливой улыбкой. Несмотря на улыбку, неподвижные глаза Павла горели. Гости замерли. Среди приглашенных в этот вечер к высочайшему столу заговорщиков не было. Но об аресте наследника престола знали все, и все чувствовали, что нечто странное происходит между царем и его сыном. Александр Павлович был мертвенно бледен. «Упадет в обморок или нет?» – с любопытством спросил себя Пален.

Забили часы. На пороге гостиной показался старичок в раззолоченном мундире. Павел фыркнул, улыбнулся еще насмешливей и, отвернувшись от великого князя, пошел по направлению к столовой. Военный губернатор, не ужинавший в замке, почтительно склонился перед государем.

Одна за другой из гостиной выходили пары. Стоя сбоку от двери, чуть наклонившись вперед, граф Пален смотрел вслед императору.

XXII

– Прекрасное винцо, – говорил пажеский надзиратель, упорно и тщетно пытаясь завязать разговор. – У нас в корпусе тоже недурное, но с этим и в сравнение не пойдет.

Ужинало в маленькой комнате только несколько человек: Штааль, надзиратель, который привез пажей, да еще человека три из второстепенных чиновников дворца. Эти ели молча и, по-видимому, не тяготились молчанием. Штааль тоже

был неразговорчив. Он почти не прикасался к блюдам, а пил одну воду, стакан за стаканом.

«Всякое тело пребывает в покоя или прямолинейного движения состоянии, доколе из одного состояния выведено не будет, – вспомнил Штааль слова школьного учебника. – Так нас учили. Это есть чей-то закон... Ньютона, или Паскаля, или еще какого-то дьявола... Зовется закон инерции. По этому закону я и живу... Инерцией вошел в заговор против царя, инерцией пойду нынче ночью опровергать его. Пусть у меня есть веские резоны, – но сам бы я не пристал к скопу, ежели б они меня не заманили. Да, они меня заманили, как мальчишку. Точно я не вижу?.. И веских резонов, собственно, нет никаких... Да, я хочу себя поставить в лучшее положение относительно карьера и денежных способов. Но я не для того пошел на дело... И так было всегда... Зорич меня послал в Петербург, – я поехал, Безбородко послал в Англию, – поехал, Питт послал в Париж, – поехал. Потом меня угнали в поход... Правда, и в поход, и в Париж, и в Петербург я собирался своей охотой. Только меня не спрашивали... Нет, не то что не спрашивали, все же жизнь моя шла инерцией... И не одна моя, – большинство из нас так живет...»

– Отличное винцо, – повторил надзиратель.

– Нет, вино среднее, – раздраженно сказал Штааль. – Со всем плохое вино.

Все на него взглянули. Надзиратель торопливо разрезал

индейку.

«Что ж, и Анну Леопольдовну лишили престола, и Петра Ш... Петра не только престола лишили. (У Штааля внезапно выступила на лице испарина. Он вытер лоб платком и жадно выпил еще стакан воды.) Как он противно гложет кость, держит рукой... Вот он вернется домой, уложит пажей, сам ляжет спать, и горя ему мало... А мне какая предстоит ночь... И что еще вслед за ночью... Скверная погода. Идти будет холодно. Вздор какой!.. Не остаться ли вправду здесь? Или поехать домой?.. Талызину скажу, что забыл про его приглашение, и изображу, что жалею страшно... Бог с ними в самом деле, и с чинами, и с деньгами, – проживу как-нибудь маленьким человеком, как этот вот... Что за противная морда, давно я такой не видел!..» – злобно думал Штааль, недолюбливавший воспитателей по свежим еще школьным воспоминаниям. Его сосед, по-видимому, почувствовал эту непонятную ему злобу. Он отвернулся не то смущенно, не то подчеркнуто равнодушно, с видом: «мне все равно, да и не велика ты тоже фигура».

– Видел я нынешний вечер вблизи господина военного губернатора, графа фон дер Палена Петра Алексеевича, – сказал он чиновнику. – Давно мне, признаюсь, желалось...

Чиновник что-то промычал.

– Вельможа обширного ума и добродетели, – почти с отчаянием произнес надзиратель.

Из соседней комнаты донеслись голоса. Там ужинали лю-

ди поважнее, однако не приглашенные к царскому столу.

«Де Бальмена на днях арестовали за какую-то уличную историю, отдали в солдаты и отвезли в казармы... Жаль мальчика... Все тот делает, сумасшедший, надо бы его и вправду прикончить... Если выйдет, я первый потребую освобождения де Бальмена и сам за ним поеду. То-то обрадуется!.. А если не выйдет?.. Право, отлично можно сказать Талызину, что забыл. Мало ли про какие приглашения люди забывают... Или напишу ему сейчас, что по моральным причинам не могу участвовать, помня о присяге, тайну же буду блюсти, как честный человек, и от всяких наград отказываюсь. То есть ежели не могу участвовать, то какие же награды, – глупо и писать о наградах... Нет, моральным причинам не поверят. И писать неблагоприятно. Лучше просто скажу, что забыл... Тоже не поверят... Эх, да пусть говорят, что хотят, черт с ними! Так и сделаю... Я не могу идти на такое дело, грех убивать царя», – решил Штааль.

Дверь открылась, и на пороге показалась грузная фигура Уварова.

– Зовут к нему... Скоро нынче поужинал, – громко сказал он поднявшемуся Штаалю, не стесняясь присутствием посторонних. – Спешит!.. – Он засмеялся нехорошим смехом. – Ты меня в пикетной подожди... Пойду, может, он еще что прикажет.

XXIII

Царский ужин продолжался недолго. Однако даже обер-камергер граф Строганов, который в течение многих лет, при Павле, как при старой государыне, неизменно приглашался к высочайшему столу и был во дворце – дома, в этот вечер испытывал очень неприятное тревожное чувство. Граф Строганов обычно выносил на себе тяжесть застольной беседы в Михайловском замке: он один заговаривал с императором, иногда решался даже возражать ему. В часто наступавшие минуты молчания другие участники того ужина укоризненно поглядывали на Строганова. Он со вздохом делал свое дело, говорил и о погоде, и о блюдах, и о здоровье, пробовал даже шутить, но все как-то не выходило. Под конец ужина Строганов совсем замолчал, с несколько обиженным видом, как бы означавшим: «что ж, все я, да я, – попробуйте-ка поговорить без меня».

Государь то шутил будто весело, то злобно усмехался, то говорил что-то вполголоса: слова его трудно было разобрать, несмотря на совершенную тишину, всякий раз наступавшую, чуть только он открывал рот. Лицо у Павла в этот вечер было особенно оживленное и странно насмешливое. Косте, который иногда искоса на него поглядывал (без большого, впрочем, интереса), казалось, что государь – веселый человек, единственный веселый во всей этой компании. Ко-

стя судил только по лицам: он не слушал того, что говорили за столом. Самое же мрачное и грустное лицо было у наследника (так в корпусе называли Александра Павловича), – он точно все время собирался плакать.

Больной, измученный вид великого князя привлек в этот вечер внимание не одного Кости. Каждый, кто встречался взглядом с Александром Павловичем, тотчас испуганно отводил или опускал глаза.

Еще одно немного озадачило Костю. Увидев на столе фарфоровый прибор с рисунками, изображавшими виды Михайловского замка, государь пришел в восхищение. Он схватил одну из чашек и принялся покрывать ее поцелуями. Самому Косте это показалось не столь уж странным, хотя чашка была, по его мнению, как чашка, ничего такого. Но он видел, что все гости мгновенно уткнулись глазами в тарелки.

– Счастливейший день... Счастливейший моей жизни день!.. – быстро бормотал государь, целуя чашку нового прибора и обводя гостей исступленным взглядом.

Сидевшая рядом с наследником жена его, великая княгиня Елизавета Алексеевна чувствовала, что, если ужин затянется, с нею может случиться нервный припадок.

Внезапно государь повернулся к Александру Павловичу, уставился на него в упор горящими воспаленными глазами, затем сказал громко хриплым голосом:

– Monseigneur, qu'avez-vous aujourd'hui?¹⁶⁴

¹⁶⁴ Как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество? (франц.)

– Sire, – тихо произнес, не поднимая головы, великий князь. – Je ne me sens pas très bien...¹⁶⁵

– Сир... Это я сир... – пропищал сзади шут. Государь гневно оглянулся и фыркнул.

– Décidément, je lui préfère Ivanouchka, son prédécesseur...¹⁶⁶ – быстро сказал вполголоса Строганов и тотчас смущенно замолчал.

– Я, говорю, сир, сирота казанская, ни отца, ни матери, – бормотал шут, двигая ушами и вытирая глаза полой халата. Кто-то попробовал улыбнуться.

– Eh bien, Monseigneur, soignez-vous,¹⁶⁷ – сказал через минуту хриплый голос.

Все молчали. Старичок в раззолоченном мундире поспешно наклонился над плечом государя и налил ему вина.

– И мне, и мне налей ромanei, – плачущим голосом сказал шут, протягивая руку с колпаком. – Ишь скупой какой! Не будет тебе счастья, злюка!..

Косте показалось удивительным, что государь с сыном так странно называют друг друга. Он не знал слова «sire» и думал, что бы оно такое могло значить. В одной книжке, которую он читал, был сэр Ральф, но это был сэр, а не сир, и вовсе не государь и даже не король, а просто важный человек. Пол-

¹⁶⁵ Государь... я неважно себя чувствую... (франц.)

¹⁶⁶ Решительно я предпочитаю ему Иванушку, его предшественника... (франц.) Речь идет о принце Иоанне Антоновиче, убитом в 1764 г.

¹⁶⁷ Что ж, ваше высочество, лечитесь (франц.).

ковник Клингенберг учил их называть государя «ваше величество», а ежели спросит по-французски, то «Votre Majesté». Вообще многое в столовой комнате удивляло Костю. Раззолоченный старичок, сахар-медович, который им всем, даже «зайцу», показался очень важным лицом, на самом деле выходил мелкой сошкой: никто здесь не обращал на него внимания и к столу его не пригласили. Впрочем, трудно было разобрать, которые тут придворные, которые старшие слуги: все делали как будто одно дело. Очень занимал Костю обед. Он был удивительный, из семи редкостно поданных блюд. Но есть Косте не хотелось: они ужинали перед самым выездом из корпуса. Зато глаза его беспрестанно возвращались к грушам с человеческую голову и к золотым вазам с конфетами. В стоявшей против него большой вазе лежали на бумажках желтые ломтики засахаренных ананасов. Костя особенно любил эти конфеты, – они отдельно не продавались, и в кондитерских их клали только в двухфунтовые коробки лучшего сорта по полтора рубля фунт, да и то лишь по одной или по две на коробку. Здесь же их было очень много, на всех могло бы хватить. Вперемежку с ананасами лежали зеленые марципановые и шоколадные с белым ореховым пятном, – их Костя тоже чрезвычайно любил. Ваза эта стояла как раз перед наследничком, который мог незаметно таскать и есть конфеты хоть с самого начала обеда. Костя вытянул голову и взглянул сбоку на наследничка. Тот как раз слегка наклонился над столом, вынул белый платок и чихнул, схватился

рукой за лоб и чихнул опять.

– Monseigneur, à l’accomplissement de tous vos souhaits,¹⁶⁸ – сказал в гробовой тишине хриплый голос.

Костя скосил глаза, взглянул на усмехавшегося царя – и в первый раз за весь вечер ему стало не по себе. Он быстро вытянулся.

– Чему быть, тому не миновать, – ни к кому не обращаясь, сказал глухо государь и, тяжело вздохнув, поднялся с места. Все встали с невыразимым облегчением. Павел насмешливо фыркнул и обвел комнату выпученными глазами. Взгляд его остановился на Косте, который с сожалением глядел через плечо на вазу с конфетами. Государь вдруг засмеялся. Лицо у него стало другое. Он взял из вазы целую горсть конфет, отошел, оглянувшись, к стене столовой и пальцем подозвал к себе пажей. Они подошли с опаской, хоть были предупреждены об этой забаве царя.

– Рядом станьте, плечом к плечу. Так... Теперь ловите.

Он бросил конфеты в дальний угол. Мальчики, изображая веселое оживление, побежали за конфетами по комнате. Шут, подобрав полы халата, с криком побежал за ними. Павел захохотал мелким негромким смехом. Но, увидев в дверях комнаты старательно улыбавшегося Александра Павловича, царь внезапно оборвал смех. Он гневно фыркнул, вытер испачканные шоколадом руки, вырвал у раззолоченного

¹⁶⁸ Желая вам, ваше высочество, исполнения всех ваших желаний (франц.).

старика свою шляпу и перчатки и, ни на кого не глядя, быстро вышел из столовой. Лицо наследника престола вдруг изменилось. Он, пошатываясь, отошел к камину...

В соседней комнате государя ждал дежурный генерал-адъютант Уваров.

Махальный закричал диким голосом: «Караул! Стройся!» Конногвардейцы, занимавшие пост у дверей спальни императора, бросились со скамьи к стене. Послышался топот тяжелых шагов и лязг обнажаемых сабель. «Слушай, – на-к-раул!» – прокричал офицер. Люди вытянулись, скосили головы и замерли. В слабо освещенную комнату с лаем вбежала собачка. За ней, озираясь по сторонам, вошел государь. Уваров остановился в дверях и быстро оглядел комнату. Собака бросилась к стоявшему сбоку от караула дежурному полковнику Саблукову и лизнула его в руку.

– Шпиц! сюда! – закричал хриплый голос. Государь быстро рванулся вперед и шляпой два раза ударил собаку по голове. Шпиц взвизгнул и отбежал. Настала тишина. Павел молча смотрел то на бледного полковника, то на окаменевшие огромные фигуры солдат.

– Vous êtes des jacobins,¹⁶⁹ – вдруг сказал он.

За спиной императора Уваров, много выпивший за ужином, скорчил гримасу и постучал пальцем по лбу.

– Oui, Sire,¹⁷⁰ – пробормотал растерянно Саблуков.

¹⁶⁹ Вы якобинцы (*франц.*).

¹⁷⁰ Да, государь (*франц.*).

Павел смотрел на него в упор. Потерявший голову офицер стал что-то объяснять негромким дрожащим голосом.

– Я лучше знаю! – вскрикнул император. Он заговорил быстро и бессвязно. Солдаты дико смотрели набок в одну точку. Павел замолчал, тяжело вздохнул и повернулся.

– Ах, да, Уваров?.. – произнес тихо, полувопросительно, государь. – Я что-то хотел вам сказать... – Он задумался. – Ах, да! – вскрикнул он и задумался опять. – Да, да, да... Пажи!.. Конечно... Пажи...

Уваров, наклонив голову, почтительно смотрел на грудь императора.

– Плохие пажи, плохие, – бормотал Павел. – Не нравятся мне эти пажи... Что? что? – вскрикнул он, озираясь.

Было очень тихо.

– Почему привозят пажей только из пажеского корпуса, а?

– Не могу знать, ваше величество, – по-солдатски ответил Уваров. Павел смотрел на него совершенно безумными глазами.

– Пусть возьмут других пажей, в кадетском корпусе. Там есть славные мальчики... Слышите, сударь? В первом кадетском корпусе. Сейчас извольте сообщить князю Зубову, чтоб сегодня же прислал сюда кадет...¹⁷¹ Что?..

– Слушаю-с, ваше величество...

Павел быстро от него отвернулся.

– Караул убрать! Не надо конногвардейцев... Не надо!..

¹⁷¹ Это было последнее распоряжение императора Павла. – Автор.

– Слушаю-с, ваше величество.

Раздалась команда:

– Караул! Напра-во! Шагом марш!..

Государь злобно-радостным взглядом провожал выходящих солдат, затем с минуту еще прислушивался к удалявшемуся топоту.

– Прощайте, сударь, – отрывисто сказал он Уварову. Уваров звякнул шпорами и низко поклонился. – Я иду отдохнуть, сударь, прощайте, – вздохнув, повторил Павел другим, точно умоляющим, тоном. Он замолчал.

– Займите места здесь, – обратился он к двум камер-гусарам. – И никого ко мне не пускать... Никого!.. Слышите? Никого...

Он кивнул головой, зачем-то надел шляпу и прошел в спальную, повторяя вполголоса скороговоркой: «Чему быть, тому не миновать... Чему быть, тому не миновать...»

XXIV

«Visitando interiora terrae rectificaiidoque invenies occuitum lapidem, veram mediciam». ¹⁷²

Баратаев переписал из книги эту фразу на толстом листе пергамента, отчеркнул первые буквы слов и дрожащей рукой выписал в ряд. Затем открыл тетрадь «Камень веры» и запи-

¹⁷² «Войдя в недра земли и совершив ректификацию, ты найдешь тайный камень, поистине чудодейственный» (*лат.*).

сал прыгающими буквами:

«Открылось ныне мне явственно, что славный Базилий Валентинус не иное мыслил, как купорос или vitriolum. От чего и я не могу отрещися, как с долголетними моими опытными изучениями несогласицы в оном не вижу. Сколь к яснейшему истины познанию... Не едино есть вещество первичное, земля Адамова. Второе соучаствует, aqua vitae,¹⁷³ что и древним ведомо было. Из прозорливой рукописи, виденной мною в чужих землях, записал я памятный магистериум:

«De commixtione puri et fortissimi xkok cum III qbsuftbnkt cocta in ejus negotii vasis fit aqua...»¹⁷⁴

И сию оккультную тайну токмо долгим прилежанием дано было мне разгадать. Вместо букв непонятных, нелепице подобных, должно читать буквы оным предшествующие. И будут тогда слова: vini, parte, salis.¹⁷⁵

Богом же просвещенный Арнольдо из Виллановы указывает мудро: «Qui seit salem et ejus solutioiiem ille seit occultum secretum».¹⁷⁶

И сие разногласности с моими изучениями не делает, ибо в рассуждении соли и жара не жидкость

¹⁷³ Влага жизни, живая вода (*лат.*).

¹⁷⁴ «От смешения чистого и крепкого вина с тремя частями соли, вываренными в каком надо сосуде, рождается вода...» (*лат.*)

¹⁷⁵ Вина, частями, соли (*лат.*).

¹⁷⁶ «Кто знает соль и ее раствор, тот обладает знанием тайны тайн» (*лат.*).

Невтонова,¹⁷⁷ а неведомое должно родиться.

«Ainsy le mystère semble éclairci. C'est par la réunion convenable et réfléchie, dans l'oeuf philesophal, de l'esprit de-vin, du sel et de la couperose que j'obtiendrai le puissant magistère que seuls, parmi les philosophes de la nature, les plus snges ont connu icy-bas. Eau pénétrante, lait virginal. Sic habes elixir vei iapidem philosophum. Elixir perfecta completum sive sapientum tinctura. Et totum opus naturae non est occultum Deo, sed mundanis hominibus».¹⁷⁸

¹⁷⁷ Как знает каждый химик, спирт при нагревании с серной кислотой дает обыкновенный эфир. Открытие этого вещества обычно приписывается Фробениусу, хотя производилась указанная реакция целым рядом алхимиков: Раймондом Люльским, Базилием Валентином, Валерием Пардом. В книгах, приписываемых этим великим ученым, многое с трудом поддается объяснению. Непонятно, например, то, какое назначение имели здесь сера, поваренная соль. В XVIII веке эфир часто назывался *Liquor Frobenii*. Но Фробениус, преследовавший цели коммерческие, при осуществлении своего опыта пользовался записями Исаака Ньютона, что в ту пору могло быть известно только посвященным. – *Автор*.

¹⁷⁸ «Таким образом, тайна представляется проясненной. Путем надлежащего и обдуманного соединения винного спирта, соли и купороса я в принципе буду обладать могущественным чудодейственным составом, и эти вещества, единственные среди философов по природе, самые мудрые из известных на земле. Вода проникающая, молоко девственное (*франц.*). Так ты получаешь эликсир, или философский камень. Эликсир совершенно полный, или мудрости окрашивание. И каждая вещь в природе не есть Божье таинство, но земного человечества» (*лат.*).

В кругах чиновников Иванчук считался правой рукой военного губернатора. Он гордился этой своей репутацией и заботливо ее поддерживал. Пален в самом деле видел в нем очень полезного человека. Но в заговор его не посвящал и даже незнакомым молодым офицерам доверял более, чем Иванчуку. О перевороте, назначенном на 11 марта, Иванчук ничего не знал. Однако еще до того недели за две, как опытный человек с немалыми связями, он стал замечать, что в столице происходит нечто необыкновенное, подозрительное и весьма неладное. Некоторые тревожные признаки были ему, по роду его службы, виднее, чем кому бы то ни было другому. Они повергли его в крайнее беспокойство. Иванчук прекрасно понимал, что граф Пален, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел, глава почтового ведомства, военный губернатор Петербурга, руководивший косвенно и Тайной экспедицией, не мог не знать всего, что происходит в городе. Мало того: подозрительные признаки, которые видны были Иванчуку, очень странным образом вели к самому графу Палену.

Иванчук впервые в жизни чувствовал, что решительно ничего не понимает. Несмотря на ходившие упорные слухи, он плохо верил в самое существование заговора. На памяти Иванчука никаких переворотов не было, и ему, по складу его

ума, было трудно верить в дела, которых он никогда не видал. Но уж совсем непонятно было Иванчуку, зачем могло понадобиться его начальнику такое неверное, отчаянное дело. Пален был первым сановником России. Он стоял во главе правительства. Он был вдобавок богат и при милости к нему государя, очевидно, легко мог разбогатеть еще гораздо больше; Иванчук и то плохо понимал, отчего такой искусный человек не использовал в удобную минуту общеизвестной щедрости императора. Соперников по службе у Палена больше не было, – он только что заменил Ростопчина на посту первоприсутствующего в коллегии иностранных дел (многие были убеждены, что отставка и немилость Ростопчина были делом Палена). В обществе некоторые шепотом утверждали, что Пален хочет ввести в России конституционный образ правления. О конституции Иванчук имел понятие смутное. Но все то, что он о ней слышал, совершенно не вязалось с его мнением о целях, намерениях и уме графа Палена. Говорили, что при конституции всякое действие начальства будет, как в Англии, обсуждаться четырьмя сотнями выборных людей. Об этом Иванчук без смеха не мог и подумать, – как это четыреста человек будут обсуждать и подписывать бумаги. Конституция явно принадлежала к разряду вещей мало серьезных, и уж Палену она никак не могла быть нужна. «На какого черта ему аглицкий парламент? – с искренним недоумением спрашивал себя Иванчук. – Ну, еще говорят, будто Панин Никитка был за конституцию (об уволенных сановни-

ках Иванчук всегда говорил и думал в прошедшем времени). Это куда ни шло: хоть и Никитке никакой не было выгоды, но он и об умном там любил поговорить, и книжки ученые этакие читал, целыми волюмами,¹⁷⁹ ежели не врал (Иванчук всегда с недоверием относился к тому, что люди – не доктора какие-нибудь и не архитекторы, а обеспеченные люди – могут для собственного удовольствия читать ученые книжки). А Пален, нет, верно, враки...» Он не только считал Палена чрезвычайно умным, ловким к хитрым человеком; он думал даже, не без чувства легкой обиды, что Пален умнее его самого; правда, он делал поправку на разницу в возрасте и особенно в положении: «С его властью нехитрая штука быть умным». Иванчук склонялся к мысли, что, если есть доля правды в слухах о конституции, верно, тут со стороны Палена какой-то ловкий подвох, настоящий смысл которого еще трудно разгадать.

Иванчук долго колебался, должен ли он сообщить Палену о ходящих слухах и о тех тревожных признаках, которые он замечал. Собственно, такова была его прямая обязанность. Он говорил себе, однако, что лучше оказаться виноватым в служебном упущении, чем влопаться. Но а первые дни марта месяца признаки стали настолько тревожными, что у Иванчука возникли сомнения, уж не влопается ли он и притом самым ужасным образом, если никому ничего не донесет. Прежде таких сомнений не могло быть; перед Иванчуком

¹⁷⁹ Том (франц. volume).

впервые стал вопрос, кому донести.

Он ежедневно бывал в Тайной экспедиции, разговаривал там с людьми, которые должны были знать очень многое. Говорил он с ними осторожно и туманно. «С такими господами ни в чем уверенным быть невозможно», – думал он. Они отвечали ему еще осторожнее и туманнее. Однако он со все растущим беспокойством почувствовал, что и эти насквозь прожженные, выдавшие всякие виды люди не только смущены, но находятся в чрезвычайной тревоге. Иванчук лишний раз убедился, как даже в этом учреждении боятся и почитают графа Палена.

В день 11 марта сведения, полученные Иванчуком, повергли его в такое волнение и страх, каких он никогда в жизни не испытывал. Грозные сведения эти говорили уже не о близком будущем, а о наступающей ночи, и указывали они прямо на графа Палена и на квартиру генерала Петра Талызина, командира Преображенского полка.

После мучительного колебания Иванчук решил, что наименее опасный (хоть и очень плохой все же) выход из тяжелого положения, в котором он находился, – принять роль не рассуждающего служака и исполнять все предписанное ежедневным, будничным расписанием занятий. По этому расписанию он в одиннадцать часов вечера обязан был являться к военному губернатору за приказаниями на ночь и на следующее утро.

Почти весь этот день Иванчук беспомощно метался по го-

роду и лишь часов в девять вечера ненадолго заехал домой. Ужиная с женой, он был очень мрачен, неразговорчив и, к большому огорчению Настеньки, не прикоснулся к жалею из померанцев, изготовленному под собственным ее руководством, и даже шпаргеля едва отведал, хоть шпаргель стоил три рубля фунт. Настенька его купила не без волнения. Она и мрачный вид Иванчука объяснила тем, что он сердится на нее за столь дорогое блюдо. Настенька смущенно стала оправдываться. Но Иванчук лишь горько улыбнулся. Расставаясь с женой, он нежно ее поцеловал и едва мог скрыть волнение, с особенной ясностью почувствовав, как сильно любит Настеньку.

Ровно в одиннадцать часов он прибыл в дом военного губернатора, на углу Невского и Морской. Его немного успокоило то, что в доме все было, как в другие дни. Перед подъездом, как обычно, стояло несколько саней. Так же, как всегда, вытянулись по сторонам от крыльца будочки с алембардами у выкрашенных в косую полосу будок и мгновенно открыли стеклянную дверь расторопные почтительные лакеи. Те же люди ждали на скамейках в вестибюле (только одного, громадного рыжеволосого полицейского офицера, не знал в лицо Иванчук). В боковой комнате, по обыкновению, засиделся за бумагами угрюмый старший секретарь Афанасий Покоев, а в приемной вежливо осведомился о здоровье Иванчука титулярный советник Тиран. После тоскливой тревоги тех мест, где Иванчуку приходилось быть в этот

день, все это приятно его поразило. Тиран немедленно доложил о нем военному губернатору. Через минуту Иванчук был принят. Пален в парадном мундире, при ленте и палаше, стоял у стола, надевая тугие белые перчатки. В этом тоже не было ничего необыкновенного. Граф часто выезжал из дому и в более поздние часы. Никакого волнения на его лице Иванчук не заметил. Напротив, Пален был, по-видимому, прекрасно расположен, – мурлыкал какую-то песенку, что делал только в минуты очень хорошего настроения. «Конечно, все враки», – облегченно подумал Иванчук.

– Особенности приказаний на сию ночь и на завтрашнее утро? – повторил Пален, выслушав Иванчука. – Никаких особенных приказаний... Ах, чуть не забыл, на завтрашнее утро есть приказание. Сказывали мне, будто на Петербургской и на Выборгской стороне сугробы снега в человеческий рост, так что и ходить по улицам невозможно... Ежели правда, то безобразие. Велите, пожалуйста, Аплечееву завтра же расчистить улицы...

Он разгладил на левой руке перчатку и снова замурлыкал песню. «Ну, разумеется, вздор... Эх мастера стали врать люди!» – подумал Иванчук, немного обиженный, но и успокоенный особенным приказанием Палена.

– Да, вот что еще, – небрежно сказал Пален, натянув и правую перчатку. – Вы ведь свободны в эту ночь?..

Иванчук побледнел. Он больше всего боялся, как бы военный губернатор не предложил ему принять какое-либо уча-

стие в деле.

– Я... Я... Ваше сиятельство... Жена больна... Что прикажете?

– Вот что я прикажу, мой милый, – сказал Пален, подчеркивая слово «прикажу». – Я сейчас еду к генералу Талызину, в казармы Преображенского полка (Иванчук совершенно побелел). Меж тем ко мне сюда будут люди по важному делу. Извольте оставаться здесь на крыльце и всем, кто спросит: «граф Пален», указывайте ехать к Талызину. В час ночи можете идти спать... Всем, кто скажет: «граф Пален». Поняли?

С ужасом глядя на своего начальника, Иванчук медленно кивнул несколько раз головой. Ему от волнения было трудно говорить. Пален посмотрел на него внимательно.

– Ну-с, так пожалуйста за мной... Мне пора, – холодно сказал он.

Внизу все встали и вытянулись. Надевая шинель, Пален подозвал того полицейского офицера, которого не знал Иванчук, и сказал несколько слов негромким голосом, показывая глазами на Иванчука. Полицейский оглянулся и проговорил уверенным тоном:

– Слушаю-с, ваше сиятельство.

– Вот и он с вами здесь постоит, чтоб вам не так было скучно... Эх, стужа какая!.. Ну-с, прощайте...

Он кивнул им головой. Затем уже на пороге раскрытой лакеем настежь двери, точно что-то припоминая, повернулся, окинул взглядом вестибюль, лестницу, быстро вышел и

сел в сани.

– В лейб-компанский корпус, – приказал он кучеру.

XXVI

– Что с ним прикажете делать? – разводя руками, сказал Уваров, войдя в комнату, где его ждал Штааль. – Новые, вишь, пажи потребовались... На нынешнюю ночь...

Он опять засмеялся нехорошим смехом. Штааль молчал. Уваров махнул рукою и сказал Штаалу:

– Ну, что ж, как приказал, так и сделаем. Нынче он еще царь... Съезди, родной, в первый корпус и скажи князю Zubову, чтобы сегодня же прислал новых пажей. Доложи также, что конногвардейский караул сменен и что государь отбыл в свою опочивальню. Остались только преображенцы... Далеко, – добавил он многозначительно, подмигнув Штаалу левой бровью.

– Сейчас прикажете ехать, ваше превосходительство?

Уваров задумался:

– Сейчас князя, верно, еще нет в корпусе... Впрочем, как знаешь.

– Слушаю-с, ваше превосходительство.

Ночь была довольно темная. Шел снег. Мороз еще усилился и перешел в настоящую стужу. Штааль застегнул на все пуговицы тонкую шинель, на зиму подшитую старым мехом, и поднял воротник, хоть этого по правилам не полага-

лось. «Семь бед, один ответ... Беды-то разные», – угрюмо усмехаясь, сказал он себе. Он еще подумал, что, отправляясь из дворца со служебным поручением, собственно, мог бы потребовать придворный экипаж. «Все равно возьму извозчика». Он вышел из замка со стороны Летнего сада. «Какие уж тут извозчики... Ну, на набережной отыщу...»

Штааль быстро пошел по аллее. Отойдя немного, он оглянулся. В окнах Михайловского замка еще кое-где горели огоньки. Один из них быстро заколебался и погас. Штааль поднял голову. На темном небе, чуть дрожа, блестела луна. Косые нити снега рвались, дрожали, рябили в глазах, так что голова немного кружилась. Идти было жутко. Штааль вытащил правую руку из рукава левой, опустил ее в карман и нащупал пистолет. Сразу стало легче. Через несколько минут он опять оглянулся на замок. Света в окнах больше не было видно.

Штааль вышел на набережную. Там не было ни души. Вдали на стенах Петропавловской крепости повисли в воздухе редкие огни. Очень высоко над ними, на вершине еле видимого тонкого шпиля, слабо поблескивал синеватый свет луны. «Ламор говорит, что это самое красивое, самое поэтическое место в Европе: самое красивое место в Европе – Тайная экспедиция. Странно, правда... А извозчика и здесь нет... Набережной ли пройти до моста или здесь, что ли, перейти реку?»

От фонаря утоптанная дорожка в снегу косо спускалась

к Неве. «По набережной ближе», – нерешительно подумал Штааль и поспешно спустился к реке, скользя и спотыкаясь на крутой обледенелой дорожке. Слева рвал ледяной ветер, взметая снежные сугробы, засыпая глаза Штаалю колючей пылью. Снег оседал на отяжелевшей шляпе. Черная стена приближалась. На валах у фонарей уже видны пушки. Штааль быстро шел вперед. Вдруг он остановился: от протоптанной по реке дорожки узкая обсаженная вехами тропинка сворачивала к Невским воротам крепости. Он замер...

«Ежели сказаться по важному делу, шеф Тайной экспедиции примет тотчас, и завтра я буду богачом, генералом, князем... Нет, я сошел с ума... – С трудом дыша, вздрагивая всем телом, он стоял у перекрестка дорожек. – В крепость или в корпус?... В крепость или в корпус? – бессмысленно повторял он вслух. Издали зловещим гулким звоном забили куранты. Штааль вздрогнул и поспешно пошел по прежней дорожке. – Мерзавец!.. Предатель!..» – тяжело дыша, повторял он вслух с яростью. Одно только мгновение он задержался на этой мысли и позже всю жизнь вспоминал о ней со стыдом и ужасом. Штааль не переоценивал своих нравственных качеств, но на предательство был совершенно неспособен даже в самые худшие свои минуты. Эта мысль, тотчас отогнанная с отвращением, осталась навсегда одним из наиболее мучительных его воспоминаний.

Петербургская сторона давно спала. Здесь и рогатки не выставлялись на ночь: некого было задерживать. Огоньки в

маленьких домиках были давно погашены. Фонари в этой части города попадались нечасто. Только издали светились огни на валах Петропавловской крепости. Не видно было и будочников. Из-за заборов лаяли собаки. «Точно Шклов... Совсем деревня», – думал Штааль, давно не бывавший на Петербургской стороне. Он хотел кратчайшей дорогой выйти на Васильевский остров, но заблудился, плохо разбираясь в темноте. «Кажется, не туда свернул... Авось ли здесь извозчик попадет... Экая глушь...» Небольшие деревянные дома, дощатые заборы, палисадники чередовались с пустырями. Штааль шел наудачу, крепко сжимая в кармане пистолет. «Вот до чего дожил, вот оно, паденье души, – вздрагивая, думал он. – Предатель!.. Иуда!..» Ветер выл, разбрасывая сугробы, разнося снежные столбы. Мутная луна то скрывалась, то выплывала из-за черных облаков, окаймленных узким желтым ободом. Ноги у Штааля коченели все больше; ему было трудно идти. Уши над воротником стыли. Он вынул правую руку из кармана, с сожалением оторвав ее от пистолета, стащил перчатку и приложил руку к уху. Боль усилилась, потом ухо стало отходить. Штааль, искривившись, принялся обогреть той же рукой левое ухо. В двух шагах от него собака отчаянно завывала и заметалась вдоль забора, яростно царапаясь лапами о доски. Впереди, в светлой полосе, шедшей от фонаря, что-то большое стремительно пронеслось, пригнувшись к земле, странным, не собачьим, бегом. Штааль задрожал быстрой дрожью, уронил перчатку и

мгновенно опустил руку в карман с пистолетом. «Волк!.. Ей-богу, волк!.. Что, ежели стая!..» – промелькнуло у него в голове. Он расширенными глазами смотрел вслед пробежавшему зверю. В эту холодную зиму волки нередко забегали по ночам на безлюдные улицы окраин. Ветер подхватил и понес по снегу перчатку. «Ну и времена... Волки в императорской резиденции! – подумал Штааль, успокаиваясь. – Волки в столице Екатерины Великой!..» Эта фраза, однако, ему самому показалась глупой. Он невесело засмеялся, хотел было разыскать перчатку, наклонился, но ее не было видно в белом вихре. «Бог с ней... Ну и забрался я в глушь!.. Может, нынче умирать, да не от волков же...» Штааль вернулся назад и, ориентируясь по огням крепости, вскоре вышел на правильную дорогу. Еще минут через десять он подходил к кадетскому корпусу.

XXVII

– Сейчас доставить кадет? Ночью? – с недоумением спросил дежурный офицер, подозрительно глядя на Штаалья. Вид измученного, с воспаленными глазами человека, с ног до головы покрытого снегом, с перчаткой на одной левой руке, действительно внушал мало доверия.

– Так мне приказал государь император, – сказал Штааль. – Через генерал-адъютанта Уварова, – отрывисто добавил он, сняв шляпу и стряхивая с нее снег. От сапог его рас-

ходила на полу лужа. – Впрочем, мне велено лично доложить князю Зубову.

– Так бы вы и сказали, – немного смягчившись, заметил офицер. – Снимите здесь шинель. Я вас провожу к его сиятельству... Ну и погода!..

Они пошли вверх по слабо освещенной лестнице. Офицер молча с опаской поглядывал на Штааля. Пройдя по длинному коридору, он остановился в нерешительности.

– У нас его сиятельство мало во что вмешивается, – нехотя сказал он. – Делами ведаёт генерал Клингер.

– Так что же?

– Так вот, видите ли, вы извольте сами доложить дело его сиятельству, а я тем временем сообщу генералу... Как раз и кадет поднимем. А то ведь все спят.

– Сделайте милость.

– Тогда будьте добры, – с видимым облегчением сказал офицер, – поднимитесь до той площадки и позвоните: это квартира его сиятельства. А я пойду к генералу.

Не дожидаясь ответа, он звякнул шпорами и быстро пошел назад.

На площадке было довольно темно. Шаги офицера затихли вдали. Нервы Штааля были очень напряжены. Он постоял, повернувшись ухом к двери и почему-то поднявшись на цыпочки. За дверью слышались голоса. Но разобрать слова было невозможно: говорили далеко. Штааль резко дернул ручку шнура и вздрогнул: так сильно прозвучал зво-

нок. Голоса мгновенно замолкли. Прошло не менее двух минут. Штаалю показалось, что кто-то на цыпочках прокрался к двери. «В щелку, что ли, смотрит?..»

– Кто такой? – спросил дрожащий голос за дверью.

– По приказу его императорского величества, – громко сказал Штааль: уж очень было трудно не произнести эту звучную фразу.

За дзерию она, по-видимому, произвела чрезвычайно сильное впечатление. Кто-то слабо ахнул. Послышались бегущие легкие шаги, взволнованный шепот, затем опять шаги, но другие, очень тяжелые.

– Кто здесь? – спросил густой бас.

– Поручик Штааль... Имею поручение к князю, – сказал уже несколько смущенно Штааль.

– Ах, ты, Господи!.. Я его знаю, открой, – сказал первый голос (Штааль теперь признал голос Платона Александровича). – Впусти его... Ложная тревога...

Дверь приоткрылась, затем открылась совсем. Штааль вошел в переднюю. Гигантского роста человек без мундира, в белой рубашке, с обнаженным палашом в руке, изумленно посмотрел на Штааля, покатился со смеху и вложил палаш в ножны. Это был Николай Зубов. Он произнес с хохотом несколько очень крепких слов. Штааль почувствовал себя немного оскорбленным, хоть слова эти, собственно, ни к кому не относились. Хозяин, стоявший боком в конце передней, с неудовольствием покосился на своего брата, подошел

к Штаалю и быстро поздоровался. Лакеев в передней не было.

– Что случилось? – тревожно спросил Зубов.

– Ничего такого, князь, – с достоинством сказал Штааль. –

Имею поручение.

– Наверное, ничего такого?.. Скажите прямо, ради Бога.

– Да нет же, князь.

– Прошу вас, войдите, – вздохнув с облегчением, произнес Зубов. – Позвольте вас познакомить... Поручик (он скороговоркой произнес фамилию)... Мой брат...

– Имею честь знать графа Николая Александровича.

– Ладно, ладно, я тоже теперь имею честь, – сказал Николай Зубов. – Так говори, в чем дело, отец мой. Зачем пожаловал?

От него сильно пахло вином.

– Поручик наш, – недовольным тоном сказал Платон Александрович, не совсем уверенно глядя на Штаалья. Штааль кивнул головой с легкой улыбкой, показывая, что понимает эти слова и что сомневаться в нем никак не приходится. Он только теперь заметил, что не снял в передней оставшейся у него перчатки; по возможности незаметно он стащил ее с руки и быстро сунул в карман.

– Войдите, голубчик, – повторил Зубов, пропуская гостя в большую, ярко освещенную комнату. У стола, заставленного бутылками, стоял пожилой, высокий, сухощавый, очень прямо державшийся генерал, с аккуратно зачесанными вниз

волосами, с задумчивыми добрыми глазами. Штаалю, который не знал его в лицо, бросился в глаза белый крест на шее у генерала. Немногие имели Георгия третьей степени, да и мало кто носил в царствование Павла этот бывший в немилости орден.

– Поручик Штольц... Барон фон Беннигсен, – познакомил хозяин. – Поручик – наш... Голубчик, не томите, скажите, в чем дело.

Штааль передал приказание государя и то, что поручил ему сказать Уваров. Николай Зубов покатился со смеху:

– Пажей, говоришь? Пажей на эту ночь? Ах, забавник...

Беннигсен приблизился к Штаалю и спросил с сильным немецким акцентом:

– Так ви говорите, тшто он в свою опатшивальную комнату уходиль?

– Государь? Так точно, ваше превосходительство, – ответил Штааль и решил больше никого не титуловать: в таком деле все равны.

– *Nöchst wichtig*,¹⁸⁰ – многозначительно сказал Беннигсен, обращаясь к князю. – И ви вашими глазами видели, тшто карауль с конной гвардии смениль?

– Собственными глазами... Дежурный по конногвардейскому караулу корнет Андреевский мой бывший сослуживец, и я...

– И конногвардейски карауль с дворца уходиль?

¹⁸⁰ Чрезвычайно важно (нем.).

– Jawohl, jawohl, – фамильярным тоном подтвердил Штааль по-немецки, чтобы не говорить ни «уходиль», ни «ушел». – Jawohl, Excellenz,¹⁸¹ – добавил он, хоть и решил никого не титуловать: «Excellenz» было хорошее слово, которое приходилось употреблять не часто. – Gewiss,¹⁸² – добавил он не вполне кстати, но заботливо произнося «i» как «ы».

– Sehr wichtig,¹⁸³ – повторил Беннигсен и, прикоснувшись двумя пальцами к груди Штааля, снял с его мундира пушинку меха. Штааль удивленно попятился.

– Слышал про пажей? Уморушка! – сказал с хохотом Николай Зубов, наливая себе вина. – Ты, малыш, пить хочешь? Тебя как звать?.. Ты ведь грузин, правда? Эх, брат...

Он опять произнес несколько сильных слов.

– Не пей так много, – перебил его Платон Александрович. – В самом деле, может, вы закусите? – учтиво спросил он Штааля. Он, видимо, любезной интонацией хотел заглядеть и грубость своего брата, и то, что сам нетвердо помнил фамилию гостя. Беннигсен наклонился к Зубову и что-то ему сказал.

– Ну да, конечно, надо исполнить, – торопливо ответил Платон Александрович. – Я сейчас прикажу Клингеру нарядить кадет... Выпейте с нами вина, голубчик, за успех наше-

¹⁸¹ Так точно, так точно... ваше превосходительство (нем.).

¹⁸² Конечно (нем.).

¹⁸³ Очень важно (нем.).

го дела. Николай, налей-ка нам шампанского.

– Это что шампанское лакать, – говорил Николай Зубов, разливая вино. – Тебе налить, немецкая образина?.. Я шампанское и за напиток не считаю. Ты, отец мой, его с английским пивом пополам выпей... Не хочешь, малыш? Ишак ты, право, кавказский ишак...

Штааль вспыхнул, но сдержался. «Что с пьяного взять?» – подумал он. Платон Александрович умоляюще уставился на своего брата.

– Was heisst: ischak?¹⁸⁴ – спросил равнодушно Беннигсен.

– Я на вечерний стол приглашен к Петру Александровичу, – сказал Штааль, выпив вина. – К Талызину.

– Ах да, мы все там будем, – поспешно заметил Зубов. – Но прежде прошу вас заехать к графу Палену. Вы можете?

– Отчего же, могу, если нужно для дела.

– Очень нужно. Пожалуйста, поезжайте сейчас к нему и сообщите, что мы за ним заедем или ежели не успеем, то в полночь прибудем прямо к Талызину... Будьте добры.

– Не умедлю сделать. Так до скорого свиданья, – равнодушным тоном сказал Штааль, откланиваясь.

– И говорим вам пароль: «граф Пален», – добавил генерал Беннигсен.

¹⁸⁴ Что значит: ишак? (нем.)

XXVIII

У кадетского корпуса стояло несколько извозчиков. Штааль выбрал лучшую на вид пару.

– По часам прикажете, ваше благородие, в один конец?

«В самом деле, взять по часам?.. Может, и там пригодится; не пешком же мы пойдем его убивать, – спокойно подумал Штааль. Он теперь впервые вполне ясно почувствовал, что идут на убийство. – Жаль, сани неказистые. Ежели там кто из окна выглянет?.. Надо бы мне иметь выезд...»

– Пошел в губернаторский дом!

«Хорошая пара, рублей триста, – подумал Штааль, глядя мимо спины кучера на крытых сеткой лошадей. – Славно идут... Триста рублей, никак не меньше. У левой селезенка играет... Да, надо, надо завести выезд. Дешевы лошади на юге... С чего этот пьяный черт взял, что я грузин?.. А обижаться на него не стоило. Не обиделся же барон Беннигсен за немецкую образину. Это стоит ишака... Так вот он какой, Беннигсен. Говорят, храбрейший, заслуженный генерал, Неман верхом в бою переплыл... Он не русский немец, а немецкий: с немецкой службы перешел на нашу. Нельзя сказать «немецкий немец». А как же надо? Пароль «граф Пален», это хорошо. Прекрасный пароль, вспоминать будет приятно... Ежели доведется вспоминать... Я теперь совершенно не боюсь... Неужто я мог хоть на секунду помыслить

о доносе?.. Не иначе как дьявольское наваждение, – думал он, вздрагивая. – Он там в передней отлично мог с пьяных глаз рубануть меня палашом. Этакой хватит, пополам разрубит... Почему, однако, Зубов нынче с палашом? Неужто для этого? Жаль, не взял я палаша. Впрочем, Беннигсен тоже при шпаге, как я... Ну, что ж об этом думать, там будет видно...»

Штааль действительно больше не думал о том, что должно произойти ночью. К собственному удивлению, он пришел в оживленное, почти веселое настроение духа. Так, бывало, в училище он неделями волновался перед экзаменом, а в экзаменационную комнату входил совершенно спокойно. Сани, сворачивая, замедлили ход на вымершем Невском проспекте. Сверкнули фонари. В морозном воздухе запахло горелым маслом. Будочки вытянулись, стукнув алебардами. Высокий полицейский офицер сбежал с крыльца к остановившимся саням, вглядываясь в седока маленькими глазками.

– Граф Пален, – наудачу сказал Штааль. Он не знал, нужен ли здесь пароль, но эти слова могли подходить и без пароля. На крыльце, под фонарем, Штааль с изумлением увидел Иванчука. «Он-то здесь зачем? Это еще что?..» Первым инстинктивным движением Штааль подвинулся в санях за спину извозчика, так, чтобы Иванчук его не видел.

– Ежели к его сиятельству, – сказал, отдавая честь, полицейский, – то они у его превосходительства генерала Талызина. Просили туда пожаловать. Извольте знать, квартируют

на Миллионной, в лейб-компанском корпусе.

«Неужели опоздал и без меня все сделают? – подумал Штааль не то с надеждой, не то с огорчением: теперь ему было бы отчасти и неприятно, если б все сделали без него. – Нет, на ужин опоздал, а на то не мог опоздать. Зубов с Беннигсеном приедут только в полночь...» Он еще себя спросил, не будет ли неблагоприятно показаться Иванчуку; однако не выдержал и, немного поколебавшись, окликнул своего приятеля. Иванчук сорвался с места, едва не упал, поскользнувшись на обледенелых ступеньках, и торопливо подошел к саням. Даже при тусклом свете фонарей было видно, что он дрожит всем телом и что лицо у него совершенно синее.

– ...А... И ты... Ты тоже?.. Я... Что ж это? – стуча зубами, говорил Иванчук. От его обычной самоуверенности ничего не оставалось. Он даже не пытался скрыть свою растерянность, которая почему-то успокоила и обрадовала Штаалья. Он никогда не видал своего приятеля в таком состоянии.

– Ты здесь зачем?

– Я... Право, странно... Ты не согласишься... Так ты тоже?.. Граф приказал тебе ехать к Талызину... То есть не тебе, а вам всем... Но ты понимаешь... А?.. Мое положение глупое... Так ты тоже?.. Впрочем, я не знаю... Извини...

Штааль слегка развел руками, показывая, что ничего не может сказать. Он позже сам не понимал, как он мог в такую минуту заботиться о том, чтобы удивить или унижить Иванчука. Всего лишь часом раньше он сам был почти в таком

же состоянии.

– Скоро узнаешь, братец, – сказал он небрежным тоном, так, как говорят об именинном сюрпризе. Полицейский офицер с любезной улыбкой на лице прислушивался к их разговору.

– Так вы говорите, граф просил к Талызину... Наверное? – сказал беззаботно Штааль. – Знаете, было бы неприятно приехать некстати... Незванный гость...

Он даже слегка засмеялся.

– Так точно. Извольте знать, на Миллионной улице...

– Еще бы не знать!.. Слава Богу, не первый раз. («Незачем было говорить «не первый раз», – подумал он.) Благодарю вас... Прощай, братец, – сказал Штааль и тронул рукой извозчика: – Пошел на Миллионную... В лейб-компанский корпус... Живо!..

Извозчик погнал лошадей. Штааль молодежато откинулся на спинку саней. Молодежательный вид он сохранял, пока сани не скрылись за углом Морской. Он думал, что Иванчук глядит ему вслед и всегда будет помнить эту встречу, его небрежный тон и слова «Прощай, братец», если они никогда больше не увидятся. «Может, и до Настеньки дойдет, – подумал он. Эта мысль была ему приятна. – Нет, до нее не дойдет. Ей он не так расскажет, особенно ежели мы погибнем... Ну, да мне все одно, не до Настеньки теперь, – думал он спокойно, вздрагивая только от холода. – А то разве приказать ему свернуть направо и на Хамову? Еще не поздно.

В постель, что ли?.. Ну нет... Вот и теперь еще не поздно: прикажу, он мигом повернет назад...»

Огромная площадь перед Зимним дворцом была так же пустынна, как Морская и Невский. Но на углу Миллионной и дальше по этой улице Штааль заметил людей, прятавшихся у подворотен. «Подозрительные что-то люди... Теперь, пожалуй, уж и поздно назад ехать... Кончено!..» Он тяжело вздохнул. Извозчик тоже, по-видимому, обратил внимание на этих людей, – Штаалю показалось, что он сильно испугался. В окнах квартиры Талызина из-за спущенных штор яркими тоненькими рамками просвечивали огни.

XXIX

– Так у вас много народа? – громко спросил Штааль небрежным тоном. В сенях все скамейки и стулья были завалены военными шинелями. У лестницы, перешептываясь, с необычным растерянным видом стояло несколько лакеев. Они испуганно оглянулись. Штааль неспроста задал этот вопрос: это, при неудаче, могло потом пригодиться, свидетельствуя о случайном его приходе. Ему было приятно, что он так хорошо собой владеет. Кроме лакеев, в сенях никого не было. «Кому же сказать пароль? – спросил себя Штааль с досадой. – Не лакеям же?»

– Так точно, много, ваше сиятельство, – шепотом ответил лакей, подбегая на цыпочках. Лицо у него было бледное, но

оживленное, как будто даже веселое. Штааль по привычке сбросил шинель сложенной вдвое, так, чтобы плешь на меху справа не была видна. «Шпагу отстегнуть, что ли?..» Ни шпаг, ни палашей внизу не было. Штааль нарочно довольно долго поправлял у зеркала галстук и шарф, показывая лакеям, что нисколько не спешит. Сделав это, он направился к лестнице. Сзади стукнула дверь. Пахнуло холодом. Штааль обернулся. В сени быстро вошел знакомый ему офицер, артиллерийский полковник, князь Яшвиль. Почему-то Штааль чрезвычайно ему обрадовался.

– Кого я вижу? – воскликнул он, подняв руку. В другое время это восклицание ему самому показалось бы неуместным: он очень мало знал Яшвиля, который вдобавок был значительно старше его годами и чином. Однако Яшвиль тоже сделал радостный жест и, быстро сбросив шинель, поздоровался со Штаалем, очень крепко пожав ему руку.

– Велик Аллах! – как бы весело прокричал Штааль первое, что пришло в голову. «Что это, как глупо я говорю», – промелькнула у него мысль. Яшвиль, однако, засмеялся и сказал в шутку, так, как говорят рассказчики анекдотов о восточных людях:

– Хадым, дюша мой, хадым...

Лакеи с испугом на них смотрели, видимо изумленные громким разговором. В сенях было странно тихо. Штааль и Яшвиль быстро поднялись по лестнице. Издали вдруг донесся бурный взрыв рукоплесканий. Потом снова настала тиши-

на. Они удивленно взглянули друг на друга. Впереди с растерянным видом пробежал на цыпочках дворецкий. Вслед за ним показался Талызин. Бледный, с искаженным лицом, он быстро шел на цыпочках, размахивая руками и разговаривая сам с собою. «Что это с ним? Уж не пьян ли?» – подумал Штааль, опять начиная волноваться. Грохот рукоплесканий повторился. Яшвиль окликнул Талызина. Тот оглянулся, ахнул, спешно подошел к ним и неожиданно с ними расцеловался. Штаалю, впрочем, это показалось вполне естественным. Но волнение его еще усилилось. Рукоплескания снова оборвались.

– Это Пален говорит речь, – пояснил шепотом Талызин в ответ на немой вопрос Яшвиля. – Скоро выходим.

– Куда? – вырвалось у Штааля. Талызин с отчаяньем взмахнул руками.

– Пройдите... Да... Стоит послушать!.. Стоит! – невнятно проговорил он и схватился за голову. Яшвиль ускорил шаги. Штааль следовал за ним. Сердце у него сильно билось. Они пробежали на цыпочках через несколько комнат и остановились. Впереди за закрытой высокой дверью металлический голос медленно, напряженно бросал слова. «Не месть своекорыстная... Не по расчету... Не за свои обиды... Нет!..» – нарастал среди жуткой тишины голос. Яшвиль бесшумно приоткрыл дверь. В кабинете Талызина тесно толпились люди. Стоя у середины короткой стены, граф Пален говорил, опершись обеими руками на палаш. Пален был чрез-

вычайно бледен. Несколько десятков людей, затаив дыхание, горящими глазами глядело на него в упор. «За позор родины... За неслыханные унижения...» Голос все рос. Что-то в душе Штаала дрогнуло по-новому... «За нашу поруганную честь... Нет прощенья!..» – со страшной силой бросил голос.

XXX

Ртуть в трубке термометра поднялась до 212 градусов и дрожа остановилась. Вода бурлила. Баратаев осторожно приподнял реторту, отодвинул водяную баню, заменил ее песчаной, подставил под нее черную лампу. Затем снова опустился на табурет, раскрыл старинную книгу и прочел вслух негромким голосом.

«Sic enim habet virtutem efficacem super omnes alias me-dicorum medicinas, omnem sanandi infirmitatem, eo quod est occultae et subtilis naturae, conservât sanitatem, roborat firmi-tatem, et ex sene facit juvenem et omnem eorum expellit aegri-tudinem...»¹⁸⁵

Легкая жидкость срывалась по каплям и все быстрее падала в приемник. Баратаев наклонился к концу трубки, жадно вдыхая пары стекавшего вещества.

¹⁸⁵ «Воистину так: он владеет верным даром, превосходящим возможности медиков, возвращать немощному и дряхлому силу, знал тайну сокровенной и тонкой природы сохранять здоровье, укреплять твердость и превращать старца в юношу...» (*лат.*)

XXXI

Штааль всю жизнь помнил вечер в квартире Талызина. Но мучительно-волнующее впечатление это в его памяти навсегда осталось бессвязным. Позже, в рассказах, он не раз (как многие другие) пытался воссоздать картину того, что было. Но это ему не удавалось. Запечатлелись навсегда в его памяти лишь отдельные мгновенья, и они через долгие годы вспоминались так же ярко, как на следующий день. И еще остался в памяти дух тех минут, исполненный тоски, самопожертвования, непонятого наслаждения.

В этот день группы заговорщиков ужинали в разных местах города и к десяти часам съехались к Талызину. Ко времени приезда Штаала общий заключительный ужин кончился. Шла попойка.

Штааль много пил, его заставляли пить другие, и он заставлял пить других. Однако ему потом всегда казалось, что пьян в ту ночь он не был: голова его работала ясно и в мучительно-радостном чувстве, которое он испытывал, не было следов пьяного разгула. За буфетом он запивал семгу шампанским, заедал водку сладким пирогом с вареньем, — ему казалось естественным и есть в этот вечер по-иному, не так, как всегда.

Позже все говорили, что речь Палена была почти перед самым выходом; да и Штааль потом, рассчитывая время, со-

ображал, что оставался в доме Талызина очень недолго, быть может не более четверти часа. Но казалось ему, что был он там долгие часы. «Что же мы делали?» – спрашивал он себя впоследствии и не мог ответить. В воспоминании был яркий, дрожащий свет свечей в высоких литых канделябрах, вино в бокалах, тревожный беспорядочный гул голосов, иногда повышавшийся до крика. Кто говорил, что говорили, – этого Штааль не помнил. Не помнил он точно всех, бывших на ужине. Но неизменно выплывали в его памяти отдельные фигуры: Талызин сидел у стола в расстегнутом мундире с выражением отчаянья и решимости на лице; Николай Зубов что-то орал под люстрой, чуть не касаясь ее головою; князь Яшвиль с налитым кровью лицом рвал зубами из бутылки туго засевшую в ней пробку; Пален, наклонившись у окна, вглядывался в улицу, мимо осторожно отодвинутой желтой штофной шторы, закрывавшей его волосы и лоб неровной круглой складкой.

– Па-кавказски пей! – закричал Яшвиль с яростью, не шедшей к его благодушному облику. В левой руке у него был большой рог. Штааль захохотал и приложил рог к губам. «Неприятно пить всем из одного рога», – мелькнуло у него в уме. Он выпил очень много, но не дотянул до дна, схватился за грудь и пролил вино на шелковый шитый стул. Штааль подумал, что это досадно, особенно ежели видел хозяин. Яшвиль сердито на него закричал: «Пей до дна!»

Проходивший мимо них неторопливой важной походкой барон Беннигсен, в застегнутом на все пуговицы мундире, оглянулся на крик Яшвиля и приятно улыбнулся. «Ах, вот и вы, генерал», – задыхаясь и кашляя, сказал Штааль. Беннигсен утвердительно кивнул головой. «Па-кавказски пей!» – закричал на него Яшвиль, подавая ему до краев наполненный рог. Беннигсен со снисходительной улыбкой взял рог в руку. Яшвиль, шатаясь, отбежал к уставленному бутылками столу. В ту же минуту к Беннигсену подошел Пален и сказал тихим голосом по-немецки:

– Прошу вас, вы не пейте ничего. Помните, вся моя надежда на вас, на ваше хладнокровие.

Беннигсен улыбнулся еще снисходительнее: очевидно, ему была смешна мысль, что вино могло на него подействовать, лишив его хладнокровия. Он кивнул головой, подтверждая, что другие действительно ничего не стоят и что он все сделает. Однако с полной готовностью вставил рог острым концом в тяжелую серебряную братину, предварительно отлив немного вина в стакан, чтоб не залить скатерти: по-видимому, Беннигсену было вполне безразлично, пить или не пить. Они отошли от Штааля.

– Тшто ми ошидаем? – спросил Беннигсен, подходя с Паленом к хозяину дома, который в углу комнаты сидел у небольшого стола, опустив голову на руки. – Слуги могут выслушать и могут на улицу выходить, во дворец побежать

и императору доносить. Промедление есть смерти подобное, wie der Peter sagte,¹⁸⁶ – добавил он с улыбкой.

– Я уверен в своих людях, – резко ответил Талызин, подняв голову.

– Дом оцеплен моими агентами, – сказал, пожимая плечами, Пален. – Я велел никого не выпускать, ни слуг, ни господ... Но могут, конечно, проскочить и по воздуху. Дело счастья.

Беннигсен приятно улыбнулся.

– Durchlaucht, Sie denken an alles. Sie sind ein grosser Mann... Aber ein Spieler.¹⁸⁷

– Ein Hasardeur,¹⁸⁸ – подтвердил с усмешкой Пален.

«Зачем они говорят по-немецки в моем доме?.. Не хочу... – со злобной тоской подумал Талызин. – И как он смел говорить, чтоб не выпускали господ?»

Пален взглянул на часы:

– Половина первого.

– Две минуты после половина первого.

– Пора, – сказал Пален.

– Höchste Zeit,¹⁸⁹ – подтвердил Беннигсен.

¹⁸⁶ Как говорил Петр (нем.).

¹⁸⁷ Ваше сиятельство, вы думаете обо всем. Вы великий человек... Или игрок (нем.).

¹⁸⁸ Азартный игрок (нем.).

¹⁸⁹ Самое время (нем.).

XXXII

...Et liberavit eos qui timoré mortis per totam vitam obnoxii erant servituti...¹⁹⁰

XXXIII

Штааль помнил, что шли они по лестнице тихо, что он чувствовал странное душевное размягчение и непривычную слабость в ногах, что лакеи, сбившись по углам, смотрели на них с ужасом, что откуда-то вдруг высунулось на мгновение, перекопилось и исчезло женское лицо, что кто-то из них при этом старательно-весело засмеялся. Штааль потом не мог сообразить, где именно это было – в доме ли или уже на улице у выхода. Но заспанное, мгновенно переменившееся женское лицо запечатлелось в его памяти навеки. Он потом не раз видел это лицо во сне. Штааль помнил еще, что внизу в сенях, когда они бесшумно надевали шинели, черные стоячие, расширявшиеся кверху, часы пробили один удар. Все поспешно оглянулись: длинная стрелка с надломленным кончиком почти ровно продолжала короткую на голубом фоне старинных вызолоченных часов. Штааль успел прочесть и перевести мысленно латинскую надпись, черным ободком обвивав-

¹⁹⁰ ...И освободил от страха смерти тех, кто был ее покорным рабом целую жизнь... (лат.)

шую циферблат: vidit horam, nescit Horam.¹⁹¹ Беннигсен в дверях с неудовольствием оглянулся на отстававшие часы. Старый швейцар придерживал рукою дверь. Штаалю запомнились его открытый рот, наклоненная булава, громадные медные пуговицы ливреи. Это было последним впечатлением Штаала в доме генерала Талызина.

Снег больше не падал. Низко повисло беззвездное небо. Было очень холодно. Редкими порывами дул ледяной ветер, свистя, вздымая снежную пыль, крутившуюся в лучах фонарей подъезда. Вдали по Миллионной было темно.

Потом Штаалю подробно рассказывали, как их при выходе делили на два отряда: один шел с Паленом по Морской и Невскому, другой, под начальством Беннигсена, по Миллионной и через Летний сад. Штааль, оказавшийся на улице в числе первых, попал в отряд Беннигсена и чрезвычайно вдруг расстроился оттого, что ему идти не с Паленом. Он тоскливо подумал, что незачем делиться на два отряда: уж если идти на такое дело, то лучше бы всем идти вместе. Он даже пробормотал это вслух (на улице в ту минуту было так тихо, что многие услышали). Пален нетерпеливо на него оглянулся и сказал:

– Господа, прошу ничего не менять в плане. Все обдуманно и предусмотрено.

В воротах блеснул зеленовато-желтый свет. Из двора дома выехали запряженные тройкой очень длинные низкие сани.

¹⁹¹ Часы наблюдал, а Время не чуял (*лат.*).

На козлах, к которым прицеплен был фонарь, сидел офицер. Штааль узнал его, слабо улыбнулся тому, что полковой адъютант преображенец Аргамаков оказался кучером, и тут же вспомнил, что именно Аргамаков по долгу службы постоянно бывает у государя, знает пароль, знает также все входы и выходы Михайловского замка. «Он-то нас и проводит», – с радостной благодарностью подумал Штааль. За первыми санями из ворот выехали другие. Барон Беннигсен сел в сани, неторопливо оправляя полы шинели. За ним вскочило еще несколько человек. Штааль подумал, что лучше бы сесть во вторые или в третьи сани. Он снова почувствовал легкую слабость в ногах, но преодолел ее и молодецки вскочил одним из первых. Он даже помог взобраться Яшвилю.

– Вот как князь спешит: в первые сани сел, – шутливо сказал стоявший у крыльца Пален. – У Яшвиля счеты с Павлом, – улыбаясь, пояснил он громко.

Яшвиль побагровел. Кто-то слабо засмеялся.

– Да, да, pour faire une omelette, il faut casser des oeufs,¹⁹² – со странной интонацией в голосе сказал Пален (все вздрогнули).

– Так у Воскресенских ворот сойдемся. Недалеко...

– Недалеко... – как эхо, повторил кто-то в санях.

– Пароль: «граф Пален»...

– Граф Пален... – повторил голос.

Сани понеслись быстро. Ветер засвистел в ушах. Штааль

¹⁹² Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца (*франц.*).

сидел спиной к фонарю, втянув голову в плечи. Он ничего не видел по сторонам, не видел даже, кто кроме Беннигсена был в санях. «Как на острова едем», – неуверенно пошутил человек, сидевший от него слева. Шутка не была поддержана. Все молчали. Слышался пронзительный скрип полозьев по твердому снегу. Набилось в огромные сани человек восемь или десять. Штааль сидел очень неудобно, на корточках, поджав под себя ногу, которая быстро затекала. Он хотел переменить позу, но раздумал: «Не стоит, недалеко...» – «Холодно очень», – стуча зубами, проговорил кто-то рядом с Беннигсеном. Штааль по голосу признал Платона Зубова. «И вправду холодно», – подумал ежась Штааль. Ветер дул ему в спину. Руки стыли. «Эх, некстати...» Он попробовал достать перчатки, но вспомнил, что одну из них потерял. «Да, волки... Как все странно... Что за ночь!...» Он подумал еще, что теперь не страшно встретить и целую стаю: «Справимся... Впрочем, сюда волки и не забегут... Ерунда какая... Где мы, однако?..» Бешено несшиеся сани замедлили ход. Штаалья на кого-то бросило толчком. «Oh, je vous demande pardon»,¹⁹³ – сказал он и подумал, что глупо тут просить извинения, да еще по-французски. «Санки скок – Сеньку в лоб», – пошутил сидевший слева (он, видимо, гордился тем, что шутит). «Ii n'y a pas de mal»,¹⁹⁴ – прошептал голос. «Говорит ильньяпа... Тот последний, кажется, Яшвиль... Ведь, правда, го-

¹⁹³ «Ох, прошу прощения» (франц.).

¹⁹⁴ «Ничего страшного» (франц.).

сударь съездил его палкой, я и забыл про эту историю. Пален науськивает... Убивать нас послал, ясное дело... Ну что ж, убьем... Яшвиль, говорят, фреймазон... И государь тоже фреймазон. Посмотрю, как брат убьет брата... Pour faire une omelette, il faut casser des oeufs... Если шпагой колоть, то ткнуть слева в грудь, чтоб не мучился. Жаль, жаль, что палаша не взял, рубить проще... Зато крови меньше... А стрелять не надо: сбегутся, и оставить нужно пулю про запас для себя...» Сердце у него страшно замерло при мысли, что через четверть часа, даже меньше, через десять минут, он, быть может, – уже не так, не в мыслях, а вправду – пустит себе в рот пулю. «Только бы не на дыбу... Виска и встряска...» Ветер задул в ухо и в щеку Штаалю. Сани свернули. На повороте он увидел фонари мчавшихся за ними других саней. Сани снова понеслись быстро. Он почувствовал облегчение. «Много нас... Нет, застрелиться всегда успею... Только отбежать в сторону, выхватить пистолет, открыть рот – и поминай как звали... Нехитрая штука...» Штааль с трудом перевел дыхание. Он подумал еще, что в такой тесноте, при толчках саней, пистолет его может выстрелить в боковом кармане сам собою. «Вот будет штука, ежели Беннигсена убью и все дело лопнет из-за моего пистолета. Ведь тогда останутся, не иначе... Куда же его отнесут?.. Нет, Беннигсена никак: дуло вниз. Скорее себе колено прострелю... Хорошо еще, если колено», – подумал он, содрогаясь. Сани сильно замедлили ход. Сердце у Штаалья сжалось. Беннигсен привстал, вгля-

делся в темноту и вышел из остановившихся саней. Все сделали то же самое. Штааль, соскакивая, едва не упал, – нога у него была как деревянная.

Перед ними был вход в Летний сад. Вторые, третьи сани подъезжали. Пристяжная озиралась назад и часто храпела. Из ее ноздрей валил пар. С саней соскакивали люди. «Кто же останется с лошадьми?.. – Штааль подумал, что, пожалуй, хорошо было бы ему остаться с лошадьми. – Нет, теперь ни за что не останусь...» Беннигсен наклонился, отцепил фонарь от козел и высоко его поднял, оглядываясь по сторонам. Внезапно раздалось страшное оглушительное карканье. Штааль задрожал. Кто-то вскрикнул: «Фу-ты, черт!» Стая ворон взлетела над липами Летнего сада. «Sakrament!»¹⁹⁵ – сердито пробормотал Беннигсен (ворон, очевидно, и он не предвидел). Ускорив шаги, он поспешно пошел по аллее. За ним последовал Аргамаков, дальше другие. «Эх, как каркают, проклятые», – прошептал кто-то. «Могут и тревогу поднять в замке... Неспроста... воронью ночью каркать в Летнем саду», – прерывисто сказал другой голос рядом с Штаалем. Протяжное насмешливое карканье ворон продолжалось. Вдали мерцали огоньки. Беннигсен быстро шел, держа фонарь впереди себя в вытянутой руке. Штааль почти бежал, спотыкаясь на обледенелых скользких аллеях. Ветер больно стегал его в лицо, засыпая глаза снежной пылью. Нога понемногу отходила. Штааль больше ни о чем связно не ду-

¹⁹⁵ «Проклятие!» (нем.)

мал, стараясь лишь не растянуться на земле. «Как на параде Беннигсен шагает... Этот высокий Николай Зубов... Он был во вторых санях. Дошел бы только, ведь пьян как зюзя... Это Аргамаков. А это Яшвиль... Слава Богу, стихли вороны! Они триста лет живут... Может, видели убийство короля Генриха III. Его убил монах Клеман, – я еще у Дюкро спрашивал... Память у меня славная... Но то было во Франции. Что ж, вороны и перелететь могли... Дня три им лететь... Нет, что я, больше, и с неделю пролетят... На той стороне сада водомет. Я там гулял раз с Настенькой...»

– Стой!.. – негромко сказал, вдруг останавливаясь, Беннигсен. – Тсс! – протяжно прошептал он, оглянувшись, и передал свой фонарь Аргамакову, что-то ему сказав. Впереди, не очень далеко, горел красный огонь. Аргамаков побежал, хрустя шажками по снегу, и скрылся в темноте, – только двигался быстро бледный огонек его фонаря. В тишине слышно было лишь тяжелое сопенье Николая Зубова. Штааль не дышал. Через минуту впереди послышались голоса, затем лязг железа и тяжелый стук. «Подъемный мост, – сообразил, замирая, Штааль, – ведь Аргамаков знает пароль...»

– Марш! – скомандовал Беннигсен и стремительно бросился вперед. Все рванулись за ним. У красного огня, сбоку от вскочившего первым на мост Беннигсена, метнулась фигура часового. «Ваше благородие, а? Ваша милость... Что же это?.. Помилуйте!..» – говорил часовой, с ужасом глядя на офицеров, то пятась, то пытаясь загородить дорогу.

– Ничего, брат, это свои, – задыхаясь, сказал Аргамаков.

– Свои! – с пьяным хохотом повторил Николай Зубов. –

Идем навестить приятеля.

– Нас вызвал государь! – вскрикнул не своим голосом Штааль, приглашая взглядом всех оценить его находчивость.

Беннигсен с неудовольствием на них оглянулся, взял у Аргамакова фонарь и высоко его поднял.

– Смир-но! – холодно скомандовал он часовому, глядя на него вдруг изменившимся, ледяным взором. Часовой вытянулся и окаменел.

– Пусть кто-нибудь останется с ним, чтоб не стрелял, – по-французски сказал Беннигсен и скомандовал:

– За мной! Марш!..

Они побежали вперед. Штааль оглянулся и увидел, что у моста остался не один, а несколько человек. «Стыдно!» – подумал он с гордостью и ускорил бег. Сбоку низко над землей сверкнули редкие огни фонарей. Впереди открылись стены Михайловского замка, темневшие таинственные строения. Перед Штаалем мелькнули вытянувшиеся высокие люди со сведенными набок, исполненными ужаса глазами. «Это семеновцы... Наружный караул... Офицер наш», – успел на бегу подумать Штааль. Он не мог понять, где именно они были. Впереди у фонаря Беннигсен с угрожающим видом говорил что-то Платону Зубову, лицо которого выражало отчаяние. К ним подбегали другие. «Ну да, Палена нет... Предательство... Я говорил... Все пропало!..» – повторял Зубов.

Выражение лица Беннигсена вдруг стало страшным.

– Was fällt Ihnen ein?¹⁹⁶ – прошептал он, хватая за руку Зубова. Зубов вскрикнул и беспомощно шатнулся в сторону. Все смотрели на них растерянно. Беннигсен оглянулся. Лицо его снова стало спокойным.

– Тэпэр зависит всо от бистрота... За мной! – проговорил он и бросился вперед. Штааль никак не подумал бы, что этот немолодой, важный, всегда на все пуговицы застегнутый человек может бежать так быстро. Все побежали за Беннигсеном, задыхаясь и обгоняя друг друга. Какие-то низкие своды, дворы, каменные столбы и тумбы промелькнули при неверном красноватом свете фонарей. Сердце у Штааля стучало так, как никогда в жизни. Вдруг Беннигсен на бегу обнажил шпагу. Все сделали то же самое. Аргамаков круто свернул. Блеснул слабый свет, открылась витая лестница. Беннигсен наклонил голову под сводом и первый на цыпочках бросился вверх по расширяющимся сбоку ступеням. Тень, неверно шатаясь, заскользила по стене. Штааль, вбегая, оглянулся и увидел, что их осталось человек десять. «Где же другие? Какая подлость!» – чуть не вскрикнул он. За ним по узкой витой лестнице, загромаждая весь проход своей гигантской фигурой, поднимался, тяжело дыша, Николай Зубов. Внизу, у двери, клубился белый пар. В тепле пахло щами, капустой. Штааль, искривив шею, взглянул вверх и схватился озябшей рукой за перила (они слегка дрожали). «Уж не ошибка ли?..

¹⁹⁶ Как вы смеете? (нем.)

Заблудились... В кухню идем, а не в спальную...» Над ним послышался стук, затем звук голоса. На освещенной верхней площадке Аргамаков что-то говорил перед закрытой дверью, приложив к губам левый указательный палец. Слов Штааль не мог понять, хоть ясно их слышал. Рядом с Аргамаковым, чуть наклонившись вперед, вполоборота стоял Беннигсен со шпагой наголо в правой руке и с фонарем в левой.

– Ну да, ну да, – говорил Аргамаков, с трудом справляясь с дыханием. – Отопри, Кириллов... Это я...

– Скажи ему: пожар... – начал было Николай Зубов, поднявшийся до самой площадки. Беннигсен схватил его за руку. За дверью послышалась возня.

– Чичас... Чичас... – сказал голос. Человек, говоривший за дверью, видимо, еще не вполне проснулся. – Чичас, ваше благородие...

Послышался подавленный зевок, шаркающие шаги, затем звук поворачиваемого в замке ключа. Штааль впился рукой в дрожащие перила, не сводя глаз с финифтяной бляхи замка. Дверь отстала: в ту же секунду Беннигсен поставил ногу так, чтоб нельзя было захлопнуть дверь. Запах капусты усилился.

– Пожалуйста, ваше высокоблагородие, – сказал сбоку от порога камер-гусар Кириллов. – А я думаю, кто та...

Беннигсен рванулся в комнату, за ним Аргамаков, Зубовы. Кириллов ахнул и, вытянув руки, странно застонал, точно негромко засмеялся. Другой камер-гусар спал, сидя на полу, прислонившись спиной к печке.

– А-а-а!.. Кар-ра-ул!.. – ужасным голосом закричал Кириллов, хватаясь за саблю. Этот крик потом казался Штаалю самым страшным из всего, что произошло в ту страшную ночь. Николай Зубов схватил полено из лежавшей у печки груды и, взмахнув им над головой, ринулся на камер-гусара.

– Ваше величество!.. А-а-а!.. – еще отчаяннее прокричал, поднимая саблю, Кириллов. Беннигсен бросился дальше. Комната наполнилась людьми. Не помня себя от ужаса, Штааль пробежал вперед. Рядом с прихожей, в большой полутемной комнате мелькнули глобусы, шкапы с книгами. Он ступил на что-то мягкое, остановился и стал вытирать о ковер мокрые ноги. Затем вскрикнул – и бросился бежать.

Из библиотеки двойные двери вели в спальню императора. Между дверьми, в стене огромной толщины, был узкий коридор. Здесь, как и в библиотеке, горел ночник. В стене коридора белела маленькая боковая дверь.

– Потайный ход... Ушел! – стуча зубами, простонал, подбегая к Беннигсену, Платон Зубов. Беннигсен посмотрел на него тем же ледяным взглядом.

– Ausgeschlossen!¹⁹⁷ – сказал он спокойно и оглянулся. С ними никого больше не было. Из прихожей неся гул, рев голосов. Беннигсен пожал плечами, взял шпагу в левую руку, в которой держал фонарь, а правой потянул к себе за ручку вторую дверь. Она не поддавалась. Он толкнул ее в другую сторону и, наклонившись, налег с силой. Фонарь дернулся в

¹⁹⁷ Исключено! (нем.)

левой его руке. Дверь открылась. За ней было темно. Платон Зубов замер. Беннигсен снова взял шпагу в правую руку и, вытянув вперед фонарь, вошел в спальную императора. Зубов отшатнулся, бросил взгляд назад и, слабо застонав, на цыпочках последовал за Беннигсеном.

В комнате, в которую вбежал Штааль, над белой кухонной плитой, мерцая, горел огарок свечи. Штааль безумными глазами взглянул на плиту и кинулся из кухни в набитую людьми прихожую, откуда неслась все более глухой гул. Штааль с яростью толкнул кого-то, шархнулся в сторону, наткнулся на низко наклонившуюся тяжелую фигуру, – ему показалось, что это был Яшвиль. За ним на полу Штааль увидел расхолодившуюся лужу крови. «Камер-гусара убили!.. Господи!.. Господи, что же это!..» Он отшатнулся и выскок на площадку. На него пахнуло холодом. Витая лестница была забита людьми. Штааль прокричал что-то непонятное и бросился назад. «Пропало! Спасайся!» – заорал дикий голос. Послышался топот бегущих шагов. Штааль вбежал в библиотеку и остановился, еле переводя дыхание. На одно мгновение все стихло. Из открытых настежь дверей спальни полз на ковер зеленоватый свет. Вдруг в спальне раздавался негромкий хриплый крик. Из прохода, шатаясь, выбежал Платон Зубов. За ним пробежал кто-то еще. Слабый крик в спальне повторился. Штааль рванулся к двери и как вкопанный остановился в проходе. Сбоку, в нескольких ша-

гах от него, в тускло освещенной комнате, император, бо-сой, в нижнем белье, прислонившись к ширме, безжизненно опустив руки, ужасным взглядом остановившихся глаз смотрел на Беннигсена, который стоял против него с обнаженной шпагой в руке. На полу, перед ширмами горел фонарь, освещающая смятую постель с полусвалившимся одеялом.

В прихожей поднялась волна дикого гула. «Преображенцы идут царю на выручку!» – мелькнуло в голове у Штаалья. Он прерывисто закричал, задыхаясь, выбежал из прохода в библиотеку, увидел сбоку какую-то фигуру, вытянувшуюся у книжного шкапа, сам шатнулся в сторону и прижался к другому шкапу. На пороге прихожей вырос Николай Зубов с зверским выражением на лице. Он на секунду остановился, затем тяжелыми, медвежьими, переваливающимися шагами, странно расставив руки, медленно побежал к двери спальни. Штааль впился в него глазами. Зубов замер на пороге, тяжело вдохнул воздух и, низко наклонив голову, ринулся в спальню. Еще несколько человек пробежало по библиотеке. Перед Штаалем мелькнул Яшвиль с окровавленной шпагой в руке. В спальне внезапно потух свет, что-то упало, слышался треск разбившегося стекла, затем долгий отчаянный крик. Штааль завизжал и бросил шпагу на дверцы шкапа. Дикий рев голосов покрыл крик императора. На пороге спальни показался Беннигсен. Он притворил за собой дверь и вложил в ножны шпагу.

...Рев за дверью внезапно понизился, перешел в шипя-

щий шепот и оборвался. На мгновение настала мертвая тишина.

Несколько человек выбежало из комнаты. Один что-то оживленно бормотал, дергаясь лицом и размахивая руками. Другой, шедший на цыпочках, яростно на него зашикал. Третий выскочил из прохода, схватился за голову и снова вбежал в спальную. Библиотека наполнялась людьми, вбегавшими из спальни, из прихожей, с лестницы. Было, однако, тихо. С зажженной свечой в высоком подсвечнике прошел по библиотеке Беннигсен. Штааль, все еще у шкапа, еле дыша, смотрел на открывавшуюся дверь спальни. Он немного подумал, взял шпагу и, крепко сжимая рукоятку, на цыпочках, неуверенными неровными шагами прошел в спальную.

На полу длинной комнаты горела свеча. Штааль сделал несколько поспешных шагов и прирос к полу, не отводя глаз от лежавшей на ковре страшной белой фигуры с высунутым языком и выпученными глазами на окровавленном синем лице. Быстро колеблющееся пламя дымящей свечи тускло освещало то судорожно сведенные босые желтоватые ступни, то концы шарфа, затянутого узлом на шее, то узкую, криво загибающуюся черную лужу у стола с лежавшей в ней чернильницей. Кто-то зажег о свечу огарок и, низко наклонившись, старательно прилеплял его к столу, капал воском на дерево, заслоняя пламя дрожащей рукою. Стало чуть светлее. Штааль увидел сорванную со стола решетку, валявшие-

ся на полу куски слоновой кости, опрокинутые ширмы, стул с повисшим на спинке камзолом, под ним белый шелковый чулок. Человек, засветивший огарок, ахнул и бросился поднимать ширмы. Молодой, бледный офицер без шарфа, ползая на коленях, торопливо подбирал осколки решетки и стекла. Беннигсен двумя пальцами поднял чернильницу, осторожно поставил ее на бумагу и, взяв со стола песочницу, посыпал чернильную лужу. Штааль подвинулся к ширмам, заглянул в лицо офицеру без шарфа и выбежал на цыпочках из комнаты.

Он пробежал, не останавливаясь, по внутренним покоям. Везде вспыхивали огни. Михайловский замок просыпался. Спереди неся гул голосов, крики, тяжелый, быстро приближающийся топот. По зале с ружьями наперевес бежали великаны-преображенцы царского батальона. Впереди их был старый солдат с очень мрачным и решительным выражением на лице. «Поздно!» – захохотал Штааль, высунув язык. Убийцы разбегались. Штааль бежал изо всей мочи, сам не зная куда. Им овладел припадок бурной энергии, все росший от быстрого бега. Он жаждал деятельности, жаждал самоотверженных подвигов и был совершенно готов тотчас пожертвовать жизнью.

XXXIV

Из-под разодранного шпорой шелка лезло что-то серое.

Штааль поспешно сел и наклонился над тонким прорезом. «Ах, какая досада! – сказал он (в эту ночь не он один говорил вслух сам с собою). – Так и есть, разорвал... Или уйти отсюда, чтоб не догадались кто?..»

Он опомнился и негромко засмеялся. В смехе его не было ничего истерического. Ему действительно было смешно. «Шелк, шелк порвал, этакий гадкий мальчик!..» Он хотел было прилечь снова, но раздумал. Было полутемно. Две свечи горели перед ним в канделябре, на высокой тумбе. Их свет резал глаза. Штааль хотел встать, потушить свечи, чтоб лечь снова, но опять раздумал. Над свечами стенные часы показывали пятый час. «*Vidit horam, nescit Horam*,¹⁹⁸ – вспомнил Штааль, вздрогнув. – Тогда они проббили один удар. Значит, был час. Или половина первого?.. Одна стрелка продолжала другую: половина первого. Ну да... (он с напряжением, щуря в полутьме глаза, проверил по циферблату). А потом на санях несколько минут, больше никак не могли ехать. Потом шли садом... Вороны каркали. Когда же это произошло?» Впоследствии никто не мог точно сказать, в котором часу был убит император (почему-то всех очень интересовал этот вопрос, и еще больше то, сколько времени заняло самое убийство). «Значит, часа четыре прошло, ежели теперь пятый».

Штааль всю ночь провел в замке. Овладевший им припадок самоотверженной деятельности скоро прошел, – в осо-

¹⁹⁸ Часы наблюдал, а Время не чуял (*лат.*).

бенности оттого, что делать ему было нечего. Он почувствовал усталость, какой никогда до того не знал. В осветившихся покоех ожившего заколдованного замка носились люди. Все сливалось в перегруженной душе Штаалья. Он помнил, что видел издали полуживого Александра Павловича. Его два человека испуганно вели под руки. На великого князя было страшно смотреть. Видел Штааль и Марию Федоровну, и всю царскую семью, и главарей заговора с Платоном Зубовым, который опять начал щуриться, и врачей, и штатских, и военных. На мгновение его внимание остановили какие-то высокие монахи. «Они что здесь делают?» – удивился Штааль и долго не мог понять, откуда взялись в такую ночь духовные лица. На площади в невиданном множестве горели фонари. За окнами проходили войска, слышался глухой гул, грозно гремели барабаны. «Ожила Россия!» – сказал кто-то, и все восторженно повторяли эти слова. Потом царская семья отбыла в Зимний дворец. Потом помнились Штаалю столы, заставленные бутылками, толпившиеся вокруг них невесело, но буйно шумевшие люди. Еще какие-то офицеры спали на диванах, на сдвинутых креслах, на полу. Штааль очутился в этой дальней комнате, где никого не было, куда почти не доносился шум. Он прилег на диван, но не заснул. По крайней мере, теперь ему казалось, что он не спал ни минуты, – хотя по расчету времени это было неправдоподобно. «Не все ли равно?.. Но что же теперь делать?..»

Штааль сорвался с дивана, точно вспомнил о чем-то очень

важном, и побежал по направлению к той комнате. Покои Михайловского замка были ярко освещены по-прежнему и в комнатах все еще бродило множество людей. Но порядка уже было больше. В ту комнату Штааль не попал. У дверей внутренних апартаментов часовые никого не пропускали. «Ну, да я все видел, – успокоил себя Штааль, глядя с досадой на закрытую высокую дверь. – Вот разве что не видал, как туда вошел Пален. Он, однако, прибыл в замок, как раз когда все кончилось. Странно... И на память я, жаль, ничего не взял в спальней. Эх, досада... Надо было захватить хоть кусочек решетки, – всю жизнь бы показывал...»

– Что? Нет, брат... Император Александр давно отбыл в Зимний, – сказал около него кто-то. Штааль с удивлением оглянулся: сочетание имени «Александр» со словом «император» резнуло его ухо. «В самом деле, у нас теперь император Александр, – подумал он. – Вот странно! Никогда не было Александров на престоле. Впрочем, не все ли равно?.. Да, так что же теперь делать? – вслух сказал он, отходя от двери. – Не домой же на Хамову ехать?» Ему хотелось есть. Он помнил, что дома была ветчина, сыр, пиво. «Ну а дальше? Завтра на службу, что ли? На какую же службу? К Уварову? Уваров был при Павле для личных услуг. Вот тебе и личные услуги...» Штааль засмеялся так, как смеялся Уваров, говоря о пажах. Он почувствовал, что в душе его все выжжено начисто и навеки. «Теперь на все наплевать... Да как же я давеча хотел отдать жизнь за родину?.. – удивленно спраши-

вал он себя. – Ведь правда, хотел, жаждал! Ну и хотел, а теперь больше не хочу. Теперь на все наплевать!..» Он искал и не находил в себе ни угрызений совести, ни душевной муки. «Тяжело, конечно... Да, тяжело, но легче, чем было вчера. Разумеется, много легче, и сравнивать даже нельзя, – подумал он с полной искренностью. – Больше никаких вапоров... Наша взяла, вполне удалось дело». На Штаалья нахлынула радость при мысли об избегнутой опасности и о предстоящих наградах. «Все видели, что я был среди первых. На витой лестнице я пятым стоял, все свидетели могут подтвердить», – говорил он, точно кого-то убеждая.

Насков своей лошадиной походкой прошел по залу и, увидев Штаалья, протянул ему влажную руку.

– Тиран все-таки жив, сын мой, – сказал он с таинственным видом, выждал мгновение и пояснил шутку: – Титулярный советник Тиран, тот, что при Палене состоит.

Штааль с досадой отвернулся, незаметно вытер руку и пошел дальше. Перед овальной передней, у парадной лестницы, навстречу ему бросился Иванчук. Он заключил Штаалья в объятия:

– Ну, поздравляю... Молодцы!.. От всей моей души поздравляю. Истинные молодцы!

– Да пусть! Отстань! – сердито сказал Штааль. Иванчук, однако, не обиделся. Теперь он видел в Штаале как бы начальство.

– Молодцы! Одно слово, молодцы, – говорил восторжен-

но Иванчук. – Ведь я знаю, ты участвовал в дельце. Признаюсь тебе теперь, участвовал и я. Только мне граф приказал дежурить в его доме: были важные распоряжения... Ах, как я рад... Поздравляю... Ну, расскажи, жарко было, а?

Штааль нехотя принялся рассказывать и почувствовал, что рассказывает не без удовольствия, хоть для приличия он морщился при некоторых подробностях, показывая, как ему было тяжело «убивать человека». Роль его в деле была достаточно опасна, можно было не приукрашивать рассказа. Но как только Штааль сообщил, что в самом убийстве не принимал участия, по выражению лица Иванчука он понял, что этого лучше было не рассказывать.

– Ну да, конечно, ты не мог важную роль играть в таком деле, – уже несколько иным тоном сказал Иванчук и сообщил Штаалю подробности убийства.

– Душили Николай Зубов и Яшвиль, а шарф, говорят, дал Скарятин. Но первая персона в деле был натурально патрон, Петр Алексеевич. Он теперь истинный диктатор...

– Ты его видел?

– Нет, где же? Его-то и жду... Граф всю ночь носится по городу, все разные меры принимает. Войска объезжает, генералов рассылает как мальчишек. Ведь с Англией покойник довел нас до войны, – я давно говорил... Аресты идут всюю. Вся павловская шайка схвачена, Аракчеев задержан на заставе. Вот только Кутайсов сбежал, верно к Шевалихе... Экая голова Петр Алексеевич, и сила истинно дьявольская!

Другого такого человека нет во всей России. Из нынешнего дельца без него ничего бы не вышло... Ведь это он преобразенцев остановил, – я тебе говорю: как из земли вырос. А то они бы всех нас на штыки подняли. Любили, любили покойника, мужичье... Был бы нам всем репремант.

Иванчук рассказывал уже как очевидец. Штаалю вдруг вспомнился мосье Дюкро, то, что он говорил о Баррасе после Девятого Термидора. «Только бы иметь успех, все за тобой побегут... Совсем как тогда Дюкро...»

– Да, кстати! – воскликнул Иванчук. – Знаешь ли новость? Знаешь, кто еще скончался этой ночью? (он выждал несколько секунд, устанавливая, что Штааль не знает новости). Баратаев... Николай Николаевич Баратаев.

– Быть не может!

Штааль глядел с радостным изумлением на Иванчука.

– Быть не может! От чего?

– Не знаю, кажется, от аневризмы, скончался скоропостижно. В канцелярию только что прибежали слуги сказать. Вчера был здоров, а нынче нашли мертвым.

– Может, самоубийство?

– С чего ты взял?... Ах, вот и Петр Алексеевич, – вскрикнул, меняясь в лице, Иванчук.

В вестибюль, в сопровождении целой свиты, вошел граф Пален. Иванчук с восторженным лицом бросился ему навстречу. «Это, кажется, Сикст V сразу выпрямился и бросил костыли, как только избрали его папой, – с улыбкой поду-

мал Штааль, глядя на Палена. – Петр Алексеевич, правда, и прежде без костылей обходился, а все же теперь словно стал выше ростом...» Штааль отметил в памяти это наблюдение, которое показалось ему очень тонким. Иванчук, восторженно улыбаясь и, видимо, рассыпаясь в поздравлениях, старался на виду у всех горячо пожать Палену руку. Свита смотрела на него с неудовольствием. Военный губернатор равнодушно поздоровался с Иванчуком, о чем-то его спросил и, нахмурившись, отдал какое-то распоряжение. Иванчук закивал головой и побежал к выходу.

Пален в сопровождении свиты поднялся по лестнице. «Ну, что ж, и я не хуже других, – сказал себе Штааль решительно. – Довольно я валял дурака...» Он немного выступил вперед и, почтительно поклонившись, стал сбоку от двери с написанным на лице сознанием некоторых заслуг перед родиной. Пален ласково кивнул ему головой, остановился и подзвал его к себе.

– Вы хорошо себя вели, я не забуду вашего поведения, – сказал он громко. (Штааль вспыхнул от радости.) – Продолжайте служить так дальше... Сейчас дела очень много, а людей мало. Мне все нужны, все... Каждого должно утилизировать в высшую меру возможности.

Он немного подумал.

– Ведь вы состояли при покойном адмирале де Рибасе, которому поручено было укреплять Кронштадт?

– Так точно, ваше сиятельство. – Штааль подумал, что все

его ответы Палену почему-то постоянно сводились к этой фразе: «Так точно, ваше сиятельство». Он хотел что-то добавить, но Пален его перебил:

– Это дело ныне сугубо важно. Флот лорда Нельсона может всякую минуту появиться перед нашими берегами. Надеюсь, что войны не будет, ибо для нее более нет причины. Но уверенности не имею и, все должные меры приняв, войны не опасаюсь нимало. При случае окажем мы лорду Нельсону прием, которого долго не забудет, – еще повысив голос, во всеуслышанье сказал Пален. – По этой причине храбрые и знающие люди теперь весьма в Кронштадте необходимы, и как вы там служили, то вновь вас туда назначаю.

– Слушаю-с, ваше сиятельство, – произнес разочарованно Штааль.

Пален пристально на него посмотрел:

– Полагаю, что по вашей службе при адмирале знакомы вы с Кронштадтской фортецией и с цепью береговых укреплений?

– Обязываюсь доложить вашему сиятельству: весьма мало, – сказал Штааль, покраснев.

Пален усмехнулся.

– Жаль, что не успели ознакомиться, – помолчав, проговорил он. – Тогда оставайтесь здесь: там нужны люди знающие.

Он тронулся было дальше, но, что-то вспомнив, остановился снова. Усмешка на его лице стала необычно благодуш-

ной.

– Даю вам другое поручение... Я приказал плац-майору Горголи нынче в утро заарестовать французскую артистку Шевалье. Она весьма мне подозрительна, не агентка ли господина первого консула? Надо поставить иностранных агентов на место, и французских, и немецких, и всяких других, – сказал он, опять подняв голос. – Довольно они у нас хозяйничали! Мы не французской, не прусской, не английской, а единственно русской партии... Извольте, господин поручик, отправиться к плац-майору Горголи и, сказав ему, что мною присланы, возьмите госпожу Шевалье под караул. Естественно, у нее в доме при ней и останьтесь впредь до нового распоряжения... Караул над прекрасной дамой, надеюсь, будете иметь нестрогий. Однако полномочия вам вверяю совершенные, – добавил Пален с насмешкой в голосе. – Прощайте, поручик.

Он направился дальше в сопровождении свиты. Штааль смотрел им вслед. После этой ночи все точно отскакивало от его души. На большое повышение в чине, на стотысячную денежную награду слова Палена как будто не походили. «Однако же он сказал: “Я не забуду вашего поведения”. Это очень важно... Нехорошо, что я отказался от Кронштадта, но и беды большой нет. Не такой я осел, чтобы теперь фортециями заниматься. – Штааль понимал, что ему в награду дана госпожа Шевалье. – Да, конечно, позиция караулящего офицера будет выигрышная». При этой мысли у него слад-

ко забилося сердце. Ему на долю выпадало то, о чем он мечтал. Но он чувствовал, что было в этой своеобразной награде, данной после разговора о Кронштадте, нечто весьма пренебрежительное. «Не беда... Только он одной Шевалихой не отделается, нет. Будет еще разговор и о другом. Он ясно сказал: “Я не забуду вашего поведения”. А и забудет, так мы напомним... Пора, пора домой... Поужинаю и лягу», – подумал Штааль, чувствуя, что ему очень хочется есть. Он спустился по лестнице, направляясь к выходу на Фонтанку.

В одном из коридоров замка, за полуоткрытой дверью, Штааль услышал плеск воды, увидел медные ванны, умывальники, водоем. Это были бани замка, устроенные по-новому: вода была проведена по трубам, из Невы, и лилась прямо в водоем из кранов. «Хорошо бы искупаться, – потягиваясь и зевая, подумал Штааль, заглянув в баню. – Разве приказать служителям истопить ванну? Теперь мы здесь делаем, что хотим. А странно было бы купаться в ванне, в которой вчера, быть может, купался он...» Штааль вздрогнул. В нескольких шагах от него наклонившийся над умывальником человек в рубашке и панталонах, с переброшенным через плечо полотенцем, подставлял голову и шею под струю воды, лившуюся мимо раковины на пол. Штаалу показалось, что это Талызин. «Он где же был все время? В отряде Палена, что ли? Что-то я его и не видал вовсе...»

– Петр Александрович, это вы? – нерешительно окликнул Штааль.

Талызин вздрогнул, выпрямился и, отбросив со лба длинную прядь мокрых, со смытой пудрой волос, уставился на Штааля.

– Вы нездоровы?..

– А-а? Что? – прохрипел Талызин, свертывая и разжимая в руке полотенце. По его открытой шее, по лбу, по волосам текла вода. Он не вытирал ее, точно не замечая.

– Вы нехорошо себя чувствуете, Петр Александрович?

Талызин негромко засмеялся медленным смехом.

– Нет, хорошо, – проговорил он. – Очень хорошо...

Штааль смотрел на него разинув рот.

– Пален приехал?

– Приехал... Только что приехал, – заторопившись, сказал Штааль.

Талызин уронил на пол полотенце и направился к двери. На пороге он остановился, провел растерянным взглядом по комнате, поднял с полу мундир и, не надевая его, вышел в коридор с улыбкой, которая надолго запомнилась Штаалю.

XXXV

– Дело сделано, Талызин. Советую более о нем не думать и не наносить себе прискорбия. Теперь должно то оправдать, что без оправдания плодоносным трудом будет историей признано как преступление бессмысленное.

Пален встал и прошелся по комнате. Лицо у него было

усталое, не такое, как там на лестнице, где его видел Штааль.

– Не стану уверять вас, что я вполне спокоен душою, – сказал он, останавливаясь перед высоким креслом, в котором, откинув мокрую голову на спинку, неподвижно сидел Талызин. – Скажу вам и более еще: опасаясь, что мы ошиблись. Страх Александра скоро пройдет... Что, ежели дворянство нас не поддержит, вечно помня дедовские нравы?

– Поддержит? – переспросил хрипло Талызин. – Это Зубов, что ли? Он поддержит...

– Да, вы правы. Дураки сносны, злые вдвое, но нет хуже злого дурака... Людей не вижу... Не в безумии Павла было бедствие отечества, а в том, что безумец мог пять лет миллионами тирански править, считая подданных за рабов, удовлетворяющих его прихотям. Необузданная единодержавная власть ханская должна быть уничтожена. Ежели российское дворянство не возьмется довершить наше дело, кто знает, быть может, на сто лет отстанет наше отечество!.. Александр не надежен, я теперь вижу ясно. Он меня ненавидит. И не он один. Уже зовут меня старым временщиком. Воскресает Кромвель от гроба. Уже пущен слух, будто хотел я ночью вас предать, ежели не удастся дело. Хорошо? – Он засмеялся и уселся в кресло у окна. – Веселонравные люди!.. Есть, правда, еще мне кое о чем с противниками молвить слово... Но я более был чем нерасчетлив, что не заставил Александра написать бумагу, которая с ясностью его роль указывала бы. У Панина кое-что есть. Да боюсь, не мало ли для совершенной

ясности?..

– Вы когда его в последний раз видели? – спросил вдруг Талызин.

Пален нахмурился:

– Часа за три перед ужином... Но решительный разговор имел в четверг.

– О чем?

– Да вы знаете... Я застал его мрачным еще более обыкновенного. Он вдруг запер дверь и молча так на меня смотрит. А на лице выпечатаны страх и ненависть. «Господин фон Пален, где вы были в 1762 году?» (Пален вдруг очень похоже воспроизвел голос императора Павла. Талызин вздрогнул и наклонился вперед). – «Здесь в Петербурге, ваше величество. Но что вам угодно этим сказать?» – «Вы участвовали в заговоре, лишившем жизни моего отца?» (по лицу Палена пробежала легкая судорога). – «Нет, ваше величество, я был только свидетелем переворота. Почему вы мне задаете этот вопрос?» – «Почему? Вот почему: потому, что хотят повторить 1762 год. Меня хотят убить!» – почти истерически вскрикнул Пален. Он быстро встал и снова зашагал по комнате.

– К счастью, я не потерялся. Я сказал ему, что сам участвую в заговоре, дабы в нужную минуту вас схватить. Вы видите, я сохранил обладанье собою, а на нужные вымыслы всегда бывал способен. Но чего мне это стоило! – опять вскрикнул он и замолчал. Талызин смотрел на него в упор.

– Помните твердо, Талызин, – уже спокойно сказал, оставиваясь, Пален. – С волками жить – по-волчьи выть. Однако цель наша была чистая. В том вижу я многое, хоть неуспех и сразит в истории наше дело. Пусть как угодно нас судят потомки, и о них не так я забочусь. Но сказал бы им я лишь одно с достоверностью: дай Бог, чтоб всегда в России было поболее людей, которые, ни крови, ни грязи не опасаясь, всеми способами, зубами, когтями, чистый замысел отстаивать бы умели...

XXXVI

Стук в дверь разбудил Штааля. Он поднял голову с подушки, приподнялся на локте и растерянно прислушался. «Да, это моя спальная. Я дома. Павел убит и никакой дыбы... Но стучат... Ну и пусть стучат...» Он снова опустил голову на подушку. Стук усилился. Штааль выругался, ступил, морщась, босыми ногами на холодный пол, надел туфли, раздавив пятками войлочные задки, и, зевая, пошел открывать дверь, шаркая по полу плохо надетыми туфлями.

– Кто там? – сердито спросил он, отодвигая запор, но не выпуская его из рук, по приобретенной в последние дни привычке.

– *C'est moi, mon cher, ouvrez sans crainte,*¹⁹⁹ – сказал старческий голос. Штааль с удивлением открыл дверь. Перед ним

¹⁹⁹ Это я, дорогой мой, открывайте, не бойтесь (*франц.*).

стоял Пьер Ламор.

– Вы спали? Извините меня, пожалуйста, – сказал он.

Смущенно застегивая на груди рубашку, Штааль заторопился, впустил старика и, быстро пробежав вперед, пригласил гостя в кабинет. «Чего ему надо! Ведь еще утро. Эх, забыл я шлафрок порядочный купить».

Он кое-как оделся, надел туфли как следует и вышел в кабинет к Ламору. «Угостить его, что ли? Есть мадера... Обойдется... Да и день не такой».

Ламор, как оказалось, уже знал об убийстве императора; знал, по-видимому, и об участии в деле Штааля. Тем не менее он угрюмо попросил его все рассказать подробно. Во второй раз рассказ Штааля вышел эффектнее, чем в первый. Он не говорил прямо, что принимал участие в цареубийстве, но сцену в спальней изложил с такими подробностями, что в выводе не могло быть сомнения. Тон его речи был довольно беззаботный, местами почти удалой. Штааль даже прервал на минуту рассказ и спросил гостя развязно:

– Vous ne prendrez rien? Un verre de Madère?²⁰⁰

Ламор покачал головою.

– А ведь вы были правы, – сказал Штааль улыбаясь. – Вы были правы, помните, мы беседовали с вами в Михайловском замке: я уже тогда принимал ближайшее участие в заговоре.

– Ну что ж, и поздравляю вас, – мрачно сказал Ламор. –

²⁰⁰ Выпить ничего не хотите? Стакан мадеры? (*франц.*)

Очень, очень умно... Убили тирана, да? Одного тирана вынести можно, а десять тысяч – гораздо труднее. У нас в 1793 году в каждой деревне правили деспоты, – вышедшие из низов, тупые, озлобленные, невежественные... Поверьте мне, мой друг, все на свете лучше революции. А вы теперь от нее на волосок. Искренне желаю Александру спасти от нее и себя и Россию. Его положение, конечно, ужасное... Что ему было делать? Говорят, он умный и талантливый человек. Очень вам советую поладить с новым царем. Другой такой ночи, как нынешняя, Россия не вынесет... Да, в самом деле, что ему было делать, бедному юноше? – повторил Ламор и задумался. – Будет война, долгая война, – сказал он решительно.

Штааль с легкой улыбкой развел руками, как бы показывая, что это уже зависит не от него, или, по крайней мере, не от него одного, хоть он и все сделает для предотвращения войны. Впрочем, он плохо понимал связь между войной и убийством императора Павла. «С Англией, что ли, война? Да ведь говорят, будто англичане дали деньги на дело...»

– Вы особенно не радуйтесь, – сказал с раздражением Ламор. – Ведь не меня убьют на войне, а скорее вас. Да и неизвестно еще, чья возьмет. У нас громадная армия, а такого полководца, как первый консул, нет в целом мире.

«Так с Францией война? Ну да, конечно», – подумал Штааль.

– *Qui vivra, verra*,²⁰¹ – сказал он задорно. – Вот вы мне

²⁰¹ Поживем, увидим (*франц.*).

тогда предсказывали, что я попаду в застенки. Ведь не попал же...

Ламор, ничего не отвечая, смотрел на него мрачным взглядом.

– Однако вы веселый человек, – сказал он, еще помолчав. – Так ничего?

– Что ничего? – как бы не понимая, переспросил Штааль.

– Да то, что было ночью, – сердито пояснил Ламор.

Штааль сделал грустное лицо:

– Разумеется, приятного мало. Нелегко убить человека.

Но мы спасли Россию от тирана. Ведь это...

– Я тоже думаю, что ничего или почти ничего, – перебил Ламор. – Пустяки убить человека, особенно если с идеей. Да, собственно, и без идеи, – при твердо обеспеченной безопасности. Вздор, будто казни никого не устрашают: очень устрашают, очень. Добряк Беккариа, чутьем угадавший ту слащавую ложь, которая была нужна людям его времени, сам боялся всего на свете, особенно же боялся начальства. А вот в страх, внушаемый пытками, казнями, не верил, совершенно не верил... Я так думаю, что у нас сейчас генерал Бонапарт решает своим опытом большую политическую проблему: можно ли в революционное время основать власть на полутерроре? Гнусно казнить пятьдесят человек в день, как Робеспьер. А пятьдесят человек в год, пожалуй, необходимо... Посмотрим, что ваш Пален сделает.

– Да ему кого казнить-то?

– Как кого? Крестьян, которые начнут бунтовать, поляков, которые пожелают отделиться... Вы как, кстати, полагаете, вернут полякам независимость или нет?

– Ну, мы подумаем...

– Подумайте. И если вы, молодые люди, решите сохранить Польшу за собой, то очень советую вам не трогать царей. Без них вам ее и не видать было. Надо знать, чего хочешь. Республика так республика, но тогда маленькая, вроде Батавской или Гельветической, а? Устройте у себя Сарматскую республику, это и звучит очень хорошо.

– Были и большие могущественные республики. Рим...

– Ах, Рим? – протянул Ламор. – Впрочем, что же нам спорить?.. А только скажу я вам, молодой римлянин, что вы порядком изменились за семь лет нашего знакомства. Какой тогда вы были славный мальчик, любо вспомнить.

– А теперь? – спросил Штааль. – Душегуб?

– Зачем душегуб? Теперь вы, простите старика, авантюрист. Задатки, мой милый, у вас, впрочем, и тогда были недурные, – я помню. Но отныне вы авантюрист готовый, законченный и совершенный. Быстро же вас свернула жизнь, мой милый, это бывает в бурное время. Нынешняя ночь вас довершит, хотя вы теперь изволите о ней говорить в тоне благодушно веселом. Ну что ж, вы все-таки славный малый. Это, кстати, ровно ничего не значит: Картуш был тоже славный малый, даю вам слово. Пороха вы, конечно, не изобретете, – но это вовсе и не требуется.

Штааль сильно зашевелил бровями. Сравнение с Картушем его не обидело, скорее даже было приятно, но слова о славном малом и особенно об изобретении пороха очень ему не понравились.

Ламор посмотрел на него и усмехнулся:

– Вы, вероятно, находите мое заключение бестактным. Принято думать, что люди, говорящие неприятные или неуместные вещи, бестактны. Это неверно. На самом деле бестактен тот, кто говорит неприятные или неуместные вещи, не догадываясь, что они неприятны и неуместны. Это вовсе не всегда так бывает: мало ли какие могут быть у говорящего соображения... Впрочем, я ничего дурного не имел в виду. При ваших природных и благоприобретенных качествах вы, надеюсь, проживете в свое удовольствие. У вас теперь начинается интересное время. Я рад, что прожил жизнь французом 18-го столетия. Но если бы сейчас начинать заново, я, быть может, пожелал бы стать русским... Однако я пришел к вам не для приятной беседы. У меня есть дело.

– К вашим услугам, – холодно сказал Штааль.

– Вот такая моя к вам просьба. Сегодня ночью скончался один человек, с которым меня связывают очень давние отношения.

– Не Баратаев ли?

– А, вы уже слышали? Да, он. Баратаев умер, не оставив близких людей. Мне поручено взять некоторые хранящиеся у него бумаги. Я получил на это разрешение. Вот...

Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и подал Штаалю, который с удивлением увидел подпись и печать графа Палена. Штааль пробежал документ: «Вручителю сего разрешаю произвести осмотр всех бумаг в сию ночь скончавшегося Николая Николаевича господина Баратаева и взять с собою беспрепятственно те из оных, кои за нужные признает».

– Как видите, разрешение есть. Но я не понимаю ни слова по-русски, а в доме покойного, вероятно, хозяйничают сейчас люди, не знающие иностранных языков. Мне могли бы дать проводника, однако сегодня все очень заняты. У графа Палена есть теперь более важные дела. Да и мне приятнее ехать со знакомым человеком. Я подумал о вас. Надеюсь, вы согласитесь? Чрезвычайно обяжете.

– Что ж, можно. Сейчас?

«К Шевалихе ничего и опоздать, а все же досадно», – подумал он.

– Да, если вы так добры. Это дело не терпит отлагательства. Меня ждет внизу извозчик.

– Я тотчас оденусь.

Когда Штааль, одетый и выбритый, снова вошел в кабинет, Ламор в глубокой задумчивости сидел у стола, перелистывая «Discours de la Méthode». По вопросительному рассеянному взгляду старика Штаалю показалось, будто Ламор забыл о своем деле.

– Да, пойдем, – сказал старик и торопливо поднялся, положив книгу. – Декарт, говорят, был тоже розенкрейцер, –

добавил он неожиданно. – Он говорил: «bene vixit bene qui latuit» (Штааль наудачу кивнул головой): «Тот хорошо жил, кто хорошо скрывал», – перевел Пьер Ламор. – Умный был человек. Самый мудрый из людей, если не считать Екклезиаста. Да, да, пойдем, – сказал он и, застегнув шубу, направился к выходу.

Штааль назвал извозчику адрес, с удивлением чувствуя, что немного волнуется. Так много воспоминаний было связано у него с этим домом.

На улице, несмотря на дурную погоду, было шумно и весело. Перед винными лавками толпился народ. Из кабаков несся гул голосов. Штааль с любопытством смотрел на эту необычную картину. Ему очень хотелось смешаться с толпой, послушать, что говорят. Из саней ничего нельзя было разобрать, но он ясно видел, что оживление радостное. «Нет, мы хорошо поступили, мы освободили отечество», – теперь уж совсем уверенно думал Штааль. Какой-то малый, в оборванном зипуне, выскочил без шапки из подворотни, прокричал: «Убили!.. Ур-ра!..» – и изо всей силы бросил пустую бутылку на мостовую. Стекло разлетелось вдребезги, лошади шарахнулись в сторону. Извозчик выругался и, повернувшись к господам, сказал с довольной улыбкой:

– Гуляет народ... Свобода...

Штааль одобрительно кивнул головой.

– Ведь вы знали Баратаева? – спросил после долгого мол-

чания Ламор.

– Знал и, признаюсь, не очень любил.

– Его едва ли кто-нибудь любил.

– У меня были основания, – добавил Штааль.

– Да? – Ламор посмотрел на него вопросительно. – Тогда вы, собственно, должны мне быть благодарны. У арабов, кажется, существует изречение: «Если кто тебя обидел, выйди на дорогу, ведущую к кладбищу, сядь и жди; рано или поздно по этой дороге пронесут твоего врага, вот ты и будешь утешен».

– А может, тебя пронесут по этой дороге раньше? – сказал, усмехнувшись, Штааль.

– Поправка ваша существенная. Да и долго ждать иногда скучно. Но в настоящем случае вспомнить арабское изречение можно: вы сейчас увидите мертвое тело своего врага. Во второй раз сегодня, – добавил он.

– Не врага, – ответил сухо Штааль. – Я давно простил ему его вину предо мною. Я просто его не любил.

– Это был замечательный человек. Сумасшедший, конечно, но замечательный. О нем всей правды не скажешь. Я тридцать лет его знал, – он ведь подолгу живал за границей. У нас о нем часто говорили: «Только в России могут быть такие люди». Очень глупое, кстати сказать, замечание.

– Вы, вероятно, Россию не любите? – подчеркнуто равнодушно спросил Штааль.

– Напротив, я очень высокого мнения о России. Изу-

мительная страна, изумительная столица. И народ ваш, насколько могу судить, на редкость сметливый, даровитый. Русский народ одарен природой едва ли не богаче всех других – на свою беду, конечно: счастливы народы бездарные... Повторяю, у вас теперь начинается интересное время.

– Россия вся в будущем.

– Да ведь вы сегодня освободили ее от тирана, чего же вам еще? Вот сегодня с утра, значит, и началось будущее. Русские, говоря о своей стране, всегда ссылаются на какие-то смягчающие обстоятельства: то тиран, то татарское иго, то что-то еще.

– Главное, это народное невежество.

– Полноте, все народы невежественны, и не в этом дело. Никогда во Франции не было худшего умственного убожества, чем с той поры, как мы залили страну просветительными идеями. Для появления Декарта народные школы не нужны. По-видимому, не нужна и республиканская конституция. Ваше будущее ничем не лучше настоящего. А может быть, и хуже. Если России суждено дать Декартов, пусть они не теряют времени... Вот Баратаев был неудачный Декарт, как, впрочем, и многие другие.

Он угрюмо замолчал и больше не раскрывал рта всю дорогу.

XXXVII

В доме чувствовалось сдержанное оживление. Лакеи шныряли вверх и вниз по узкой каменной лестнице. Какая-то молодая женщина, похожая немного лицом на Настеньку, застенчиво показала в боковой двери и с любопытством оглядела вошедших. «Здесь я впервой был у Настеньки», – подумал Штааль. На площадке лестницы квартальный поручик, куривший трубку, ругал гробовщика, очень маленького худого человека с грустно-ласковой предупредительной улыбкой на лице.

– Грабители вы такие! Ежели бедный человек помрет, то и похоронить нельзя... Вот ежели, к примеру, я, – говорил он. По очень благодушному выражению его раскрасневшегося потного лица можно было предположить, что он только что весьма плотно закусил. Гробовщик приятно улыбался, понимая, что квартальный, свой человек, шутит. Он даже сам позволил себе пошутить:

– Вам, Степан Иваныч, ежели, упаси Боже, что, можно по знакомству и скидочку.

По-видимому, эта шутка не понравилась квартальному, однако ему трудно было рассердиться с трубкой во рту. Он затянулся, вынул изо рта трубку, хотел что-то сказать, но, увидев поднимавшихся по лестнице людей, вопросительно на них уставился. Штааль изложил дело. «Разрешение

есть», – добавил он. Квартальный снова затянулся, подумал, выпустил дым из носа и сказал:

– Что ж... Не по порядку это, ежели хотите знать... Ордер от частного имеете?

Слово «частный» он произносил очень многозначительно. Штааль, сразу и не догадавшийся, что квартальный разумеет частного пристава, взял у Ламора документ. Увидев на бумаге подпись графа Палена, квартальный, видимо, растерялся. Он поспешно замахал рукой под носом, отгоняя дым, и сказал испуганно:

– Сделайте вашу милость... Просто голова идет кругом... Дела какая!..

Он заговорил о том, что всех занимало. Штааль не удержался и сообщил о своем участии в царевубийстве. Полицейский побагровел и вытаращил глаза. Ламор сердито напомнил о деле.

– Oui, à l'instant,²⁰² – сказал Штааль. – Так будьте добры, проводите нас...

В комнате, выстланной черным сукном с нашитыми золотыми слезами, дымя, горели свечи в тяжелых литых канделябрах. Баратаев лежал на невысокой, покрытой черным одеялом кровати. Штааль подошел поближе. Поверх тела была наброшена тонкая, прозрачная кисея. Сквозь нее просвечивали медные монеты на закрытых глазах. Сжатые, еще красные губы неприятно выделялись на лице умершего.

²⁰² Да, немедленно (*франц.*).

Штааль вздрогнул и поспешно отошел к задернутому окну, на котором трепалась, у открытой форточки, штора. Ламор, сторбившись, склонился над подушкой.

Штааль пытался вспомнить ненависть, которую когда-то испытывал к Баратаеву, свой последний разговор с ним в Милане, свои мальчишеские слезы. «*Che i gabia o non gabia, e sempre Labia...*»²⁰³

Женщина, похожая на Настеньку, робко вошла в комнату и стала сбивчиво объяснять, почему еще не все сделано, точно чувствовала себя виноватой. Гробовщик ласково и грустно кивал головою.

– К вечеру непременно сделаем и на стол их перенесем, – говорила она тихо, вытирая передником притворные, как показалось Штаалу, слезы. – За монашенками послали. В доме, верите ли, и иконы ихней не было.

– А то, может, на Брейтенфельдово поле отвезем их! – вздохнув, сказал гробовщик. – Славное кладбище и в большом порядке.

– Надо частного спросить, – ответил квартальный поручик. – Без частного нельзя... Они, верно, в кабинете будут рыться? – вполголоса спросил он Штааля, показывая глазами на старика. – Вот ключи...

Ламор взял связку ключей и измученной походкой направился за квартальным в соседнюю комнату. Штааль, оглянувшись на женщину, последовал за ними. В кабинете ни-

²⁰³ «Богат он или беден, но он всегда Лабиа» (*итал.*).

чего не изменилось. На большом столе в беспорядке стояли склянки, лампы, реторты. Ламор приблизился к маленькому столу, тяжело придвинул стул, сел и стал пробовать ключами средний ящик.

– Я вам не нужен? – спросил Штааль.

– Нет, нет... Если б вы были добры дать мне час времени...

– Ах, дела какие. Господи! – повторил квартальный, видимо желая вызвать Штааля на разговор об убийстве императора. Но Штаалю больше не хотелось рассказывать.

– От чего умер? – спросил он тихо полицейского.

– Верно, от аневризмы. Доктор сказал, разорвалось сердце. А может, и отравился, не разберешь. Лекарь пошлет к штад-физику, а штад-физик к просектору, уж мы знаем... Человек тоже был странный, изволили знать? Комнаты сами видите какие. Шкелеты, – сказал испуганно квартальный. – Мы даже наблюдение учинили в последние месяцы, – нет ли чего такого? Да так, словно бы и ничего. Вот только огнегасительному мастеру на случай дали знать для предостережения пожара... Оригинал, – старательно выговорил он. – Нашли у этого стола. На полу лежал... Писал, писал и вдруг умер. Да, может, им и тетрадь эту дать, что ли? Вот, на столе открытой лежала... Писал, писал и умер, – повторил квартальный.

Штааль тотчас узнал переплетенную в черный атлас тетрадь, в которой когда-то в Милане он прочел тайком

несколько непонятных страниц. Сердце у него забилося. На первой странице, как тогда, он увидел огромную цифру 2, под ней слова «Deux – nombre fatidique».²⁰⁴ От волнения у Штааля остановилось дыхание. Он быстро перелистал тетрадь, на три четверти исписанную знакомым прямым мелким почерком с утолщениями по горизонтальной линии. Почерк этот становился все неразборчивее и нервнее на последних исписанных страницах. Штааль заглянул в самый конец рукописи, но читать не мог. Перед ним выскакивали лишь отдельные слова и фразы, то французские, то латинские. В особую строчку прыгающими буквами было выписано: «Не жизнь, а смерть в сием эликсире...» Штааль разобрал еще последнее слово – *délivrance*.²⁰⁵ За ним следовало чернильное пятно, по-видимому, раздавленное тетрадью и перешедшее на другую страницу.

– Вы думаете, так писал и умер? – быстро спросил Штааль квартального и, не дожидаясь ответа, отошел к Ламору. Старик хмуро оглянулся и заслонил бумагу, которую читал. Штааль отдал ему тетрадь и вышел с квартальным в коридор.

– А богатый был человек, и наследников нет, – заметил квартальный.

– Разыщутся, – сказал Штааль, стараясь успокоиться.

– Верно, разыщутся, а то в казну магистрат отпишет.

– Нам с вами пригодилось бы, – пошутил Штааль.

²⁰⁴ «Два – число вещее» (*франц.*).

²⁰⁵ Освобождение (*франц.*).

– Еще как, и не говорите, – засмеялся квартальный. – Так неужто и вы, господин поручик...

Он не закончил фразы. Им навстречу шел неровной быстрой походкой пожилой человек, которого Штааль тотчас узнал. «Бортнянский? – с удивлением подумал он... – Да, ведь, правда, они приятели были». Штааль первый поклонился директору придворной капеллы, хоть и считал его низшим по общественному положению. Тот растерянно на него взглянул и спросил, не останавливаясь:

– Туда можно?

– Сделайте милость.

Штааль спустился по лестнице и вышел из мрачного дома, решив вернуться через час за Ламором. Он погулял немного, раза два взглянул на часы. Было холодно и скучно. Штааль свернул на людную улицу. Из кабака неся отчаянный рев. Против входа столпились люди. Слышались раскаты смеха. Штааль протиснулся, – ему не сразу дали дорогу, и это ему не понравилось: накануне дорогу уступили бы немедленно. Посредине кучки высокий мужик показывал дрессированную суку. «Шевалиха, как есть Шевалиха», – гоготали в толпе. Мужик, радостно улыбаясь, снял шляпу. «А ну покажи барину, что делает Шевалиха...» Собака зевнула и легла на спину лапами вверх. Раздался новый взрыв хохота. Штааль поспешно отошел. «Надо бы прекратить это безобразие... Нет ли будочника? – гневно подумал он, оглядываясь. Будочника не было. – Черт их возьми, экое безобразие!» – ска-

зал Штааль уже менее сердито и, отойдя немного, засмеялся. При мысли о госпоже Шевалье сердце у него снова сладостно замерло.

Когда он вернулся, уже стемнело. Ламор неподвижно сидел перед столом, на котором лежал черный портфель.

– Спрячьте, спрячьте ваши секреты, – полушутливо сказал Штааль, вытянув левую руку и закрывая на мгновение глаза.

Ламор поднялся, не отвечая, и взял портфель.

– Надеюсь, нашли интересные документы?

– О да, чрезвычайно интересные, – пробормотал Ламор. – Чрезвычайно интересные...

Он остановился, обвел вокруг себя взглядом и, выйдя в спальную, снова склонился над мертвым телом Баратаева. У постели ярче горели высокие свечи. Кисея казалась желтой.

– Чрезвычайно интересные... Чрезвычайно интересные... – бессмысленно бормотал Ламор.

«Ну, и он, кажется, тоже с ума спятил», – подумал Штааль с удивлением.

– Так я вам больше не нужен? – нетерпеливо спросил он.

– Не нужны... Благодарю... Более не нужны.

Они вместе спустились к выходу. В коридоре Штаалю показалось, что где-то вдали слышна тихая музыка. Везде были зажжены свечи. На площадке квартальный поручик, галантно улыбаясь, разговаривал с той же женщиной. «Все перебрали?» – спросил он и игриво подмигнул Штаалю. Лакей

подал шубу старику.

– Прикажете извозчика позвать?

– Сбегай за двумя извозчиками, – сказал Штааль, оглядываясь на женщину. Лакей выбежал на улицу.

– Вы куда? К Демуту? – спросил Штааль Ламора.

– Я?.. Да, в самом деле... Искренне вас благодарю за услугу... Кстати, я на днях уезжаю из Петербурга.

– Что так? Во Францию?

– Да, вероятно... Мне здесь больше нечего делать... Впрочем, и во Франции тоже нечего. Нигде больше...

Штааль смотрел на старика с недоумением, и вдруг ему снова, как когда-то при первом знакомстве, бросился в глаза восточный облик Ламора, точно обостренный измученным выражением. При дрожащем огне свечей лицо его было мертвенно-бледно. Древний, дряхлый, сгорбленный, Пьер Ламор медленно выходил в дверь, тяжело опираясь на палку. «Скоро помрет, не иначе», – подумал Штааль с сожалением.

– Тогда позвольте вам пожелать... – начал он. – От всей души...

– Благодарю вас.

– Так... вы когда же едете? – спросил Штааль, не зная, что сказать.

– Я?.. Куда?.. Как только будут готовы бумаги. La rodogójna, – с трудом улыбаясь, выговорил Ламор.

В тумане, к облегчению Штааля, показались сани. Лакей стоял в них боком, держась за плечо извозчика.

– Одного нашел, барин, – запыхавшись, сказал он, соскакивая. – Совсем перепился народ.

– Для вас есть извозчик, – обратился Штааль к старику. – К Демуту отвези барина... Так до свидания. Всего, всего лучшего...

– Прощайте, – сказал старик глухо. Сани тронулись. Штааль довольно долго смотрел вслед Ламору.

– Прикажете на Невский сбегать? – разочарованно спросил лакей, видимо ждавший на чай.

– Ну да, сбегай, – приказал Штааль. Он поднялся по лестнице, чтоб не оставаться в передней с прислугой. Ему хотелось еще взглянуть на женщину в передничке. Но ни ее, ни квартального на площадке больше не было. Штааль пошел по неровному узкому коридору, припоминая расположение комнат в мрачном доме. Вдруг он явственно услышал доносившуюся издали музыку. «Что за неприличие?» – подумал Штааль. Он свернул из коридора и на цыпочках прошел через длинную нежилую комнату с закрытыми ставнями. В ней было темно. За этой комнатой, Штааль помнил, находилась небольшая гостиная. Он приоткрыл дверь. Спиной к нему в гостиной, освещенной одной горевшей над клавирами свечой, играл Дмитрий Бортнянский. «Ах, он еще тут? Ну, ему можно играть, для него это все равно что молитва...» Штааль оставил дверь полуоткрытой и уселся на диван в темной комнате. Он слушал минуты две, уставившись глазами в бледную дрожащую полосу света на ковре. Вдруг он почув-

ствовал сильный нервный удар. У него внезапно прервалось дыхание.

Штааль так до конца жизни и не узнал, что играл в день царевубийства Бортнянский в доме своего умершего друга. Может быть, это было импровизацией. Может быть, никогда это и не было записано. Одаренный чуткостью и слухом, Штааль не имел музыкального образования, не знал даже нот. Впоследствии что-то в концерте Бортнянского «Скажи ми, Господи, кончину мою» напоминало ему эту музыку. Одна – очень страшная – ее фраза походила на мелодию Сен-Готардского убежища. Они говорили об одном и том же, о смерти. Штааль слушал с расширившимися глазами, со все росшим душевным смятением. Он сам не мог понять, что с ним случилось.

Ему казалось, будто он только теперь очнулся от непонятно долгого, изменчивого, томительного сна. Он был во сне и на льду Невы перед тропинкой, шедшей к Петропавловской крепости, и у Талызина, слушая жгучую речь Палена, и у дверей спальни, в которой душили императора, и в долгие постыдные часы, следовавшие за ночью убийства. Самые низменные его чувства, самые циничные фразы и мысли, приходившие ему в голову, были сном, от которого лишь теперь пробудило его то, что играл, о нем играл, один из величайших композиторов России. В музыке Бортнянского слышались Штаалю и люди, замученные в Тайной канцелярии, и задушенный в эту ночь царь, и крик камер-гу-

сара Кириллова, и душевная мука Талызина. В ней была вся та необыкновенная, несчастная, ни на какую другую не похожая страна, в которой счастье жить было послано и царю, и камер-гусару, и Талызину, и ему, Штаалю. В версте от дома Баратаева, в той комнате волшебного замка, трясущийся от ужаса художник раскрашивал кистями в эти минуты изуродованное лицо мертвого императора. Где-то в другом месте, уткнувшись лицом в подушку, сдерживал рыдания новый самодержец, так богато одаренный, так ужасно начавший царствование. Фраза росла грозно, росла беспощадно... «Да, все кончено!.. Загублена жизнь, искалечена душа, кости помяты, все выжжено в сердце. Но и у других тоже все кончено», – почти с радостью говорил себе Штааль. Он думал о Баратаеве, лежавшем под кисеею с медными монетами на глазах, думал о Ламоре, которого никогда больше не суждено ему увидеть, думал о собственной, близкой до ужаса смерти. Так странно связала его судьба и с Баратаевым, и с Ламором, и с царем, так все в ней было случайно, так легко все могло быть по-иному. Штааль чувствовал мучительное бессилие, безотчетный страх перед жизнью. «Умру, через день забудут, ничего не останется, но ни от кого ничего не останется... Разве от него, от этого худо одетого бедного человека... Нет, и над ним, как надо мною, есть то, перед чем мы безвластны, то самое, о чем он играет...» Звуки слабели. Начинаясь новая музыкальная фраза. «Нет, нет, я знаю, здесь начался обман, – жадно вслушиваясь, говорил Штааль. – Обман, об-

ман... На это я не поддамся, не поддамся, не поддамся», – бессмысленно твердил он, стискивая зубы.

– Да где же они? За извозчиком послали, а сами ушли? – сердито говорил в коридоре голос.

Послышался женский заигрывающий смех:

– А вы бы караулили... Уж, видно, из своих заплотити...

– Ну, это дудки-с...

– А извозчик шапку сдерет... Да... Без шапки, значит, гулять будити...

Штааль смущенно вышел в коридор.

– Я тебя ищу, – сказал он, не глядя на лакея. – Нашел? Спасибо, вот тебе...

Он спустился вниз, вышел на улицу и приказал извозчику ехать к госпоже Шевалье.

Святая Елена, маленький остров

Предисловие ко второму изданию

Настоящая книга представляет собой эпилог моей серии «Мыслитель». Написана, однако, «Святая Елена» раньше, чем «Девятое Термидора», «Чертов мост» и «Заговор». Она появилась пять лет тому назад на страницах журнала «Современные записки», а затем вышла отдельной книгой (изд. «Нева») с иллюстрациями художника Пинегина.

С выходом в свет (надеюсь, в следующем году) романа «Заговор» серия «Мыслитель» (I «Девятое Термидора»; II «Чертов мост»; III «Заговор»; IV «Святая Елена, маленький остров») будет закончена. Знаю, конечно, что неправильный порядок появления моих исторических романов связан со значительными неудобствами, и, в частности, затрудняет понимание того, что было бы слишком смело с моей стороны назвать символикой серии. Приношу снова свои извинения читателям.

Автор

Июнь 1926 года

*В школьной тетради Наполеона от 1788 года
(Fonds Libri, № 11), составленной по курсу географии*

аббата Лакруа, занесены рукой будущего императора следующие слова: «Sainte Hélène, petite île». На этом месте запись в тетради обрывается.

I

Однажды в раннем детстве Сузи Джонсон услышала от своей матери, что вперед к обеду больше не будет подаваться пудинг. Сузи заплакала от горя.

– My little darling,²⁰⁶ – сказала ей нежно и наставительно мать. – Бетси Браун и другие девочки тоже не получают пудинга. Надо терпеть и экономить. Во всем виноват злой Бони, который устроил дорогой старой стране континентальную систему.

Сузи сквозь слезы осведомилась, что это еще за континентальная система. Но мистрисс Джонсон и сама не совсем хорошо это понимала. Девочке показалось, что континентальная система что-то вроде длинной, гадкой змеи.

Вечером, ложась спать, Сузи, по указанию матери, помолилась Лорду,²⁰⁷ чтобы Он спас дорогую страну от злого Бони, который отобрал у нее, и у Бетси Браун, и у других английских девочек вкусный пудинг – с изюмом, сливами и сладкой коричневой коркой – верно, для того, чтобы все съесть самому.

Злого Бони мисс Сузи боялась и ненавидела больше всего на свете. Всякий раз, когда она дурно себя вела, мать и мисс Мэри говорили, что отдадут ее Бони, и при этом делали

²⁰⁶ Милочка (*англ.*).

²⁰⁷ Lord (*англ.*) – Бог.

страшные глаза. В первый раз Сузи услышала имя Бони как-то утром за завтраком и с ужасом спросила, кто такой Бони.

– Он сам сатана! – воскликнула, не удержавшись, ее воспитательница.

– О, мисс Мэри! – с укором сказала мистрисс Джонсон, не любившая неприличных слов.

Но дэдди, подполковник Джонсон, оторвавшись от свежего номера «Morning Post» и ударив кулаком по столу, заявил, что мисс Мэри совершенно права: Бони действительно сам проклятый сатана. При этом подполковник Джонсон завращал глазами и в словах «d-damned d-devil» как-то особенно страшно растянул букву «d».

Только когда мисс Сузи стала уже большой, незадолго до того, как ей пошел восьмой год, ей сказали, что Бонн – не просто Бонн, что это кличка, вроде как ее двоюродного брата Эдуарда Брауна зовут Эдди. Она узнала, что у злого Бонн есть другое, длинное и трудное, имя: Наполеон Бонапарт, и что он состоит Кингджорджем (просто кингом, – поправила, улыбнувшись, мать) у французов, которые живут за морем, едят лягушек (shame!²⁰⁸), хотят погубить дорогую старую страну и воюют, как настоящие гунны, нечестно, совершая всякие зверства.

Вскоре после этого дэдди, подполковник Джонсон, был убит злым Бони на войне. А еще позднее к обеду стало снова появляться сладкое. Читая газеты, большие оживленно го-

²⁰⁸ Какой стыд! (англ.)

ворили, будто дела злого Бони идут плохо: его бьют русские. Сузи тотчас осведомилась о русских и узнала, с некоторым страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ, который живет в снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну и не любит проклятых французов: русский король Александр, дальний родственник Кингджорджа, и один русский граф с фамилией, которую ни выговорить, ни запомнить невозможно, подожгли даже свою столицу Москву, чтобы спалить забравшегося туда Бони и сделать удовольствие Кингджорджу. Это очень понравилось Сузи.

Чуть не каждый день, во все время ее детства, мисс Сузи приходилось слышать о разных злодеяниях Бони. Наконец, в одно летнее утро, к ним в дом вбежал их молодой кузен, лейтенант Эдуард Браун, весь сияющий и украшенный блестящими орденами. В разговоре, радостном и быстром, он часто произносил слово Ватерлоо, – и через несколько минут всему дому стало известно, что герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злого Бони, отомстили за дэди и что отныне дорогой старой стране больше нечего бояться. Кроме Эдди в победе над Бони принимали участие немцы – очень хороший народ, который воюет честно и не совершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а все главное сделали дорогие старые малые, дорогой старый герцог Веллингтон и особенно дорогой старый кузен Эдди.

Затем судьба странно завертела Сузи и всю ее семью. У

них в доме стал бывать некрасивый, неприятный военный, с оттянутой верхней губой и острым подбородком, сэр Гудсон Лоу. Он как-то особенно почтительно обращался с мистрисс Джонсон и подолгу оставался с ней вдвоем по вечерам. Зимой того года, когда вернулся кузен Эдди, мистрисс Джонсон, слегка покраснев, сказала Сузи и ее меньшей сестре, что у них будет новый дэдди, ибо она выходит замуж за сэра Гудсона. Мисс Мэри под строжайшим секретом сообщила девочкам, что сэр Гудсон незнатного рода: ему до них так же далеко, как им до герцога Норфолька, первого пэра Англии. Но это не беда, ибо сэр Гудсон очень хороший человек и известный генерал. Одновременно оказалось, что они все переселяются очень далеко, на какой-то остров Святой Елены, куда их новый дэдди назначен губернатором, и что на этом острове уже находится злой Бони, которого они будут стеречь – и не позволят ему убежать и убивать англичан. Затем все они долго – два с половиной месяца – ехали по большому морю на корабле с мачтами и с пушками, их страшно качало, всех, но не ее, – она одна ни чуточки не была больна, – и наконец приехали на остров Святой Елены, в большой дом Plantation House. Прекрасный дом, чудный сад с невиданными мимозами очень понравились Сузи. Обежав квартиру, она первым делом спросила, в каком подвале заперт Бони и нельзя ли его хоть издали увидеть, если это не очень опасно. Но оказалось, к большому ее успокоению, что Бони в доме вовсе нет, что он живет в другом месте, на вилле

Лонгвуд, очень далеко от Plantation House и что они, кроме дэдди, его видеть не будут, ни вблизи, ни издали.

На острове Святой Елены Сузи незаметно для всех, кроме нее самой, превратилась из малого ребенка в очаровательную девочку. Говорили, что она красавица. Ей шел шестнадцатый год и уже иногда называли ее мисс Сузанной, когда в нее влюбился и сделал ей предложение представитель русского императора на острове Святой Елены, граф Александр де Бальмен.

Своего будущего мужа Сузи в первый раз увидела на обеде, который губернатор дал в честь иностранных комиссаров. Она сразу обратила внимание на то, что граф де Бальмен – красивый человек, гораздо более красивый, чем австрийский уполномоченный, барон Штюрмер, и французский, маркиз де Моншеню. Когда негры внесли в залу канделябры, мисс Сузанна с любопытством и гадливостью приготовилась к тому, что русский вынет свечу и съест. Но русский этого не сделал. Мисс Сузанне даже показалось, будто граф де Бальмен совершенный джентльмен.

За обедом говорили то по-французски, то по-английски. Русский очень хорошо говорил по-английски – с оксфордским произношением, как кузен Эдди. Правда, мисс Сузанна сразу заметила, что оксфордское произношение у него выходит не совсем так, как у кузена Эдди, и что ти-эч у русского какое-то странное. Но и это ей почему-то понравилось. По-французски же граф де Бальмен говорил совершенно изу-

нительно, – сама мисс Сузи с трудом изъяснялась на этом языке. Ей даже показалось, что он говорит по-французски гораздо лучше, чем маркиз де Моншеню. Маркиз был, однако, другого мнения и с некоторой иронией слушал картавую речь своего русского коллеги.

Разговор шел, как почти всегда, о генерале Бонапарте и о тех неприятностях, которые он продолжал чинить всему миру, а, в частности, сэру Гудсону Лоу и иностранным комиссарам. Моншеню, старый эмигрант, в свое время считавшийся крайним реакционером даже в Кобленце, рассказал несколько случаев из времен молодости корсиканца. Оказалось, что Бонапарт когда-то собственноручно задушил женщину легкого поведения. Маркиз описал это происшествие с чрезвычайно точным указанием места, обстоятельств, имен и всех подробностей убийства.

– Quel scélérat. Seigneur, quel scélérat!²⁰⁹ – воскликнул в заключение Моншеню.

Граф де Бальмен, выслушав учтиво французского уполномоченного, со своей стороны рассказал несколько анекдотов о Наполеоне, но в другом роде. При этом оказалось, что граф, хотя и дипломат по профессии, проделал в чине подполковника несколько кампаний и имел много боевых наград. Де Бальмен рассказал это к слову, легкой иронической улыбкой показывая, что не придает ни малейшего значения своим военным подвигам – особенно в присутствии такого

²⁰⁹ Какой злодей. Господи, какой злодей! (франц.)

заслуженного воина, как сэр Гудсон Лоу. Наполеона граф де Бальмен видел за всю свою жизнь только один раз – после битвы при Ватерлоо. Он был прикомандирован императором Александром к верховному английскому командованию и во время знаменитого сражения неотлучно находился в свите герцога Веллингтона. При слове Ватерлоо лица всех англичан и англичанок просветлели, а Моншеню слегка нахмурился, несмотря на свою эмигрантскую ненависть к Наполеону. Де Бальмен тотчас это заметил и, обращаясь к маркизу, с величайшей похвалой отозвался о храбрости, проявленной в день Ватерлоо французскими войсками.

– Bonaparte y a déployé tout son terrible génie, et Dieu sait s'il en a!²¹⁰

И он мастерски описал, как Бонапарт с вершины холма Belle-Alliance руководил сражением, которое считал совершенно выигранным. Вдруг – было около полудня – в тылу его армии неожиданно показались немцы Блюхера вместо французского корпуса Груши.

– Il faudrait la plume d'un Chateaubriand pour décrire le désespoir qui s'est peint alors sur la figure mobile de César...²¹¹

Так закончил де Бальмен свой рассказ. Все это он видел в полевую трубу. Сидевший за столом заезжий гость, седой,

²¹⁰ Бонапарт проявил в тот день весь свой ужасный гений. А ведь он, видит Бог, гениален! (*франц.*)

²¹¹ Нужно было бы Шатобрианово перо, чтобы описать отчаяние, изображившееся тогда на подвижном лице Цезаря... (*франц.*)

молчаливый офицер, получивший две раны под Ватерлоо и ничего этого не выдавший, подумал, что у русских штабных офицеров удивительные полевые трубы. Но мисс Сузанне рассказ русского очень понравился. А еще больше ей понравилось, что во время рассказа де Бальмен два раза посмотрел в ту сторону стола, где не было никого, кроме нее и старой мисс Мэри.

Сэр Гудсон Лоу, ослабившись, заметил, что сражение при Ватерлоо было бы все равно выиграно англичанами, даже если бы Блюхер не пришел на помощь.

– Hé, hé, qui sait, qui sait, mon général! – возразил маркиз. – Quand on a affaire à l'armée française...²¹²

– Nous n'en safons rien en effet, – заметил со своей стороны барон Штюмер. – Ces prafes allemands fous ont rendu un choli serfice.²¹³

Де Бальмен, которому было все равно, кто победил при Ватерлоо: англичане или немцы, – похвалил и Блюхера и Веллингтона.

– Quel rude homme, votre Iron Duke,²¹⁴ – сказал он сэру Гудсону – и тотчас сообразил, увидев кислую улыбку хозяйина, что сделал промах: губернатор недолюбливал Веллинг-

²¹² Кто знает, генерал, кто знает... Когда имеешь дело с французской армией... (франц.)

²¹³ В самом деле, это совершенно неизвестно... Храбрые немцы оказали вам славную услугу (искаж. франц.).

²¹⁴ Какой суровый человек ваш Железный Герцог (франц., англ.).

тона, который однажды назвал его, хотя и вполголоса, но довольно явственно, старым дураком. Де Бальмен был совершенно согласен с такой оценкой умственных способностей сэра Гудсона и думал вдобавок, что сам герцог Веллингтон ненамного умнее губернатора Святой Елены. Желая заглядеть свой промах, он с легкой улыбкой добавил, что великим людям присущи маленькие слабости: победитель при Ватерлоо так желает во всем походить на генерала Бонапарта, что просил знаменитого Давида написать его портрет и... (тут он опять поглядел в сторону мисс Сузанны)... и близко сошелся с певицей Грассини. Но... (он, улыбаясь, помолчал несколько секунд) Давид отказался писать герцога, а госпожа Грассини теперь на пятнадцать лет старше, чем была во время своей близости к генералу Бонапарту.

Маркиз де Моншеню немедленно назвал Грассини безголосой дрянью (в его время при старом дворе были не такие певицы) и выразил удивление, почему его величество король Людовик XVIII, в обсуждение поступков которого он, впрочем, не смеет входить, не приказал повесить Давида: ведь этот мерзавец до Бонапарта писал портреты Дантона, Робеспьера и Марата и был дружен со всей революционной сволочью.

Моншеню принадлежал к очень знатной семье, находившейся в родстве с французским и испанским королевскими домами; поэтому он позволял себе, даже при дамах, самые грубые выражения, справедливо полагая, что у него они ни-

как не будут отнесены на счет дурного воспитания.

Молчаливый седой офицер, к общему удивлению, вмешался в разговор и, холодно глядя на маркиза, сказал по-английски, что король Людовик XVIII, вероятно, потому не приказал повесить мистера Дэвида, что, во-первых, в культурных странах вешать можно только по приговору суда, а во-вторых, все цивилизованные люди чтут в мистере Дэвиде великого живописца.

Барон Штюрмер с приятной улыбкой перевел замечание офицера не знавшему по-английски маркизу. Наступившее молчание прервал де Бальмен. Он рассказал столь же мастерски, что, когда Дантона везли на эшафот, Давид, с террасы Café de la Régence, зарисовал его фигуру на колеснице парижского палача. Дантон увидел бывшего друга и закричал ему своим чудовищным голосом: «Хам!»

– Впрочем, – прибавил граф. – Monsieur прав: надо быть снисходительным к гениальным артистам.

Леди Лоу, заметившая, что разговор может принять неприятный характер, вернула его к вечной теме, на которой все были всегда согласны. Она заговорила о Бонапарте. Сэр Гудсон рассказал, как он, в начале своего пребывания на острове Святой Елены, тщетно старался установить хорошие отношения с корсиканцем.

– Когда графиня Лоудон, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии, – сказал он, почтительно произнося английский титул, – была проездом здесь, я устроил в ее честь

обед и пригласил генерала Бонапарта. Вот какое я послал ему приглашение. – Он наморщил лоб и медленно, значительным тоном прочел по памяти свой пригласительный билет: «Сэр Гудсон и леди Лоу просят генерала Бонапарта пожаловать к ним на обед в понедельник в 5 часов, чтобы встретиться у них с графиней».

– Скажите, что было обидного в этом моем приглашении? – прибавил он, обращаясь к де Бальмену. – Так знайте же: я не получил никакого ответа. Да, я не получил никакого ответа на это приглашение! – повторил он трагическим голосом, торжественно оглядывая всех присутствующих.

Де Бальмен подавил усмешку и подумал, что надо было быть совершенным дураком, чтобы послать Наполеону приглашение встретиться с графиней. Он сочувственно покивал головой. В это время дамы встали из-за стола; мужчины остались, – им подали портвейн и сигары. Мисс Сузанна, выходя, с непонятым и радостным волнением почувствовала на своей спине взгляд красивых глаз де Бальмена.

Он ей положительно очень понравился. Не понравилось ей только одно. Когда за чаем она с вареньем подошла к гостю сзади со стороны канделябра, то оказалось, что у русского графа на затылке довольно большая плешь, величиной с блюдечко для варенья. Хотя эта плешь была мастерски замаскирована приглаженными поперечно прядями волос и хотя де Бальмен, увидев неожиданно подошедшую сзади молоденькую мисс, тотчас совершенно естественно повернулся

так, что плешь исчезла, как если бы ее вовсе и не было, — ничто не скрылось от пятнадцатилетних глаз мисс Сузанны. Это ей очень не понравилось. Но только одно это.

Граф де Бальмен стал часто бывать у них в доме, много шутил с ней, дразнил ее, исправлял ее французские ошибки, — они часто говорили по-французски по просьбе леди Лоу. Ко дню ее рождения, когда некоторые из домашних по привычке подарили ей куклы, он поднес Сузи красивый несессер, выписанный из Парижа, с ее инициалами на красном шелке шкатулки. Мисс Мэри, округлив глаза, отозвала в сторону свою воспитанницу и сказала ей, что такой несессер должен стоить по меньшей мере десять гиней, чему мисс Сузанна едва могла поверить и не поверила бы, если б это не утверждала знающая все мисс Мэри. Сузи очень смущенно благодарила графа за такой неслыханный подарок. Де Бальмен ласково смеялся, повторял ее сбивчивые фразы, подражая английскому произношению французских слов, — и мисс Сузанне казалось, что глаза у него влажные и чуть маслянистые, как слива ренклюд. Это ей тоже понравилось. А поздно вечером, когда она легла в постель, ее поразила мысль, что подарок из Парижа надо было заказать за полгода вперед. От волнения она не могла заснуть по меньшей мере четверть часа.

Самое важное и необычайное событие всей жизни Сузи случилось вечером. Граф де Бальмен долго разговаривал с ее родителями, запершись с ними в кабинете губернатора. За-

тем он уехал, причем сэр Гудсон Лоу проводил его до ворот, у которых стоял экипаж графа с негром и русским грумом. Там они еще довольно долго разговаривали. Между тем леди Лоу вышла к дочери и сказала ей смущенно и взволнованно, что де Бальмен просит ее руки. Леди Лоу было неловко, она сама вышла замуж на четыре года раньше своей дочери и предчувствовала, что над этим будут смеяться. Мать сказала Сузи, что граф де Бальмен – прекрасная партия. Правда, странно выходить за русского и придется, к сожалению, если не жить, то подолгу оставаться в России. Но, впрочем, граф шотландского происхождения, и часть их семьи еще недавно жила в Англии: леди Лоу лично знала последнего в шотландской линии этого знаменитого рода, Рамсэй Босвелль де Бальмена, имевшего права на имение и замок Балмораль. А главное – граф прекрасный человек и совершенный джентльмен.

– You are so young, Suzy, arn't you?²¹⁵ – сказала леди Лоу, вздохнув.

– I am, mother,²¹⁶ – ответила мисс Сузанна, сама не понимая своих слов.

– God bless you!²¹⁷

На этом они обе заплакали. Затем пришла мисс Мэри, которая тоже заплакала. Затем появился сэр Гудсон и сказал,

²¹⁵ Ты так молода, Сузи, не правда ли? (англ.)

²¹⁶ Да, мама (англ.).

²¹⁷ Да благословит тебя Господь! (англ.)

что надо не плакать, а радоваться. А через день мисс Сузанна Джонсон стала невестой графа Александра де Бальмена: безумно счастливой и по уши влюбленной в жениха. Русский комиссар ждал разрешения своего правительства для того, чтобы покинуть остров Святой Елены. Перед отъездом должна была состояться свадьба.

II

Александр Антонович де Бальмен, стоя перед зеркалом, в третий раз завязывал галстук. Выходило все не то. Надо было сделать точно такой узел, какой носил в последнее время Джордж-Брайан Бруммель. Граф часто встречал первого из европейских dandy (тогда это слово только что пришло на смену прежних кличек: «petits-mâîtres, roués, incroyables²¹⁸) в ту пору, когда служил в русском посольстве в Лондоне. Пряжку на ботинках, знаменитую бруммелевскую пряжку, он воспринял давно и хорошо. Но с галстуками дело не совсем ладилось. Де Бальмену казалось к тому же, что на острове Святой Елены общество по неопытности не сумеет оценить гениальную простоту бруммелевского стиля, – и он подумывал, не усвоить ли ему другой, более смелый тон туалета – вроде, например, костюмов лорда Байрона.

«Перейти разве от одного би к другому», – спрашивал себя Александр Антонович, вспоминая ходившее в лондонском свете изречение, по которому существовало в мире три настоящих человека и все с фамилиями на букву Б: Бонапарт, Байрон и Бруммель.

Байрона граф де Бальмен также встречал в Лондоне: периоды пребывания Александра Антоновича в Англии совпали с расцветом славы и светского успеха молодого автора

²¹⁸ Щеголь, франт (*франц.*).

«Чайльд Гарольда». В первый раз де Бальмен увидел поэта на вечере у леди Гарроуби. Байрон неподвижно сидел в кресле, хмуро рассматривая гостей и почти не поднимаясь при появлении дам. Мужчины недоброжелательно поглядывали на его прозрачное лицо, напоминавшее мертвую красоту статуи, и на черный фрак, который он носил вместо принятого синего. Кто-то объяснял неучтивую неподвижность лорда его болезненным желанием скрыть свою хромоту. Несколько дам, забыв приличие, впились глазами в красавца. Сам Бруммель, появившийся ненадолго в салоне, провожаемый завистливыми взглядами молодых денди, которые старались запомнить и усвоить каждую мелочь его простого костюма, окинул Байрона беглым взглядом и, хотя это был не его стиль, одобрительно кивнул головой: ему никакое соперничество не было страшно, – он был Бруммель. Рядом с Байроном сидел известный лидер тори и пространно излагал молодому пэру намерения консервативной политики в предвиденье поражения Бонапарта. Байрон внимательно слушал, не глядя на собеседника, и затем, помолчав, выразил надежду, что эти виды не сбудутся: сам он от всей души желает победы Наполеону – назло монахам, партии тори и редакторам газеты «Morning Post». Де Бальмен не мог без смеха вспомнить мигающие глаза консервативного лорда, растерявшегося при этом ответе. В продолжение всего вечера Байрон говорил очень мало – преимущественно о погоде – и, по-видимому, меньше всего думал о том, что сказать. Автор «Чайльд

Гарольда» оживился только тогда, когда слышались звуки клавесина: Каталани своим бархатным голосом пела романс Гретри: «Je crains de lui parler la nuit».²¹⁹ Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется», – сказал себе в утешение де Бальмен, но вместе с тем он подумал, что ничего прекраснее этого лица и этих безумных глаз ему никогда видеть не приходилось. После концерта Байрон тотчас поднялся и незаметно уехал. В обществе его считали гордецом; де Бальмену показалось, что он просто застенчив.

Несколькими днями позже Александр Антонович встретил лорда в другой обстановке, поздно ночью, в модном ресторане Стефена, где они случайно оказались соседями по столикам. Байрон ужинал с двумя друзьями: в одном из них, небольшого роста брюнете с добрыми беспокойными глазами, де Бальмен тотчас узнал знаменитого актера Кина, который по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутной агонией датского принца в последнем действии «Гамлета», а по понедельникам – словами «And buried, gentle Tugrel?»²²⁰ в роли Ричарда III. Другой спутник Байрона, чудовищного сложения мужчина, неестественно носивший костюм, как-то особенно бережно прикасавшийся к тарелкам и стаканам, точно боясь их раздробить, и всем своим обликом сильно напомилавший носорога, был король боксеров Дж-

²¹⁹ «Я боюсь разговаривать о нем ночами» (франц.).

²²⁰ «И зарыл их, милый Тиррел?» – В. Шекспир. Ричард III. Акт IV. Сцена 3. – Перевод Анны Радловой.

эксон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана: дамы и иностранцы смотрели на Байрона, кокотки и англичане – на Джэксона, о котором с почтительным ужасом передавали друг другу, будто он одним ударом кулака сваливает с ног вола. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их крепкой водкой и горячей водой. Метрдотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Де Бальмен смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди Гарроуби. Лицо Байрона сверкало оживлением, он что-то рассказывал и звонко-добродушно хохотал, слушая художественную речь Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрисс Сиддонс, Кэмблю, Гаррику, Фоксу, принцу-регенту и другим известным людям. Смеху Байрона вторило рычание носорога, обнажавшего чудовищной величины, целые и сломанные зубы. Кин ел ножом, называл поэта «ваша светлость» и беспокойно оглядывался по сторонам, особенно на де Бальмена, уставившегося на них не совсем учтиво. Наконец он не выдержал и что-то тихо сказал своим товарищам. Джэксон поднял голову и сверкнул на Александра Антоновича обломками огромных зубов и белками маленьких глаз: де Бальмен инстинктивно опустил руку в карман, где у него всегда лежал небольшой двуствольный пистолет, сделанный для него по особому заказу Лепажем. Но Байрон быстро сказал несколько слов носорогу, и тот немедленно успокоился.

«Да, очень интересный человек, этот сумасшедший лорд... Необыкновенная смелость в мыслях. “Чайльд Гарольд”, – ну, в стихах я плохой судья... Но черный фрак с этим фантастическим жилетом. Très personnel...²²¹ Все-таки стиль Бруммеля вернее. Надо быть Байроном, чтобы позволять себе эксцентричность. И Геллеспонт он переплыл, если не врет. Кажется, не врет. Другие ломаются, а у Байрона это все естественно. Глаза у него совершенно необыкновенные... Почему от него сбежала его супруга? Неужели правда, что говорил тот птенец?..»

Не так давно приезжавший на Святую Елену из Англии молодой офицер, краснея и шепотом (хотя дам при разговоре не было), рассказывал де Бальмену ходившие в Лондоне скандальные слухи о причинах развода Байрона с женой.

Де Бальмен снова потянул своими длинными пальцами концы галстука. На этот раз вышло недурно. Александр Антонович открыл небольшую шкатулку, задумался немного при виде десятка лежавших в ней булавок, соображая соответствие каждой галстуку и костюму, старательно вколлот одну и стал надевать жилет. Де Бальмен со своим большим опытом жизни отлично знал, какое значение имеет платье. Бруммель, человек без роду и племени, стал первым человеком в самом чопорном обществе мира почти исключительно благодаря своему умению одеваться. И, тщательно это скрывая, де Бальмен ежедневно отдавал часа два туалету: меньше

²²¹ Здесь: очень оригинально (*франц.*).

было невозможно. Граф всегда одевался сам, ни вывезенный им из России Тишка, теперь грум, а прежде просто малый, ни лакей-негр не присутствовали при его туалете.

«Сегодня, вероятно, получу и новые произведения Байрона», – подумал де Бальмен, с удовольствием вспоминая, что с минуты на минуту должны принести привезенную вчера кораблем европейскую почту. «И письма непременно получу. Не может быть, чтобы Нессельроде еще не дал ответа... Неужели Люси опять ничего не напишет? Впрочем, черт с ней... Газеты и книги будут во всяком случае. Поменьше бы все-таки стихов. А много умных людей в Европе теперь пишут стихи: Гёте, Делавинь... Чего доброго, я сам скоро начну... И деньги за это платят порядочные. Говорят, Байрону Меррей отвалил за “Чайльд Гарольда” 600 фунтов, а тот кому-то их подарил. Очень быгодились – при дороговизне на этом проклятом острове. Сколько еще будет расходов по свадьбе...»

Де Бальмен застегнул жилет и опрыскал себя духами.

«А все-таки есть в этом что-то несерьезное. Не то что несерьезное, а смешное. – «Чем вы занимаетесь?» – «Пишу стихи...» *En voilà un métier...*²²² Все человеческие занятия не слишком умны – мое в том числе, – но это, пожалуй, поглупее остальных. В службе нет ничего смешного, а в стихотворстве – есть... У нас сочинители еще, впрочем, не вошли в моду. Не будь покойник Державин министром, кто стал бы

²²² Вот так ремесло... (франц.)

его читать? «Гляди, Алкид, на гидру дерзку, смири ее ты люто-
тость зверску...» *C'est complètement idiot...*²²³ Кто у нас еще
пишет стихи? *Se pauvre bâtard Joukovsky... Un brave homme
d'ailleurs...*²²⁴ Или Гаргантюа Крылов... Да еще несколько
мальчишек. Чаадаев говорил, будто в Сарскосельском ли-
цее два мальчика пишут прекрасные стихи. Энгельгардт то-
же их хвалил. Того, что поталантливее, зовут, кажется, Ил-
личевский. А другого... Забыл... *Diabole!*.. Забыл... Сквер-
ная становится память. Говорят, что к сорока годам память
всегда слабеет... И морщинка, кажется, новая обозначается,
вот здесь около носа».

Де Бальмен подошел к другому зеркалу, которое висело
в углу, сбоку от окна, и которое он особенно любил. В этом
зеркале он всегда выходил моложе и лысина была не так за-
метна. Осмотр его несколько успокоил.

«Влюбилась же Сузи...»

Александр Антонович осторожно, чтобы не смять костю-
ма, сел в кресло и задумался. В сотый раз он себя спраши-
вал, не безумно ли он поступает, женясь в сорок лет, да еще
после такой жизни, да еще на шестнадцатилетней девочке,
да еще на англичанке.

²²³ Как глупо... (*франц.*)

²²⁴ Бедняга незаконный сын Жуковский... Впрочем, славный человек...
(*франц.*)

III

Граф де Бальмен был внук родовитого шотландского выходца, состоявшего сначала на французской, потом на турецкой службе и окончательно устроившегося на русской при императрице Анне Иоанновне. Отец Александра Антоновича занимал пост генерал-губернатора курского наместничества. Де Бальмен, в раннем детстве потерявший отца, девятнадцати лет от роду поступил в конногвардейский полк и в два года достиг чина штаб-ротмистра, когда с ним случилось странное и неожиданное происшествие. За уличный скандал с полицией, после бурно проведенной ночи, он был, внезапным распоряжением императора Павла, лишен дворянства, разжалован в рядовые и немедленно водворен в казармы. Там он оставался только три дня. За это время случилось – уже не с ним одним, а со всей Россией – происшествие еще более странное, хотя и не совсем неожиданное.

На третий день после своего несчастья де Бальмен, убитый тем, что с ним произошло, уничтоженный физической усталостью, беспрестанным унижением, бессонными ночами и грязью павловской казармы, был утром выведен со своей ротой на ученье. Но отряд их не дошел до Царицына луга, а почему-то стал около Невского проспекта. Офицеры в недоумении перешептывались. Вдруг на противоположной стороне Невского появился человек в круглой шляпе. Он

что-то взволнованно кричал. Александр Антонович смотрел на него во все глаза: за круглую шляпу при Павле ссылали в Сибирь, ибо от нее и от жилетов произошла, по мнению императора, французская революция. Сердце де Бальмена забилось от радостного и страшного предчувствия. В это время показалась быстро мчащаяся коляска «vis-à-vis», запряженная шестеркой цугом, с кучером в национальном костюме и с форейтором, – все это также было строжайше запрещено. В коляске неподвижно сидел генерал с нахмуренным, умным лицом, бледным и утомленным, точно после веселой ночи. Де Бальмен тотчас узнал военного губернатора Петербурга, графа фон дер Палена. Солдаты стали «смирно». Генерал остановил свой экипаж, подозвал ротного командира и, высунувшись из коляски, что-то ему сказал. Офицер изменился в лице и перекрестился. Де Бальмен не вытерпел мучительного волнения. Он потерял голову.

– Петр Алексеевич, ради Бога, что случилось? – вскрикнул он не своим голосом, выступив к Палену из шеренги.

Ротный командир и солдаты застыли. Пален с недоумением посмотрел на молодого человека, узнал его, усмехнулся и сказал несколько слов ротному командиру, показав на де Бальмена глазами.

– Ребята! – произнес он затем звучным, спокойным голосом. – Его величество император Павел скончался нынче ночью от апоплексического удара. Вас поведут присягать его сыну, императору Александру Первому. Учения сегодня не

будет. Вам выдадут по чарке водки.

И, кивнув ротному командиру, Пален тронул рукой кучера. Форейтор заревел страшным голосом; коляска по мокрому снегу понеслась дальше – по направлению к Зимнему дворцу. Оцепеневший де Бальмен мог еще разглядеть, как граф Пален, отъехав, несмотря на холодную дурную погоду, снял с себя шляпу и вытер платком лоб.

Солдаты молчали.

– От чего бы умереть? Кажись, вчера не был хвор, – сказал наконец один.

– Что ж так зря присягать? Этак всякому присягнешь...

– Эх, нам что? Кто ни поп, тот и батька. Водка будет, и на том спасибо.

– Нам, известное дело, все одно, а вот их благородиям...

Офицерье-то старый царь не больно жаловал.

Через два часа, провожаемый недобрыми взглядами солдат, де Бальмен ехал из казармы на извозчике в баню, оттуда на свою старую квартиру – пить шампанское (к вечеру в Петербурге не осталось ни одной бутылки шампанского). А на следующий день он, как все, отправился в Михайловский замок проститься с прахом Павла I.

В эти два дня люди в офицерских мундирах входили во дворцы беспрепятственно и делали там что хотели. На царскую семью никто не обращал внимания. В течение нескольких дней офицеры были хозяевами России. Еще накануне перед заговорщиками стоял призрак дыбы и палача. Но 12

марта общее мнение было такое, что убийцам обеспечены не только безопасность, но и почет, и деньги, и власть. Каждый уверял, будто участвовал в заговоре или, по крайней мере, знал о нем с первой минуты, – отречься стали лишь через несколько дней. О будущем делались разные предположения. Говорили, что Пален намерен ввести в России конституционный образ правления и что Платон Зубов посылал в библиотеку кадетского корпуса за «Английской Конституцией» Делольма. Говорили также, что полковник Измайловского полка Николай Бибииков предлагает перерезать всю царскую семью.

Через Рождественские ворота де Бальмен вошел в Михайловский замок и поднялся в бельэтаж по той самой винтовой лестнице, по которой шли убийцы. Задушенный император лежал на постели в спальне, одетый в гвардейский мундир. Лицо его, в черно-синих полосах, было тщательно, но плохо загримировано и раскрашено художниками. На голову и левый глаз надвинули огромную шляпу. Шею закрыли широким галстуком.

У тела толпились цареубийцы. Они были все еще пьяны, – после убийства начался разгром дворцовых погребов. Здесь рассказывали разные подробности и слухи, часто сильно преувеличенные. Говорили, что душой всего дела был Пален, который, впрочем, обеспечил себя на случай неудачи покушения: он тогда бы явился с отрядом солдат и арестовал Александра и заговорщиков. Убийцами Павла были Нико-

лай Зубов, князь Яшвиль, Татаринов и Скарятин, а распорядителем – генерал Беннигсен. Говорили также, будто деньги на предприятие дал английский посол Уитворт, который действовал через свою любовницу Жеребцову, сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Буонапарте за несколько дней до убийства узнал об английском заговоре против царя и люди первого консула неслись будто бы из Парижа в Петербург – предупредить и уберечь Павла. Не сомневались в том, что теперь с Англией будет заключен мир. Говорили даже, будто какой-то видный француз, отдавая последний долг праху императора, словно нечаянно, а на самом деле нарочно, сдвинул с его шеи галстук, – и страшные следы скарятинского шарфа открылись глазам дежурных гренадеров. С особенным удовольствием рассказывали о роли Александра в деле и еще преувеличивали эту роль, обеспечивавшую всем безопасность. Описывали с разными подробностями ужин у Талызина, экспедицию двух отрядов и зловещее карканье испуганных ворон на старых липах Летнего сада. Сообщали шепотом, что Платон Зубов сильно струсил, когда камер-гусар Кириллов у дверей царской спальни поднял крик, и что император непременно спасся бы, если бы не хладнокровие Беннигсена, который распорядился убийством, как сражением. Передавали подробности глумления над трупом: слова Палена на ужине заговорщиков «pour faire une omelette, il faut casser les oeufs»²²⁵ – были пьяными офи-

²²⁵ «Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца» (*франц.*).

церами приведены в исполнение буквально.

Де Бальмену стало жутко. Он вышел из спальни и очутился в маленькой голландской кухне, которая в этом странном дворце была устроена рядом со спальней императора. Комната была пуста. Но в углу на табурете, опустив голову на плиту, сидела княгиня Анна Гагарина, любовница убитого императора, и глухо безутешно рыдала. Двадцатилетний де Бальмен вдруг почувствовал неизъяснимую жалость к этой женщине, которая одна во всем мире, если не считать далекого, таинственного Буонапарте, сожалела о смерти безумного царя. Он хотел сказать ей что-либо нежное, утешительное, но ничего не придумал и пошел дальше бродить по переполненным людьми покоем мрачного замка. В овальном зале, где обычно помещался караул от конной гвардии, было особенно шумно и весело. Окруженный почтительною толпою придворных, там стоял, с улыбочкой на крошечных пухлых губах, последний фаворит Екатерины, князь Платон Зубов и отпускал разные шуточки, на которые неизменно отвечал громкий, почти всеобщий хохот. В нескольких шагах от этой группы пошатывался брат Платона, Николай, гусар огромного роста и необычайной силы, зять фельдмаршала Суворова. Он был совершенно пьян; на распухом лице его виднелся большой синяк. Держа за пуговицу мундира сухого, флегматичного, длинноносого Беннигсена, который благодушно слушал его пьяную болтовню, пересыпанную народными восклицаниями, Николай Зубов доказывал, что у

него силы побольше, чем у Алексея Орлова.

– Нет, ты сообрази, немецкая твоя образина, – говорил он... – Ты постой, сообрази: ведь Петра-то Алешке легко было задушить, да еще когда Федька Барятинский на руки навалился. А сынок покрепче был... Вишь, какой синяк мне наставил... Нет, ты постой, ты сообрази сам, да ты слушай меня, жидовская морда!..

Кто-то в группе Платона Зубова процитировал двустилишие, только что сочиненное Виельгорским на смерть Павла: «Que la bonté divine, arbitre de son sort, lui donne le repos que nous rendit sa mort».²²⁶ Улыбочка Платона Александровича выразила полное одобрение, и немедленно раздался хохот. Кто-то другой заговорил о новой императорской чете. Все сразу замолчали. Князь Зубов слегка прищурился, услышав имя Александра, и небрежно заметил, что императрица Лизанька – прехорош-шенькая девочка.

– Платоша! – восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Беннигсена. – Ах ты, сукин сын!.. Лизанька!.. Какая она тебе Лизанька? Не со всякой же тебе царицей жить!.. Ты, брат, старух любишь... Эх, жалко Катю-покойницу... Вот, брат, царица была, старая ведьма, а? Немка, а Россию как вознесла, а? Тестя-то моего открыла, а?.. Дай я тебя обниму, хоть ты и сукин сын...

Почувствовав острое отвращение, де Бальмен вышел из

²²⁶ «Спокойно мы вздохнем, пожалуй что, впервой; Он отдых свой обрел, – а мы обрящем свой». Перевод с французского Е. Витковского

овальной залы. В одной из смежных проходных комнат он увидел неизвестного ему маленького мальчика в трауре с заплаканным и испуганным лицом и с ним почтенную нахмуренную даму, с таинственным видом державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла,²²⁷ а дама – его гувернантка, госпожа Адлерберг. Кто-то сказал де Бальмену, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, желая узнать имена убийц ее мужа, нарочно поставила здесь ребенка с гувернанткой и приказала госпоже Адлерберг записывать всех тех офицеров, которые побледнеют, проходя мимо маленького сына убитого. Эта мелодраматическая затея двух немок позабавила де Бальмена, особенно когда он увидел, как князь Платон Зубов, проходя по комнате, остановился возле ребенка, ласково потрепал его по щеке длинными пальцами своей маленькой красивой руки и сказал:

– Нет, как он на деда похож. Удив-в-вительно...

Александр Антонович уже собирался уходить, как вдруг кто-то сообщил, что в спальню Павла идет приехавшая из Зимнего дворца царская семья. Де Бальмен, вместе с другими офицерами, бросился туда. Впереди шла, истерически взвизгивая по временам и останавливаясь, в красных пятнах на здоровом, полном лице, императрица Мария Федоровна под руку со шталмейстером Мухановым; за ней, пугливо озираясь по сторонам, бледный как смерть, Александр. Нижняя

²²⁷ Впоследствии император Николай I. – Автор.

челюсть его необыкновенно миловидного полудетского лица конвульсивно вздрагивала. Войдя в спальню – двери были раскрыты настежь, – Мария Федоровна выпустила руку Муханова, остановилась и, театрально прошептала: «Gott helfe mir ertragen!»²²⁸ – двинулась дальше; но, не доходя постели, с хриплым криком откинулась назад. Лицо Александра из бледного сделалось серым. Внезапно императрица повернулась к сыну и громко, во всеуслышанье, сказала ему по-русски:

– Посдрафляю вам: ви – император.

Шталмейстер Муханов поспешно опустил глаза. Александр шагнул вперед, открыл рот, поднял руки, замахал ими в воздухе – и вдруг грохнулся на пол без чувств. Елизавета Алексеевна и придворные бросились поднимать царя.

²²⁸ «Помоги, Господи, вынести!» (нем.)

IV

Эти мартовские дни, повисшие над всем царствованием императора Александра I, имели огромное значение для де Бальмена. Разумеется, ему немедленно были возвращены и чин, и дворянство, и титул. Но три дня, проведенные в солдатской казарме, навсегда отбили у него охоту к военной службе. Ему показалось противным мучить и унижать других людей так, как в течение трех дней мучили и унижали его самого. Кроме того, после мартовских сцен в Михайловском замке де Бальмену захотелось уехать из Петербурга – подальше от окровавленных людей, которые из окровавленных дворцов полновластно распоряжались судьбами огромного государства. Не то чтоб убеждения де Бальмена подсаживали ему такое желание, – у него не было никаких убеждений: их у него заменяла свойственная ему врожденная порядочность и рано приобретенное равнодушие. Он хотел сделать свою жизнь возможно более утонченной, удобной, разнообразной и изящной. Тянуло его также в Париж и Лондон познакомиться с двумя могущественными державами Запада, жертвою соперничества которых, как ему казалось, пал безумный русский император. Александр Антонович вышел из полка и поступил на дипломатическую службу. Положение его в ту пору было очень выгодное, с одной стороны, он пострадал от Павловского режима; с другой – в роковые

дни был заперт в казарме и, следовательно, явно для всех не имел никакого отношения к цареубийству. Этих двух обстоятельств, в связи с умом де Бальмена, красивой наружностью и успехами у женщин, было достаточно для того, чтобы обеспечить ему самую блестящую карьеру в царствование Александра I. Карьера де Бальмена была, однако, только хорошей, а не блестящей – главным образом потому, что он сам не торопился ее делать. Он был не столько честолюбив, сколько любопытен: он хотел наблюдать вблизи, из первого ряда кресел, великое политическое представление, появляясь порою за кулисами и на сцене. Видеть – было потребностью де Бальмена, и он действительно видел очень много.

Внук искателя приключений, шотландец по крови, но русский по воспитанию и отчасти по натуре, полувойенный, полустатский, блистательный дипломат и бывший конногвардеец, светский лев и любимец женщин, герой несчетных легких романов, граф де Бальмен брал от жизни что мог, – а мог он довольно много. Ничего не делая во время своих ответственных миссий в Неаполе, Вене, Лондоне, он, однако, в середине четвертого десятка порядком устал физически от занятой праздности бездомной дипломатической карьеры и морально от своего изящного, удобного скептицизма. Эта усталость, отразившаяся на лице графа и на всей чуть наклоненной вперед его фигуре, очень шла Александру Антоновичу, Он знал, что она нравится женщинам, и даже несколько подчеркивал свое крайнее утомление от жизни. В 1813

году он снова поступил на военную службу. Собственно, это надо было сделать несколько раньше, в пору Отечественной войны, но де Бальмену как раз помешал очередной, довольно занимательный, роман с англичанкой. Ему, однако, захотелось повидать как следует настоящую воину, и, когда англичанка опротивела, он, пристроившись к штабу, проделал в чине подполковника несколько кампаний в армиях генерала Вальмодена, шведского принца, Чернышева; участвовал в битвах при Гросс-Берене, Деннеевице, Ватерлоо и получил несколько орденов. Затем война ему надоела, и он снова стал дипломатом. Но видеть в Европе больше было нечего. Венский конгресс был последним мировым представлением, очевидно для всех закончившим большой, длинный и необычайно шумный сезон. Одновременно с концом наполеоновских войн произошло другое, гораздо более важное, событие в жизни графа де Бальмена: лысина на его голове внезапно обозначилась совершенно ясно, и в ту же пору он стал чувствовать настоятельную потребность сильно сократить годовое число своих романов. Это навело его на скорбные мысли. Однажды, вернувшись с бала, он долго, почти всю ночь, не мог заснуть; ему в постели в первый раз пришли в голову мысли о смерти и даже о загробной жизни, что наутро крайне его встревожило. Он стал серьезно подумывать, уж не вступить ли ему в масонский орден, так как масоны все этакое хорошо знают и на загробной жизни собаку съели.

Еще раньше, по другим побуждениям, граф де Баль-

мен интересовался масонами. Окружавшая их относительная тайна, глубокая древность ордена – его производили от Соломона, – странный, но поэтический ритуал, необыкновенные названия и титулы, о которых ходили легенды, все это занимало воображение Александра Антоновича. Правда, опытные старые люди утверждали, что фармазонский орден не приведет к добру, и ссылались на примеры плохо кончивших фармазонов. Де Бальмен знал, однако, что в ложах всех стран Европы состояло очень много высокопоставленных людей, до королей включительно. Говорили, будто масоном был сам Наполеон. Таким образом, и в карьерном отношении вступление в орден было, пожалуй, выгодно, хотя с этой стороны оно меньше интересовало графа. Александр Антонович стал осторожно наводить справки у людей высшего света, которых молва называла фармазонами, и очень скоро выяснил, что в России существует несколько лож. В одной из них, так называемой *Loge des Amis Réunis*,²²⁹ состояло много людей его круга и даже повыше: степень *Rose-Croix*²³⁰ в этой ложе имели герцог Александр Виртембергский, граф Станислав Потоцкий, а в элюсской степени состояли Воронцов, Нарышкин, Лопухин и много других представителей самого высшего общества. Ничего не дозволенного или, по крайней мере, ничего строго запрещенного в этой ложе, очевидно, быть не могло, хотя бы уже потому, что ры-

²²⁹ Ложа Соединенных Друзей (*франц.*).

²³⁰ Роза и Крест (*франц.*).

царем Востока в ней был министр полиции Балашов. Существовала еще другая ложа – ложа Палестины, – но она была как-то менее интересна. Не совсем хорошо было то, что главную роль в ней играл француз Шаррьер, называвшийся великим избранным рыцарем Кадош, князем Ливанским и Иерусалимским. Француз этот служил гувернером у Балашовых, – и де Бальмен не мог понять, почему князем Ливанским и Иерусалимским сделали гувернера. И уж совсем нехорошо было, что в этой ложе состоял известный петербургский ресторатор Тардиф, у которого де Бальмен нередко обедал, причем, заказывая обед, называл хозяина по имени, а тот стоя записывал в книжечку, любезно и почтительно кивая головой при назывании разных блюд и вин. Александр Антонович был более или менее свободен от аристократических предрассудков и ничего не имел бы против ресторатора. Но ему казалось – одно из двух: или не заказывать Тардифу обеда, или не величать его в ложе по масонскому ритуалу. Странно ему было также то, что к масонскому ордену одновременно принадлежали император Павел и некоторые из его убийц: ему опять-таки казалось – одно из двух.

В обществе многие относились к масонам иронически; однако к иронии почти у всех примешивались и уважение, и легкий страх. Это чувствовал на себе сам де Бальмен. Обстоятельства помешали ему принять участие в работе масонов. Совершенно неожиданно, после битвы при Ватерлоо, ему было сделано предложение занять должность комиссара

русского императора на острове Святой Елены, куда был послан в ссылку Наполеон. Де Бальмен после недолгого раздумья принял это предложение, которое до известной степени оправдывало и поддерживало установившуюся за ним репутацию Казановы. На Святой Елене он рассчитывал не только познакомиться, но и близко сойтись с Наполеоном: император должен же был в глухой, далекой ссылке оценить его блестящие способности рассказчика и *causeur*'а.²³¹ В коллекции графа де Бальмена, знавшего большинство знаменитых людей Европы, не хватало только одного, – самого знаменитого из всех, – нынешнего узника Святой Елены. И Александр Антонович заранее предвкушал удовольствие как от интимных бесед с этим гениальным человеком, так и от тех рассказов, для которых близость к Наполеону могла ему впоследствии дать богатейшую тему. Он рассчитывал года через два или три вернуться в Европу в ореоле близкого друга развенчанного императора и хранителя всех интересных и забавных секретов европейской закулисной политики. Кроме того, комиссару на острове Святой Елены было назначено прекрасное жалованье – тридцать тысяч франков, – и должность эта по значению почти равнялась посольской.

Радужные надежды де Бальмена не оправдались. Никакой близости с Наполеоном из пребывания Александра Антоновича на острове не вышло. Бонапарт бойкотировал иностранных комиссаров. Для того чтобы получить аудиенцию

²³¹ Остролов (*франц.*).

у бывшего императора, необходимо было обратиться к его гофмаршалу, генералу Бертрону, а это было строго запрещено инструкцией, полученной де Бальменом, так как подобное обращение было бы равносильно признанию за узником императорского достоинства. Александр Антонович долго не мог понять, почему человек такого огромного ума, как Наполеон, придает значение этикету, совершенно бессмысленному в его положении и с его прошлым, – особенно если эти формальности лишают его общения с самым умным после него на Святой Елене человеком, каким де Бальмен не без основания считал себя. Впоследствии французы, близкие к императору, объяснили Александру Антоновичу, что глухая борьба, которую Бонапарт вел на острове за свой титул, имела династическое значение: Наполеон считал ее полезной в будущем для своего маленького сына. С другой стороны, губернатор острова, сэр Гудсон Лоу, очень не желавший встречи иностранных комиссаров с императором и всячески ей препятствовавший, с первых дней категорически потребовал от де Бальмена, на точном основании инструкции, чтобы он ни в каком случае не называл узника иначе как генералом Бонапартом, – и уже это одно исключало возможность встречи, ибо Александр Антонович чувствовал, что у него язык не повернется сказать Наполеону «mon général», как Ваське Давыдову. По этим причинам, как это ни было странно, глупо и досадно, де Бальмен несколько лет прожил в десятке верст от Наполеона, ни разу вблизи его не увидев.

Он тщательно собирал всякие слухи и анекдоты, шедшие из Лонгвуда, излагал их на изысканном французском языке, уснащал разными *mots d'esprit*²³² и отправлял в виде донесений в Петербург. Но это было далеко не то, что рассказывать самому. Ему к тому же стало известно, из писем друзей и от капитана Головнина, посетившего Святую Елену на фрегате «Камчатка», что император Александр, вместо его донесений, читает Библию с Крюденершей и с Татариновой. А для Нессельроде особенно стараться не стоило: этот если и оценит, то повышения все-таки не даст. Кроме того, на острове Святой Елены не было интересного общества; дурной климат расстроил нервную систему де Бальмена: он плохо спал и стал чувствовать, что уж очень быстро переходит от одного настроения к другому. Вдобавок жизнь на острове оказалась дорогой, и граф в первый же год должен был хлопотать, посредством прозрачных намеков, о прибавке жалованья до пятидесяти тысяч. Ощущалось наконец еще большое неудобство. В предвиденье его Александр Антонович захватил было с собой на Святую Елену, вместе с ящиками шампанского и коньяку, хорошенькую, удобную и не слишком надоедливую Люси, с которой он провел приятную неделю перед отъездом; но ему было дано понять, что такая нежелательная спутница роняет его достоинство императорского комиссара, и Люси пришлось спешно отправить с острова. Все это чрезвычайно наскучило де Бальмену. Он уехал по-

²³² Остроты (*франц.*).

кататься в Рио-де-Жанейро, представлялся там бразильскому монарху, который оказался чрезвычайно глупым человеком, хотел было поохотиться на ягуаров, но как-то не вышло, да и ягуары так же мало могли заменить собой хорошеньких женщин, как бразильский монарх – императора Наполеона.

А после возвращения из Бразилии с Александром Антоновичем случилось совсем глупое происшествие: на знойном острове Святой Елены знаменитый покоритель сердец внезапно влюбился в шестнадцатилетнюю девочку, падчерицу губернатора, мисс Сузанну Джонсон. И как он ни говорил себе, что безумно жениться и навсегда связать себя, – ему, с его характером и с его непостоянством, – как высоко он ни ценил привычную свободу холостой жизни, как ни ясно помнил, что самые интересные и красивые женщины делались ему противными много через два месяца, а чаще всего – особенно в последнее время – на следующее утро после проведенной с ними ночи, граф де Вальмен сделал предложение шестнадцатилетней англичанке, еще накануне твердо решив ни за что такого предложения не делать.

V

– Ваше сиятельство, почту принесли, – радостно сказал Тишка, быстро входя с сумкой в комнату и прерывая печальные размышления графа.

Почта была небольшая. Но сразу же Бальмену бросилось в глаза то, чего он долго ждал: он поспешно вскрыл огромный конверт с печатями. Лицо его просветлело. Нессельроде через графа Ливена извещал русского комиссара, что просьба его о переводе в Россию наконец удовлетворена и что государю императору благоугодно было всемилостивейше поздравить графа с вступлением в брак. Одновременно же Бальмену назначалось кроме подъемных экстренное денежное пособие. Ничего лучшего и ожидать было невозможно.

– Александр Антонович, скоро ли в Рассею поедем? – спросил Тишка.

Между графом и слугой давно установилась некоторая фамильярность: только друг с другом они могли разговаривать по-русски, и, в сущности, Тишка был ближе Александру Антоновичу, чем сэр Гудсон и леди Лоу, члены его будущей семьи.

– Скоро. Отпуск есть... Теперь скоро. Свадьбу сыграем и поедем.

– Ну, слава тебе, Господи. А то не житье, право, не житье на проклятом острове. Просто слова сказать не с кем.

– Да ведь ты выучился по-аглицки.

– Ну, уж это какой разговор! Баб нет. На водку, бывает, пожалуете, так и водки достать негде! Виску пей, да еще какие деньги за нее плати. За эти деньги у нас ведро можно купить.

– Вот тебе и на виску. Выпей за здоровье барышни. Да вели закладывать коляску.

– К их превосходительству изволите ехать? – сказал Тишка, подмигнув. – В Плантышин-Хаус?

– Да, да, в Plantation House. Живее.

– Мигом негры заложат. И я с вами, Александр Антонович, поеду, неохота здесь сидеть.

Тишка вышел. Граф стал разбирать почту. Был ящик с книгами, газеты и всего только два письма.

«От Люси опять ничего, – подумал Александр Антонович. – Экая подлая девчонка! Стоило тратить на не десять тысяч...»

Но, вспомнив о том, какие славные вещи знала Люси и как они проводили время, де Бальмен усмехнулся и решил, что все-таки стоило.

Первое письмо было из Лондона от сослуживца Кривцова. Он только что побывал в России и сообщал свежие новости. Положение Аракчеева крепче крепкого, и государством по-прежнему правит Настасья Минкина. Министром внутренних дел назначен Кочубей, так что люди жалеют о Козодавлеве, – кто бы мог подумать! Луиза все ездит, – только

вернулся из Финляндии, поскакал в Варшаву мирить, верно, Новосильцева с Чарторыйским; в дормезе – читает Библию. Что он Крюденерше денег передарил, счесть невозможно: тебе Люси много обошлась дешевле. (Под именем Луизы был известен у дипломатов император Александр.) Думают у нас, что пора бы Луизе абдикировать,²³³ – хорошего понемножку. Живет Луиза, говорят, опять с Нарышкиной или, вернее, распускает такие слухи; лейб-медик же Вилье держится другого мнения и утверждает, будто Луиза, как всегда, воображает о себе гораздо больше, чем может. С кем обманывает теперь Луизу Нарышкина, в точности неизвестно, – она опять отсюда ускакала. В большой силе по-прежнему князь Александр Голицын, и все несет божественную ерунду, – ничего не поймешь. Говорят, что ссылается в Суздальский монастырь Кондратий Селиванов, иначе скопческий бог Петр Федорович, родившийся, по его словам, от непорочного зачатия императрицы Елизаветы Петровны – *une drôle d'histoire...*²³⁴ Он, сказывают, недавно оскопил двух племянничков Милорадовича – умные, должно быть, мальчишки! – а теперь рюминирует²³⁵ прожект – оскопить всю Россию. Не знаю, как ты, а я не согласен, – пусть этого дурака в самом деле сошлют куда-нибудь подальше. У Татариновой в Михайловском замке по-прежнему радения в белых

²³³ Отречься от престола (*франц. abdiquer*).

²³⁴ Странная история (*франц.*).

²³⁵ Обдумывает (*франц. guminer*).

одеждах, с кругом, пляской, батистовым платочком и транспирациями. Подполковник Дубовицкий, преображенец, носит вериги в тридцать фунтов и для спасения души ежедневно порет не только себя, это бы ничего, но и своих детей, которых жалко. Сперанский тоже, слышно, спятил в Сибири с ума: целыми часами смотрит себе в пуп и повторяет: «Господи, помилуй!» – по словам одних, с тем, чтобы увидеть какой-то Фаворский свет, – *du diable si je sais ce que c'est!*²³⁶ – а по словам других, для того, чтобы вновь подружиться с Луизой. У Гончаровых в Москве свой большой оркестр в 40 человек, причем каждый музыкант играет только одну ноту. Министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев изобрел необыкновенную кашу, с фруктами и сладким соусом, – ее так теперь и называют Гурьевской кашей; финансы у нас плохие, но каша превкусная, и за нее можно простить курс нашего рубля; остряки даже утверждают, будто каша – единственно, что спасет имя Гурьева от забвения. Ходит по Петербургу – старей, впрочем, – листок следующего содержания: «Право – сожжено; доброта – сжита со света; искренность – спряталась; справедливость – в бегах; добродетель – просит милостыню; благотворительность – арестована; отзывчивость – в сумасшедшем доме; кредит – обанкротился; совесть – сошла с ума; вера – осталась в Иерусалиме; надежда – лежит на дне морском вместе со своим якорем; честность – вышла в отставку; кротость – заперта за

²³⁶ Черт меня возьми, если я знаю, что это такое! (*франц.*)

ссору на съезжей и терпение – скоро лопнет»...

Другое письмо было философское и политическое. Его посылал – тоже с оказией из Европы – Ржевский, старый товарищ де Бальмена по кадетскому корпусу, либерал, энтузиаст и масон. Трудно было найти менее схожих и лучше уживающихся людей, чем Ржевский и де Бальмен. Ржевский любил человечество вообще, а де Бальмен любил особенно, – искренне желал вывести его из светской тьмы и спасти его бессмертную душу. Де Бальмен прекрасно ладил с самыми разными людьми, легко входя и бессознательно подделываясь под тон каждого из них, а с Ржевским ладил особенно хорошо, – с ним, при его доброте, трудно было не поладить.

Ржевский писал по-русски – и стиль письма слегка резнул Александра Антоновича.

«Отчего они пишут не так, как говорят? К чему эта славянщина? Писал бы лучше по-французски...»

Но письмо Ржевского как раз свидетельствовало, что французский язык в Петербурге в этом кругу не в моде. По-сылая графу книги и сообщая старые уже масонские новости, Ржевский между прочим извещал его, что известный Пестель перешел из ложи Соединенных Друзей в ложу Трех Добродетелей, ибо в оной употребляется русский язык, а в первой – французский.

«En voilà une raison»,²³⁷ – подумал де Бальмен.

В ложе Трех Добродетелей получил Павел Иванович тит-

²³⁷ «Вот так причина» (франц.).

ло третьей степени, однако работал мало, точно разочаровался в масонстве. Считая де Бальмена своим человеком, Ржевский не скрывал от него дел, связанных с масонством, — он вообще не любил секретов с хорошими людьми. «Друг, — писал он, — оценишь ли, сколь чувствительна для нас сия потеря? Черные души только не могут любить или, по крайней мере, уважать его».

Но де Бальмен этого не оценил, ибо недолюбливал надменного Пестеля и видел в нем человека, готового на вещи очень опасные. Не слишком много доверия внушали ему и другие два масона, о которых писал Ржевский: Чаадаев и Грибоедов, хотя их де Бальмен несколько опасными не считал.

«А пожалуй, и правы старички Аглицкого клуба. Доиграются эти господа до Сибири».

Ржевский писал о вероломстве сильных мира, о мракобесии людей, сделанных из грязи, пудры и галунов, о назначении Магницкого попечителем Казанского университета, о том, что из жалованья солдат вычитывают на розги, о том, что император говорит не стесняясь, будто каждый русский — или плут, или дурак; сообщал также о генеральном роптании военных поселян, которые на крайности легко покуситься могут.

«Кто может, тот грабит, кто не смеет, тот крадет! Что остается для честных людей! — восклицал он. — У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая,

просвещение. Проигрывают, дарят, тиранят подобных себе человекoв! Откуда взят закон сей? Где благоденствие России? Где славное Вече наших предков?»

«Ну, моих предков в славном Вече не водилось, – подумал де Бальмен. – Мои предки по отцу шотландцы, а по бабушке, графине Девьер, вряд ли не жида... И ничего не было хорошего в этих немытых новгородцах, которые для чего-то сталкивали друг друга с моста в реку...»

«В делах Европы явно господство венского двора над нашим. Сколь много обмануты народы! Они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона, которого ты стережешь, – зачем, друг? Деспотия королей хуже самовластия Бонапарта, ибо где у них его гений? Нет, с царями делать договоров невозможно. Народы желают владычества законов, а в здравом смысле закон есть воля народная. И без рабства могут процветать царства. Мы, русские, кичимся, величая себя спасителями Европы. Иноземцы не так видят нас. Они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного Союза. Не русских не любят, но их правительство, которое для пользы монархов утесняет народы. Что же? В Гишпании собираются инсургенты, в Италии – карбонары, в Греции – гетерия филикерoв. Ужель мы хуже греков и гишпанцев?»

«Ишь куда тянет!» – не без удовольствия, хотя и с некоторым беспокойством, подумал де Бальмен.

Далее Ржевский ссылался на статью «Духа Журналов»

о турецкой конституции, ограничивающей власть султана властью высшего магометанского духовенства, и сочувственно цитировал мнение этого органа печати: «Что значит сия мнимая конституция в сравнении с тою, при которой Великобритания благоденствует!» В заключение он туманно сообщал о некоем Союзе благоденствия, который по значению не уступит славному немецкому Tugendbund'у²³⁸ (Ржевский тут же нарисовал между строк печать союза: улей с пчелами), и о других тайных обществах. В общества эти вошли почти все общие друзья.

«Вертится вокруг них, между прочим, известный тебе полковник Юлий Штааль. Говорят о нем разно. Другой твой приятель (стыдись, брат!), Иванчук теперь, как, верно, тебе ведомо, миллионщик и большая персона. Говоря правду, оба хороши, и многое о них тебе расскажу при встрече: слышно, будто вскорости будешь к нам и жалуешься флигель-адъютантом. С оным тебя не поздравляю, однако в сием звании в обществе будешь прежеланным человеком».

«Ну, я еще подумаю», – сказал про себя с досадой Александр Антонович. Его раздражал тон Ржевского, который, очевидно, уже зачислил его мысленно в члены какого-то общества. «И пишет как, – еще надежная ли оказия!»

Письмо заканчивалось ходившими по России стихами молодого поэта об Александре I. Ржевский цитировал первые строфы этого стихотворения:

²³⁸ «Союз Добродетели» (нем.).

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ...
Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир...

Автора стихов звали Пушкиным; де Бальмен с облегчением вспомнил, что именно это и был второй, после Илличевского, из молодых царскосельских поэтов. Стишки были бойкие, но Александр Антонович с сомнением качал головой. Двадцатилетнему мальчику простительно без толку фрондировать и делать оппозицию правительствам. Сам де Бальмен хотел отнестись к делу серьезнее.

Как большинство людей того времени, де Бальмен не любил и не уважал Александра Первого. Он охотно допускал, что в России создастся новый заговор, как в 1801 и 1762 годах, и что надоевшего всем царя задушат, как задушили его отца и деда. Такое предприятие даже не представлялось де Бальмену особенно трудным, ибо, судя по всему, популярность Александра Павловича теперь ненамного превышала популярность его отца. Сам граф не принял бы участия в подобном деле, не только из страха, но также из брезгливости: он с отвращением вспоминал сцены в Михайловском зам-

ке, которые ему пришлось увидеть в дни молодости. Однако воспользоваться успехом чужого заговора де Бальмен был бы не прочь. Но люди, которые, по-видимому, входили в этот Союз Благоденствия, и сам Союз, и даже его название графу большого доверия не внушали. Де Бальмен лично знал большинство этих людей и думал, что подобные мечтатели совершенно не годятся для задуманного ими дела. Палена между ними не было. Старик Пален безвыездно жил вот уже двадцать лет в своих курляндских имениях, как говорили, боялся темноты и ежегодно напивался пьян в ночь на 12 марта. Трудно думать, чтобы он мог стать главой нового заговора. А все эти Ржевские, Волконские, Чаадаевы, Муравьевы – прекрасные, честные люди... Они на месте в своих рабочих кабинетах с книгой или пером в руках либо за бутылкой шампанского друг с другом, в споре о благоденствии народов. Но у дверей спальни спящего императора, со скарятинским шарфом или с табакеркой Николая Зубова, они – *quelle plaisanterie!*²³⁹ Лишь в одном холодном и смелом Пестеле, с его негромкой речью, есть как будто что-то от графа Палена. Однако и Пестель явно ставит себе целью не дворцовый переворот, а совершенно другое.

«Союз Благоденствия? Они думают, что моему Тишке нужна турецкая или английская конституция! Водка ему нужна, это верно, баба тоже нужна, – как мне, впрочем, – а дальше кто знает? Недаром Капнист утверждает, будто либе-

²³⁹ Какая ирония! (*франц.*)

ральные русские дворянчики на свою беду готовят либеральные чистенькие революции, ибо за всякой чистенькой революцией неизбежно последует народный бунт и новое Смутное время. Может быть, Капнист и прав...»

Но менее всего Александр Антонович понимал отношение, существовавшее между заговором и масонством, к которому принадлежали Ржевский и его единомышленники. Де Бальмен достаточно посмотрелся в разных странах на политическую кухню и отлично знал, что всякая политика, реакционная и революционная, есть вещь земная, грубая, жестокая и грязная. Масонство же как будто относилось к другому разряду вещей, – к разряду бессмертия души и загробной жизни, а не заговоров, не переворотов и не революций. Между тем Ржевский и они все, очевидно, как-то связывали свою масонскую работу с Союзом Благоденствия. «Из этого, кроме Сибири, ничего не выйдет... А впрочем, кто знает?»

Уверенности ни в чем быть не могло.

Тревожные мысли нахлынули на Александра Антоновича. Он чувствовал, что все это чрезвычайно важно и может иметь огромное значение для его будущей жизни. Но решить подобные вопросы здесь было, очевидно, невозможно. Он успокоил себя на том, что обдумает их на месте, в России, когда доподлинно все узнает и о Союзе Благоденствия, и о новом строе мысли масонов, – отчасти, конечно, в зависимости и от того, как по его возвращении на родину к нему отнесутся Нессельроде, Каподистрия и сам император Алек-

сандр. Пока, нельзя не сказать, Луиза был с ним довольно мил: единовременное пособие приходилось как нельзя более кстати. Де Бальмен тут же решил, что проездом в Париже купит жене серьги, а себе коллекцию оружия, и в несколько более бодром настроении вышел на крыльцо, к которому уже подавали коляску.

VI

Прогулка молодых супругов была чрезвычайно удачна. Граф и графиня де Бальмен выехали утром в экипаже губернатора. Близился день их отъезда в Россию. Покидая наконец Святую Елену, они пожелали в последний раз покататься по острову, на котором так странно свела их злая судьба императора Наполеона. Им захотелось посмотреть напоследок те углы, где никогда еще не бывали они ни вместе, ни порознь и где никогда больше им быть не придется. Это слово «никогда» звучало зловеще для де Бальмена, как для всякого немолодого человека.

Невиданных углов на Святой Елене было довольно много. Вся жизнь иностранных комиссаров и семьи губернатора проходила в небольшой северо-западной части острова, между городком Джемстоуном и резиденцией сэра Гудсона Лоу. Дальше на восток, в трех милях от Plantation House'a, находилась зона виллы Лонгвуд, где жил Наполеон. Туда, разумеется, нельзя было поехать. Но южная и юго-восточная часть Святой Елены де Бальменам осталась неизвестной. Английские офицеры, хорошо знавшие остров, рекомендовали молодым супругам – с той слегка насмешливой и завистливой лаской, с какой все к ним относились, – посмотреть Diana-Peak и Fischer's Valley, в восточной ее части, выходящей из пределов территории Наполеона, – и, если можно,

полюбоваться видом океана с высоты King and Queen. Правда, дорога была трудная, гористая и даже опасная из-за обрывов. Но офицеры советовали оставить коляску и пройти часть пути пешком.

В этот весенний день все казалось прекрасным де Бальмену: и теплая, солнечная погода, и ветерок, вдувавший в грудь бодрящую соль океана, и песня правившего лошадьми Тишки, и беспорядочные, радостные мысли, и туманные надежды на будущее. Поглядывая на красивую девочку, которая сидела рядом с ним, ощущая нежно-холодное прикосновение ее крошечной руки, он искал и, к своему удивлению, не находил в себе знакомого чувства любовного похмелья. Да, конечно, было уже не то, что прежде. Но и настоящее было недурно.

Его сомнения рассеялись. Жизнь не кончена. В тридцать девять лет он неожиданно открыл новую, довольно занимательную главу в порядке надоевшей было книге. Впереди его ждали тоже все новые главы: русская деревня, гостеприимная помещичья жизнь, над которой он почему-то считал нужным смеяться, хлебосольное, бестолковое русское дворянство, которое он презирал по долгу европейца и которое любил кровной любовью, как всякий человек любит среду своего детства, сколь бы он от нее ни отрекался, сколь бы далеко от нее ни ушел.

«Теперь немного пожить в деревне животной жизнью (это очень приятно, *la vie animale*), а потом осесть в красивом,

стильном и барском Петербурге (да, конечно, в Петербурге, – он гораздо лучше Москвы), бросить бездомную жизнь дипломата, оставить свою репутацию Казановы (какой уж Казанова после женитьбы) и выходить поскорее в люди, в большие люди. А в первую очередь – забыть тяжелый бред бессонных ночей, с масонством, загробной жизнью и бессмертием души».

Де Бальмен осмотрелся кругом, улыбнулся Сузи, глубоко вдохнул поток морского воздуха и подумал, что сейчас его чрезвычайно мало интересуют бессмертие души и загробная жизнь.

«Очень может быть, что близкое будущее принадлежит все-таки заговорщикам из этого Союза. Осмотревшись, взвесив шансы, пожалуй, надо к ним примкнуть, – разумеется, не к их масонским бредням, а к подготавливаемому ими серьезному политическому делу. Прежде всего следует через Ржевского близко сойтись с Пестелем, который, по-видимому, у них главный. Им нужны люди, особенно люди, как я, знающие вдоль и поперек Европу, ее политических деятелей, их явные и закулисные взаимоотношения. Кто в новой свободной России будет лучшим, чем я, министром иностранных дел?»

Александр Антонович представил себе, как он приедет к Нессельроде требовать, именем нового правительства, передачи ему всех дел. При этом неудовольствие и смущение Нессельроде, которого он недолюбливал, доставили де Баль-

мену истинное наслаждение.

– Darling, как по-русски summer?

– Как по-русски что? – машинально переспросил Александр Антонович. – Summer? Лето, darling.

– How do you spell it, darling?²⁴⁰

Граф ответил.

– Oh, this awful yat...²⁴¹

Молодая графиня де Бальмен с необычайным рвением изучала теперь русский язык, героически преодолевая свою, чисто английскую, лингвистическую бездарность. Она постоянно носила с собой розовую тетрадку, куда записывала русские слова, и повторяла их иногда в самые неожиданные для де Бальмена минуты. Сузи готовилась к жизни в России и уже была русской патриоткой: чуть не поссорилась с сэром Гудсоном, утверждая, что русские сделали для низвержения Наполеона почти столько же, сколько англичане; и любила императора Александра почти так же, как своего нового King George'a. В ее комнате висели портреты обоих монархов, к большому неудовольствию де Бальмена, который терпеть не мог самодовольную алкоголическую физиономию Георга IV. Портрет императора Александра висел даже на самом почетном месте, потому что теперь он был их монарх (в глубине души Сузи все-таки больше любила King George'a). Де Бальмен с усмешкой подумал, что если он при-

²⁴⁰ Как это пишется, милый? (англ.)

²⁴¹ О, это ужасное ять... (англ.)

мкнет к заговору против царя, то будет довольно трудно объяснить Сузи, в чем дело; а когда она поймет, то это может очень ей не понравиться.

– Ваше сиятельство, туда дальше будет Лонгвут, – сказал с козел Тишка, усмехаясь и показывая в сторону бичом. – Прикажите, свезу в гости к Наполеону?

– What does he say, darhng?²⁴² – заинтересовалась Сузи.

Де Бальмен перевел.

– Oh, Teeshka!.. How do you spell Teeshka, darling?²⁴³

«А это несколько скучно, эти how do you spell», – подумал Александр Антонович и хотел было объяснить, как пишется Тишка; однако Сузи уже заинтересовалась другим. Часовой окликнул их, но, узнав губернаторскую коляску, отдал честь и зашагал дальше. На острове Святой Елены были повсюду сторожевые посты, часовые, наблюдательные пункты. Сузи потребовала от мужа, чтобы он объяснил ей всю систему охраны Бони. Де Бальмен, по долгу службы знавший это наизусть, охотно удовлетворил ее любопытство: время от времени надо было разговаривать с женой, и он цеплялся за благодарные легкие темы. Сузи с большим удовлетворением узнала, что кроме ее отчима и мужа Бони стерегут три полка пехоты, огромное множество батарей, отряды драгун, три фрегата, два корвета и шесть маленьких судов. Сложная система сигнализации давала возможность при первой трево-

²⁴² Что он говорит, милый? (англ.)

²⁴³ О, Тишка!.. Как пишется Тишка, милый? (англ.)

ге поднять на ноги гарнизон и эскадру, находившиеся здесь исключительно для охраны знаменитого пленника.

– Все это для одного человека... Какой он страшный! – сказала Сузи, наморщив лоб. Она раз в жизни видела Наполеона, который, встретив ее в саду, послал ей конфет и розу.

Здесь де Бальмен счел уместным поцеловать жену в морщинку. Сузи сильно покраснела и показала глазами на Тишку. Оба супруга одновременно вспомнили, что офицеры рекомендовали им оставить коляску и часть дороги пройти пешком. Александр Антонович немедленно приказал Тишке остановиться и подождать их: лошади устали.

– Дальше можно бы проехать. До моря еще далеко, дороги не найдете, – сказал Тишка.

– Найдем. А не найдем, так у рыбаков спросим.

С моря и с речки, впадающей в него близ King and Queen, в самом деле часто проходили дорогой рыбаки.

Александр Антонович взял Сузи под руку и повел ее в рощу, стараясь идти возможно солиднее. Тишка посмотрел им вслед, усмехнулся и стал раскуривать трубку.

Через полчаса де Бальмен и Сузи сидели на траве, на берегу протекавшей через рощу извилистой узкой речки. Сузи, сконфуженная и счастливая, склонила голову на плечо мужа, который лениво держал ее за талию. Они решили не ходить на Kirag and Queen: ничего ведь, в сущности, интересного не было в том, чтобы глазеть на море: им и так скоро придется два месяца непрерывно любоваться с корабля. Сузи смот-

рела на мужа и думала, что лучшего человека на свете быть не могло: сам King George не мог быть лучше. Де Бальмен лениво старался вернуться к прежним приятным мыслям и вспоминал, что в них было самого приятного. Восстановив ход своих размышлений, он выяснил, что самым приятным был смущенный, растерянный вид крошечного Нессельроде при передаче должности; де Бальмен вдруг почувствовал, что ему чрезвычайно хочется быть министром иностранных дел Российской империи и принимать у себя на рауте дипломатический корпус.

– Look here,²⁴⁴ – сказала Сузи, показав на воду. – Какие миленькие рыбки!

Вода в неглубокой речке была совершенно прозрачная, и в ней видно было быстрое движение мелкой рыбы.

– Пора идти, darling, – нежно сказал де Бальмен, скрывая зевок и поднимая жену за талию.

Сузи неохотно поднялась с травы, встряхнулась и нежно сняла с мужа лепестки, приставшие к его одежде. Они пошли под руку вдоль речки, которая в роще делала довольно крутой, закрытый деревьями поворот. Де Бальмен, лениво наклоняясь к Сузи, целовал ее то сзади в шею, то в Щеку. У поворота он вдруг остановился:

– Здесь кто-то сидит...

За углом речки на берегу, облокотившись на широкий, низко и гладко срубленный пень, действительно сидел чело-

²⁴⁴ Смотри (англ.).

век.

– Это рыбак, – сказала Сузи. – Ничего, darling.

Ей хотелось продолжать забавную игру.

Но человек за углом речки не был рыбаком. Он полулежал на траве, внимательно глядя в воду. Пень закрывал почти всю его фигуру, кроме левой руки, на кисть которой он опирался заслоненной головой. Человек этот был занят пустым делом. У его локтя на пне лежала ровно сложенная кучка темно-серых камешков. Не изменяя положения тела, он брал их по одному правой рукой и, внимательно прицелившись, бросал в воду. Рыбки, испугиваемые падением булыжника, разбегались в разные стороны – и видно было по вздрагивающему локтю и плечам наблюдателя, что все тело его колебалось от смеха.

– Oh, what a silly man!²⁴⁵ – сказала Сузи.

Александр Антонович, чуть вздрогнув, уставился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг забавлявшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть – и крик замер на устах графа де Бальмена.

Он узнал Наполеона.

– Boney? – взволнованно прошептала Сузи, с ужасом откинувшись назад и вцепившись в руку мужа, готовая пожертвовать собой для того, чтобы спасти его от гибели.

Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, за-

²⁴⁵ О, какой глупый человек! (англ.)

тем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря ни одного слова.

«Какой вздор!.. Какой жалкий вздор были эти мечты: карьера, заговор, Пестель, Нессельроде!.. Этот человек, кидающий камешки в воду, был владыкой мира... Все пусто, все ложь, все обман... Сузи? Ему принадлежали самые прекрасные из женщин... Кончена жизнь!.. Старость... И связан, навсегда связан с этой глупенькой девочкой, которая зачем-то висит у меня на руке!..»

– Darling, what is the matter? Quelle est la matière?²⁴⁶ Он нам ничего не может сделать... Он нас не видел... Тут три полка пехоты, – растерянно говорила Сузи, едва поспевая за мужем.

Де Бальмен не отвечал.

Тишка выехал к ним навстречу.

Садясь в коляску, Сузи с жалостью, чуть не со слезами, смотрела на перекосившееся лицо своего мужа. Граф де Бальмен, не глядя на жену, нервно рвал перчатку и, дергаясь щекой, отрывисто произносил вслух непонятные, очевидно русские, слова. Из них графиня разобрала только одно, слово мать – mother, хорошо ей известное. Остальных русских слов в ее розовой тетрадке не было, и Сузи их никогда прежде не слыхала. Зато, по-видимому, слыхал и любил эти русские слова грум Тишка. Он обернулся к барину с козел и весело захохотал во все горло.

²⁴⁶ Милый, в чем дело? (англ., франц.)

VII

Дни Наполеона приближались к концу.

Шел пятый год его пребывания на острове Святой Елены. События этого периода жизни развенчанного императора были немногочисленны и с внешней стороны ничтожны.

Первое время Наполеон допускал мысль о своем возвращении на престол. Холодный расчет показывал ему совершенную несбыточность этой мечты. Но вся жизнь императора была сказкой, и в ней остров Святой Елены, подобно острову Эльбы, мог быть лишь короткой, не последней главой. Так же внимательно, как прежде, Наполеон следил за политическими событиями в Европе. Без него все шло плохо и скучно, — это очень его утешало. Однако и новые книги, и газеты, приходившие на остров, и рассказы приезжавших людей, которых расспрашивали его приближенные, — все свидетельствовало о том, что в мире тихо: люди устали от войн и революций, а с усталыми людьми Наполеону нечего было делать. И самое бегство, если б оно оказалось возможным, не вернуло бы ему власти в бесконечно утомленном, им утомленном, мире.

Кроме того, в ссылке устал он сам. Мир утомился от его дел, а он утомился от того, что больше не было дела. Огромный запас энергии, принесенный им в ссылку, запас, не растраченный в шестидесяти сражениях, в завоевании всемир-

ной власти и в ее потере, быстро иссякал от скуки. Хотя по-прежнему он мог работать двадцать часов в сутки, прочитывая по несколько книг подряд одну за другой или диктуя без отдыха день и ночь четверть века истории, хотя по-прежнему верно служила ему его феноменальная память, хотя неизмеримо больше прежнего был, после пережитых им несчастий, его политический и человеческий опыт, – усталая безнадежность все сильнее овладевала душой императора Наполеона.

К этому потом присоединилась болезнь – медленная, упорная и мучительная. Когда в первый раз он почувствовал жгучий укол в правом боку, точно туда, скользя, вошла на два дюйма узенькая, тонкая, разогретая бритва, он сразу понял, что это смерть, что его сказочной жизни пришел конец, – конец не сказочный, а обычный, такой, как у всех, совсем такой конец, как у его отца, который умер, тридцати пяти лет от роду, тоже от бритвы в правом боку. Он никому ничего не сказал.

В этот день кто-то из приближенных с радостным видом сообщил, что, по газетным сведениям, революции во Франции можно ожидать каждый день, ибо чаша народного терпения переполнена Бурбонами: надо поэтому выработать хороший, настоящий план бегства с острова Святой Елены. – «Ваше величество, наверное, могли бы бежать, поместившись в корзину с бельем, которую затем слуги снесли бы на корабль».

Император, не говоря ни слова, холодным и чуждым взглядом смотрел мимо головы советчика. Отвечать не стоило: умный человек сам должен был бы почувствовать, что Наполеон не может бежать в корзине с бельем. А главное, теперь бежать было больше некуда.

Затем император, казалось, оправился. Но однажды, проходя с гофмаршалом Бертраном по Долине герани, он остановился на краю оврага у трех ив, мимо которых протекал ручеек с прозрачной, холодной водой. Отсюда в просвете между скал виднелось на горизонте море. Опершись на свою прямую крепкую трость без рукоятки, Наполеон долго молча смотрел на деревья, на ручеек, на море и особенно на небольшую площадку земли у подножья трех низко склонившихся ив. Затем, подняв голову, он коротко сказал гофмаршалу, показав тростью на это место:

– Бертран, когда я умру, мое тело должно быть погребено здесь.

Гофмаршал вздрогнул от неожиданности.

– Ваше величество переживете меня, – сказал он, желая перейти в тон почтительной шутки. – Состояние здоровья вашего вели...

Но, взглянув на лицо Наполеона, он не закончил фразы, закрыл глаза и поклоном показал, что священная воля его величества будет исполнена в точности.

VIII

Свита, окружавшая пленного императора, чрезвычайно ему надоела. Наполеону всегда был свойствен жадный интерес к людям, странно сочетавшийся в нем с совершенным к ним презрением. Он знал на своем веку несчетное количество самых разнообразных людей, – и профессиональная необходимость в несколько минут разгадать и расценить каждое новое лицо выработала в императоре особую манеру выпрашиванья: он ударял человека молотком, чтобы узнать по отзвуку, из чего этот человек сделан. Ошибался Наполеон редко: так велико было его природное знание людей, развитое огромным житейским опытом, и так все трепетали перед установившейся за ним репутацией безошибочного сердцеведа, что решались вводить его в обман – да и то редко – лишь самые большие мастера, вроде Талейрана или Фуше.

В ссылке на острове Святой Елены император изо дня в день видел одних и тех же людей. Ему бесконечно опротивели анекдоты Лас-Каза о старом дворе, богатая фантазия Монтолона, военные похождения Гурго и молчаливая скука, которой веяло от Бертрана. В безделье и тоске острова приближенные Наполеона постоянно между собой ссорились; они видели друг в друге конкурентов, так как все жили на счет загробной славы императора.

Наполеон не заблуждался относительно чувств, которые

он внушал своим спутникам. Люди эти были, конечно, ему преданы, но почти у каждого были личные мотивы, побудившие его оставить Францию и отправиться на остров Святой Елены. Самый вид этих товарищей в несчастье ясно свидетельствовал о том, какую жертву они принесли его величеству. Одни выставляли свою преданность тоньше и умнее, как граф Лас-Каз, неудавшийся писатель, всю жизнь мечтавший о литературной славе и поехавший на остров Святой Елены главным образом для того, чтобы создать бессмертную книгу из бесед с императором Наполеоном. Другие тонкостью не отличались. Особенно надоедал своей ревнивой верностью генерал Гурго, который чрезвычайно настойчиво уверял, будто спас жизнь его величеству в сражении при Бриенне, застрелив наскочившего казака в тот самый момент, когда казак уже втыкал пику в неприкрытую грудь императора. Рассказ об этом эпизоде Гурго велел даже выгравировать на клинке своей шпаги. Наполеон отлично знал, что никакой казак не наскакивал на него с пикой в день битвы под Бриенном. Он, однако, не возражал и обыкновенно ласково кивал головой, слушая в сотый раз историю своего чудесного спасения. Только однажды, в дурной день, когда больная печень Наполеона еще усилила в нем обычное отвращение от людей, на том месте рассказа, где дикий скиф падал к ногам могучего властелина, на которого он осмелился занести дерзновенную руку, император хмуро заметил, что совершенно себе не представляет, как все это

могло случиться: он ни разу не видел в тот день ни казака с пикой, ни Гурго с пистолетом.

– Les bras m’en tombent!²⁴⁷ – воскликнул Гурго и чуть не заплакал от горя. Он сам давно уже поверил в свою историю и был крайне расстроен неблагодарностью его величества.

Эти люди были выброшены судьбой за борт и пристали к потерпевшему крушение императору, смутно веря в чудо, в его звезду, в то, что он потонуть не может. Шли месяцы, годы, новое чудо не приходило – и число спутников уменьшалось. Уехал Лас-Каз. Уехал Гурго. Наполеон думал, в худшие свои минуты, что почти все оставшиеся люди с нетерпением ждут его смерти, которая дала бы им возможность вернуться в Европу в ореоле верности до гроба. Они должны были возлагать большие надежды и на духовное завещание императора. В то время упорно ходили слухи об огромных богатствах, скрытых Наполеоном в Европе. Сведения эти были крайне преувеличены: в последние годы царствования император истратил на войну несколько сот миллионов своего собственного состояния – то есть тех денег французской казны, которые прежде, по им же отданному приказу, были отнесены на его личный счет. Наполеон умышленно поддерживал слухи о своих запрятанных богатствах и порою давал приближенным смутные таинственные обещания, от которых, как ему казалось, у них радостно замирало сердце, и они становились еще вернее, и ждали его конца еще с боль-

²⁴⁷ У меня опускаются руки! (франц.)

шей угодливостью и с большим нетерпением.

Император, впрочем, почти никогда ни в чем не упрекал своих приближенных, ни вслух, ни даже про себя: он во всех людях давно уже видел только существующие факты – в огромном большинстве факты очень скверные. И серьезно упрекать человека за то, что он себялюбив, зол, жаден или глуп, было так же несвойственно узнику острова Святой Елены, как упрекать зверей в зверских инстинктах. Люди, последовавшие за ним в ссылку, при всей своей ничтожности были нужны Наполеону; без них ему жилось бы еще хуже и тяжелее. По долголетней привычке правителя, он не мешал им ни сплетничать, ни интриговать; благосклонно и даже с интересом выслушивал то дурное, что каждый мог рассказать о других, – император почти всегда верил всему дурному о людях, – и каждому наедине ясно давал понять, что ценит его гораздо больше, нежели всех остальных. А потом мирил их, – иначе они разбежались бы.

Чтобы развлечь себя и приближенных, он стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие ее напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в неожиданных удачах. Он отлично понимал, что в каждом из его действий будет найден историками глубокий смысл и роль случая в его судьбе окажется сведенной до минимума. Не по словам и объяснениям станет су-

дить его потомство.

Вначале он рассчитывал, воссоздавая в мыслях прошлое, найти ответ на вопрос, – где, в чем и когда была им допущена погубившая его роковая ошибка. Но понемногу ему стало ясно, что ответа на этот вопрос искать не стоило. В глубине души он пришел к выводу, что погубила его не какая-либо отдельная политическая неудача или военная ошибка и даже не тысячи ошибок и неудач: его погубило то, что он, один человек, хотел править миром; а это было невозможно даже с его счастьем и с его гениальностью.

IX

Жил он очень уединенно, редко принимая путешественников и не знакомясь почти ни с кем из аристократов острова. На Святой Елене ходил даже анекдот, будто местная колония только из европейских газет и узнает новости о генерале Бонапарте.

Впрочем, в первые годы своего пребывания в ссылке император завел себе друга. Его другом оказалась четырнадцатилетняя Бетси Балькомб, дочь местного купца, в имении которого жил Наполеон, пока отстраивалась вилла Лонгвуд. Знакомство с ним этой веселой, шаловливой девочки началось сейчас же после его приезда. Нежданно днем к даче Балькомбов Briars подъехала группа всадников, – и мгновенно распространилось известие, что один небольшой павильон дома реквизируется временно для генерала Бонапарта. Бетси опрометью бросилась в сад. В сопровождении английского адмирала, лорда Кокберна, и нескольких человек свиты, к крыльцу, на прекрасной верховой лошади, медленно подъезжал человек в зеленом французском мундире с большой звездой на груди. Бетси сразу почувствовала, что из всей группы всадников надо смотреть только на этого человека. Необыкновенное лицо его поразило девочку бледностью, красотой и тем, что выражение глаз менялось почти беспрестанно. Он соскочил с коня и быстро пошел в комна-

ты. Бетси не могла поверить, что этот человек, который будет жить рядом с их домом, – злой Бонн. Вскоре затем адмирал и свита уехали: все спешили предоставить великого человека его скорбным мыслям. В доме ходили на цыпочках. Но еще через несколько минут генерал в зеленом мундире, насвистывая песенку, быстро вышел из павильона в сад и уселся на скамейке около площадки белых роз. Бетси из-за куста смотрела во все глаза на страшного генерала. Он слегка похлопывал себя хлыстиком по ботфорту и напевал: «Fga Martino, suona la сатрапа...»²⁴⁸ Вдруг ветка под ногой Бетси хрустнула. Человек в зеленом мундире оглянулся и, увидев прятавшуюся за кустом и с ужасом на него глядевшую красивую девочку, быстро встал и направился к ней.

– Как называется столица Франции? – спросил он в упор гробовым голосом.

– Париж, – прошептала Бетси, затрясшись от страха.

– А Италии?

– Рим...

– России?

– Теперь Петербург, прежде была Москва...

– А куда делась Москва? – еще грознее спросил император, пуча на девочку свои и без того страшные глаза.

– Ее сожгли, – не помня себя от ужаса, ответила Бетси.

– Кто сжег Москву? а?

– Бо... Я не знаю... Русские...

²⁴⁸ Фра (брат) Мартино, звонит колокол... (итал.)

– Я сжег Москву! – зарычал император и, взъерошив волосы рукой, растопырив пальцы обеих рук, двинулся прямо на Бетси. Девочка, вскрикнув, бросилась бежать. Ей вдогонку послышался веселый, звонкий смех Наполеона.

Через день они были друзьями. Смелость Бетси дошла до того, что она предложила своему новому другу поиграть с ней в карты. Император согласился, но строго заметил, что не станет играть иначе, как на деньги.

– Сколько у тебя денег, Бетси? – деловито спросил он.

Денег у Бетси было немного, всего одна пагода.

Наполеон согласился играть на пагоду. Они сели за стол. И с первой же сдачи Бетси с возмущением заметила, что император мошенничает в игре.

– Shame!²⁴⁹ – воскликнула она.

– Ты лжешь! – хладнокровно ответил Наполеон. – Ты сама мошенничаешь. Я играю очень честно.

И он потребовал пагоду. Граф Лас-Каз сказал с улыбкой царедворца, что этот выигрыш, быть может, утешит его величество в потере трехсот миллионов золотом, которые он оставил в погребках парижского дворца. Однако Бетси наотрез отказалась платить, клянясь, что игра ее партнера не была честна. Тогда Наполеон сгрэб с постели разложенное на ней лучшее платье девочки, – в нем она должна была ехать на свой первый бал к адмиралу Кокберну, – и безжалостно унес с собой, несмотря на все мольбы Бетси. Философ Лас-

²⁴⁹ Стыдно! (англ.)

Каз подумал, что поистине безграничен должен быть запас душевной бодрости у этого необыкновенного человека.

Так, дразня четырнадцатилетнюю девочку, колотя ее и утешая дорогими подарками, бывший император проводил с ней целые часы. С первых же дней он знал все родство Бетси, знал, за кого вышла замуж каждая из ее теток, и чем торгует каждый ее дядя, и сколько приданого у каждой ее кузины, и много других столь же нужных ему вещей, которые он тщательным образом выспрашивал и затем никогда больше не забывал, – в его памяти все запечатлевалось навеки. (Много лет спустя Елизавета Эбель, бывшая Бетси Балькомб, с недоумением рассказывала Наполеону III о своих долгих беседах с узником острова Святой Елены.) Император сообщал ей о себе всякие небылицы; она в ужасе широко раскрывала глаза, – а он хохотал, как малое дитя. Бетси больше всего мучил вопрос об его религии.

– Pourquoi avez-vous tourné turc?²⁵⁰ – спросила она однажды своего друга.

Этой фразы, буквально переведенной с английского языка, Наполеон не понял. Когда же оказалось, что Бетси желает знать, зачем он принял в Египте турецкую веру, император подтвердил слух о своем обращении в мусульманство и добавил, что всегда принимает религию тех стран, где он находится.

– Какой позор! – воскликнула Бетси, покраснев от него-

²⁵⁰ Зачем вы превратились в турка? (франц.)

дования. Но она начинала плохо верить тому, что Бони рассказывал о себе.

Из-за своей дружбы с Наполеоном Бетси Балькомб стала мировой знаменитостью. О ней писали газеты всех стран Европы, а жители острова, встречая иногда занятую оживленной беседой эту странную пару, смотрели на девочку как на чудо, чем она очень гордилась.

Однажды, на прогулке, Наполеон, Лас-Каз и Бетси встретили приятеля девочки, старого садовника, малайца Тоби. Бетси представила его императору.

Лас-Каз, улыбнувшись его величеству, на изысканном английском языке сказал малайцу:

– Вряд ли, милый Тоби, вы могли когда-либо думать, что будете разговаривать с великим человеком, слава которого облетела вселенную?

Но, к большому смущению Лас-Каза, его изысканная речь пропала даром: старый малаец никогда в жизни не слышал имени Наполеона.

Бетси тоже была сконфужена.

– Тоби, – сказал укоризненно Лас-Каз, – как вы могли не слышать о человеке, который завоевал весь мир... завоевал силой оружия и покорил своим гением, заведя порядок, возвеличив власть и дав торжество религии.

На этот раз Тоби понял, о ком идет речь, и радостно закивал старой головой. Без сомнения, добрые джентльмены имеют в виду великого, грозного раджу Сири-Три-Бувана,

джангди царства Менанкабау, который покорил радшанов, лампонов, баттаков, даяков, сунданезов, манкасаров, бугисов и альфуоров, умиротворил малайские земли и ввел культ крокодила. Но этот знаменитый человек давно умер.

Лас-Каз грациозно засмеялся, так, как смеялись придворные XVII века в версальской зале Oeil de Voeuf, и сказал, что у его величества был, оказывается, в свое время опасный конкурент. Однако Наполеон довольно хмуро выслушал его шутку, велел дать – потом – малайцу двадцать золотых и круто повернул назад.

В самом конце прогулки, подходя к дому, император внезапно перебил Лас-Каза, рассказывавшего анекдот из жизни старого двора, и коротко спросил:

– А много их, вы не знаете?

– Кого, ваше величество? – не понял Лас-Каз.

– Да этих, малайцев, – сердито пояснил Наполеон.

Лас-Каз сообщил, что, насколько он помнит, малайское племя исчисляется миллионами.

Император что-то проворчал и хмуро вошел в свой павильон.

В обществе взрослых людей – Бетси в 1810 году уехала со своей семьей в Европу – император бывал сух и молчалив. Он предпочитал одиночество и часто проводил целые дни, не выходя из комнаты и не разговаривая почти ни с кем. Иногда для развлечения катался по узкой опасной дороге Devil's

Punchbowl, над крутыми обрывами пропастей, и, приказывая шальному кучеру Аршамбо во всю прыть гнать тройку лошадей, доставлял себе иллюзию прежней игры жизнью и смертью; иногда зачем-то из окна своей комнаты стрелял в домашних коз и баранов, приводя в отчаяние людей, заведовавших хозяйством Лонгвуда. Но большую часть дней и долгих бессонных ночей он проводил в чтении, на заваленном книгами диване своей комнаты, или в горячей ванне, в которой Наполеон просиживал долгие часы, – иногда завтракал в ней и обедал. В ванне бритва чувствовалась слабее и мысли были не так ужасны.

У одного из его приближенных – у того, кто, при всех своих недостатках, был особенно предан императору, кто остался с ним до конца его дней и кого он сам называл своим сыном, – была красивая жена. На нее в последние годы жизни Наполеон обратил усталое внимание. У женщины этой родилась на Святой Елене дочь, чрезвычайно похожая лицом на императора. И от мысли, что жертвой его последней холодной прихоти сделался вряд ли не единственный в мире человек, как-никак сохранивший ему верность до гроба, от мысли этой чуть шевелилось то страшное и дьявольское, что всю жизнь клокотало в Наполеоне.

Х

К перрону лонгвудского дома подъехала коляска, из которой вышел небольшой толстенький человек. Графы Бертран и Монтолон, сидевшие рядом на деревянной скамейке сада, с любопытством уставились на гостя. Графам было скучно: они в этот день уже успели сказать друг другу все неприятное, что могли придумать, и коротали вдвоем долгие предобеденные часы, изредка обмениваясь соображениями относительно погоды.

Гость еще издали снял шляпу и, подойдя, почтительно спросил на плохом французском языке, нельзя ли увидеть гофмаршала.

– Это я, сударь, – ответил Бертран.

Толстяк еще раз поклонился, подал свою карточку и одновременно сам назвал себя. Он был итальянский маркиз, возвращавшийся на родину из Бразилии, и слезно молил представить его императору Наполеону. Несколько мгновений разговора с величайшим человеком в мире сделают его счастливейшим из людей; он знает, что не имеет никаких прав на столь высокую милость, – но неужели его величество ему откажет?

Бертран нерешительно смотрел на поданную карточку. Ему очень хотелось удовлетворить желание посетителя: просьба была сделана в самых почтительных выражениях, по

правилам, установленным в Лонгвуде, – через гофмаршала и с упоминанием императорского титула. Маркиз, носивший звучное имя, по-видимому, имел связи, – иначе его сюда не пропустили бы. Сэру Гудсону Лоу подобное посещение будет, наверное, крайне неприятно. Все это говорило в пользу удовлетворения просьбы. Но, с другой стороны, как потревожить императора, настроенного очень плохо?

– Его величество чувствует себя нехорошо, – начал было Бертран и остановился перед выражением последней степени отчаяния, тотчас появившимся на добродушном лице маркиза.

– Какое несчастье! – воскликнул толстяк, схватившись за голову.

– Это вполне естественно, – подтвердил Монтолон. – Как не быть больным императору в этом климате, в этой обстановке?

– Они задались целью уморить его, – с горькой улыбкой добавил Бертран.

– *Barbarissimi!*²⁵¹ – еще раз воскликнул маркиз. – Уморить освободителя Италии! Проклятый Франческо! Проклятые австрийцы!

Негодование толстяка понравилось гофмаршалу, но последнее восклицание его несколько озадачило. Он пояснил гостю, что хотя грехи императора Франца перед его царственным зятем и очень велики, однако главным виновни-

²⁵¹ Величайшие варвары! (*итал.*)

ком несчастий его величества следует считать вероломное правительство Англии.

– Вы совершенно правы! – порывисто сказал маркиз, горячо пожимая руку гофмаршала. – О, проклятые австрийцы!..

И он в сбивчивой речи пояснил, что уже недалек тот час, когда весь итальянский народ восстанет против своих угнетателей и сбросит иго кровожадного Франчески.

Бертран был еще более озадачен.

– Я попытаюсь доложить его величеству, – сказал он, значительно взглянув на маркиза, точно приглашая его оценить по достоинству ту огромную милость, которая, возможно, ему будет сейчас оказана. Нерешительное обещание немедленно вызвало выражение благодарности и счастья на лице итальянца. Это выражение совсем смягчило Бертрана, и он решил, что нужно сделать что-либо для гостя.

– Я не знаю, примет ли вас его величество, – сказал он. – Но вам, вероятно, будет интересно увидеть виллу Лонгвуд. Я покажу вам спальню императора.

Он повел тихо вскрикнувшего от умиления итальянца боковым ходом. Спальня Наполеона, накуренная пастильками Houbigant, была комната в два окна, представлявшая собою, как вся вилла Лонгвуд, смесь богатства и дешевки. То, что наудачу захватили слуги перед отъездом императора из Франции, отличалось роскошью. Все остальное – и сам дом – было просто до бедности. Рядом со стулом, грубо сколочен-

ным местными столярами, стоял умывальник из массивного серебра. На дешевом столе был разложен бесценный несесер. Маркиз, чуть слышно вскрикивая, переходил от предмета к предмету. У него в кармане лежала заранее приготовленная записная книжка, но ему неловко было пользоваться ею здесь; он не знал, что можно и чего нельзя, и изо всех сил старался запомнить все, чтобы тотчас записать, когда его коляска отъедет от Лонгвуда. Единственной целью толстяка было заpastись в этом знаменитом месте, куда его занесла судьба, темами для рассказов на весь остаток жизни. Бертран шепотом называл главные достопримечательности комнаты.

– Римский король, работы Тибо, – показал он на портрет ребенка верхом на баране, – и глаза гофмаршала затуманились слезами при мысли о маленьком сыне Наполеона.

– *Pe re di Roma!*²⁵² – простонал маркиз.

– Ее величество императрица Мария-Луиза, работы Изабе, – продолжал Бертран на этот раз с неодобрением, но запрещая строгим взглядом посетителю даже в мыслях касаться интимной драмы, связанной с портретом. – Часы его величества. Цепочка сплетена из волос императрицы... Будильник, принадлежавший королю Фридриху Великому. Император взял его на память во время оккупации потсдамского дворца французскими войсками...

– *La sveglia del grande Federico!*²⁵³ – пискнул итальянец и

²⁵² Римский король! (*итал.*)

²⁵³ Будильник Фридриха Великого! (*итал.*)

потянулся рукой к записной книжке, но спохватился.

– Шпаги Фридриха Великого император не взял, но у него были поднесенные ему испанцами, персами и турками мечи Франциска I, Чингисхана, Тамерлана. У него был также, – добавил Бертран, горько улыбаясь, – самый знаменитый из всех – его собственный меч... А вот это походная постель его величества, – показал он на узкую кровать с занавесью бледно-зеленого шелка. – На ней император провел ночь накануне Маренго и Аустерлица. Запасная постель находится там в кабинете, – еще тише проговорил гофмаршал, свидетельствуя своим взглядом, что в кабинете сейчас находится Наполеон.

– Зачем запасная постель? – робко осведомился маркиз.

Бертран строго посмотрел на гостя:

– Император спит на двух кроватях. Он ночью переходит с одной на другую.

И, найдя, что посетитель видел достаточно, гофмаршал повел его назад. Через открытую дверь маркиз заметил в небольшой смежной каморке деревянный ящик, изнутри выложенный цинком.

– Ванна императора, – пояснил со вздохом Бертран в ответ на молчаливый вопрос итальянца. – В Тюильрийском дворце, – добавил он, – у его величества была не такая ванна...

Они вошли в приемную.

– Благоволите подождать здесь. Я сейчас доложу его ве-

личеству.

Граф Бертран вышел, оставив гостя в крайнем волнении.

– Пускай идет к черту! – угрюмо ответил Наполеон, когда гофмаршал доложил ему о просьбе итальянского маркиза.

Император сидел в кресле, прикрывшись пледом, несмотря на теплую погоду. На коленях у него лежала книга, но он ее не читал. Глаза его были неподвижно устремлены вдаль.

Бертран вздохнул, наклонил голову и направился к выходу. Он, вероятно, именно в этих выражениях и передал бы итальянскому гостю ответ его величества.

– Кто он такой? – мрачно спросил Наполеон, когда гофмаршал уже открывал дверь.

Граф Бертран доложил свои впечатления от маркиза в самых выгодных тонах: «Чрезвычайно благонамеренный и почтительный человек, со связями. Может быть очень полезен для осведомления европейского общественного мнения... Наверное, передаст с точностью журналистам в Европе все, что вашему величеству благоугодно будет ему сказать».

Наполеон долго молча смотрел на Бертрана. Было очевидно, что, как ни противен всякий новый человек, следует принять маркиза и послать через него еще несколько колких слов европейским монархам и их министрам. В мозгу Наполеона сам собою открылся тот ящик, где у него лежали разные обидные и язвительные замечания, которые он мог при случае преподнести властителям Европы.

– Я приму этого человека. Введите его сюда через две минуты.

– Oui, Sire,²⁵⁴ – сказал радостно Бертран и вышел с тем поклоном, которому выучил его в свое время актер Тальма, преподававший манеры и пластику придворным.

«Итальянский маркиз. Флорентинец. Едет из Бразилии».

Память императора автоматически подала разнообразные сведения и замечания об итальянской аристократии, о Флоренции, о Бразилии, все, чем можно было – и зачем-то нужно – поразить, после миллиона других, еще миллион первого представителя бесконечно опротивевшей и надоевшей человеческой породы.

Медленно, привычным усилием воли, Наполеон стер со своего лица выражение скуки, усталости и физической боли. Он оправил прядь шелковистых волос на огромном лбу, откинул плед и скрестил руки. Лицо его застыло, сделалось каменным, но серые глаза заблестели. Это была та самая страшная маска, которую знал всякий ребенок в мире.

Дверь распахнулась. Швейцар, докладывавший по лонгвудскому этикету о посетителях, прокричал фамилию гостя. Итальянский маркиз вошел неловко и торопливо, замер на мгновение, столкнувшись глазами с человеком, сидевшим в кресле, и согнулся в почтительном поклоне. Он рассчитывал увидеть больного узника; перед ним сидел император Наполеон.

²⁵⁴ Да, государь (*франц.*).

XI

В Лонгвуде было почти весело.

Император оживился. Его привел в возбужденное состояние разговор с итальянским путешественником. Как ни очевидно глуп был гость, не могло быть сомнений в том, что он запишет каждое сказанное ему слово и немедленно все распространит по приезде в Европу. А сказано было, по адресу врагов ссыльного императора, много неприятных вещей. После небольшой вступительной беседы Наполеон перешел на политические темы и вскользь заговорил об Александре Первом. Рассказал – к слову, – как в 1807 году царь просил его пожаловать высокую награду генералу Беннигсену, а он отказался наградить русского главнокомандующего, ибо ему было противно, что сын просит награды для убийцы своего отца. Описал, как Александр изменился в лице, поняв из прозрачного намека причину отказа. Сказал, что необычайно забавен в роли блюстителя мировой нравственности человек, подославший к своему отцу убийц, подкупленных на английские деньги. Сказал, что хорош монарх, который предоставил извергу Аракчееву сорокамиллионный народ, предал Сперанского, единственного государственного человека страны, за недостаточно высокое мнение об его, Александра, умственных способностях, а сам со старыми немками читает псалмы. Сказал, что Россия рано или поздно по-

теряет Польшу, что она вряд ли удержит Финляндию и никогда не получит Константинополя. Сказал, что все другие завоевания царей не стоят медного гроша и что даже сама Россия рано или поздно пойдет к черту по вине какого-нибудь сумасшедшего деспота. Сказал, что многомиллионная масса невежественных русских народов может представить собой грозную опасность для всего мира и что Европа будет либо республиканской, либо казацкой. Покончив с Россией и с императором Александром – он знал, что напоминовение о Павле, Беннигсене и Сперанском особенно расстроит царя, – Наполеон коснулся Англии и выразил удивление, почему эта страна, торгующая всем на свете, еще не научилась торговать свободой и не вывозит ее на континент, столь в свободе нуждающийся. Сделал краткую характеристику обоих Герогов и лорда Кэстльри, – характеристику, за которую должна была ухватиться вся британская оппозиционная пресса. Потом перешел к Талейрану и заметил, что для этого короля предателей состояние измены является совершенно нормальным состоянием: «I! est toujows en etat de trahison».²⁵⁵ Подробно разъяснил роль Талейрана в убийстве герцога Энгиенского, еще умышленно ее преувеличив, чтобы усилить и без того жгучую ненависть роялистов к знаменитому дипломату. Затем, остановившись на карьере Фуше, бывшего террориста и цареубийцы, потом верного слуги Бурбонов, назвал его самым совершенным и законченным типом него-

²⁵⁵ «Он всегда находится в состоянии измены» (*франц.*).

дья, когда-либо существовавшим на земле, и добавил – в пику Людовику XVIII, – что только он, Наполеон, мог не бояться услуг такого злодея, ибо знал, как себя с ним вести, и однажды, при удобном случае, прямо ему объявил: «Monsieur Fouché, il pourrait être funeste pour vous que vous me prissiez pour un sot».²⁵⁶ Посмеялся над Венским Конгрессом и над Священным Союзом, участники которого, три маленьких человека, хотят самовластно править всеми народами мира по указке попов и проходимцев, тогда как править миром не мог долго сам он, Наполеон. Сказал, что непризнание за ним императорского титула просто глупо, ибо титул есть пустой звук, трон – кусок дерева, обитый шелком, а у него, к счастью, имеется для представления потомству кое-что получше титула и трона. Сказал, что монархи, желая оскорбить его, плюнули в лицо друг другу: ибо если он, Наполеон, чудовище, то что же сказать о них, которые наперебой ловили его улыбки и на выбор предлагали ему в жены своих знатнейших принцесс. Напомнил, что в его приемной толпились, ожидая очереди, десятки европейских монархов и что в день его свадьбы с дочерью Цезарей четыре королевы несли шлейф его невесты. Сказал, что конфискация его богатств – обыкновенное уголовное мошенничество, которым, впрочем, он нимало не огорчен, – ему ничего не нужно; если же ему придется голодать, то он обратится не к монархам, а

²⁵⁶ «Господин Фуше, не считайте меня глупцом, это могло бы очень плохо для вас кончиться» (*франц.*).

пойдет в стоянку 53-го полка, несущего службу около Лонгвуда, – и, конечно, простые люди английского народа поделятся куском хлеба с самым старым солдатом Европы.

При этих словах итальянец прослезился. Цель была достигнута. Втолковав все сказанное гостю, император дал ему понять, что считает его совершенно исключительным по уму и характеру человеком, – и милостиво отпустил маркиза. Итальянец еще с полчаса в коляске повторял: «Какой человек! Что за человек!»

Наполеон был очень доволен разговором. Он не питал особенно враждебных чувств ни к Александру, ни к Кэстльри, ни к Талейрану, ни к Фуше. Мысль о соперничестве с ними, хотя они одержали над ним верх, не приходила ему в голову: император никого из людей не считал равным себе по умственным и духовным силам. Симпатий и антипатий у него уже давно на свете не было – по крайней мере, в спокойные минуты: с каждым из своих бесчисленных врагов он мог установить в любую минуту самые лучшие отношения, если этого требовал его интерес. Теперь интерес больше ничего не требовал: за плечами стоял враг пострашнее Англии и России. Только по долголетней привычке наносить удары врагам, да еще иногда в порыве раздражения от больной печени, Наполеон срывал свою злобу против человечества и судьбы на ком попадалось. И уж конечно приличнее было сорвать ее на Александре или на Талейране, чем на сэре Гудсоне Лоу. Ссылный император чувствовал, что борь-

ба с губернатором острова Святой Елены придает мелочный характер последним годам его жизни. От подобного неприличия легче всего было уберечься ореолом мученичества, и Наполеон всячески поддерживал этот свой ореол, хотя прекрасно понимал, что англичане в общем ведут себя довольно корректно; а если бы они были и не корректны, то вряд ли он мог бы на это пенять, ибо у него на совести значились не такие дела.

Все оживилось в Лонгвуде: император объявил, что выйдет обедать в столовую. Метрдотель в зеленой, расшитой золотом ливрее ставил тяжелые серебряные блюда на шатающийся дощатый стол и, выгнав из-под буфета крысу, вынимал *service des quartiers généraux*,²⁵⁷ – драгоценный северский сервиз, рисунки которого изображали победы Наполеона. Мамелюк Али стал за креслом его величества. Этого Али звали в действительности Луи-Этьен Сен-Дени и родился он в Версале, но был в свое время фантазией Наполеона сделан почему-то мамелюком. Шесть ливрейных лакеев, французов и англичан, разносили кушанья и напитки. Обед из семи блюд продолжался менее получаса. Император был положительно весел: он перестал чувствовать боль в боку, и ему показалось, как это иногда еще с ним бывало, что бритва исчезла и что до смерти, быть может, далеко. Наполеон прикоснулся к двум-трем блюдам – обыкновенно почти ничего

²⁵⁷ Сервиз из штаб-квартиры (*франц.*).

не ел – и велел подать шампанского.

После обеда перешли в гостиную, куда было подано кофе. Монтолон расставил шахматы на большом коричневом столике с крошечным полем посередине. Наполеон передвинул пешку, – он очень плохо играл и никогда не думал о ходах, – но не продолжал партии: ему хотелось говорить. Он чувствовал себя в ударе. Бертран попросил его величество прочесть вслух трагедию Корнеля: гофмаршал любил это послеобеденное времяпровождение, при котором он мог незаметно подремать с полчаса, порою просыпаясь и выражая восхищение перед гением поэта и чтеца. Наполеон заговорил было о сравнительных достоинствах трагедий Корнеля, Расина и Вольтера, но посмотрел на своих собеседников и замолчал. Ему стало досадно, что ссылку делят с ним необразованные генералы, ничего не смыслящие ни во французской трагедии, ни в Данте, ни в Оссиане и вообще ни в чем ничего не смыслящие, кроме военного дела, в котором они, впрочем, тоже недалеко ушли.

Разговор вернулся к политике. Граф Монтолон спросил, думает ли его величество, что французскую революцию можно было предупредить.

– Трудно было, очень трудно, – ответил после некоторого молчания Наполеон. – Следовало убить вожаков и дать народу часть того, что они ему обещали... Надо было также позолотить цепи: народ никогда не бывает свободен – и слава Богу! Но позолоченных цепей он не замечает... Революция

– грязный навоз, на котором вырастает пышное растение. Я овладел революцией, потому что я ее понял. Я взял от нее все, что было в ней ценного, и задушил остальное. Заметьте, я сделал это, не прибегая к террору. Править при помощи несчетных казней, как Робеспьер, может не очень долго каждый дурак. Но вряд ли кто, кроме меня, мог успокоить Францию без гильотины. Вспомните то время... Тысячелетняя монархия пала в прах... Все было сокрушено, уничтожено, испачкано. Я поднял свою корону из лужи.

Он задумался.

– Да, революция – страшная вещь, – заговорил он снова. – Но она большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу... Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если б натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем жакерии... Я наблюдал революцию вблизи и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок – величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции. Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, о будущем толкуют сумасшедшие... Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко

заглядывал вперед больше чем на три или на четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества – случая...

Граф Монтолон почтительно заметил, что идеологи никогда не поймут великой исторической роли императора.

– Идеологи! – сказал Наполеон с презрением. – Идеологи... Адвокаты... Вот терпеть не могу эту породу... Всякий раз, когда я вижу адвоката, я жалею, что людям больше не режут языков. Пока идеологи говорили умные речи, я ловил счастье в больших делах. Успех – величайший оратор в мире... И к чему только господа адвокаты стали заниматься революцией? Много они в ней смыслят! Править в революционное время можно только в ботфортах со шпорами... Правда, кроме ботфортов требуется еще голова: одни ботфорты имел и генерал Лафайет.

– Герой Старого и Нового континента, – с усмешкой произнес Монтолон прозвище знаменитого деятеля Американской и Французской революций.

– Дурак Старого и Нового континента, – сердито сказал император.

– Он верен своей прежней, устарелой системе, – заметил Бертран.

Наполеон покосился на гофмаршала:

– Дело в голове, а не в системе. Что касается систем, то нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня.

И, сделав резкое движение, точно обозлившись на самого себя за рассуждение о политике с людьми, которые в ней явно ничего не понимали, император внезапно заговорил о войне и спросил генералов, который из его походов, по их мнению, наиболее замечателен.

– Итальянская кампания, – сказал решительно Бертран. Лицо Наполеона просветлело, но он покачал головой:

– Я был тогда еще недостаточно опытен.

– Тысяча восемьсот четырнадцатый год, la campagne de France,²⁵⁸ – высказал свое мнение Монтолон. – Гениальнее этой проигранной кампании военная история не знает ничего.

Император опять покачал головой и заметил, что сам он лучшим своим военным подвигом считает мало кому известный Экмюльский маневр. Он стал подробно объяснять генералам сущность этого маневра, приводя на память названия полков, расположение батарей, число пушек, имена командиров. Графиня Бертран с удивлением заметила, что поистине трудно понять, каким образом его величество может все это помнить по прошествии стольких лет.

– Madame, le souvenir d'un amant pour ses anciennes maîtresses,²⁵⁹ – быстро повернувшись к графине, с живостью сказал император.

²⁵⁸ Французская кампания (франц.).

²⁵⁹ Сударыня, это воспоминание любовника о своих давних подругах (франц.).

XII

Монтолон, салонный генерал, воспользовался этой фразой и перевел разговор на игривые темы. Наполеон заметил, что любовь – глупость, которую делают вдвоем; единственная победа в любви – бегство. Сам он никогда никого не любил, – разве Жозефину, да и ту не очень.

Граф Монтолон, смягчая почтительной улыбкой вольный характер сюжета, стал перечислять известных красавиц, которые мимолетно принадлежали его величеству: госпожа Фурес, госпожа Грассини, госпожа Левер, госпожа Дюшенуа, госпожа Жорж, госпожа де Водэ, госпожа Лакост, госпожа Гаццани, госпожа Гиллбо, госпожа Денюэль, госпожа Бургуэн...

– Тереза Бургуэн? Разве? Вы, кажется, смешиваете меня с Шапталем, – перебил слушавший с интересом Наполеон.

Монтолон, еще более почтительно улыбаясь, заметил, что весь Париж утверждал, будто император был соперником Шапталя.

– Да ведь все парижские артистки распускали слухи о своей близости со мной, – возразил Наполеон. – Им за это антрепренеры прибавляли жалованья.

Но улыбка Монтолону ясно свидетельствовала о том, что он верит анекдоту.

– Вы бы еще процитировали памфлет «Любовные похож-

дения Бонапарта»... Какого Геркулеса они из меня сделали! – сказал со смехом император.

Госпожа Бертран, находившая разговор слишком вольным, спросила, правда ли, что его величество в ранней молодости делал предложение мадемуазель Коломбье.

– Не делал, но собирался делать. Мне было семнадцать лет, и она предпочла мне некоего господина Брессье, которого я потом наградил баронским титулом – от радости, что не женился на его супруге.

– То же самое рассказывали о нынешней шведской королеве, – заметил, смеясь, Монтолон. – Говорят, ваше величество предоставили Бернадотту престол Густава Вазы из-за старых нежных чувств к мадемуазель Клери.

Лицо Наполеона потемнело. Эта женщина, которая нежно любила его юношей, на которой он хотел было жениться, но раздумал, которую, став императором, вознес так высоко, впоследствии вела против него политическую интригу с Талейраном и Фуше... Знакомое чувство тоскливого отворачивания от всех людей и в особенности от женщин с новой силой поднялось в душе императора.

– Любовь – удел праздных обществ, – сказал он мрачно. – Я никогда не придавал ей значения... Только магометане усвоили правильный взгляд на женщин, которых мы, европейцы, принимаем почему-то всерьез...

– Недаром англичане утверждают, будто ваше величество обратились в ислам, – заметил Монтолон.

– Мусульманская вера, кажется, лучшая из всех, – подтвердил император. – Наша религия влияет на людей преимущественно угрозами загробной кары. Магомет больше обещает награды. Что вернее?.. Не берусь сказать с уверенностью. И страх, и подкуп – великие силы... Надо, конечно, владеть обеими умело... Впрочем, ислам завоевал полмира в десять лет, тогда как христианству для этого понадобились века. Очевидно, мусульманская вера выше.

Гофмаршал Бертран сказал с тонкой улыбкой, что, по его наблюдениям, религиозные воззрения императора изменчивы и далеко не так просты, как кажутся. На словах его величество часто высказывается в духе католической веры, но...

Наполеон с усмешкой смотрел на гофмаршала Бертрана:

– Но... я не всегда говорю то, что думаю? Вы совершенно правы, любезный Бертран.

Он помолчал.

– Разумеется, в государственном отношении атеизм вещь опасная, – сказал Наполеон как бы нехотя. – По-моему, он в наше время много опаснее для государства, чем религиозный фанатизм. Но умные люди, к несчастью, далеко не во всем считаются с государственными интересами. Ну, Боссюэт, скажем, искренне верил в Бога. Правда, это было его ремесло... И ведь когда же это было: давно... Из всех замечательных людей, которых я знал, – почти никто не верил в Бога. Ученые? Монж, Лаплас, Араго, Бертолле – все были безбожники. Философы? Поэты? Я знал в Германии одного

очень выдающегося писателя. Его звали Гет... Да, Вольфганг Гет. Он написал большую поэму о каком-то средневековом чернокнижнике...

Монтолон немедленно вынул записную книжку и занес в нее несколько слов, чтобы сохранить для потомства имя немца Гет, написавшего поэму о средневековом чернокнижнике.

– Он служил директором театра у этого дурака Карла Веймарского, – продолжал Наполеон. – Очень замечательный человек. Он походил внешностью, да и душой тоже, на греческого Бога. Я, к сожалению, ничего не читал из его книг, кроме романа «Вертер»; думаю, что и книги его замечательны. Так вот этот Гет был такой же безбожник, как наши энциклопедисты, – правда, на свой лад, может, даже умнее... Он называл себя пантеистом. Точно не все равно сказать: природа – Бог, или: нет вовсе Бога... Да и так ли вообще все это важно? Очень плохой знак, когда человек начинает думать о Боге: верно, ему на земле больше делать нечего.

Он постучал пальцами по своей стальной табакерке в виде гроба, на которой читалась надпись: «Pense à ta fin, elle est près de toi»,²⁶⁰ – и налил себе еще чашку крепкого кофе.

– Да, он был очень замечательный человек, этот немецкий поэт. Будь он француз, я сделал бы его герцогом. Его и Корнеля.

Бертран заметил, что бывают, однако, вполне верующие

²⁶⁰ Думай о смерти, она близка (*франц.*).

люди между знаменитыми писателями, и привел в доказательство Шатобриана. Наполеон опять покосился на гофмаршала. По этому взгляду и по радостному лицу Монтолона Бертран сообразил, что сделал бестактность.

– Мне нет надобности говорить вашему величеству, – поспешил поправиться он, – как я отношусь к политической деятельности виконта Шатобриана. Но можно ли отрицать его большой талант?

Монтолон, не глядя на Бертрана и сдерживая улыбку радости, рассказал ходивший в Париже анекдот: Шатобриан написал будто бы в свое время книгу антихристианского содержания и снес ее какому-то издателю. Издатель возвратил рукопись, заметив, что атеизм начинает выходить из моды. Шатобриан подумал – и через несколько месяцев вернулся с другой книгой – в защиту католической веры. Так создался «Гений Христианства», который принес автору славу, а издателю состояние.

Наполеон засмеялся радостным негромким смехом, – он любил подобные рассказы.

– Если и не правда, то очень похоже на правду, – сказал он. – Я достаточно хорошо знаю виконта Шатобриана. Он и госпожа Сталь оба хороши, каждый в своем роде. Не было ничего легче, чем купить их расположение: я должен был сделать Шатобриана министром, а госпожу Сталь своей любовницей. Но он был бы очень плохой министр, а она, как женщина, всегда казалась мне противной... *Se ravuige*

Benjamin Constant...²⁶¹ Да, да, оба они хороши, – добавил, снова засмеявшись, Наполеон, – он и она... Госпожа Сталь после моего возвращения с острова Эльбы написала мне восторженное письмо и за два миллиона предлагала свое перо. Я нашел, что два миллиона дорого. Тысяч сто я, пожалуй, дал бы, ибо она недурно пишет. Перо важная вещь. Писатели не то, что адвокаты. Феодальный строй убила пушка, современный строй убьет перо... Да, очень хороши оба: и свободолобивая госпожа Сталь, и набожный господин Шатобриан. Впрочем, мой опыт говорит мне, что нельзя судить о человеке по его поступкам: каких только низостей не делают так называемые честные люди... Бывает и обратное.

Он отпил кофе. Госпожа Бертран незаметно отодвинула кофейник. Ей казалось, что возбуждающий напиток расстраивает здоровье императора.

– Так ваше величество вовсе не верит в Бога и в высшую справедливость? – спросил робким голосом гофмаршал.

– Я? – сказал Наполеон. – Если б я верил в Бога, разве я мог бы сделать то, что я сделал?.. Бог, высшая справедливость?.. Почти все мошенники счастливы в жизни. Увидите, Талейран умрет спокойно на своей постели...

Он нахмурился и замолчал.

Госпожа Бертран с укором заметила, что есть другой, лучший и справедливый, мир.

– Я в этом не уверен. Бывало, я на охоте приказывал при

²⁶¹ Бедный Бенжамен Констан... (франц.)

себе вскрывать оленей; они устроены совершенно так же, как мы... Почему не верить в бессмертие души оленей?.. Впрочем, и жизнь и смерть только сон. *La mort est un sommeil sans rêves, et la vie un songe léger qui se dissipe...*²⁶² Если б я хотел иметь веру, я обоготворил бы солнце...

Госпожа Бертран не согласилась со взглядом его величества и твердо сказала, что католическая религия – лучшая вера на земле.

Наполеон одобрительно кивнул головой:

– Вы правы, сударыня. В католической вере особенно хорошо то, что молитвы на латинском языке: народ ничего не понимает, – и слава Богу. Католицизм в течение пятнадцати веков мирил людей с государством, с общественным порядком, – чего же еще требовать? К тому же он дает людям и так называемый внутренний душевный мир... Человек – существо беспокойное, все он ведь чего-то ищет. Так пусть лучше ищет у священника, чем у Кальostro, у Канта или у госпожи Ленорман. Поверьте, они все стоят друг друга: и Кант, и Кальostro, и госпожа Ленорман... Я пробовал когда-то дать другой выход религиозным потребностям человека, – я хотел опереться на масонство. Нет, не удалось: слишком они беспокойные люди и уж очень уважают разум. Мне с ними было не по пути... Католическая вера надежнее. К тому же нельзя выбирать религию, это дело неподходящее. Каждый

²⁶² Смерть – это сон без сновидений, а жизнь – легкое видение, которое исчезает... (франц.)

человек должен жить в религии своих предков. А женщина вдобавок должна твердо верить. Терпеть не могу свободомыслящих и ученых женщин. Ученые мужчины – другое дело. Признаться, я не понимаю, как до сих пор существуют верующие образованные христиане. Например, папа Пий VII. Он верил в Христа, – с удивлением сказал Наполеон, обращаясь к мужчинам. – Il croyait, mais là, réellement, en Jésus Christ!²⁶³

Бертран и Монтолон не совсем поняли, почему, собственно, так удивительно, что папа Пий VII верил в Христа.

– Да ведь евангельский Христос, конечно, никогда не существовал, – раздраженно пояснил император: он любил, чтобы его понимали с полуслова. – Верно, был какой-нибудь еврейский фанатик, вообразивший себя Мессией. Подобных фанатиков повсюду расстреливают каждый год. Мне и самому случалось таких расстреливать.

– Боже! – воскликнула в ужасе госпожа Бертран.

– Жестоко? – переспросил Наполеон. – Я по природе своей не жесток. Но сердце государственного человека – в его голове. Он должен быть холоден как лед.

– Ваше величество очень дурного мнения о людях.

– Да, можно сказать. Il faudrait que les hommes fussent bien scélérats pour l'être autant que je le suppose.²⁶⁴

²⁶³ Подумать только! Он в самом деле верил в Иисуса Христа! (франц.)

²⁶⁴ Люди должны были оказаться большими негодьями, чтобы быть такими, какими я их себе представляю (франц.).

– Но ведь есть и честные люди.

– Есть, конечно. Il y a aussi des fripons assez fripons pour se conduire en honnêtes gens...²⁶⁵ Тот, кто хочет править людьми, должен обращаться не к их добродетелям, а к их порокам.

Наступило молчание. Даже светский Монтолон не находил темы для продолжения разговора.

– Что, однако, трудно было бы объяснить и верующим людям, и атеистам, – вдруг сказал Наполеон изменившимся голосом, – это моя жизнь. Я на днях ночью припомнил: в одной из моих школьных тетрадей, кажется 1788 года, есть такая заметка «Sainte Hélène, petite île». Я тогда готовился к экзамену из географии по курсу аббата Лакруа... Как сейчас, вижу перед собой и тетрадь, и эту страницу... И дальше, после названия проклятого острова, больше ничего нет в тетради... Что остановило мою руку?... Да, что остановило мою руку? – почти шепотом повторил он с внезапным ужасом в голосе.

Страшные глаза его расширились... Он долго молча сидел, тяжело опустив голову на грудь.

– Но если Господь Бог специально занимался моей жизнью, – вдруг произнес император, негромко и странно засмеявшись, – то что же Ему угодно было ею сказать? Непонятно... Двадцать лет бороться с целым миром – и кончить борьбой с сэром Гудсоном Лоу!.. Я знал в начале своей ка-

²⁶⁵ Но есть такая порода мошенников: они мошенники в достаточной степени для того, чтобы вести себя как люди порядочные... (франц.)

рьеры одного странного старика... У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он, собственно, такой. Даже моя полиция не знала. Шутники называли его вечным жидом. Позже я потерял его из виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли... Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. Может быть, не хотел. А может быть, и не умел... Мне он все предсказывал, что меня погубит вера в славу... А вот слава меня одна и не обманула. Все обмануло, а слава нет. Уж историк-то меня кругом обелит и оправдает...

Он опять замолчал.

– Oui, quel rêve, quel rêve que ma vie,²⁶⁶ – повторил он.

– Пути Божии неисповедимы, – заметил граф Бертран после продолжительного молчания.

Наполеон поднял голову и долго неподвижным взором смотрел на гофмаршала.

– Я больше не задерживаю вас, господа, – произнес он наконец.

²⁶⁶ Да, какой сон, какой сон – моя жизнь (*франц.*).

XIII

У крыльца – не из удали, а по долголетней привычке – бил ногой землю знавший порядок Визирь, небольшой старый арабский конь, подарок турецкого султана. Его держали под уздцы кучер Аршамбо и форейтор Новерраз.

Император, в мундире гвардейского егеря, тяжело ступая и звеня шпорами, медленно сошел с крыльца. Поверх мундира на нем была какая-то серая накидка, похожая на дождевой плащ.

– La redingote grise!²⁶⁷ – сказал тихо Аршамбо.

За Наполеоном, приноравливаясь к его шагам, следовал преданный генерал.

Визирь для порядка заржал и чуть привстал на дыбы, ударив коротким хвостом по тавру, изображавшему корону и букву N.

– Ваше величество поедете далеко? – почтительно спросил генерал.

– В Dead-Wood, потом еще куда-нибудь, – небрежно ответил Наполеон.

Ему внезапно стало смешно: преданный генерал всегда так почтительно провожал императора – даже тогда, когда император отправлялся к его жене.

Ласково, с легкой усмешкой, пожелав доброго вечера пре-

²⁶⁷ Серый сюртук! (франц.)

данному генералу, Наполеон привычным движением взял левой рукой поводья и вдел ногу в широкое, во всю ступню, стремя бархатного, расшитого золотом седла.

И вдруг ужасная боль в правом боку едва не заставила его вскрикнуть. Лицо императора сделалось еще бледнее обыкновенного. Он зашатался и выпустил поводья.

Бритва вонзилась снова. Смерть была здесь.

Он трижды, напрягая волю, повторил свою попытку, и трижды тело отказывалось служить.

Старые слуги, Аршамбо и Новерраз, отвели глаза в сторону.

Император Наполеон не мог сесть на лошадь.

Генерал, удерживая охватившее его волнение, почтительно попросил его величество отказаться от прогулки: его величеству явно нездоровится.

– Вы правы... Я лучше пройду пешком, – глухим голосом сказал Наполеон.

Аршамбо тихо тронул коня. Визирь повернул свою точную голову, тряхнул седой гривой, повел глазом и удивленно заржал. Его увели в конюшню.

Наполеон медленно взошел на площадку, откуда видно было море. Заходящее солнце кровавым потоком золота заливало волны, и на смену ему, как бывает в этих широтах, сразу зажигались луна и звезды. Император смотрел на небо и искал свою звезду... На земле больше искать было нечего.

Вдали, по морю медленно проходил какой-то корабль.

XIV

На корабле этом уезжали с острова молодые супруги де Бальмен. В пустой кают-компании сидел немного осунувшийся лицом граф Александр Антонович и угрюмо разбирал при свече русские книги, присланные ему Ржевским. Это были в большинстве старые новиковские издания.

«О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания. Сочинение, в котором открывается Примечателям сомнительность изысканий их и непрерывные их погрешности, и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении Добра и Зла, о Человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной и о Натуре священной, об основании политических правлений, о власти государей, о правосудии гражданском и уголовном, о науках, языках и художествах»...

«Не слишком ли много?» – подумал де Бальмен.

...«Философа неизвестного. Переведено с французского. Иждивением типографической компании. В Москве. В вольной типографии И. Лопухина, с указного дозволения, 1785 года».

«Это перевод. Лучше прочту в подлиннике».

Он отложил толстый том Сен-Мартена и стал просматривать другие книги.

«Химическая псалтирь, или Философские правила о камне мудрых»...

«Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного и весьма важного содержания»...

«С этого сочинения начну читать. Оно, кажется, легче других».

«Братские увещания»...

«Крата Репоя, или Описание посвящения в тайное общество египетских жрецов»...

Де Бальмен вздохнул и раскрыл одну из книг наудачу:

«Древние мудрецы, писавшие о философском камне, говорят о соли, сере и ртути. Химисты, не разумея их загадочных и иносказательных речений и не ведая философской соли, серы и Меркурия, работают без размышления наудачу, и, вместо куч золота и всеобщего рвачества, вырабатывают себе дрожание членов и нищенскую суму»...

«Неужели Ржевский в самом деле читает это?» – спросил себя граф, подавляя зевок, и перевернул несколько страниц.

«Читай, брат мой, читай священное творение, читай его постепенные следствия, читай его ясным внутренним оком мудрых, имущих око свое во главе, как говорит премудрый Соломон. Читай неспешно, как читает большая часть чтецов, спешащих только до другого листа скорее дочесться. Читая неправильно на сем листе, не можешь ты надеяться пользы на другом листе, разве обратишься назад; итак, читай правильно и сначала. Если желаешь читать историю сотворе-

ния, то придержишься первого стиха: “Bereschith bara Elohim eth haschmajim weeth Haaretz”²⁶⁸ – и читай его несколько лет, а потом уже читай далее».

«Mais il se moque de moi, le bonhomme»,²⁶⁹ – подумал раздраженно Александр Антонович и, отшвырнув книгу, зашагал по маленькой кают-компании.

«Начитаешься таких сочинений, вправду спятишь с ума и будешь смотреть себе в пуп, как Сперанский, ожидая **Фиванского** света. Ржевский всегда был дураком и не поумнел со времени корпуса... Я тоже очень хорош... Как только приеду в Париж, сейчас же разыщу Кривцова. Верно, из Пале-Рояля не выходит... Пусть он скажет: я ли на острове помешался или они в Петербурге посходили с ума?... И Люси тоже разыщу. И черт с ними со всеми!..»

Граф де Бальмен сложил в ящик книги, с некоторой опаской к ним прикасаясь, и вышел на палубу подышать свежим воздухом моря.

В каюте, отведенной русскому комиссару, лежала на койке Сузи и, уткнувшись головой в подушку, горько плакала.

²⁶⁸ «В начале сотворил Бог небо и землю» (др. – евр.: Бытие, I, 1).

²⁶⁹ «Этот человек смеется надо мной» (франц.).

XV

Доктор Антоммарки, врач, состоявший при особе Наполеона, молодой, малообразованный и очень глупый человек, был уверен в том, что болезнь императора имеет политический характер. Тонкая и развязная улыбка, с которой Антоммарки говорил об этой болезни, выводила из себя Наполеона. Император, никогда не веривший в медицину, упорно отказывался от помощи итальянского врача.

– Я выбрасывал за окно лекарства, которые назначали мне мои доктора Корвизар и Ларрей, лучшие врачи в мире, – отвечал он на упрашивания приближенных. – Как же вы хотите, чтобы я принимал снадобья этого мальчишки ветеринара?

Но весной 1821 года даже Антоммарки стало ясно по виду императора, что болезнь его приняла очень опасный оборот. Доктор испугался ответственности, пожелал устроить совещание с английскими врачами и стал убеждать Наполеона лечиться серьезно.

– Кажется, я не обязан вам отчетом, милостивый государь, – резко отвечал Наполеон. – Думаете ли вы о том, что жизнь может быть мне и в тягость? Я не стану приближать к себе смерть, но и ничего не сделаю для ее отдаления.

Он отдал только одно медицинское распоряжение: непременно после смерти вскрыть его желудок для того, чтобы

исследование их наследственной болезни могло пригодиться его сыну.

Император почти совсем перестал выходить из своей комнаты. Он проводил большую часть дня в ванне или на диване в полутьме, тщетно стараясь согреть горячими компрессами холодеющие ноги. Черты его лица становились все искаженнее и тоньше, а прекрасные маленькие руки совершенно исхудали. Все понимали, что Наполеон умирает.

Однажды вечером Бертран, желая развлечь императора, предложил ему выйти в сад: англичане говорят, будто на небе появилась комета. Теперь при ясной погоде ее можно хорошо рассмотреть.

– Как комета? – вскрикнул Наполеон. Он быстро вышел в сад. – Перед смертью Юлия Цезаря тоже была комета, – тихо сказал он по возвращении гофмаршалу, снова опускаясь на диван.

Бертран невольно развел руками.

«Неужели его величество и небесные явления относит к своей особе?» – спросил он себя в недоумении.

Наполеон стал спешно составлять свое духовное завещание. Занятие это его увлекло и даже привело в хорошее настроение духа. Он работал целые дни. Изредка для отдыха приказывал читать себе вслух Гомера.

Скоро завещание было готово.

– Теперь жалко было бы не умереть, когда я так славно

привел в порядок свои дела, – сказал он по окончании работы своему любимцу, молодому камердинеру Маршану, – и тут же подумал, что и эта внезапно пришедшая ему в голову фраза перейдет в историю, так как Маршан, конечно, тотчас ее запишет.

– Вот что, голубчик, – прибавил он. – Я завещал тебе пятьсот тысяч франков, но мои деньги далеко, во Франции. Бог знает, когда ты их получишь. Возьми пока...

Он вынул из ящика бриллиантовое ожерелье.

– Оно стоит тысяч двести. Я тебе его дарю. Спрячь. Ступай.

И, прекратив брезгливым жестом выражения благодарности камердинера, пожелавшего поцеловать ему руку, Наполеон велел позвать того генерала, с женой которого он был близок.

– Вам я оставил по завещанию... – с усмешкой назвал он огромную цифру. – Но, быть может, вы хотите больше?

Генерал, почтительно склонив голову, ответил, что ему дороги не деньги, а знак милости императора, который, как он надеется, будет жить долго.

– Таким образом, ваши бескорыстные и преданные услуги навсегда отмечены мною перед потомством, – медленно, с той же усмешкой сказал Наполеон.

На лице его снова появилось выражение брезгливости. Он погрузился в дремоту.

В середине апреля император призвал к себе духовника,

аббата Виньяли, и долго говорил с ним о религиозном церемониале своих похорон. Выразил желание, чтобы над его гробом были выполнены в точности, как у самых набожных людей, все обряды, предписанные католической церковью. Обрадованный аббат предложил его величеству исповедаться. Но Наполеон, чуть улыбнувшись, отклонил пока это предложение.

Аббат Виньяли в мыслях взволнованно возблагодарил Господа за то, что Он обратил наконец на путь истинной, вечной и единственной веры эту непокорную человеческую душу. Уходя, аббат, словно нечаянно, оставил на столе императора Священное Писание.

Вечером Монтолон и Бертран, войдя в комнату Наполеона, застали его на диване за чтением толстой книги. Плечи императора слегка тряслись. Монтолон почтительно заглянул издали в книгу. Это было Пятикнижие.

– Моисей!.. – говорил Наполеон, с оживлением глядя на вошедших и сдерживая разбивавший его смех. – Какой ловкий человек, а? Правда, ловкий человек был Моисей?..

Генералам невольно показалось, что император, столь благочестиво говоривший с аббатом Виньяли, не верит ни в Бога, ни в черта.

Граф Бертран стал читать императору только что полученные английские газеты. В одной из них была резкая статья против лиц, виновных в расстреле герцога Энгиенского. Внезапно, во время чтения, Монтолон толкнул Бертрана в

бок. Гофмаршал поднял глаза от газеты и с ужасом заметил, что у императора страшное лицо; такое выражение он видел у его величества за двадцать лет всего раза два или три, – в последний раз после битвы при Ватерлоо, когда Наполеон сказал окружающим с легким эпилептическим смехом:

– Все кончено... Все погибло...

Бертрану представилось, что у его величества и сейчас начнется эпилептический припадок.

– Завещание... Дайте сюда мое завещание! – прохрипел Наполеон.

Монтолон бросился за завещанием. Император дрожащими пальцами вскрыл пакет и, ничего не говоря, приписал несколько строк к последнему параграфу первого отдела:

«Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского потому, что этого требовали безопасность, благополучие и честь французского народа; в то время граф д'Артуа, по собственному его признанию, содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. В подобных обстоятельствах я и теперь поступил бы точно так же»...

В тяжелом настроении генералы вышли из кабинета. Было поздно. Маршан приготовил обе постели императора и помог ему раздеться. При этом камердинеру показалось, что у его величества сильный жар.

Ванна была готова. Император погрузился в горячую воду, морщась от прикосновения холодного цинка к плечам. Ноги его немного согрелись.

Ему стало совестно, что за несколько дней до смерти он мог еще приходить в бешенство от пустяков, от газетной статьи. Императора особенно раздражало то, что из тысяч преступлений, которые были им совершены, глупые люди неизменно попрекали его убийством несчастного герцога Энгинского. Два миллиона людей погибло по его воле, а английские дураки думают, будто он может и должен сожалеть об одном каком-то человеке, ибо этот казненный по его приказу человек был принц королевской крови. Другой причины нет... Рабы!

Он со злостью запер на ключ этот нечаянно раскрывшийся ящик мозга и открыл другой, где были мысли о смерти. Но здесь в последние месяцы все было изучено, передумано и перерыто до основания. Наполеон знал, что умрет через несколько дней, умрет совсем и никакой другой жизни у него больше не будет, а если и будет, то та, другая, жизнь ему не нужна и совершенно неинтересна. Никто из философов ничего нового об этом ему сказать не мог, так как он знал жизнь лучше всяких философов. И даже усталый израильский царь, который скончался три тысячи лет назад и оставил после себя умным людям несколько умных, настоящих мыслей о жизни и смерти, не имел такого опыта, как он. Ибо царь этот родился на престоле, не покорял мира, не глядел в лицо смерти в шестидесяти сражениях и не знал, вероятно, лучшей человеческой радости – войны и победы...

Наполеон внезапно вспомнил Тулон, где он впервые по-

стиг эту высшую радость жизни... Батареи Санкюлотов и Конвента, на которых он проводил долгие бессонные ночи, обдумывая план штурма, свежий ветер, шедший с моря на батареи, запах смолы у старой часовни...

В памяти императора встала серая твердыня Эгильет, – в ней он тогда разгадал ключ к неприступной крепости... И заседание военного совета, когда он, неизвестный молодой артиллерист, указав эту позицию на карте, сказал уверенно и твердо: «Тулон – здесь!..» И неспособный генерал Карте, который не понял его слов и посмеялся над невежеством молодого офицера, смешивающего Эгильет с Тулоном... И умная старая женщина, жена Карто, неизменно говорившая мужу: «Laisse faire ce jeune homme, il en sait plus que toi».²⁷⁰ И самодовольная фигура Барраса... И штурм, и первая рана, – вот ее след на старом теле, – и пожар города, и расстрелы...

Мысли его стали смешиваться. Ему представился день коронавания, – собор Notre Dame de Paris. Он хорошо знал этот страшный средневековый собор. Помнил его запущенным, опустошенным, грязным, каким он был в революционные годы: внутри веселилась чернь, темные вековые стены осыпались, статуи наверху были повреждены, разбиты. На крыше у подножья правой башни виднелась одна такая фигура, – дьявол с горбатым носом, с хилыми руками, с высушенным над звериной губой языком... Зачем там был дьявол? Или он был не там?.. Потом и в церкви, как во всей стра-

²⁷⁰ «Не мешай этому молодому человеку, он знает больше, чем ты...» (франц.)

не, восстановился порядок... В тот день, в день коронавания, орган гремел в горевшем огнями соборе, стены домов города тряслись от крика: «Да здравствует император!...»

Из-за ванны по полу с шумом пронеслась огромная крыса.

Наполеон вздрогнул, вышел из воды и, тяжело ступая, перешел в кабинет. Он поднял выше подушку, с трудом лег на постель и скоро задремал, несмотря на мучительную боль в боку. Но сон императора не был спокоен. Жар усиливался, кровь прилиwała к голове.

XVI

Ему снился страшный сон. Ему снилось, будто огромная неприятельская армия через Бельгию, по незащищенным равнинам у Шарлеруа, лавиной вторгается во французскую землю. И ужасы вражеского нашествия, те дела, которые он сам столько раз проделывал в чужих странах, ясно ему представились. Надо призвать к оружию национальную гвардию. Надо поднять на защиту родины весь народ. Надо спасти Париж, к которому неудержимо рвется неприятель. Сложные стратегические комбинации стали рождаться в умирающем мозгу Наполеона. На знакомых берегах Марны есть выгодные позиции. Твердыни Вердена должны помешать обходному движению врага. Но кому, кому поручить защиту страны? Кто из французских генералов поймет, что нужно делать?..

Император вдруг поднял голову с подушки. На мгновение к нему вернулась память. Нет больше в живых никого... На полях Маренго пал Дезе. Под Люценом убит Бессьер. У берегов Дуная ядро оторвало ноги Ланну. Под Макерсдорфом разорван на куски Дюрок. Заколот в Египте Клебер. Выбросился из окна Бертье. Расстрелян в Неаполе Мюрат. Расстрелян в Париже Ней. В его, наполеоновской, тюрьме удавился – лучше не вспоминать об этом – изменник Пишегрю, тот из генералов Революции, в котором молодой, стремящийся к престолу Бонапарт видел когда-то опаснейшего из своих

военных соперников...

А ему самому осталось жить только несколько дней! Нельзя терять ни одной минуты.

Пот выступил на похолодевшем лбу императора. Дрожащими руками он зажег свечу, хотел было позвонить, но не нашел своего медного колокольчика. Опираясь рукой то на стену, то на стол, он надел халат, туфли и прошел в спальню Монтолона.

Всю свою долгую жизнь граф Монтолон помнил ту минуту, когда, проснувшись от сильных толчков в плечо, он потянулся, открыл глаза, мигнул несколько раз на шатающийся огонек – и оцепенел. Перед ним, держа в руке свечу, с которой капал воск, стоял умирающий император. Лицо его было искажено. Глаза горели безумным светом.

– Вставайте, оденьтесь, идите за мной! – отрывисто приказывал Наполеон.

Они прошли в кабинет.

– Пишите!

В комнате, освещенной одной свечой, было темно и холодно. Смертельный безотчетный страх охватил графа Монтолона.

– Ваше величество, – проговорил он, стуча зубами, – позвольте, я разбуду доктора Антоммарки...

– Пишите! – хрипло, со страданием в голосе, вскрикнул Наполеон.

Монтолон взял лист бумаги и стал писать. Перо плохо ему повиновалось. В бреду, держась рукой за правый бок и сверкая глазами, император диктовал план защиты Франции от воображаемого нашествия.

XVII

В день пятого мая разразилась страшная буря. Волны с ревом кинулись на берега острова. Тонкие стены лонгвудского дома вздрагивали. Потемнели зловещие медно-коричневые горы. Чахлые деревья, тоскливо прикрывавшие наготу вулканических скал, сорванные грозой, тяжело скатывались в глубокую пропасть, цепляясь ветвями за камни.

Как ни бодро расхаживал по комнатам виллы Лонгвуд развязный доктор Антоммарки, с видом человека, который все предвидел и потому ничего бояться не может, было совершенно ясно, что для его пациента настали последние минуты. Казалось, душа Наполеона, естественно, должна отойти в другой мир именно в такую погоду, – среди тяжких раскатов грома, под завывания свирепого ветра, при свете тропических молний.

Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчета. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. Отзвуками канонады представлялись застывающему мозгу громовые удары, а уста неясно шептали последние слова:

«Армия... Авангард...»

У постели, в кресле, не сводя красных глаз с умирающего, сидел генерал Бертран. Граф Монтолон записывал в книжку

все хоть немного походившее на слово, что срывалось с уст императора. Около десятка французов толпилось в кабинете и у дверей, ожидая последнего вздоха. В соседней комнате аббат Виньяли готовил свечи.

В пять часов сорок девять минут дня Антоммарки, взглянув в сторону постели, быстро подошел к ней, приложил ухо к сердцу Наполеона – и печально развел руками, показывая, что теперь даже он ничего больше сделать не может. Послышались рыдания. Граф Бертран тяжело поднялся с кресла и сказал глухим шепотом:

– Император скончался...

И вдруг, заглянув в лицо умершему, он отшатнулся, пораженный воспоминанием.

– Первый консул! – воскликнул гофмаршал.

На подушке, сверкая мертвой красотой, лежала помолодевшая от смерти на двадцать лет голова генерала Бонапарта.

Английский офицер, прикомандированный к вилле Лонгвуд, с переменившимся от волнения лицом вышел на крыльцо. Буря утихала. Удары грома слышались реже. Офицер вздрогнул, завернулся в плащ и прошел к сигнальной мачте.

Шли часы. К крыльцу дома со всех концов острова подъезжали экипажи и верховые; перешептываясь, сходились население. Дом наполнился военными людьми, смотревшими на все с любопытством и с испугом.

Камердинер Маршан раскрыл настежь двери кабинета. Высоко держа на руках какое-то синее одеяние с серебряным шитьем на красном воротнике, гофмаршал генерал Бертран вошел в комнату.

– Шинель императора при Маренго! – дрогнувшим голосом провозгласил он, накрывая мертвое тело Наполеона.

Этого не мог выдержать ни один военный. Французы, с самым стариком гофмаршалом, заплакали, как маленькие дети. Английские офицеры вынули носовые платки и одновременно приложили их к глазам. Им было жутко оттого, что умер такой великий человек, – правда, враг дорогой старой страны, но все-таки *the greatest man in the world*,²⁷¹ по сравнению с которым ничего не стоила жизнь их, обыкновенных людей. Жутко было и потому, что там, в Англии, еще никто этого не знает; каждому офицеру захотелось скорее написать письмо на далекую милую родину. Один из англичан приблизился к кровати и поцеловал край шинели императора; другие последовали его примеру.

Французский комиссар де Моншеню вошел в комнату вместе с крайне расстроенным губернатором. Маркиз, тридцать лет ненавидевший Наполеона, никогда в жизни его не видел. Он подошел к постели и долго молча смотрел на мертвое лицо с закрытыми глазами.

– У кого завещание? – отойдя, тихо спросил он гофмаршала.

²⁷¹ Величайший человек в мире (*англ.*).

Аббат Виньяли не хотел расставаться с телом до самого момента похорон. Он был спокойнее других: для него смерть означала не то, что для светских людей. Аббат незаметно пошел в столовой к буфету, съел крылышко холодного фазана, выпил полстакана вина и вернулся в кабинет, где лежало тело императора. Все посторонние уже вышли из комнаты. Аббат взял со стола свою Библию, нарочно им забытую там несколько дней тому назад, – книга лежала раскрытой, – и стал читать.

«Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы».

«Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим».

«Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву».

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению».

«И любовь их, и ненависть, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солн-

цем».

«И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благо-расположение, но время и случай для всех их»...

Аббат Виньяли глубоко вздохнул, уселся удобнее в кресле и перевернул страницу.

...«Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: “Нет мне удовольствия в них!”»

«Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем».

«В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно».

«И запираются будут двери на улицу; когда замолкнет звук Жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения».

«И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы».

«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»...

Аббат вздохнул опять и посмотрел искоса на мертвое тело

императора. На погонах синей шинели играл бледный свет
восковых свечей.

XVIII

Старый малаец Тоби очень испугался, когда услышал звуки залпов. Он подошел, тяжело передвигая ноги, к знакомому повару, доброму человеку, который никогда его не обижал, и спросил, что такое случилось: почему стреляют? Куда это поехал сам раджа острова и пошел весь народ?

Повар посмотрел на него с удивлением.

– Как что случилось? Как почему стреляют? – переспросил он. – Наполеона хоронят. Сейчас его тело подвозят к Долине Герани. Я оттуда иду, – обед надо готовить, иначе не ушел бы. Народу там тьма, весь остров, войска... Беги скорее смотреть! Наши батареи салютуют.

Но у престарелого малайца память стало отшибать. Он забыл имя зеленого генерала, который когда-то подарил ему двадцать золотых монет, и робко спросил, кто был умерший раджа.

– Эх, видно, выжил ты, брат, из ума, – ответил со смехом повар. – Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил, – как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан... Ну, прощай. Некогда с тобой болтать.

Малаец вдвинул голову в плечи, пожевал беззубым ртом и сделал вид, будто понял. Но про себя он усмехнулся невежеству повара, который явно что-то путал: ибо великий, гроз-

ный раджа Сири-Три-Бувана, знаменитый джангди царства Менанкабау, победитель радшанов, лампонов, баттаков, даяков, сунданезов, манкассаров, бугисов и альфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками, ради крокодила, сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру.